

Русановъ N.S.
Н. С. РУСАНОВЪ

(Н. Е. Кудринъ)

socialists of Europe and Russia

Соціалисты Запада и Россіи

Фурье • Марксъ • Энгельсъ • Лассаль • Жюль
Валлэсъ • Вилліамъ Моррисъ • Чернышевскій
Лавровъ • Михайловскій

Jamque opus exegi, quod nec Jovis
ira, nec ignis, Nec poterit ferrum
nec edax abolere vetustas.

Ovid.

Я свершилъ работу, которую не
уничтожать ни гнѣвъ Юпитера, ни
огонь, ни желѣзо, ни все разруша-
ющее время.

Овидій.

ВЪ СТОЛБЦѢ
ПЕРВОЙ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28

1908

D-40/93

Kc



133496

WZJAWO Z DUBLETÓW
Biblioteki Narodowej

1976 D 314/3

Предлагаемые читателю этюды о нѣкоторыхъ крупнѣйшихъ или интересныхъ въ какомъ-либо отноше-
ніе «соціалистахъ Запада и Россіи» помѣщались мною за послѣдніе годы въ періодической (журналь-
ной) прессѣ. Я перепечатаваю ихъ здѣсь, за исклю-
ченіемъ развѣ «Чернышевскаго», почти безъ всякихъ
измѣненій, кромѣ отдѣльныхъ фразъ, въ которыхъ
заклучались указанія или намеки на тогдашнія обстоя-
тельства, потерявшія значеніе.

Доказывать важность соціалистическихъ мысли-
телей и дѣятелей въ наше время, когда повсюду и
вся политика, вплоть до политики реакціонныхъ клас-
совъ и правительствъ, положительно или отрицательно
вдохновляется міровоззрѣніемъ труда, — значитъ ло-
миться въ открытую дверь. Выразители соціализма,
дѣйствительно, свершили ту ничѣмъ не разруши-
мую «работу», о которой говоритъ, съ гораздо
меньшимъ правомъ, въ приложеніи къ себѣ гордый
римскій поэтъ: ихъ безсмертные идеи и подвиги
смѣются надъ гнѣвомъ, и огнемъ, и желѣзомъ зем-
ныхъ Юпитеровъ, — единичныхъ тирановъ или иму-
щихъ и правящихъ классовъ. На сцену выступили
трудящіеся массы, которымъ принадлежитъ буду-
щее. Въ неравной степени, одинъ больше въ теоріи,

другой больше на практикѣ, но социалисты, каждый по своему, приближали этотъ великій историческій моментъ.

Было бы бесполезно объяснять читателю, какая ассоціація идей руководила авторомъ при выборѣ предметомъ своего изученія того или другого изъ разсматриваемыхъ здѣсь мыслителей и дѣятелей. Отъ того приѣма, который предлагаемая книга встрѣтитъ въ публикѣ, будетъ зависѣть продолженіе моихъ работъ по социализму, изучаемому въ его главнѣйшихъ или любопытнѣйшихъ представителяхъ.

Октябрь 1907 г.



Великій утопистъ ¹⁾.

(Опытъ біографіи Фурье)

I.

Если можно къ кому приложить эпитетъ «великаго утописта», то прежде всего и больше всего къ Шарлю Фурье. Ни у кого, дѣйствительно, социальная утопія не летѣла на крыльяхъ такой смѣлой, можно прямо сказать, необузданной фантазіи. И ни у кого эти сказочные элементы не служили украшеніемъ такой великой критической и вмѣстѣ конструирующей силы ума въ области социальныхъ отношеній. Кто не слыхалъ о сѣверной коронѣ, о морѣ изъ лимонаду, объ антильвахъ и антикитахъ Фурье? Но кто изъ многочисленныхъ

¹⁾ Русское Богатство, 1905, №№ 11—12. — Эта статья являлась, по моему первоначальному плану, введеніемъ къ большой работѣ о Фурье, задуманной и начатой мною за границей, гдѣ я успѣлъ собрать довольно полную бібліотеку сочиненій самого Фурье и его школы и, кромѣ того, располагалъ драгоцѣнной коллекціей матеріаловъ, находящихся въ Парижской Публичной бібліотекѣ. Сравнительная бѣдность фурьеристской литературы въ Россіи, гдѣ даже Императорская Публичная бібліотека не имѣетъ почти ничего въ этой области, кромѣ шеститомнаго изданія «Oeuvres complètes» (на самомъ дѣлѣ, далеко не могущаго назваться полнымъ собраніемъ сочиненій Фурье), заставляетъ меня, крайней мѣрѣ временно, отказаться отъ задуманнаго плана. Я ограничиваюсь здѣсь біографіей великаго утописта, представляющей собой законченное цѣлое.

людей, разсуждающих по наслышкѣ о Фурье, дѣйствительно читалъ и изучалъ его, стараясь въ чашѣ причудливо переплетающихся цвѣтовъ фантазіи отыскать обильныя и могучія зерна проницательной критики и гениальнаго предвосхищенія?

Меня съ давнихъ поръ тянуло познакомить читателей съ мыслителемъ, котораго я считаю однимъ изъ гениальнѣйшихъ представителей социалистической мысли и къ изученію котораго я неоднократно возвращался, всякій разъ находя въ немъ новыя и новыя интересныя стороны. Предлагаемый читателю этюдъ представляетъ поэтому исполненіе давнишняго желанія, хотя меня натолкнула на мысль заговорить именно теперь о великомъ утопистѣ недавно появившаяся книга Гюбера Буржэна: «Фурье. Работа по изученію французскаго социализма»¹⁾. Я буду по тому или другому поводу пользоваться въ настоящей статьѣ трудомъ Буржэна, о характерѣ котораго я скажу сейчасъ нѣсколько словъ; но еще чаще буду обращаться непосредственно къ сочиненіямъ самого Фурье и наиболѣе выдающихся его учениковъ. Только стоя лицомъ къ лицу къ самому гениальному мыслителю, писателю, ставящій своей задачей познакомить съ Фурье большую публику, можетъ надѣяться, что и въ его этюдѣ, хоть до нѣкоторой степени отразится сила того идейнаго лучеиспусканія, которымъ обладаютъ, несмотря на всѣ причуды фантазіи и странность формы, сочиненія великаго утописта.

Дѣло въ томъ, что книга Буржэна, состоящая изъ 600 страницъ большого формата, очень обстоятельный трудъ. Но въ силу ли литературныхъ особенностей автора, или благодаря самому характеру работы, представляющей докторскую диссертацию, эта новѣйшая и крайне добросовѣстная монографія о Фурье не особенно годится для популярнаго чтенія. Въ ней черезчуръ много условной системности, которая требуется до сихъ поръ въ официальныхъ университетскихъ сферахъ; черезчуръ много отдѣловъ, подотдѣловъ, главъ, параграфовъ и

¹⁾ Hubert Bourgin, *Fourier. Contribution à l'étude du socialisme français*, Парижъ, 1905.

т. п. По части цитатъ настоящая роскошь: на инныя строчки текста приходится по страницѣ ссылокъ. Порою просто жалѣешь, что авторъ указываетъ на сочиненія, имѣющія лишь косвенное отношеніе къ предмету книги. Самый тонъ изложенія, отличающійся объективностью и спокойствіемъ, можетъ отталкивать средняго читателя своею утрированной сухостью. Авторъ далекъ отъ того «энтузіазма» творчества, который, какъ разъ по мнѣнію Фурье, отличаетъ производительную дѣятельность человѣка, занятаго въ фаланстеріи привлекательнымъ трудомъ. Всѣ эти особенности книги Буржэна должны значительно суживать область ея распространенія среди большихъ круговъ читающей публики. Но для серьезныхъ читателей, и главнымъ образомъ для такихъ, которые уже сами знакомы съ сочиненіями Фурье, монографія Буржэна можетъ служить очень полезнымъ пособіемъ по пути дальнѣйшаго изученія гениальнаго, но крайне причудливаго и совсѣмъ ужъ не систематичнаго мыслителя. Съ книгой Буржэна въ рукѣ и окруживъ себя сочиненіями Фурье и фурьеристовъ, можно, съ одной стороны, лучше свести воедино основныя черты «соціетарнаго» ученія, а съ другой—точнѣе припомнить взгляды Фурье по частнымъ вопросамъ, которыхъ касалась его критическая мысль или его конструирующее воображеніе. Наконецъ, монографія Буржэна даетъ возможность читателю познакомиться какъ съ частными и общественными вліяніями, которыми, преломляясь въ индивидуальности Фурье, являлись источниками соціетарной доктрины, такъ и съ воздѣйствіемъ ея въ свою очередь на послѣдующій ходъ общественной мысли и жизни. Какъ видите, книга Буржэна заслуживаетъ во многихъ отношеніяхъ серьезнаго вниманія и, несмотря на нѣкоторыя невыгодныя особенности свои, представляетъ очень полезный вкладъ въ литературу, посвященную развитію социалистической теоріи и практики.

Вотъ въ главнѣйшихъ чертахъ біографія Фурье, жизнь котораго я изображу здѣсь лишь постольку, поскольку она объясняетъ его умственную эволюцію или выражается въ умственныхъ же продуктахъ этой богато одаренной натуры.

Франсуа-Мари-Шарль Фурье родился 7-го апрѣля 1772 г. въ Безансонѣ, въ зажиточной купеческой семьѣ. Отецъ его былъ торговцемъ сукнами. Мать, урожденная Мари Мюгэ, игравшая значительную роль въ жизни молодого Фурье, принадлежала къ первой по богатству фамилии негоціантовъ-патрицевъ родного города. Шарль Фурье былъ единственнымъ сыномъ у своихъ родителей. Кромѣ него, въ семьѣ были еще три дочери, всѣ старше его. Будущій творецъ соціетарной системы съ ранняго дѣтства поражалъ живостью и оригинальностью ума, умѣньемъ наблюдать, замѣчательною памятью и крайней правдивостью. Его отвращеніе къ торговлѣ,—критика которой, какъ извѣстно, послужила отправнымъ пунктомъ всей критики общественнаго строя въ ученіи Фурье,—объяснялось прежде всего именно неспособностью мальчика лгать. Въ одной изъ посмертныхъ рукописей Фурье, напечатанныхъ въ январскомъ номерѣ соціетарнаго журнала «Фаланга» за 1848 г., мы читаемъ слѣдующія, по обыкновенію, на половину юмористическія, на половину глубокія и негодующія строки:

«Разоблачить всѣ интриги биржи и маклеровъ значитъ предпринять одинъ изъ подвиговъ Геркулеса. Я сомнѣваюсь, чтобы этотъ полубогъ, принимаясь за чистку авгіевыхъ конюшенъ, испыталъ столько отвращенія, сколько испытываю я, роясь въ той клоакѣ нравственныхъ нечистотъ, которая называется биржевымъ и маклерскимъ притономъ,—предметъ, который не былъ даже задѣтъ наукой. Чтобы надлежащимъ образомъ трактовать его, надо быть практикомъ изъ молодыхъ ногтей и воспитаться, какъ я, съ шести лѣтъ, въ меркантильныхъ овчарняхъ. Тамъ я уже въ этомъ возрастѣ замѣтилъ контрастъ, царящій между торговлей и истиной. На урокахъ катехизиса и въ школѣ меня учили, что никогда не должно лгать, а потомъ меня отводили въ магазинъ, чтобы съ малолѣтства обучить меня благородному ремеслу лжи, или искусству продажи. Возмущенный продѣлками и обманами, я отводилъ въ сторону покупателей и открывалъ имъ это. Одинъ изъ нихъ былъ настолько неловокъ, что въ пылу жалобъ выдалъ меня, въ результатѣ чего я получилъ здоровую трепку.

Мои родители, видя, что у меня есть вкусъ къ истинѣ, воскликнули тономъ упрека: «этотъ ребенокъ совсѣмъ не годится для торговли». И, дѣйствительно, я почувствовалъ къ ней тайное отвращенія, и въ семь лѣтъ далъ клятву, которую Аннибалъ произнесъ противъ Рима въ девять лѣтъ: я поклялся въ вѣчной ненависти къ торговлѣ. Меня, однако, пустили по этой части противъ моей воли. Явившись въ Ліонъ, куда меня привлекала перспектива путешествія, и дойдя до двери банкира Шерера, къ которому меня провели, я бросился при всѣхъ вонъ на улицу и заявилъ, что никогда не буду купцомъ. Я, такъ сказать, отказался отъ узъ Гименея съ торговлей у самаго алтаря. Тогда меня хотѣли приспособить къ коммерціи въ Руанѣ, но я вторично дезертировалъ. Наконецъ, я склонилъ шею подъ иго ярма и потерялъ свои лучшіе годы въ готовальняхъ лжи, слыша со всѣхъ сторонъ прожужжавшее мнѣ за это время уши зловѣщее предвѣщаніе: «ужь очень честенъ этотъ малый! совсѣмъ не годится для торговли». И, дѣйствительно, я былъ одураченъ и ограбленъ во всемъ, что только ни предпринималъ. Но если я нисколько не гоюсь, чтобы заниматься торговлей, то вполне гоюсь, чтобы разоблачить ее»¹⁾.

Приведемъ вариантъ этого разсказа со словъ наиболѣе выдающагося ученика Фурье, Виктора Консидэрана (лучше Консидрана, такъ, по крайней мѣрѣ, писалъ свою фамилію Considerant, въ то время какъ большинство его соотечественниковъ придерживается орфографіи Considérant). Этотъ вариантъ интересенъ тѣмъ, что въ немъ Консидэранъ кратко, но рельефно изображаетъ исторію выработки ученія Фурье въ связи съ особенностью его характера, выражающеюся въ упомянутомъ разсказѣ. Мы заимствуемъ этотъ вариантъ изъ рѣчи, произнесенной Консидэраномъ у свѣжей могилы учителя:

«Неслыханная вещь! Мы должны искать въ головѣ пяти-

¹⁾ Ch. Fourier, Manuscripts; въ «La Phalange, Revue de la science sociale», 1848, январь, стр. 9—10 (Цитировано у Bourgin, l. c. стр. 54, прим. 2).

лѣтнаго ребенка начала того великаго откровенія, которое Фурье далъ позже міру, и развитіе котораго было работойъ всей его жизни. Мы часто слышали его разсказъ о томъ, какъ, пораженный въ первый разъ ложью торговыхъ отношеній, благодаря случаю, когда онъ былъ наказанъ своими родителями *за то, что сказалъ истину*, онъ въ пять лѣтъ произнесъ противъ торговли Аннибалову клятву. Кто хорошо зналъ геній и характеръ Фурье, тотъ найдетъ его всего цѣликомъ уже въ этомъ возрастѣ.

«Эта клятва, которую онъ такъ замѣчательно сдержалъ, была началомъ его открытія. Ибо, отыскивая средство внести *истину и честность* въ торговый механизмъ, Фурье и пришелъ въ послѣдствіи къ *земледѣльческой ассоціаціи*, къ великому *закону серій* и къ безсмертной теоремѣ *притяженій, пропорціональныхъ человѣческимъ судьбамъ* ¹⁾).

Кромѣ выше сказанныхъ чертъ характера Фурье, слѣдуетъ упомянуть его благородную чувствительность ко всякой несправедливости и вмѣстѣ неустрашимое упорство при достиженіи той или другой цѣли. Еще въ школѣ Фурье неизмѣнно принималъ сторону слабѣйшихъ и съ такимъ жаромъ защищалъ ихъ, что внушалъ почтеніе даже и старшимъ товарищамъ, бросаясь безбоязненно подъ удары враговъ и самъ никогда не прося пощады. Въ младшихъ классахъ безансонской гимназіи онъ уже поражалъ своимъ добрымъ сердцемъ и состраданіемъ къ несчастнымъ. Изъ этого времени сохранился разсказъ о бѣднякѣ, котораго маленькій школьникъ кормилъ въ теченіе долгихъ мѣсяцевъ, унося для того изъ дому свой завтракъ, но не прикасаясь къ нему, несмотря на сильные позывы голода.

Въ умственномъ отношеніи, кромѣ уже упомянутой наблюдательности, мальчикъ отличался богатствомъ недѣтскихъ идей и могучей фантазіей. Такъ, учителя Фурье, который вообще прекрасно занимался, не хотѣли вѣрить, чтобы восьмилѣтній

¹⁾ См. 2-ой октябрьскій выпускъ «Фаланги» за 1837 г. (приведено въ біографіи Фурье, написанной Пелларэномъ: Ch. Pellarin, Charles Fourier. Savie et sa théorie; Парижъ, 2-е изд., 1843, стр. 11—12.

гимназистъ могъ написать на смерть мѣстнаго кондитора полухулистую полусерьезную оду, ходившую по рукамъ въ Безансонѣ и проникнувшую въ стѣны учебнаго заведенія. Оригинальное впечатлѣніе производитъ и разсказъ о первой исповѣди Фурье, потрясеннаго католическими вымыслами объ адскихъ мученіяхъ и считавшаго нужнымъ на всякій случай развернуть передъ остоленѣвшимъ священникомъ такую картину своей душевной черноты и ужасной грѣховности, что благочестивый патеръ прогналъ отъ себя малолѣтнаго злодѣя.

Память у Фурье была не только поразительно обширна, но крайне точна и распространялась не на однѣ общія идеи, а и на конкретные предметы. Разъ слышанныя и видѣнные имъ вещи оставались навсегда въ его головѣ съ необыкновенною рельефностью и отчетливостью вплоть до мельчайшихъ деталей. Друзья его не могли не изумляться, когда слышали изъ его устъ чрезвычайно точное описаніе какого-нибудь города, гдѣ онъ былъ, можетъ быть, всего одинъ разъ, съ его общимъ видомъ, улицами, монументами. Географія, кстати сказать, была любимѣйшимъ предметомъ занятій Фурье; и свои скудныя, какъ увидимъ ниже, средства онъ тратилъ всего охотнѣе на пріобрѣтеніе хорошихъ атласовъ и рѣдкихъ картъ, которыхъ у него набралась цѣлая коллекція. Фурье всегда тянуло, главнымъ образомъ, къ изученію вещей, а не словъ. Его замѣчательная память измѣняла ему только въ области филологіи; и онъ зналъ изъ языковъ лишь латинскій да отчасти греческій, который часто помогалъ ему при составленіи неологизмовъ для его соціетарной системы. Фурье иронизировалъ надъ людьми, которые знаютъ названіе какой-либо вещи на двадцати языкахъ, а самой ея, можетъ быть, и въ глаза не видали. Онъ, наоборотъ, крайне интересовался прежде всего вещами и конкретной стороной дѣла. Любимымъ его времяпрепровожденіемъ было спрашивать различныхъ ремесленниковъ, профессиональных рабочихъ, практиковъ, какъ дѣлается такой-то предметъ, каковъ техническій пріемъ въ такомъ-то производствѣ, и т. д. Его сочиненія испещрены замѣчаніями практическаго характера.

Конкретный характеръ памяти и вообще ума Фурье сказывался и въ его любви къ изящнымъ и техническимъ искусствамъ. Фурье страстно любилъ архитектуру. Онъ не довольствовался тѣмъ, что изучалъ въ деталяхъ стиль и подробности строенія. Но его часто видали ходящимъ подолгу вокругъ какого-нибудь общественнаго зданія и измѣряющимъ его во всѣхъ направленіяхъ и шагами, и при помощи метра, который онъ имѣлъ обыкновеніе носить съ собой на прогулкахъ. Онъ былъ искуснымъ и исполненнымъ вкуса чертежникомъ. Впоследствии, когда заходила рѣчь о практическомъ осуществленіи его «соціетарной» системы, онъ любилъ чертить подробные планы своихъ «фаланстеріевъ», этихъ дворцовъ будущаго человѣчества. Любовь къ изящнымъ формамъ ярко обнаруживается даже въ письмахъ Фурье. Три образца автографовъ великаго утописта, относящіеся къ различнымъ эпохамъ его жизни и приложенные къ книжкѣ Пелларэна (стр. 1), поражаютъ необыкновенно красивымъ почеркомъ и въ особенности изящными флоритурами прописныхъ буквъ. Это больше всего кидается въ глаза, когда разсматриваешь письмо шестидесятилѣтнаго Фурье къ Мюирону, котораго онъ извѣщаетъ объ одной очень серьезной для ихъ общаго дѣла новости, но столь же тщательно выводя и изукрашая завитушками свои буквы, какъ если бы то было на конкурсѣ каллиграфіи.

Съ малолѣтства же Фурье увлекался игрою и сочетаніемъ красокъ. Но эта страсть выражалась у него въ очень оригинальной формѣ. Повидимому, собственно живопись со своими искусственными красками не особенно привлекала его. Но онъ необыкновенно ревностно занимался разведеніемъ цвѣтовъ, стараясь окружить себя возможно большимъ числомъ разновидностей, не только по формѣ, но и по оттѣнкамъ. Вся комната школьника была заставлена безчисленнымъ количествомъ горшковъ съ цвѣтами всевозможныхъ родовъ и красокъ, такъ что свободнымъ оставалось лишь маленькое пространство въ видѣ дорожки, которая вела отъ двери къ окну. Біографы Фурье, къ сожалѣнію, не упоминаютъ, какъ могъ жить въ этой импровизированной теплицѣ будущій создатель

фаланстеріевъ, въ которыхъ какъ разъ играютъ такую роль лѣтніе и зимніе сады.

Кромѣ наслажденія ощущеніями, доставляемыми органами зрѣнія, Фурье отдавался наслажденію слуховыми ощущеніями. Онъ былъ записной меломанъ. Страстно любя музыку, онъ не только самъ безъ чьей бы то ни было помощи выучился играть на нѣсколькихъ инструментахъ, но и писалъ композиціи, а теорію музыки изучилъ въ совершенствѣ. При этомъ онъ пѣлъ, обладая пріятнымъ голосомъ и тонкимъ ухомъ. Людямъ, знакомымъ съ системой Фурье, конечно, извѣстно, какую роль играютъ въ его гармоническомъ обществѣ работа подъ тактъ и при звукахъ музыки, общественные праздники съ хоровымъ пѣніемъ и «соціетарная» опера, роль которой заключается, между прочимъ, и въ томъ, чтобы пріучать съ малолѣтства будущихъ членовъ фаланстеріевъ къ дружеской координаціи движеній въ трудѣ и удовольствіи.

Конкретная сторона ума Фурье не заслоняла, однако, у него и абстрактной. Мы уже не будемъ говорить о томъ, что геометрическое воображеніе было сильно развито у этого великаго утописта, любившаго не только упражняться въ чертежахъ, но и обдумывать механическія задачи. По словамъ его біографовъ, въ возрастѣ 19 лѣтъ, т.-е., значитъ, въ самомъ началѣ XIX в., Фурье уже придумалъ для передвиженія по землѣ систему деревянныхъ и желѣзныхъ рельсовъ, которая предвосхищала гениальное изобрѣтеніе Стивенсона, осуществившаго его на практикѣ лишь болѣе четверти вѣка спустя, а именно въ самомъ концѣ 20-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Въ юности Фурье страстно хотѣлось сдѣлаться инженеромъ, и лишь родные помѣшали ему избрать эту карьеру. Но Фурье отличался и замѣчательной силой абстрагирующей мысли вообще. Это чувствуется на каждомъ шагу при изученіи его произведеній, причудливая форма которыхъ и обиліе конкретныхъ деталей не могутъ замаскировать для внимательнаго читателя рѣдкую способность Фурье къ отвлеченію. Она выражается у него какъ въ проницательности его анализа, расчленяющаго на мельчайшія части сложныя явле-

нія, такъ и въ размахѣ синтеза, сближающаго очень далекіе на первый взглядъ элементы и строящаго изъ нихъ обширныя обобщенія. Теорія страстей и въ частности привлекательности труда блещетъ этими свойствами въ высокой степени. Эта способность къ абстрагированію выражалась зачастую у Фурье въ формахъ, которыя мало знавшимъ его людямъ казались признакомъ крайняго чудачества и даже прямого помѣшательства. Когда какая-нибудь отвлеченная мысль начинала тревожить сознаніе Фурье или когда трудная проблема, входившая въ составъ его системы, настойчиво требовала своего разрѣшенія, великій утопистъ ходилъ словно въ гипнотическомъ снѣ, наполовину не сознавая, что онъ дѣлаетъ. Временами, среди разговора или на прогулкѣ, онъ останавливался, вынималъ изъ кармана записную книжку, набрасывалъ карандашемъ одному ему понятные кабалистическіе знаки или какую-нибудь формулу и возвращался къ предмету бесѣды или снова принимался шагать, но, видимо, лишь съ трудомъ соображая, что происходило вокругъ него. При этомъ онъ зачастую разговаривалъ вслухъ самъ съ собою. И прохожіе съ изумленіемъ смотрѣли на этого чудака, оживленно отвѣчавшаго незримоу собесѣднику. Въ періодъ усиленнаго обдумыванія интересовавшихъ его вопросовъ ему нерѣдко приходилось не спать по нѣскольку ночей подрядъ подъ вліяніемъ напряженія мысли или въ состояніи творческаго энтузіазма.

Не надо, впрочемъ, думать, что Фурье при всей мощи своего абстрагирующаго ума былъ человѣкомъ не отъ міра сего. Наоборотъ, то, что на языкѣ вульгарной морали называется чувственными ощущеніями, всегда имѣло большое значеніе для Фурье. Раньше мы видѣли, какое наслажденіе доставляли ему музыка и цвѣты. Но и такъ называемыя удовольствія стола играли не малую роль въ существованіи Фурье. И не то, чтобы онъ обладалъ большимъ аппетитомъ или былъ изысканнымъ гастрономомъ. Онъ ѣлъ немного и простыя блюда, но за то любилъ, чтобы они были приготовлены какъ слѣдуетъ. Его возмущалъ, напр., полусырой хлѣбъ и поддѣль-

ныя вина дешевыхъ ресторановъ, и онъ, когда ѣлъ тамъ, приносилъ съ собою хлѣбъ и вино, покупая ихъ у извѣстныхъ ему торговцевъ, на добросовѣстность которыхъ могъ полагаться. Не эта ли привычка Фурье объясняетъ слѣдующія, можетъ быть, основанныя на легкомъ недоразумѣніи строки Гейне въ его «Лютеціи?»:

«...Фурье долженъ былъ прибѣгать къ милостынѣ своихъ друзей, и какъ часто я видѣлъ его быстро проходившимъ вдоль колоннъ Палэ-Ройяля въ сѣромъ потертомъ сюртукѣ съ тяжело нагруженными обоими карманами, такъ что изъ одного выглядывало горлышко бутылки, а изъ другого длинный хлѣбъ. Одинъ изъ моихъ друзей, впервые указавшій мнѣ на него, обратилъ мое вниманіе на жалкое матеріальное положеніе этого человѣка, который долженъ былъ самъ покупать себѣ питье въ кабачкѣ и хлѣбъ у булочника»¹⁾.

И опять-таки всѣ, изучившіе систему Фурье, знаютъ, какую роль играетъ въ построеніяхъ этого «великаго поэта голода»,—по великолѣпному выраженію Мишлэ²⁾),—«теорія хорошаго стола, являющаяся основаніемъ соціальной гармоніи», или такъ названная имъ «комбинированная гастрономія», или еще того энергичнѣе названная «гастрософія». Вспомните, съ какимъ презрѣніемъ онъ говоритъ о «философахъ», которые претендуютъ на рѣшеніе великаго общественнаго вопроса, а не умѣютъ рѣшить самой сути его, организациі «лакомства народа», понимая подъ этимъ словомъ всестороннее удовлетвореніе основныхъ матеріальныхъ потребностей человѣка.

Остается еще одна черта для довершенія характеристики Фурье: его отношеніе къ женщинамъ. Его ученики, напр., Пелларэнъ, лишь очень осторожно касались этого деликатнаго вопроса, и хорошо дѣлали въ виду того фальшиваго пу-

¹⁾ См. парижское письмо отъ 15 іюня 1842 г. въ Heinrich Heine, *Lutetia* (глава приложенія «Kommunismus. Philosophie und Klerisei»); т. 5 изданія «Sämtliche Werke» подъ редакціей Бѣльше, Лейпцигъ, стр. 341.

²⁾ Michelet, *Histoire du XIX-e siècle*; Парижъ, 1880, т. I, стр. 3 «новаго изданія».

ританства или же, наоборотъ, того циническаго хихиканья, съ которымъ обсужденіе отношеній между мужчиной и женщиной встрѣчается въ широкихъ слояхъ культурнаго общества. Во всякомъ случаѣ, сильная чувствительность, рѣдкая доброта, вмѣстѣ съ могучимъ воображеніемъ и способностью къ энтузіазму (слово «энтузіазмъ», кстати сказать, принадлежитъ къ числу выраженій, наиболѣе часто употребляемыхъ творцомъ фаланстеріевъ),—эти основныя черты нравственной фizioноміи Фурье позволяютъ думать, что аффективная жизнь его включала любовь, и любовь не къ одной женщинѣ. Фурье остался, какъ извѣстно, холостымъ. Но всѣ его друзья и ученики говорятъ единогласно, что въ немъ не было и тѣни стараго холостяка съ черствымъ сердцемъ и развязными манерами; столь часто характеризующими эту категорію людей. Его обращеніе съ женщинами было совершенно въ духѣ его теоріи, которая съ такою энергіею требовала равноправности двухъ половъ и свободы и искренности любви. Пелларанъ, несмотря на скудость документовъ, относящихся къ этой сторонѣ жизни Фурье, считаетъ возможнымъ предположить, что творецъ соціетарной системы былъ недалекъ отъ идеала, который онъ ставитъ въ фаланстеріи для человѣка, желающаго быть допущеннымъ къ посѣщенію «корпорации весталокъ»:

«Поведеніе мужчины подвергается здѣсь обсужденію, когда онъ претендуетъ на роль ухаживателя (lorsqu'il postule comme poursuivant). Ему не вмѣняютъ въ преступленіе непостоянства, ибо послѣднее имѣетъ свою полезную сторону въ Гармоніи; но за то стараются тщательно узнать, постоянно ли онъ обнаруживалъ, при этихъ различныхъ любовныхъ связяхъ, уваженіе и лояльность по отношенію къ женщинамъ. И тѣ, которыхъ во Франціи называютъ милыми повѣсами, были бы не только исключены; но къ весталкамъ былъ бы закрытъ доступъ всякому, кто проявлялъ бы хоть малѣйшую склонность къ такому характеру.

«То, что въ Гармоніи называется уваженіемъ къ женщинамъ и лояльнымъ ухаживаніемъ, не имѣетъ никакого сход-

ства съ поведеніемъ нашихъ моральныхъ пройдохъ, фальшивая скромность которыхъ представляетъ лишь уловку, чтобы лучше дурачить женъ и дочерей, мужьевъ и отцовъ. Эти сентиментальные іезуиты чаще еще хуже повѣсь, порицаемыхъ ими за ихъ манеры: одни ищутъ только удовольствій, а другіе охотятся за кошелемъ, и ихъ добродѣтели—сухая комедія, которая продѣлывается съ тѣмъ, чтобы сцапать богатую наслѣдницу или пустить по міру почтенную вдову. Ибо цивилизація представляетъ собою въ области любви, какъ и въ области матеріальнаго интереса, всеобщій маскарадъ, о которомъ можно сказать съ Реньяромъ:

«Les meilleurs en un mot ne valent pas le diable,—и лучшіе между ними не стоятъ ни черта»¹⁾.

Одинъ изъ біографовъ Фурье прямо предполагаетъ, что та «трогательная заботливость», та «нѣжная и глубокая симпатія», съ какой судьба женщинъ разсматривается въ сочиненіяхъ творца соціетарной системы, свидѣтельствуетъ о благотвѣтельномъ вліяніи на Фурье его личныхъ опытовъ въ сферѣ любви. У самаго Фурье находится, впрочемъ, указаніе, что его привлекала въ женщинахъ и гораздо болѣе общая уже чисто человѣческая сторона, и онъ придавалъ большое значеніе женскому уму и женскимъ совѣтамъ въ дѣлѣ работы его системы. Правда, Буржэнъ скептически относится къ этому свидѣтельству творца фаланстеріевъ и приписываетъ его «иллюзіи человѣка, у котораго было много воображенія». Онъ считаетъ даже возможнымъ немедленно вслѣдъ за этимъ замѣчаніемъ, утверждать:

«Въ жизни Фурье не находишь слѣдовъ глубокаго и серьезнаго вліянія женщины. Тѣ, объ отношеніяхъ которыхъ къ Фурье сохранилось воспоминаніе, повидимому, не обладали ни большимъ умомъ, ни большимъ чувствомъ. Ведя легкіе разговоры, онѣ подсмѣивались надъ нимъ, но не понимали его»²⁾.

¹⁾ Charles Fourier, Théorie de l'unité universelle, т. IV; составляетъ V-й томъ «Oeuvres complètes»; Парижъ, 1841, 2-е изд., стр. 224—225.

²⁾ Bourgin, l. c., стр. 32—33.

Но Буржэнъ разсуждаетъ здѣсь въ изрядной степени на манеръ официальныхъ представителей науки или даже просто во вкусъ средняго культурнаго мужчины, который находится подъ давленіемъ педантическихъ традицій и, преувеличивая значеніе книжнаго образованія, черезчуръ пренебрежительно относится къ недисциплинированному, но свѣжему уму женщины. Фурье словно предвидѣлъ подобное возраженіе, и въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ указываетъ на значеніе знакомыхъ ему женщинъ для рѣшенія интересовавшихъ его вопросовъ, проводитъ хорошую параллель между мужскимъ и женскимъ умомъ. Я разумѣю слѣдующее мѣсто въ его «Фальшивой промышленности»:

«...Что за пощечина мужскому полу и вмѣстѣ философскимъ наукамъ, еслибы социальная метаморфоза и наступленіе лучшихъ судебъ для міра были дѣломъ женскаго комитета или даже одной какой-нибудь женщины!

«Вольтеръ, къ которому обратились съ просьбой найти тщетно отыскиваемую риему къ слову *coiffe* (чепчикъ), и самъ не могъ найти ее и въ оправданіе сказалъ: «то, что касается головы женщины, не имѣетъ ни риемы, ни смысла, ни ладу, ни складу».

«Я могу опровергнуть эту шутку: въ продолженіе моихъ изслѣдованій, посвященныхъ социетарному строю, я нашелъ гораздо больше смысла у женщинъ, чѣмъ у мужчинъ; потому что нѣсколько разъ онѣ давали мнѣ новыя идеи, которыя приводили меня къ совсѣмъ непредвидѣннымъ рѣшеніямъ задачъ.

«Нѣсколько разъ я былъ обязанъ женщинамъ изъ разряда умовъ, называемыхъ *prime-sautier* (т.-е. тѣхъ, которые быстро схватываютъ и точно выражаютъ идеи безъ промежуточныхъ звеньевъ) драгоценными рѣшеніями, надъ которыми я раньше долго ломалъ голову. Но мужчины никогда мнѣ не были полезны въ этомъ отношеніи.

«Почему же у нихъ не находишь этой способности къ новымъ идеямъ, свободнымъ отъ предразсудковъ? Потому, что у нихъ умъ поработенъ, скованъ философскими предубѣжденіями, которыми ихъ учили въ школахъ. Они выходятъ оттуда съ головой, набитой принципами, которые противны природѣ, и не могутъ свободно отнестись къ новой идеѣ. Если она хоть немного расходится съ Платономъ или Сенекой, они встаютъ противъ нея и бросаютъ проклятіе тому, кто осмѣливается противорѣчить божественному Платону, божественному Катону, божественному Ратону (книжной крысѣ).

«Кондильякъ до меня отмѣтилъ ихъ философское раболѣпство; онъ сказалъ имъ: «новая наука, которую стали бы изучать съ большою ясностью и точностью, оказалась бы не по плечу ученому міру: тѣ, кто ничего не изучалъ, лучше бы поняли ее, чѣмъ тѣ, кто много занимался наукой, а въ особенности тѣ, кто много писалъ».

«Отсюда онъ заключилъ, что должно передѣлать человѣческое пониманіе у нашихъ остроумцевъ.

«Но у женщинъ нечего передѣлывать; образованіе не начинало ихъ философскими предразсудками относительно судебъ человѣчества; онѣ легко понимаютъ, что механизмъ цивилизованнаго строя—антиподъ природы; что онъ представляетъ ниспроверженіе справедливости, отсутствіе свободы истины и разума»¹⁾...

II.

И вотъ такому-то человѣку съ его чувствительностью, воображеніемъ, склонностью къ энтузіазму, рѣдкою способностью наблюдать и запоминать видѣнное и въ то же время съ его могучимъ абстрагирующимъ разсудкомъ пришлось жить и зарабатывать свой хлѣбъ среди людей лавки и биржи. Мы уже видѣли раньше, съ какимъ отвращеніемъ онъ относился къ торговлѣ. А между тѣмъ именно въ этой сферѣ должна была протечь большая часть его существованія, и притомъ на низшихъ ступеняхъ коммерческаго міра. Отецъ Фурье умеръ въ 1781 г., когда Шарлю было всего 8 лѣтъ, и оставилъ женѣ и дѣтямъ очень значительную по тому времени сумму въ 200,000 ливровъ (франковъ), изъ нихъ 80,000 на долю сына. Но крахъ фирмы, въ которую вложила капиталы мать Фурье, поглотилъ почти все состояніе. И вдова коммерсанта съ удвоенной энергіей стала толкать своего сына въ сторону торговой профессіи. Наканунѣ революціи Фурье хотѣлъ было поступить въ военное инженерное училище; но отъ кандидатовъ требовалось благородное происхожденіе. И, несмотря на просьбы сына купить ему дворянскій титулъ,

¹⁾ La Fausse industrie morcelée, répugnante, mensongere etc.; Парижъ, 1835—1836, т. I, стр. 236—237.

мать Фурье рѣшительно отказалась отъ этой крупной издержки, такъ что, по окончаніи курса гимназіи, 17-лѣтній Шарль, несмотря на все свое сопротивленіе, вошелъ въ одну изъ «меркантильныхъ овчаренъ» по продажѣ матерій, и въ 1790 г. мы видимъ его изучающимъ ремесло комиссіонера въ Ліонѣ, Руанѣ и Парижѣ.

Фурье со свойственной ему склонностью къ организаторской, устрояющей сторонѣ всякаго предпріятія съ жаромъ привѣтствовалъ реформы, которыя ознаменовали начало Великой революціи. Но онъ, къ сожалѣнію, не понималъ всей грозной необходимости разрушенія старыхъ политическихъ формъ. Свирѣпая борьба партій, окончившаяся временнымъ торжествомъ крайнихъ республиканцевъ и стоившая лично Фурье потери его небольшого состоянія и чуть не самой жизни, была, повидимому, одной изъ причинъ, заставившихъ будущаго творца гармоніи съ отвращеніемъ относиться къ революціоннымъ переворотамъ и вообще къ политической дѣятельности. Въ продолженіе почти трехъ лѣтъ, которые Фурье провелъ въ Ліонѣ, а именно съ 1790 по 1793 г., онъ видѣлъ, впрочемъ, не одну гражданскую войну, но и войну социальную, выражавшуюся въ рѣзкой борьбѣ крупныхъ фабрикантовъ-скупщиковъ и мелкихъ мастерковъ шелковой промышленности. Торговый и индустріальный кризисъ, разразившійся въ эту смутную пору надъ всей Франціей, еще болѣе обострялъ хроническое столкновеніе классовыхъ интересовъ. И въ душѣ тонкаго и чувствительнаго наблюдателя, созерцательной натурѣ котораго претила насильственная дѣятельность, могло естественно зародиться утопическое желаніе примирить въ высшемъ гармоническомъ единствѣ (или, выражаясь точнѣе въ духѣ социетарнаго ученія, «контрастѣ») два великихъ социальныхъ класса.

Отнынѣ начинается бродячая жизнь Фурье по Франціи и отчасти по Германіи и Голландіи въ качествѣ разъѣзднаго приказчика, конторщика, бухгалтера, отправителя товаровъ, комиссіонера, биржевого «зайца»,—жизнь, которая лишь въ самомъ началѣ ея, при Директоріи, была прервана вынужден-

ною двухлѣтнею службою Фурье въ конно-егерскомъ полку. Къ этому времени, по словамъ создателя социетарной системы, относится его «открытіе». Въ 1799 г. ему было поручено однимъ торговымъ домомъ въ Марсели, спекулировавшимъ по скупкѣ рису, выбросить тайно въ море цѣлый грузъ этого продукта, чтобы избѣгнуть пониженія цѣны на рынкѣ. Эта операція должна была въ глазахъ тонкаго наблюдателя получить значеніе цѣлаго откровенія, разъясняющаго смыслъ современнаго экономического строя. И около этой же эпохи съ Фурье произошелъ пустой, повидимому, случай, который сыгралъ, однако, рѣшающую роль при выработкѣ мыслителемъ социетарной системы. Ему пришлось обѣдать въ одномъ изъ парижскихъ ресторановъ съ знакомымъ коммивояжеромъ, который при расчетѣ долженъ былъ заплатить 14 су (70 сантимовъ) за одно яблоко, въ то время, какъ въ мѣстности, изъ которой только что вернулся Фурье, можно было купить за эту сумму сотню подобныхъ, если не лучшихъ яблокъ. Это яблоко, по словамъ Фурье, дало его мысли такой же толчокъ, какой дало въ извѣстномъ анекдотѣ падающее яблоко Ньютону. Съ нимъ, кстати сказать, творецъ гармоніи всегда сравнивалъ себя, утверждая, что какъ Ньютонъ открылъ законъ физическаго тяготѣнія, такъ онъ открылъ законъ тяготѣнія нравственнаго. Упомянутое яблоко навело Фурье на размышленіе объ «основномъ безпорядкѣ индустріальнаго механизма»; и въ результатѣ четырехлѣтняго усиленнаго обдумыванія причинъ такой гигантской разницы въ цѣнахъ явилась «теорія серій».

Мы не можемъ, конечно, сказать, въ какой степени точно самъ Фурье на разстояніи столькихъ лѣтъ могъ оцѣнить значеніе случайности, ставшей отправнымъ пунктомъ его размышленій. Возникаетъ вопросъ, не прикрашена ли тутъ совершенно безсознательно для самого автора роль семидесяти-сантимнаго плода. Но не надо забывать, что и въ рассказѣ о яблокѣ Ньютона, какъ во всякомъ аналогичномъ рассказѣ о внезапномъ наитіи творческой мысли, легендарный элементъ играетъ несомнѣнную роль. Какъ бы то ни было, повѣствованіе Фурье объ условіяхъ «открытія» вѣрно въ томъ смыслѣ,



Соціалісти Запада и Россіи.

133796

что великій утопистъ былъ обязанъ своей системой почти исключительно себѣ и своему оригинальному уму. Очень тщательныя изслѣдованія Буржэна въ этой области показываютъ, какъ мало Фурье заимствовалъ у своихъ предшественниковъ или современниковъ сроднаго (соціалистическаго) направленія; и какъ вообще незначительна была доля знанія, приобрѣтеннаго имъ путемъ изученія книжныхъ источниковъ.

Фурье читалъ первое время много, но безпорядочно. А когда его собственная система стала складываться въ его головѣ, онъ почувствовалъ отвращеніе къ книгамъ. Онъ если и принимался иногда за нихъ, то сразу хватаясь за нѣсколько, ища въ нихъ подтвержденія или указанія на частныя занимавшія его вопросы, прочитывая оттуда и отсюда нѣсколько страницъ и сейчасъ же бросая ихъ въ сторону. Онъ любилъ, однако, всегда посѣщать кабинетъ для чтенія и внимательно просматривалъ журналы, а въ особенности газеты, извлекая изъ нихъ подкрѣплявшіе его теорію факты или же отдѣльныя мысли, которыя могли интересовать его съ той или другой стороны. Можно во всякомъ случаѣ считать твердо установленнымъ, что Фурье былъ знакомъ даже съ очень крупными мыслителями лишь такимъ косвеннымъ способомъ. Онъ говоритъ не одинъ разъ о Кантѣ, Шеллингѣ, Фихте, но самъ признается, что говоритъ только «по наслышкѣ», ибо «никогда не могъ понять и одной единственной страницы во всей наукѣ Канта и другихъ идеологовъ». Даже сочиненія знаменитыхъ французскихъ писателей врядъ ли ему были извѣстны, кромѣ нѣкоторыхъ часто цитируемыхъ въ литературѣ мѣстъ. Такъ, по всей вѣроятности, цитаты изъ Вольтера, Руссо, Монтескье, Дидро, встрѣчающіяся у Фурье, взяты имъ по большей части изъ вторыхъ рукъ: ихъ всего съ полдюжины, и онѣ повторяются и въ видѣ эпиграфовъ, и въ самомъ текстѣ.

Манера чтенія Фурье напоминаетъ такимъ образомъ въ сильной степени манеру Конта съ тою лишь разницей, что у великаго утописта это отвращеніе къ книгамъ было дѣломъ чувства и темперамента, тогда какъ у родоначальника позитивизма такое отношеніе было результатомъ сознательной

дисциплины ума. Напомню слѣдующее мѣсто изъ «Личнаго предисловія» Конта къ послѣднему тому его «Положительной философіи»:

«Я всегда думалъ, что у современныхъ философовъ, которые въ этомъ отношеніи по необходимости менѣе свободны, чѣмъ философы древности, чтеніе сильно вредитъ размышленію, портя одновременно и его оригинальность, и его однородность. Сообразно съ этимъ, быстро собравъ въ первой молодости всѣ матеріалы, казавшіеся мнѣ подходящими для великой выработки системы, основной духъ которой я уже болѣе или менѣе сознавалъ, я, вотъ уже двадцать лѣтъ по крайней мѣрѣ, какъ взялъ по отношенію къ себѣ, въ качествѣ умственной гігіены, обязательство, порою стѣснительное, но чаще счастливое, никогда не читать ничего, что могло бы имѣть важную, даже косвенную связь съ какимъ-либо предметомъ, которымъ я занимаюсь въ настоящее время, подъ условіемъ сознательно отложить на будущее, въ соотвѣтствіи съ этимъ принципомъ, приобрѣтеніе новыхъ внѣшнихъ свѣдѣній, какія я сочту полезными»¹⁾.

И въ области «конечной» соціальной науки Контъ совершенно открыто признавался, что «ни на одномъ языкѣ» не читалъ ни Вико, ни Канта, ни Гердера, ни Гегеля; и что знаетъ ихъ сочиненія лишь косвеннымъ путемъ и въ очень недостаточной степени, на основаніи нѣкоторыхъ отрывковъ. Правда, онъ обѣщалъ самому себѣ выучиться въ скоромъ времени «на свой ладъ» нѣмецкому языку и познакомиться съ этими мыслителями, чтобы опредѣлить отношеніе «главнѣйшихъ нѣмецкихъ школъ» къ обобщающей работѣ собственной мысли. Но, по его же словамъ, его философія была уже «безвозвратно установлена». И, предвидя нѣкоторыя неудобства отъ своей «умственной гігіены», онъ тѣмъ не менѣе приписывалъ ей вліяніе на ясность и послѣдовательность своего основного міровоззрѣнія.

¹⁾ Auguste Comte, Cours de philosophie positive, Парижъ, 1869, т. VI третьяго изд., стр. 34.

У Фурье не было и такой оговорки. Онъ прямо заявлялъ, что ему нечего учиться у писателей древнихъ и новыхъ временъ, и объяснялъ оригинальность своего «открытія» тѣмъ, что не боялся практиковать приѣмъ «абсолютнаго сомнѣнія» и «абсолютнаго отклоненія» по отношенію къ работѣ мысли цѣлыхъ тысячелѣтій цивилизації. Какъ бы ни была значительна доля иллюзіи въ этомъ горделивомъ признаніи,—ибо намъ приходится плавать въ извѣстной умственной атмосферѣ, создаваемой не однѣми книгами, но также и мнѣніями окружающихъ и въ томъ числѣ идеями великихъ мыслителей, перешедшими въ общественное сознаніе и ставшими достояніемъ всѣхъ и каждого,—какъ бы, говорю я, ни была здѣсь велика доля иллюзіи, питаемой Фурье, онъ во всякомъ случаѣ рѣзко отстранялся отъ книжнаго приобрѣтенія знаній. Сохранился рассказъ самого же Фурье о томъ, какъ онъ взялъ было философскій трактатъ Кондильяка, но, прочитавъ нѣсколько страницъ, чуть было не заснулъ и бросилъ его въ сторону. За то Фурье любилъ, какъ мы видѣли, вылавливать факты и отдѣльныя мнѣнія изъ чтенія ежедневной и періодической печати. Онъ напоминаетъ этимъ уже нашего современника Жюль Гэда, а не Конта, который въ послѣдніе четыре года, предшествовавшіе выходу въ свѣтъ заключительнаго тома «Положительной философіи», сознательно отказался отъ чтенія газетъ и журналовъ, а читалъ лишь еженедѣльные отчеты Академіи наукъ, изъ боязни отвлекаться отъ основной цѣли «интересами дня» (*chaque considération journalière*). Фурье учился такимъ образомъ почти исключительно по книгѣ жизни, не отвращаясь, однако, отъ отголосковъ ея великаго текста въ текущей печати. Какъ бы то ни было, его личный опытъ и его наблюдательность доставили наибольшую часть элементовъ, которые перерабатывались его конструирующимъ умомъ въ систему будущей гармоніи.

Мишлэ, съ свойственнымъ ему даромъ гениальнаго угадыванія даже при отсутствіи положительныхъ документовъ, бросилъ яркую фразу, характеризующую Фурье и подтверждаемую нынѣ тщательнымъ изслѣдованіемъ вопроса. Эта фраза нахо-

дится въ посмертныхъ запискахъ великаго историка, который, по словамъ профессора Моно, являющагося теперь душеприказчикомъ Мишлэ послѣ смерти его вдовы, набросалъ пять лѣтъ спустя послѣ выхода въ свѣтъ своей «Исторіи революцій» слѣдующую мысль: «Кто создалъ Фурье? Ни Анжъ, ни Бабёфъ: городъ Ліонъ—вотъ единственный предшественникъ Фурье»¹⁾. Словомъ, не слѣдуя во всѣхъ подробностяхъ за Буржэномъ въ его почти микрологическомъ изслѣдованіи Фурье, мы можемъ сказать, что въ общемъ великій утопистъ былъ правъ, когда онъ съ жаромъ защищалъ оригинальность своей мысли и уморительно свирѣпо нападалъ за «шарлатанство» на родственныхъ ему великихъ же утопистовъ Сэнъ-Симона и Оуэна, обвиняя ихъ въ непростительномъ плагиатѣ.

Первые труды Фурье стали появляться съ 1800 г. въ мѣстныхъ (ліонскихъ) газетахъ, особенно въ «Bulletin de Lyon». Но они были далеко не тѣмъ, чего могъ бы ожидать читатель отъ творца будущей системы. То были по большей части веселыя и фривольныя пьесы и стихотворенія, рассчитанныя главнымъ образомъ на женскую публику. Интересно, однако, что въ одномъ изъ юмористическихъ отвѣтовъ редакціи, писанныхъ неизвѣстной дамой, встрѣчается уже просьба, обращенная къ Фурье, сообщить, въ какомъ положеніи находятся его работы по «соціальной гармоніи, которая должна послѣдовать за цивилизаціей». Эти выраженія, столь типичныя для общаго міровоззрѣнія Фурье, показываютъ, что уже въ эту раннюю пору великій утопистъ имѣлъ кружокъ лицъ, посвященныхъ въ основы вырабатывавшейся имъ системы. Во всякомъ случаѣ вслѣдъ за любезнымъ приглашеніемъ корреспондентки послѣдовалъ немедленный отвѣтъ Фурье въ формѣ короткой статьи, помѣщенной въ томъ же номерѣ «Bulletin de Lyon», что и письмо дамы, и озаглавленный «Всеобщая Гармонія». Это первый серьезный трудъ Фурье, гдѣ уже находится вся его послѣдующая система. Дѣло происходило въ мѣсяцѣ фримеръ XII-го года (декабрь 1803 г.) единой, великой

¹⁾ См. Bourgin, I. c., прим. 4 къ стр. 95.

и нераздѣльной республики, которая фактически уже стала Имперіей. Великій утопистъ уже возвѣщалъ міру свое открытіе «страстнаго притяженія» или «взаимнаго тяготѣнія страстей» (по-русски трудно подыскать точное выраженіе, соотвѣтствующее энергичному термину «attraction passionnée», придуманному Фурье). Строй, основанный на моральномъ притяженіи, внесетъ такую же гармонію въ человѣческой міръ, какая осуществлена въ мірѣ физическомъ, повинующемся закону матеріальнаго притяженія. Словомъ, въ этой статьѣ уже есть всѣ основныя идеи Фурье, и не произнесено лишь слова «ассоціація», хотя описанъ механизмъ этой формы общенія, играющей такую роль въ соціетарной системѣ.

Проходитъ четыре года, которые Фурье провелъ, повидавшему, въ самомъ серьезномъ обдумываніи своего ученія. За это время у него уже накопилось восемь рукописей, не доведенныхъ, впрочемъ, до конца и тракующихъ болѣе или менѣе независимыя темы. Онъ не выдерживаетъ долѣе и въ 1808 г. печатаетъ подъ заглавіемъ «Теорія четырехъ движеній» ¹⁾ первый изъ этихъ «мемуаровъ» и вмѣстѣ съ тѣмъ первый изъ своихъ значительныхъ трудовъ. Уже здѣсь, какъ показываетъ заглавіе книги, Фурье кладетъ въ основаніе своего ученія тождество «четырехъ движеній», а именно: «матеріальнаго, органическаго, животнаго и соціальнаго». Но эта фантастичная и длинно развиваемая метафизика не мѣшаетъ Фурье, когда онъ подходитъ къ разсмотрѣнію соціальнаго движенія,—открытіе законовъ котораго онъ съ гордостью приписываетъ себѣ,—показать съ большой оригинальностью и энергіею значеніе двухъ основныхъ принциповъ своей системы: принципа ассоціаціи и принципа страстнаго притяженія. Несмотря на причудливость формы, на безпорядочную общую архитектуру книги и на непропорціональность частей, это произведеніе Фурье уже производитъ впечатлѣніе силою и свѣ-

¹⁾ Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Prospectus et annonce de la découverte; Лейпцигъ (Ліонъ), 1808.

жестью мысли. Не напрасно ученики Фурье, издавая болѣе тридцати лѣтъ спустя полное собраніе его сочиненій, такъ оцѣнивали эту книгу, трудности изложенія которой они не могли совершенно отрицать:

«Эта книга есть первый взрывъ генія; это—блестящее и великолѣпное изверженіе, бросающее во всѣ стороны волны поэзіи, энтузіазма и науки, внезапный свѣтъ которыхъ открываетъ уму тысячи неизвѣстныхъ, безграничныхъ горизонтовъ, но съ тѣмъ, чтобы сейчасъ же снова закрыть ихъ, и производящее на умъ впечатлѣніе ослѣпительнаго зрѣлища, гигантской фантазмагоріи ¹⁾».

Пикантную сторону этой книги составляетъ, между прочимъ, увѣренность Фурье въ томъ, что Наполеону I, который въ то время находился въ апогеѣ военной славы и неограниченной власти, предстоитъ осуществить на земномъ шарѣ соціетарную систему. Изъ-подъ пера Фурье (въ концѣ 1-й части труда) выливается горячій дифирамбъ во славу «новаго Геркулеса», который «долженъ воздвигнуть всеобщую гармонію на развалинахъ варварства и цивилизаціи». Но прославляемый творцомъ фаланстеріевъ полубогъ столь мало заботился о выполненіи провиденціальной миссіи, возложенной на него Фурье, что сама «теорія четырехъ движеній» не могла быть открыто напечатана во Франціи. Издатель для отвода глазъ императорской цензурѣ вынуженъ былъ поставить на обложкѣ «Лейпцигъ» вмѣсто Ліона, гдѣ книга дѣйствительно набиралась.

Этотъ первый большой трудъ Фурье не имѣлъ никакого успѣха, хотя авторъ, напечатавшій его анонимно («Шарль изъ Ліона»), сдѣлалъ съ своей стороны все, что могъ, чтобы обратить на свое сочиненіе вниманіе публики. Онъ разослалъ его во многіе книжныя магазины Германіи, Италіи, Голландіи, Швейцаріи и сопровождалъ экземпляры указаніемъ для книгопродавцевъ, кому изъ мѣстныхъ вліятельныхъ журналистовъ,

¹⁾ Théorie des quatre monvements et des destinées générales; «Oeuvres complètes», т. I, Парижъ, 1841, 2-е изд., стр. ij—iij (sic!)

ученыхъ, критиковъ слѣдовало адресовать трудъ для разбора. Онъ и съ своей стороны практиковалъ тотъ же способъ разсылки извѣстныхъ литераторамъ и общественнымъ дѣятелямъ. Все было тщетно. Книга осталась незамѣченной. И вотъ Фурье, который и самъ былъ недоволенъ нѣкоторыми сторонами ея, въ особенности неполнотою и отрывочностью данныхъ о будущемъ строѣ, рѣшилъ написать болѣе обширное и подробное сочиненіе. Обстоятельства сложились такъ, что у него было теперь больше свободного времени. Въ 1812 г. умерла его мать, которая, зная неумѣнье сына практически устроиться, оставила ему небольшую ренту. А съ 1816 г. ему начали оказывать поддержку его сестры и друзья, особенно нѣкто Жюстъ Мюиронъ, его первый по времени ученикъ, обѣщавшій Фурье взять на себя всѣ издержки по изданію новой книги, которая, по мысли создателя гармоніи, должна была замѣнить «Теорію четырехъ движеній». Живя въ скромныхъ условіяхъ, но освободившись отъ необходимости заниматься вплотную для поддержанія жизни ненавистой ему торговлей, Фурье тѣмъ съ большимъ жаромъ погрузился въ критику современнаго промышленнаго механизма и въ идеальное конструированіе гармоническаго строя, который долженъ замѣнить настоящіе хаотическіе порядки. Этой двойственной задачѣ, и особенно послѣдней ея части, и удовлетворялъ второй, на сей разъ очень большой трудъ Фурье, вышедшій въ 1822 г. подъ заглавіемъ «Трактатъ о домашней земледѣльской ассоціаціи» ¹⁾ а впоследствии изданный учениками подъ заглавіемъ «Теорія всеобщаго единства» ²⁾. Такъ, впрочемъ, и самъ Фурье хотѣлъ назвать свой трудъ еще въ первомъ изданіи, и не безъ основанія. Устройство домашней и земледѣльской ассоціаціи, которая впервые была не только описана Фурье, но названа своимъ настоящимъ именемъ, являлось, въ мнѣніи самого автора системы, лишь началомъ, лишь отправнымъ пунктомъ

¹⁾ *Traité de l'association domestique agricole*; Парижъ и Лондонъ, 1822, 2 т.

²⁾ *Théorie de l'unité universelle*; составляетъ томы 2—4 «*Oeuvres complètes*».

переустройства всего общества, мало того, внесенія гармоніи во всю вселенную.

Любопытно, что упоминаніе въ заглавіи книги объ ассоціаціи и эпитеты «домашняя» и «земледѣльская» дали по явному недоразумѣнію труду Фурье читателей изъ того разряда, который бы, пожалуй, и не взялся за «Теорію всеобщаго единства». Я живо помню рассказъ покойнаго П. Л. Лаврова о томъ, какъ онъ познакомился съ великимъ утопистомъ. Совсѣмъ молодымъ офицеромъ будущій авторъ «Историческихъ писемъ» пріѣхалъ въ родовое имѣніе, и здѣсь отецъ его предложилъ ему «агрономическій учебникъ» Фурье, въ каковомъ учебникѣ старый баринъ не могъ понять ничего, прося сына объяснить ему непонятныя отступленія автора отъ сельскаго хозяйства въ сторону какихъ-то «страстей», какихъ-то «фаланстеріевъ» и уже совсѣмъ непонятной вселенской «гармоніи». Есть и другія указанія, что «Трактатъ» Фурье нашелъ извѣстную пропорцію читателей по недоразумѣнію, подобныхъ отцу Лаврова ¹⁾. Во всякомъ случаѣ, вторая работа Фурье встрѣтила сравнительно больше сочувствія. Книга продавалась сравнительно мало, и большая публика продолжала игнорировать социетарную систему. Но «Трактатъ» не прошелъ совершенно незамѣченнымъ въ прессѣ, и нѣкоторыя статьи, появившіяся три-четыре года спустя послѣ выхода ея въ свѣтъ, обнаруживаютъ уже значительное пониманіе основныхъ идей Фурье. Авторъ остался, попрежнему, вѣренъ своей странной манерѣ изложенія и даже усилилъ порцію неологизмовъ и причудливыхъ рубрикъ, образованныхъ при помощи греческихъ и особенно латинскихъ предлоговъ, въ родѣ «*прелюдія*», *цислюдія*, *постлюдія*, *эписекція*, и такъ безъ конца. Но критика современнаго строя стала еще глубже и еще рельефнѣе. И описаніе гармоническаго общества коснулось сторонъ, которыя были едва-едва намѣчены въ первомъ трудѣ. Такова роль «сентиментальной любви», представляющей дополненіе къ «чувственной», въ выработкѣ социетарной

¹⁾ См. ниже эту же о П. Л. Лавровѣ.

системы. Таково значеніе воспитанія, которое Фурье ставитъ на совершенно новыхъ основаніяхъ, и по поводу котораго онъ высказываетъ массу свѣжихъ идей. только въ послѣднее время начинающихъ распространяться въ педагогическихъ сферахъ.

Желаніе Фурье видѣть на практикѣ осуществленіе своихъ плановъ и увѣренность, что въ теченіе немногихъ лѣтъ режимъ фаланстеріевъ распространится съ пробнаго «кантона» на весь земной шаръ, высказываются неоднократно и съ неустанной энергіей. Авторъ обращается и къ «филантропамъ», и къ «либераламъ», и къ «журналистамъ», и къ «монархамъ», стараясь заинтересовать всѣ эти категоріи возможныхъ читателей въ организациі гармоніи на землѣ и прельщая ихъ перспективами славы, почестей, милліардовъ дохода и т. д. Съ этого времени Фурье начинаетъ ждать съ особымъ упованіемъ лицо съ капиталами, или «кандидата», — какъ любилъ выражаться онъ, — который рѣшится вложить значительныя суммы въ соціетарное предпріятіе. Всѣми изложенными способами онъ извѣщалъ публику, что его дверь открыта всякое утро для людей, желающихъ благодѣтельствовать человѣчество своими капиталами, употребивъ ихъ на устройство фаланстеріевъ. Но хотя Фурье съ несокрушимой вѣрой ждалъ пришествія такихъ посѣтителей въ свою скромную квартирку, дѣйствительно серьезныхъ «кандидатовъ» не оказывалось. Съ Овэномъ, объ опытахъ котораго онъ узналъ изъ газетъ, у него завязались было сношенія. Но англійскій филантропъ-соціалистъ не пожелалъ быть инициаторомъ соціетарнаго строя. И все дѣло ограничилось перепискою Фурье съ секретаремъ учредителя нью-ланаркской колоніи, да свирѣпою ненавистью, которую авторъ фаланстеріевъ сохранилъ до конца жизни къ за-ламаншскому сопернику по части устройства совершеннѣйшаго общежитія людей.

За то съ половины 20-хъ годовъ у Фурье образуется школа, которая пріобрѣтаетъ значеніе со вступленія въ ряды учениковъ совсѣмъ молодого, но очень талантливаго инженера Виктора Консидерана. Благодаря усиліямъ этого самаго выдающагося фурьериста, ученіе творца фаланстеріевъ начи-

наетъ пріобрѣтать себѣ все больше сторонниковъ въ публикѣ и прежде всего въ рядахъ сэнъ-симонистовъ, часть которыхъ отпадаетъ отъ прежней доктрины, чтобы присоединиться къ новой. Между тѣмъ, судьба продолжаетъ преслѣдовать самого Фурье, который для пополненія скудныхъ ресурсовъ, доставляемыхъ ему родственниками и друзьями, принужденъ снова приняться за ненавистную ему торговлю. Въ 1826 г. онъ поступаетъ приказчикомъ въ парижское отдѣленіе одной американской фирмы. И, повидимому, это мѣсто даетъ ему нѣкоторую обезпеченность положенія, такъ что онъ можетъ приняться за новое сочиненіе, въ которомъ онъ хочетъ резюмировать въ болѣе популярной формѣ свою систему и которое поэтому съ нетерпѣніемъ ожидается его учениками.

Оно появляется въ 1820 г. подъ названіемъ «Новый промышленный и соціетарный міръ» ¹⁾ и преслѣдуетъ прежде всего практическую цѣль пропаганды и пріобрѣтенія сторонниковъ режима, основаннаго, какъ гласитъ само полное заглавіе книги, на «привлекательной и естественной промышленности, распределенной между серіями страстей». Чтобы произвести большее впечатлѣніе на публику, Фурье принимается за рядъ рефератовъ, имѣющихъ задачею познакомить желающихъ съ основами соціетарнаго ученія; и вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣрный своему обычному приему, разсылаетъ книгу вліятельнымъ людямъ вплоть до министра Полиньяка, котораго всего черезъ нѣсколько мѣсяцевъ должна была вымести изъ рядовъ правящаго персонала огненная метла іюльской революціи. Утопическая мысль, будто коренное измѣненіе экономическихъ условій возможно при всякомъ политическомъ строѣ, и, стало быть, основатель новой системы можетъ разсчитывать для его осуществленія на любое правительство, составляетъ общее достояніе великихъ утопистовъ начала XIX-го вѣка. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что,

¹⁾ Le nouveau monde industriel et societaire, ou invention de procédé d'industrie attrayante et naturelle distribuée en séries passionnées; Парижъ, 1829 г. Составляетъ т. VI и послѣдній «Oeuvres complètes».

равнодушно относясь къ политическимъ революціямъ, авторъ видѣлъ въ нихъ лишь доказательство крайне серьезной болѣзни, которою страдаетъ экономическій организмъ, и, ничтоже сумняшеся, обращался со своимъ предложеніемъ водворить соціетарный строй ко всѣмъ режимамъ безъ исключенія. Если при Бурбонахъ онъ посылалъ свои книги и планы переустройства аристократическимъ министрамъ, писавшимъ пресловутые ордоннансы, то при Орлеанахъ онъ старался заинтересовать въ своихъ фаланстеріяхъ такихъ типичныхъ буржуа, какими были владѣлецъ каменноугольныхъ копей Казиміръ Перье и банкиръ Лаффиттъ, и даже составилъ мемуаръ для самого «короля-гражданина».

Какъ бы то ни было, короли божіею милостью и короли волею народа не отвѣчали на пламенные увѣщанія Фурье стать благодѣтелями человѣчества, устроивъ опытъ гармоніи сначала на ограниченной территоріи, а затѣмъ заразивъ примѣромъ и все человѣчество. Что касается до частныхъ филантроповъ, то Фурье нашелъ, наконецъ, лицо, принадлежавшее къ этой категоріи, въ образѣ нѣкоего Бодэ-Дюлари, депутата отъ департамента Сены-и-Уазы. Плѣненный радужными перспективами, которыя набрасывала мощная фантазія Фурье, этотъ давно желанный и обрѣтенный, наконецъ, «кандидатъ» рѣшилъ купить 500 гектаровъ земли въ Кондэ-на-Вэгрѣ (возлѣ Рамбуилье, въ 60 верстахъ отъ Парижа) и основать компанію на акціяхъ для учрежденія «соціетарной колоніи» по плану Фурье. Увы! крахъ этого предпріятія въ самомъ началѣ показалъ, какъ фантастичны планы пересозданія общества лабораторнымъ, если можно такъ выразиться, путемъ, при помощи насажденія идеальныхъ питомниковъ будущаго строя, на почвѣ и среди желѣзныхъ условій современнаго режима, основаннаго на конкуренціи. Не мудрено, что этотъ неудавшійся опытъ «подлилъ всего больше горечи въ послѣдніе годы существованія Фурье», какъ выражается одинъ изъ біографовъ-учениковъ ¹⁾, который утверждаетъ,

¹⁾ Pellarin, l. c. стр. 116—117.

впрочемъ, что дѣло не пошло именно потому, что организаторы обратили недостаточно вниманія на указанія Фурье ¹⁾).

Лучше, чѣмъ съ практическими эспериментами, обстояло дѣло съ пропагандой идей фурьеризма. Въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ ученики великаго Фурье образуютъ уже дѣятельную, исполненную энтузіазма секту, которая въ Парижѣ и въ провинціи успѣваетъ, наконецъ, пробить въ извѣстныхъ слояхъ публики ледяную кору равнодушія. Вербуясь главнымъ образомъ изъ буржуазіи,—сельскихъ хозяевъ, фабрикантовъ, рантье средней руки, мировыхъ судей, инженеровъ, офицеровъ,—школа Фурье въ лицѣ большинства своихъ адептовъ чуждалась рабочихъ, боясь, что они недостаточно подготовлены къ воспріятію соціетарнаго ученія и могутъ, молъ, грубо исказить и даже превратить въ орудіе опасныхъ соціальныхъ опытовъ идеи «притяженія страстей». Нѣкоторые, впрочемъ, въ родѣ Консидэрана, все далѣе и далѣе шли по пути демократизаціи ученія какъ въ смыслѣ подчеркиванія республиканскихъ принциповъ, такъ и въ дѣлѣ пріобрѣтенія сторонниковъ между трудящимися классами. Какъ бы то ни было, въ 30-хъ годахъ Фурье уже могъ опираться на немногочисленныхъ, но вѣрныхъ учениковъ, смотрѣвшихъ на него съ чувствомъ глубочайшаго почтенія, или, лучше сказать, религіознаго энтузіазма, сквозь призму котораго создатель гармоніи являлся настоящимъ мессіею. Однако, это не мѣшало, по крайней мѣрѣ, нѣкоторымъ изъ нихъ, скептически относиться къ практическимъ организаторскимъ способностямъ Фурье и даже къ его дару популярнаго изложенія. Съ 1832 г. стала выходить подъ названіемъ «Фаланстерій», а вскорѣ подъ названіемъ «Промышленная реформа, или Фаланстерій» еженедѣльная фурьеристская газета, гдѣ Фурье принадлежало первое мѣсто, тогда какъ вокругъ него группировались наи-

¹⁾ См. о неудачѣ подобныхъ же соціальныхъ экспериментовъ по формулѣ Фурье на территоріи Заатлантической республики въ недавно переведенной на русскій языкъ книгѣ: Морисъ Хилкуитъ, Исторія социализма въ Соединенныхъ Штатахъ. Спб., 1907, стр. 59—85 (Библіотека «Общественной пользы»).

болѣе вѣрные или выдающіеся ученики въ родѣ Консидерана, Мюирона, Пелларэна, Клары Вигурё и т. п. Не одинъ изъ послѣдователей и сотрудниковъ Фурье выражалъ желаніе, чтобы глава школы являлся вдохновителемъ органа, но самъ писалъ какъ можно меньше въ газетѣ, рассчитанной и не на посвященныхъ, сосредоточивая свою литературную дѣятельность на дальнѣйшей теоретической выработкѣ ученія. Въ «Фаланстеріи», однако, а затѣмъ передъ самой смертью своей въ «Фалангѣ» Фурье помѣстилъ очень много обширныхъ статей, часть которыхъ разрослась до размѣра настоящихъ трактатовъ. Нѣкоторыя изъ этихъ статей вошли главами въ его послѣдній большой трудъ «Фальшивая промышленность», полное заглавіе котораго уже само говоритъ о разнообразіи предметовъ, затронутыхъ въ книгѣ, являющейся, кстати сказать, наиболѣе несистематичной работой столь несистематичнаго вообще мыслителя. Вотъ это заглавіе: «Фальшивая, раздробленная, отвратительная, ложная промышленность и ея противоядіе, естественная, скомбинированная, привлекательная, истинная промышленность, дающая учетверенный продуктъ. Мозаика ложнаго прогресса, смѣшныхъ сторонъ и ложныхъ круговъ цивилизації. Параллель двухъ промышленныхъ міровъ, раздробленнаго порядка и порядка скомбинированнаго»¹⁾.

При жизни Фурье уже больше не выходило обширныхъ трудовъ. Но послѣ смерти мыслителя осталась масса манускриптовъ, отчасти напечатанныхъ учениками въ новой «Фалангѣ», выходившей въ 1845—1849 г., въ ежедневной газетѣ «Мирная демократія», а отчасти появившихся въ четырехтомномъ отдѣльномъ изданіи 1851—1858 г. Говоря объ ученіи Фурье, приходится цитировать нѣкоторые изъ этихъ тракта-

¹⁾ La fausse industrie, morcelée, répugnante, mensongère et l'antidote, l'industrie naturelle, combinée, attrayante, véridique, donnant quadruple produit. Mosaïque des faux progrès, des ridicules et cercles vicieux de la civilisation. Parallèle des deux mondes industriels, l'ordre morcelé et l'ordre combiné; Парижъ, 1835—1836, 2 т.

товъ, не дающихъ ничего новаго и лишь развивающихъ порою ту или другую сторону соціетарной системы. Но всѣ основныя мысли Фурье были высказаны въ его трехъ первыхъ большихъ работахъ, и великая утопія была закончена въ своихъ главныхъ чертахъ за десять лѣтъ до смерти творца гармоніи и фаланстеріевъ.

Здоровье Фурье, никогда не бывшее особенно блестящимъ, стало значительно портиться съ 1835 г. Зима 1836—1837 гг. нанесла рѣшительный ударъ его организму, который уже больше не могъ оправиться. Лѣто 1837 г. принесло лишь временное облегченіе больному, который, какъ настоящий маниакъ, ни за что не хотѣлъ согласиться на увѣщанія искренно любившихъ его друзей-учениковъ, стремившихся окружить всевозможными попеченіями великаго старика. Ему предлагали комфортабельное помѣщеніе: онъ ни въ какомъ случаѣ не хотѣлъ разстаться съ своей крошечной квартиркой, которую занималъ на исчезнувшей теперь старой парижской улицѣ Saint-Pierre-Montmartre. Онъ упорно отказывался отъ медикаментовъ и вообще отъ всякаго лѣченія, несмотря на усиленную просьбу друзей-докторовъ. Крайне деликатный въ обращеніи съ людьми, а особенно съ близкими, — по отношенію къ которымъ онъ становился рѣзокъ лишь въ вопросахъ доктрины, или своего «откровенія», требуя здѣсь почти безусловнаго подчиненія, — Фурье упорно отстранялъ предложеніе учениковъ оставить при немъ лицо для услугъ и подаванія помощи. Даже когда дѣло близилось къ смерти, Фурье ни за что не соглашался, чтобы кто-нибудь былъ при немъ ночью: «мнѣ не надо ухода: я люблю оставаться одинъ; я не хочу причинять хлопотъ другимъ». Друзья насилу упросили его, чтобы онъ позволилъ, по крайней мѣрѣ, консьержкѣ часто подниматься въ его скромное помѣщеніе. Въ полночь, съ 9-го на 10-е октября 1837 г., эта женщина увидѣла въ послѣдній разъ Фурье, который слабымъ голосомъ пожелалъ ей спокойной ночи. Когда на слѣдующій день, въ 5 часовъ утра, она поднялась къ Фурье, творецъ гармоніи былъ уже мертвъ.

Его нашли одѣтымъ въ сюртукѣ, на колѣняхъ у своей кровати, куда онъ, очевидно, хотѣлъ лечь, почувствовавъ себя дурно. Такъ кончилъ на 66-мъ году, свою жизнь человѣкъ, который за нѣсколько лѣтъ до смерти въ горделивомъ, никогда не покидавшемъ его сознаніи своего генія восклицалъ, обращаясь къ себѣ, въ любопытной «Одѣ на открытіе социальныхъ судебъ»: «лишь я одинъ измѣрилъ глубину обширныхъ плановъ Творца, я одинъ ихъ ученый истолкователь, я одинъ освободилъ человѣчество: есть ли герой, есть ли пророкъ болѣе меня достойный безсмертія»¹⁾? Въ той же самой одѣ Фурье расточаетъ библейскія проклятія «современному Вавилону», т.-е. Парижу, не достаточно оцѣнившему его великое открытіе, и выражаетъ твердую увѣренность, что потомство увѣнчаетъ его заслуженной славой: «Твои сыны придутъ на мой гробъ оплакивать твою гордость вандала, почитать и отмстить мою память. Они проводятъ въ Пантеонъ мой прахъ, обремененный большей славой, чѣмъ прахъ Цезаря и Наполеона»²⁾. Увѣренность Фурье пока оправдалась только на половину. За гробомъ шла небольшая толпа учениковъ и почитателей, состоявшая изъ трехсотъ человѣкъ,—докторовъ, архитекторовъ, ученыхъ, артистовъ,—и проводила его на Монмартрское кладбище, гдѣ Консидеранъ произнесъ рѣчь, оплакивая «человѣка, одареннаго могучимъ разумомъ, совершившаго единолично самое величайшее дѣло, какое только можетъ представить себѣ геній человѣчества». На простомъ могильномъ камнѣ была вырѣзана слѣдующая надпись: «Здѣсь покоятся останки Шарля Фурье. Серія распредѣляетъ гармоніи, притяженіе пропорціонально судьбамъ»³⁾. Но прахъ остался лежать, гдѣ и лежалъ, и Пантеонъ до сихъ поръ закрытъ для великаго утописта. Фурье не ошибался, однако, что его ждетъ безсмертіе. Онъ явился однимъ изъ самыхъ могучихъ создателей социалистическаго ученія, которое те-

¹⁾ Bourgin, I. c., стр. 173.

²⁾ Ibid., прим. I.

³⁾ Pellarin, I. c., стр. 165.

перь уже перестало быть кабинетной доктриной наиболѣе чуткихъ умовъ изъ буржуазіи и становится практическимъ знаменемъ, увлекающимъ за собой рабочій классъ въ борьбу за строй, основанный поистинѣ на «гармоніи» и «привлекательномъ трудѣ».

Въ будущемъ я постараюсь изложить ученіе Фурье, защищая его отъ клеветъ и издѣвательствъ буржуазіи, и показать, въ какомъ отношеніи оно находится къ современному интернаціональному социализму, этому евангелію труда на всемъ земномъ шарѣ, отъ Берлина и Парижа до Санъ-Франциско и отъ Петербурга до мыса Доброй Надежды...

Марксъ, Энгельсъ, Лассаль¹⁾.

(Къ біографіи и развитію ученія основателей научнаго социализма).

I.

Четыре тома «Литературнаго наслѣдія Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассалья», изданные нѣсколько лѣтъ тому назадъ Францемъ Мерингомъ²⁾, даютъ какъ въ текстѣ авторовъ, такъ въ пояснительныхъ къ тексту статьяхъ издателя много новаго матеріала для біографіи и эволюціи теорій трехъ великихъ германскихъ социалистовъ. Я пополню эти данныя свѣдѣніями по тому же вопросу, находящимися въ новомъ изданіи «Исторіи нѣмецкой социаль-демократіи» того же Меринга³⁾. Затѣмъ кое-что я сообщу на основаніи своей давнишней статьи о «Жизни и сочиненіяхъ Карла Маркса», написанной мною немедленно же (мартъ 1883 г.) послѣ смерти автора «Капитала» для покойнаго «Дѣла», но не пропущенной цензурой. Статья эта заключается въ себѣ, между прочимъ, свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ въ

¹⁾ «Современныя Записки», 1906, № 1.

²⁾ Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, herausgegeben von Franz Mehring; Штутгартъ, 1901—1902, 4 т.

³⁾ Franz Mehring, Geschichte der Deutschen Socialdemokratie; Штутгартъ, 1903—1904, 2-е исправленное изданіе, въ 4-хъ томахъ.

свое время родственниками Маркса. И эти-то свѣдѣнія я воспроизведу въ болѣе подробномъ видѣ, присоединяя къ нимъ то, что мнѣ удалось узнать изъ послѣдующихъ разспросовъ тѣхъ же лицъ, близкихъ къ Марксу и Энгельсу, знавшихъ и Лассалья. Такимъ образомъ, нѣкоторыя стороны біографіи упомянутыхъ мыслителей и дѣятелей, а также указаніе на первоначальную эволюцію ихъ ученія—вотъ что будетъ составлять содержаніе этого этюда.

Карлъ Марксъ родился, какъ извѣстно, 5-го мая 1818 г. въ Трирѣ, въ довольно зажиточной еврейской семьѣ (умеръ въ Лондонѣ 14 марта 1883 г., на 65-мъ году своей жизни). Отецъ его былъ адвокатомъ и отличался прусскимъ лоялизмомъ, такъ что въ 1824 г. перешелъ даже со всей семьей въ протестантизмъ не потому, что этого требовалъ отъ служащихъ евреевъ какой-нибудь указъ,—какъ это утверждали біографы, даже хорошо знакомые съ Марксомъ, напримѣръ, Либкнехтъ, —но потому, что видѣлъ въ то время въ христіанствѣ единственное средство войти совершенно въ нѣмецкую культурную жизнь. Мать Карла Маркса была голландская еврейка, изъ семьи венгерскихъ евреевъ, которые еще въ XVI-мъ вѣкѣ переселились въ Нидерланды изъ Пресбурга (отъ названія города, какъ то часто бываетъ у евреевъ, шла и фамилія матери). Роднымъ ея языкомъ былъ голландскій, и до самой своей смерти она говорила по-нѣмецки съ ошибками. Во всякомъ случаѣ Марксъ воспитывался въ средѣ, гдѣ не чувствовалось удушающаго вліянія антисемитизма, и потому болѣе, чѣмъ кто-либо изъ евреевъ его поколѣнія, былъ свободенъ и отъ пристрастія къ элементамъ традиціоннаго еврейства, которое замѣчается среди самыхъ передовыхъ семействъ. Отецъ и мать Маркса, повидимому, очень добрые люди, жили въ бракѣ счастливо. Отношенія между родителями и дѣтьми, которыхъ было довольно много, хотя большинство умерло въ раннемъ возрастѣ, отличались любовью и нѣжностью. Но никто изъ братьевъ и сестеръ не выдавался своими дарованіями, кромѣ Карла, который родился вторымъ послѣ старшей сестры Софьи, долго остававшейся его напер-

сницею, особенно, когда онъ переживалъ страданія молодого Вертера. Карлъ же считался гордостью семьи и, дѣйствительно, поражалъ своими способностями еще въ трирской гимназіи. Здѣсь онъ кончилъ курсъ въ 1835 г., значить 17 лѣтъ, получивъ лестные отзывы, особенно за древніе языки, умѣлый переводъ съ которыхъ учителя очень цѣнили въ Марксѣ, отличавшемся, какъ гласитъ его аттестатъ, преимущественно тогда, когда «трудности передачи заключались не столько въ особенностяхъ языка, сколько въ самой сути дѣла и ходѣ разсужденій».

Идиллическія отношенія между отцомъ и сыномъ значительно портятся, когда Карлъ поступаетъ на юридическій факультетъ въ Боннскомъ университетѣ. Отецъ жалуется въ своихъ письмахъ сыну на его «дикую» студенческую жизнь, проходящую въ дуэляхъ, дѣланіи долговъ и писаніи нескладныхъ стиховъ, и требуетъ перехода въ Берлинскій университетъ и болѣе серьезныхъ занятій правомъ и камеральными науками. На второй семестръ Марксъ, дѣйствительно, отправляется въ Берлинъ, но предварительно обручается съ Дженни фонъ-Вестфаленъ, подругой своего дѣтства, бывшей на четыре года старше самого жениха.

Она родилась въ 1814 г., въ семьѣ юриста Людвигъ фонъ-Вестфалена, который былъ сыномъ Филиппа фонъ-Вестфалена, правой рукой герцога Фердинанда Брауншвейгскаго, во время 7-ми лѣтней войны, и Дженни-Висгартъ-Питтарофъ (Jeanie Wishart of Pittarow), по отцовской линіи происходившей отъ шотландскаго барона, сожженного на кострѣ въ 1547 г. въ борьбѣ реформаторовъ противъ католиковъ, а съ материнской стороны находившейся въ родствѣ съ шотландскими же герцогами Аргайлями. Мерингъ, со словъ младшей дочери Карла Маркса, характеризуетъ эту аристократическую семью (Аргайль-Кэмпбеллей), какъ людей, у которыхъ героическія качества были перемѣшаны съ самыми низкими и грубыми пороками. Въ свою очередь пишущій эти строки позволить себѣ разсказать—изъ другого, но совершенно вѣрнаго источника — анекдотъ объ Аргайляхъ, который рисуетъ, по край-

ней мѣрѣ, ихъ непомѣрное чванство и жестокость. Когда Марксъ находился съ своей женой въ лондонскомъ изгнаніи, и ихъ матеріальное положеніе было самое бѣдственное (дѣло происходило въ началѣ 50-хъ годовъ), урожденная Дженни фонъ-Вестфаленъ обратилась къ своимъ именитымъ родственникамъ съ просьбою оказать ей помощь въ смыслѣ пріисканія работы или какого-нибудь занятія. Тогдашній родоначальникъ фамиліи прислалъ въ отвѣтъ великолѣпную библію — и совѣтъ своей родственницѣ почаще читать эту книгу, дабы обратиться на путь истинный и вырваться изъ ужасной среды, въ которую ее погрузилъ ея чудовищный бракъ съ евреемъ-атеистомъ и революціонеромъ...

Но возвратимся къ Марксу-студенту. Родители Маркса были очень дружны съ семьей Вестфаленовъ и могли бы лишь гордиться бракомъ ихъ сына съ Дженни. Но они едва могли надѣяться, что отецъ и мать дѣвушки когда-нибудь согласятся выдать свою дочь за юношу, на нѣсколько лѣтъ бывшаго моложе ея и до сихъ поръ стоявшаго лишь у самаго порога какой бы то ни было карьеры. Карлъ просилъ своихъ родителей держать пока въ тайнѣ свое обрученіе, и это очень смущало Марксовъ, какъ не особенно деликатный поступокъ по отношенію къ дружеской семьѣ Вестфаленовъ. Надо лишь удивляться тому, что молодая и въ то время умственно гораздо болѣе зрѣлая и серьезная дѣвушка рѣшилась на этотъ отважный шагъ. Она не только успѣла разсмотрѣть въ пылкомъ влюбленномъ юношѣ, почти мальчикѣ, рѣдкія качества, но сумѣла въ скоромъ времени получить на бракъ согласіе своихъ родителей. Въ этомъ ей помогло, впрочемъ, сильное расположеніе ея отца къ молодому Карлу, который проводилъ часто время въ разговорахъ съ Людвигомъ фонъ-Вестфаленомъ о всевозможныхъ, преимущественно литературныхъ предметахъ, вмѣстѣ съ нимъ восторгался Гомеромъ или подъ его руководствомъ изучалъ Шекспира.

Пока о бракѣ было, однако, еще очень рано думать, такъ какъ Карлу предстояло не мало работать, чтобы пройти университетскій курсъ и, что называется, устроиться. Въ пись-

махъ отца Маркса къ сыну судьба Дженни является даже нерѣдко аргументомъ, чтобы направить дѣятельность молодого студента по пути правильныхъ занятій. Между тѣмъ самъ Карлъ то писалъ безумныя письма къ своей невѣстѣ, то сочинялъ безконечныя и по прежнему плохіе вирши въ романтическомъ вкусѣ, то работалъ надъ составленіемъ громадныхъ, но крайне неудачныхъ, по собственному признанію автора, трактатовъ по метафизикѣ права, которые передавались безпощадному уничтоженію самой же рукой творца.

А время идетъ, и карьера сына отодвигается въ глазахъ отца все въ болѣе и болѣе неопредѣленное будущее. И вотъ мы присутствуемъ при обычномъ печальномъ зрѣлищѣ недоразумѣній, столкновений и борьбы между старшимъ и младшимъ поколѣніями, особенно когда младшее представлено сильною индивидуальностью, которая инстинктивно ищетъ новыхъ путей и готовится безжалостно рвать нити старыхъ традицій. Надо, впрочемъ, сказать, что столкновение принимаетъ здѣсь гораздо болѣе мягкія формы, чѣмъ, напримеръ, великій расколъ цѣлыхъ поколѣній «отцовъ и дѣтей» на русской почвѣ. Отчасти въ этомъ случаѣ играетъ роль личная нѣжность между отцомъ и сыномъ, отчасти и нѣмецкая *Gemüthlichkeit*, выросшая на почвѣ продолжительныхъ культурныхъ традицій. «Мальчикъ въ штанахъ» и «мальчикъ безъ штановъ» не даромъ тревожили геніальное воображеніе Щедрина: у насъ, русскихъ, и психологія обнажена не менѣе, чѣмъ тѣло, — къ добру или худу, это другой вопросъ, котораго мы не будемъ здѣсь касаться. Но когда вы видите письма враждующихъ поколѣній испещренными сентиментальнымъ — не говоримъ, неискреннимъ — букетомъ взаимныхъ признаний въ любви, то самое недоразумѣніе между «отцами и дѣтьми» принимаетъ въ глазахъ насъ, русскихъ, чрезмѣрно чувствительный характеръ.

Вы, напримеръ, съ трудомъ представите себѣ, чтобы Базаровъ называлъ даже письменно своихъ родителей «солнцемъ любви, огонь котораго согрѣваетъ сокровеннѣйшій центръ нашихъ стремлений» (письмо Карла къ отцу, стр. 16), или что-

бы почтенный Василій Ивановичъ журилъ своего сына за его безпорядочную студенческую жизнь въ слѣдующихъ сентиментальныхъ и мелодраматическихъ фразахъ:

«У тебя искусство устраивать жизнь свелось лишь къ грязной комнатѣ, гдѣ, можетъ быть, набросанныя въ классическомъ безпорядкѣ любовныя письма твоей Дженни и проникнутыя расположеніемъ къ тебѣ и написанныя слезами предостереженія отца служатъ для раскуриванія трубки... И здѣсь-то, въ этой мастерской безсмысленной и нецѣлесообразной учености, должны созрѣть плоды, которые могли бы усладить тебя и твою милую, должна быть собрана жатва, которая помогла бы тебѣ выполнить твои будущія священные обязанности»¹⁾.

Какъ бы то ни было, эта необычайно чувствительная съ нашей русской точки зрѣнія струна, звучащая въ отношеніяхъ между отцомъ и сыномъ даже тогда, когда обстоятельства фатально вызываютъ между ними недоразумѣнія и рознь, показываетъ, что самъ Марксъ, котораго легенда представляетъ человѣкомъ безъ сердца, былъ въ личной жизни любящей натурой. Впослѣдствіи, когда страстный боевой темпераментъ будетъ толкать его на всевозможныя преувеличенія ненависти къ своимъ идейнымъ врагамъ, у него останется въ душѣ широкая полоса симпатіи и расположенія не только къ личнымъ, но и къ идейнымъ же друзьямъ, и даже просто къ людямъ, въ которыхъ онъ видѣлъ искреннихъ борцовъ за лучшее будущее и трудящихся массы. Мы уже не говоримъ о томъ, что Марксъ былъ образцовымъ мужемъ и отцомъ, — качество, которое, впрочемъ, само по себѣ еще не гарантируетъ сильнаго развитія общихъ альтруистическихъ чувствъ.

Отецъ Маркса не дожилъ до момента, когда его сынъ пошелъ по пути, который показался бы старому пруссаку-лоялисту верхомъ политическаго безумія. Благодѣтельная смерть закрыла его глаза въ то самое время, когда Карлъ переживалъ первый періодъ серьезнаго умственного броженія въ бер-

¹⁾ Aus dem literarischen Nachlass, I, стр. 22.

линскомъ кружкѣ молодыхъ приватъ-доцентовъ и учителей, принадлежавшей къ крайней лѣвой гегельянства, въ томъ числѣ философа Бруно Бауэра, историка Кеппена, и др., которые оказали на него,—по крайней мѣрѣ, временно—сильное вліяніе. То были все люди, бывшіе на дурномъ счету у правительства. И самому Марксу пришлось пройти черезъ массу непріятностей и придирокъ прежде, чѣмъ онъ успѣлъ, наконецъ, сдать свой докторскій экзаменъ (весною 1841 г.) въ Іенѣ. То была эпоха, когда вступленіе на престолъ Фридриха Вильгельма IV пробудило среди либеральныхъ элементовъ общества надежды на политическія реформы. Но эти конституціонныя иллюзіи были скоро разсѣяны реакціонными мѣрами средневѣковаго романтика на престолѣ, назначившаго министромъ народнаго просвѣщенія ортодоксальнѣйшаго лютеранина Эйхгорна. Философія «самосознанія», какъ называлось ученіе Гегеля, особенно на жаргонѣ крайней лѣвой его школы, стала въ то время подозрительною властямъ даже въ самыхъ невинныхъ своихъ формахъ. А между тѣмъ, въ духѣ этой философіи была написана докторская диссертация Маркса о «различіи между философіею природы Демокрита и Эпикура».

Напечатанная впервые Мерингомъ (но безъ ученыхъ примѣчаній докторанта), эта диссертация, по нашему мнѣнію, не представляетъ особаго интереса. И надо быть черезчуръ правовѣрнымъ марксистомъ, чтобы приписывать ей «научное значеніе» въ исторіи философіи, какъ то дѣлаетъ издатель. Это—добросовѣстное, недурно написанное, но прежде всего ученическое сочиненіе, которое страдаетъ основной ошибкой, состоящей въ томъ, что авторъ предпочитаетъ непослѣдовательную философію Эпикура, съ ея «случайнымъ» отклоненіемъ атома, послѣдовательно проведенному ученію о природѣ Демокрита. Можно даже, пожалуй, видѣть въ этомъ предпочтеніи нѣкоторое вліяніе гегельянскаго монизма, отождествлявшаго бытіе съ мыслию: молодому Марксу былъ болѣе по сердцу такой матеріалистъ, какъ Эпикуръ, который видѣть въ воспріятіяхъ (*αἰσθησεις*) критерій истины и въ извѣст-

номъ смыслѣ отождествляетъ одно съ другимъ, чѣмъ гораздо болѣе глубокій матеріалистъ Демокритъ, который противопоставлялъ объективную игру атомовъ въ пространствѣ субъективному «мнѣнію» людей о сладкомъ и горькомъ, тепломъ и холодномъ и т. д. Было бы, впрочемъ, погрѣшностью противъ исторической перспективы подробно разбирать докторскую диссертацию Маркса, которая представляетъ первый, еще невѣрный, шагъ мыслителя.

Но какъ быстро зрѣетъ даже въ чисто литературномъ отношеніи этотъ рѣдкій умъ, можно видѣть изъ столь же блестящей по формѣ, сколько основательной по содержанію критикѣ прусской цензуры, которую Марксъ напечаталъ въ «Анекдотахъ», появившихся въ 1843 г. въ Швейцаріи и смѣнившихъ запрещенныя прусскимъ правительствомъ «Нѣмецкія лѣтописи» Арнольда Ругѣ. Поводомъ къ этому этюду послужила королевская цензурная инструкция отъ 14-го декабря 1841 г., въ которой новый монархъ, желая сдѣлать мнимую уступку общественному мнѣнію, говоритъ о необходимости для цензоровъ сообразоваться съ эдиктомъ 1819 г. и избѣгать произвольно строгаго толкованія закона. Въ своихъ «Замѣчаніяхъ» на эту инструкцію, подписанныхъ псевдонимомъ «Рейнца», Марксъ какъ нельзя лучше вскрываетъ смыслъ этой мѣры, говоря:

«Если мы возлагаемъ вину на цензоровъ, то мы компрометируемъ этимъ не только ихъ собственную честь, но честь всего прусскаго государства, да и всѣхъ прусскихъ писателей.

«Съ другой стороны, болѣе чѣмъ 20-лѣтнее незаконное поведеніе цензоровъ вопреки указамъ доставило бы самое лучшее *argumentum ad hominem*, что печать нуждается въ иныхъ гарантіяхъ, чѣмъ столь общія наставленія и для столь безответственныхъ лицъ; оно явилось бы доказательствомъ, что въ самомъ существѣ цензуры лежитъ основной недостатокъ, которому нельзя помочь никакими законами.

«Но если цензора исполняли какъ слѣдуетъ свои обязанности, а не годился лишь законъ, то зачѣмъ же снова апел-

лизовать для устранения злоупотреблений къ тому самому закону, который именно и вызвалъ ихъ?

«Или, пожалуй, должно ставить объективные недостатки учреждения въ вину личностямъ, чтобы, не улучшая самой сущности дѣла, добиться всѣми правдами и неправдами лишь призрака улучшения? Это обычная тактика мнимаго либерализма, идущаго на вынужденныя уступки—жертвовать лицами, т.-е. орудіями, и сохранять вещь, т.-е. учрежденіе. Вниманіе поверхностной публики отклоняется, благодаря тому, въ сторону. Раздраженіе противъ порядка вещей переносится на личности. Начинаютъ думать, что съ переменною лицъ переменится и само дѣло. Отъ цензуры взоръ обращается на отдѣльныхъ цензоровъ, и крохотные лѣтописцы этого прогресса съ дозволенія начальства пускаютъ въ ходъ свои микроскопическія продерзости противъ лицъ, подвергнувшихся немилостивѣйшему упреку, видя въ этихъ пріемахъ какъ бы вѣрноподданическія изъявленія чувствъ по отношенію къ самому правительству» ¹⁾).

Нѣсколько ниже Марксъ подвергаетъ жестокой критикѣ законы, имѣющіе въ виду пресѣченіе не преступленій, а намѣреній, и съ рѣдкой логичностью доказываетъ всю нелѣпость такого тенденціознаго законодательства. Онъ пишетъ: «Лишь поскольку я выражаю себя во внѣ, поскольку вступаю въ сферу дѣйствительности, я вступаю и въ область законодателя. Для закона я не существую, не являюсь его объектомъ, внѣ моего дѣйствія. Оно есть единственное, за что законъ можетъ зацѣпиться во мнѣ; ибо оно есть существенное, для чего я требую права на существованіе, права на дѣйствительность и за что я попадаю подъ ударъ дѣйствительнаго права. Но тенденціозный законъ наказываетъ не только то, что я дѣлаю, но то, что я думаю помимо всякаго дѣйствія. Такимъ образомъ онъ является оскорбленіемъ моей чести гражданина, притѣснительнымъ закономъ, затрогивающимъ моё существованіе.

¹⁾ Ibid., I., стр. 143—144.

«Я могу вертѣться и извиваться на всѣ лады, и все же такой законъ не касается области фактовъ. Для него подозрительно самое мое существованіе, мое внутреннее я; моя индивидуальность разсматривается уже какъ нѣчто дурное, и меня наказываютъ за такое мнѣніе закона обо мнѣ. Законъ караетъ меня не за несправедливость, которую я совершаю, но за несправедливость, которой я не совершилъ. Въ сущности я, значитъ, наказываюсь какъ разъ за то, что мое дѣйствіе непротивно закону, ибо лишь въ силу этого я и вынуждаю кроткаго и расположеннаго ко мнѣ судью цѣпляться за мои дурныя чувства и намѣренія, которыя настолько хитры, что не хотятъ показываться на свѣтъ» ¹⁾).

Надо читать весь этотъ этюдъ о цензурѣ въ подлинникѣ, чтобы по достоинству оцѣнить умѣнье и силу, съ какими 24-лѣтній авторъ разбираетъ всю инструкцію и, отправляясь отъ этого въ сущности крайне незначительнаго документа, подвергаетъ самой побѣдоносной критикѣ обычныя возраженія противъ свободы печати въ борьбѣ за основные принципы гражданственности. Не оставивши камня на камнѣ отъ произведенія короля-романтика, авторъ заканчиваетъ свои «Примѣчанія» ироническою надеждою:

«Во всякомъ случаѣ прусскіе писатели, благодаря новой инструкции, выигрываютъ кое-что или въ смыслѣ дѣйствительной свободы, или въ смыслѣ свободы лишь идеальной, въ смыслѣ самосознанія. *Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet* (рѣдки тѣ счастливыя времена, кода позволено думать, что хочешь, и говорить, что думаешь» ²⁾).

Той же борьбѣ за основные принципы гражданственности въ различныхъ сферахъ посвящены статьи Маркса въ «Рейнской Газетѣ», сотрудникомъ, а скоро и редакторомъ которой онъ состоялъ съ 1842 по мартъ 1843 г. Этотъ органъ былъ самымъ передовымъ наиболѣе передовой въ экономическомъ

¹⁾ Ibid., стр. 154.

²⁾ Ibid., стр. 166.

и политическомъ смыслѣ части тогдашней Пруссіи. Рейнская провинція съ 1797 по 1815 г. составляла часть французской республики, потомъ имперіи, и на ней не переставало отражаться сильное вліяніе западнаго сосѣда. Въ ней вѣяло болѣе свободнымъ духомъ, чѣмъ въ остальной Германіи. Феодалная собственность, несмотря на попытки реставрировать ее, въ 30-хъ годахъ почти не существовала, тогда какъ крестьянская собственность, особенно попавъ подъ дѣйствіе наполеоновскаго кодекса, свободно дѣлилась и дробилась, какъ во Франціи. Промышленность же быстро развивалась. «Рейнскую Газету» создали и поддерживали мѣстные либеральные буржуа, которые, чувствуя недостатокъ литературныхъ силъ въ своей средѣ, обратились за помощью къ гораздо болѣе радикальнымъ «молодымъ гегельянцамъ». Сообразно съ этимъ «Рейнская Газета» отличалась свободолобивымъ и демократическимъ характеромъ, не переходя, однако, предѣловъ либеральнаго міровоззрѣнія, хотя мѣстами направляясь по самой пограничной линіи, за которой уже начинался социализмъ.

Самъ Марксъ, бывшій наиболѣе радикальнымъ изъ писателей этого органа, далъ въ немъ рядъ статей о свободѣ печати, о конституціонныхъ вопросахъ по поводу преній мѣстнаго ландтага, но не отваживался взять опредѣленную ноту по отношенію къ социализму. Возражая на предательское обвиненіе въ «коммунизмѣ», которое бросила рейнскому органу «Аугсбургская газета», Марксъ скорѣе защищается отъ сочувствія новому міровоззрѣнію и находитъ даже нѣкоторое сходство въ оцѣнкѣ свободной частной собственности между феодалами и Фурье. Во всякомъ случаѣ онъ полагаетъ уже и въ эту пору, что «критиковать такія работы, каковы сочиненія Леру, Консидерана, а въ особенности проницательный трудъ Прудона можно не на основаніи поверхностныхъ впечатлѣній момента, а лишь послѣ продолжительнаго и глубокаго изученія» (стр. 278). Вы чувствуете, что могучему логическому—или, если хотите, діалектическому—аппарату молодого гегельянца, который до сихъ поръ занимался лишь фи-

лософскими и правовыми абстракціями, не достаетъ знакомства съ жизненными вопросами.

И этотъ пробѣлъ Марксъ призналъ съ благородной откровенностью, когда дѣло зашло о мелкихъ крестьянахъ—собственникахъ, занимавшихся винодѣліемъ въ долинѣ Мозели. Въ «Рейнской газетѣ» появился, дѣйствительно, рядъ корреспонденцій изъ этой мѣстности, рисовавшихъ ужасное обѣднѣніе населенія и горячо протестовавшихъ противъ драконовскаго преслѣдованія властями мелкихъ лѣсныхъ кражъ и порубокъ. Статьи эти, обработанныя Марксомъ, вызвали гнѣвъ начальства и послужили поводомъ къ закрытію газеты. Но онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ обратили вниманіе Маркса на всю сложность вопроса о мелкой земельной собственности. Нужда бѣдныхъ мозельскихъ винодѣловъ обуславливалась прежде всего крайнимъ дробленіемъ частной мужицкой собственности въ мѣстахъ, подвергшихся вліянію французскаго законодательства. Съ другой стороны, прусскіе феодалы требовали у правительства изданія закона, запрещающаго неограниченный раздѣлъ земель,—мѣра, которая шла, однако, въ разрѣзъ съ привычками и желаніями населенія и при томъ носила на себѣ рѣзко реакціонный отпечатокъ. Ясно, что въ предѣлахъ либеральной школы не было надлежащаго отвѣта на жгучій вопросъ современности. Марксъ позже, въ предисловіи къ «Критикѣ политической экономіи», признался, какъ извѣстно, до какой степени его затруднялъ именно этотъ отвѣтъ, и съ какою радостью онъ съ арены публицистики удалился временно въ кабинетъ ученаго, чтобы заняться смущавшими его «матеріальными интересами». Но и не стоя еще на точкѣ зрѣнія социализма, Марксъ всѣми силами души встаетъ противъ крупныхъ собственниковъ, опутавшихъ крестьянъ сѣтями привилегированнаго владѣнія и жестоко преслѣдовавшихъ ихъ за малѣйшія нарушенія «священнаго» права собственности.

По поводу обычнаго права, разрѣшавшаго крестьянамъ собирать ягоды въ помѣщичьихъ лѣсахъ, но натывавшагося въ этомъ отношеніи на требованія феодаловъ, желавшихъ

преслѣдовать крестьянскихъ дѣтей за сборъ ягодъ, какъ за воровство, подѣ тѣмъ предлогомъ, что собственникъ можетъ прекрасно продавать всѣ плоды на сторону, Марксъ негодуяще замѣчаетъ: «Въ иныхъ мѣстахъ дѣло зашло уже такъ далеко, что изъ обычнаго права бѣдняковъ сдѣлали монополию богатыхъ. Дано ясное доказательство, что можно монополизировать общественную собственность; а отсюда уже слѣдуетъ само собою, что и должно монополизировать ее. Оказывается, видите ли, что сама природа предмета требуетъ монополіи: это открылъ интересъ частнаго собственника» (стр. 293). И дальше Марксъ ядовито анализируетъ сущность предлагаемыхъ аграріями драконовскихъ мѣръ, которыя имѣютъ цѣлью навести страхъ на мужика: «жестокость составляетъ характеристичную черту законовъ, которые диктуются трусостью, ибо трусость способна къ энергіи лишь тогда, когда становится свирѣпой. Частный же интересъ всегда трусливъ, ибо его сердце, его душа представляютъ собой только внѣшній предметъ, который можетъ быть всегда отнять и поврежденъ. А кто не дрожитъ предъ опасностью потерять сердце и душу? Какъ можетъ эгоистичный законодатель быть человѣчнымъ, когда нѣчто нечеловѣческое, а именно чуждая ему матеріальная вещь является высшею его сущностью. Quand il a peur, il est terrible (когда онъ боится, онъ дѣлается страшенъ),—сказалъ Гизо. Этотъ девизъ можно надписать надъ всѣми законами, диктуемыми эгоизмомъ, т.-е. трусостью» (стр. 294).

Интересно, что реалистическія основы мировоззрѣнія не сразу выяснились для самого Маркса. Даже переступивъ границу, раздѣлявшую буржуазно-демократическіе идеалы отъ социалистическихъ, онъ первое время продолжаетъ еще быть ученикомъ Гегеля, придающимъ большое значеніе игрѣ логическихъ понятій. Въ самомъ дѣлѣ, на смѣну закрытой «Рейнской газеты» ¹⁾ явились «Нѣмецко-французскія лѣто-

¹⁾ Когда читаешь правительственное сообщеніе, объявляющее о закрытіи газеты, то переносишься въ современную Россію: до такой степени пріемы дикой реакціи и взгляды душителей свободы одина-

писи», которыя Марксъ сталъ издавать съ Ругэ въ Парижѣ, куда переѣхалъ въ ноябрѣ 1843 г. съ молодой женой (бракъ Маркса состоялся лишь лѣтомъ этого года). Жизнь въ Германіи становилась слишкомъ душной, литературная дѣятельность почти невозможной для человѣка, все болѣе и болѣе ненавидѣвшаго политическую отсталость родины. Въ Парижѣ и рѣшено было издавать новый органъ подѣ общей редакціей Ругэ и Маркса (который, впрочемъ, за болѣзнь товарища сталъ фактически единственнымъ редакторомъ) и при общанномъ—и отчасти дѣйствительномъ—сотрудничествѣ Фейербаха, Бакунина, Энгельса, Гейне, Гервега и т. д. Въ «Нѣмецко-французскихъ лѣтописяхъ» мы и можемъ слѣдить за дальнѣйшей эволюціей Маркса.

Что же мы видимъ? Здѣсь на статьяхъ Маркса сказывается, съ одной стороны, несомнѣнное вліяніе Фейербаха, книга котораго о «Сущности христіанства» (1841) произвела на Маркса и Энгельса, по собственному ихъ признанію, глубокое впечатлѣніе. Марксъ отправляется, при объясненіи историческихъ явленій, отъ матеріалистическаго «антропологизма» (или «гуманизма», какъ выражается Мерингъ, подставляя, неизвѣстно почему, этотъ терминъ вмѣсто наиболѣе любимаго термина самого Фейербаха). Онъ дѣлаетъ даже шагъ впередъ сравнительно съ Фейербахомъ, который останавливается со своимъ анализомъ на порогѣ политики, вообще мало привлекавшей его, тогда какъ Марксъ со страстью

ковы подѣ разными широтами и у разныхъ народовъ, гдѣ только народъ не успѣлъ сломить навсегда силу деспотическаго правительства. Пруссійскій г. Столыпінъ отзывался, дѣйствительно, о не дававшемъ ему спать органѣ въ слѣдующихъ выраженіяхъ, резюмированныхъ Мерингомъ въ его «Исторіи нѣмецкой социаль-демократіи»: «Съ самаго начала газета взяла преступное направленіе; въ ней несомнѣнно господствуетъ намѣреніе нападать на государственный строй въ самыхъ его основаніяхъ, потрясти монархическій принципъ, дискредитировать правительство въ общественномъ мнѣніи страны, возбуждать одни сословія противъ другихъ, вызывать недовольство существующими законными формами», и т. д., и т. д. (Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, т. I, стр. 154).

борца бросается въ самую гущу политическихъ вопросовъ. Но съ другой стороны въ разсужденіяхъ Маркса замѣчаются сильныя слѣды гегелевскаго жонглированія понятіями, болѣе сильныя, чѣмъ у автора «Сущности христіанства».

Это сказывается на «Критикѣ гегелевской философіи права», и «Еврейскомъ вопросѣ», гдѣ дѣйствительное историческое движеніе замѣняется порою формальною игрою противоположающихся понятій. Во всякомъ случаѣ Марксъ «Нѣмецко-французскихъ лѣтописей» уже созналъ необходимость радикальнаго измѣненія общества и нашелъ историческую силу, способную совершить это переустройство, въ пролетаріатѣ. Обращаясь къ соціально-политической задачѣ современной ему Германіи, онъ такъ характеризуетъ эту задачу въ самомъ заключеніи своей «Критики гегелевской философіи»: «Освобожденіе нѣмца есть освобожденіе человѣка. Голова этой эмансипаціи—философія, ея сердце—пролетаріатъ. Философія не можетъ быть осуществлена безъ уничтоженія пролетаріата, пролетаріатъ не можетъ уничтожить себя безъ осуществленія философіи. Когда всѣ внутреннія условія будутъ исполнены, день воскресенія нѣмцевъ изъ мертвыхъ возвѣстится крикомъ галльскаго пѣтуха» ¹⁾.

Въ другомъ своемъ этюдѣ «Къ еврейскому вопросу» Марксъ настойчиво — и, въ извѣстномъ смыслѣ, черезчуръ прямолинейно — развиваетъ необходимость радикальнаго измѣненія общества для рѣшенія еврейскаго вопроса, но опять-таки не безъ того, чтобы вдвинуть свой отвѣтъ на историческій вопросъ въ рамки діалектической игры: «Какъ только обществу удастся уничтожить эмпирическую сущность еврейства, ростовщичество и его предпосылки, еврей дѣлается невозможнымъ, потому что его сознаніе теряетъ отнынѣ свой предметъ, потому что субъективный базисъ еврейства, практическая потребность, очеловѣчивается, и потому что столкновеніе индивидуально-чувственного существованія человѣка съ его родовымъ существованіемъ совершенно уничтожается.

¹⁾ Aus dem literarischen Nachlass, I, стр. 398.

Общественная эмансипація еврея есть эмансипація общества отъ еврейства» ¹⁾.

Не надо, конечно, лишь черезчуръ преувеличивать значеніе этой гегельянской формы для Маркса. Не надо забывать, что уже въ это время гегельянскій жаргонъ является у молодого мыслителя зачастую только привычнымъ приемомъ выраженія мысли, содержаніе которой все больше и больше дается изученіемъ дѣйствительности.

II.

Интересно, что гегелевская терминологія гораздо слабѣе отзывается даже въ это раннее время на замѣчательной работѣ Энгельса, появившейся въ тѣхъ же «Нѣмецко-французскихъ лѣтописяхъ» подъ заглавіемъ «Критическіе очерки по политической экономіи». Можетъ быть, это объясняется тѣмъ, что, охваченный, подобно большинству мыслящихъ современниковъ, философій Гегеля, Энгельсъ изучалъ ее, однако, менѣе систематически, менѣе продолжительно, чѣмъ Марксъ, наконецъ, не столь по профессорски.

Энгельсъ, какъ извѣстно, былъ на два съ половиною года моложе Маркса: онъ родился 28-го ноября 1820 г. (умеръ 5-го августа 1895 г., въ Лондонѣ, 75 лѣтъ отъ роду) въ консервативной и религіозной семьѣ богатаго фабриканта, изъ Бармена, учился въ мѣстной гимназіи, откуда вышелъ за годъ до окончанія курса, занялся подготовкою къ купеческой карьерѣ, не переставая изучать въ досужное время живо интересовавшихъ его философовъ, прослужилъ годъ вольноопредѣляющимся въ гвардейской артиллеріи и въ концѣ 1842 г. отправился въ Англію служить на одной изъ хлопчато-бумажныхъ фабрикъ Манчестера (отецъ его былъ компаньономъ предпріятія). Проѣздомъ Энгельсъ познакомился съ Марксомъ въ редакціи «Рейнской газеты». Но свиданіе это было очень холодное, вслѣдствіе того, что въ Барменѣ Энгельсъ терся въ

¹⁾ Ibid., I, стр. 431.

компаніи «Свободныхъ», напминавшихъ нѣкоторыми своими чертами утрированныхъ «нигилистовъ» нашихъ 60-хъ годовъ, тогда какъ Марксъ рѣзко относился къ каррикатурнымъ формамъ такого свободомыслія.

Симпатію другъ къ другу эти родственные и сильные умы почувствовали впервые при письменномъ обмѣнѣ мыслями, когда Энгельсъ прислалъ въ «Нѣмецко-французскія лѣтописи» уже упомянутые нами «Очерки». Жизнь въ промышленной Англіи, знакомство съ чартистскимъ движеніемъ и обильной тогда литературой филантропическихъ и христіанскихъ соціалистовъ дали Энгельсу богатый матеріалъ фактовъ и рано пробудили его критическую способность. Ясно и просто, лишь изрѣдка прибѣгая къ гегельянской терминологіи, Энгельсъ указываетъ на рядъ противорѣчій, порождаемыхъ частной собственностью и выражающихся теоретически въ наукѣ, которая, согласно его мнѣнію, только по недоразумѣнію можетъ называться наукою объ общественномъ хозяйствѣ. «Выраженіе «національное богатство»,—пишетъ Энгельсъ,—возникло лишь вслѣдствіе страсти либеральныхъ экономистовъ къ обобщенію. Пока существуетъ частная собственность, это выраженіе не имѣетъ никакого смысла. «Національное богатство» англичанъ очень велико, и, однако, они самый бѣдный народъ въ подсолнечной. Слѣдовало бы или совершенно отбросить это выраженіе, или же сдѣлать извѣстныя предпосылки, придающія ему смыслъ. Точно также и выраженія «національная экономія», «политическая», «общественная экономія». При теперешнихъ условіяхъ наука эта должна бы называться частной экономіей, ибо общественныя отношенія, изучаемыя въ ней, только и существуютъ, что ради частной собственности»¹⁾.

Въ этомъ же этюдѣ находится и то знаменитое разсужденіе о свободной конкуренціи, какъ «главной категоріи» экономистовъ, изъ котораго Марксъ въ своемъ «Капиталѣ» съ крайней похвалой цитируетъ фразу о выраженіи закона спроса и

¹⁾ Ibid., I, стр. 436.

предложенія въ періодическихъ кризисахъ. Читайте это разсужденіе, и вы увидите, какъ далеко 24-лѣтній Энгельсъ продвинулся уже въ то время по пути пониманія хозяйственныхъ явленій: «Торговые кризисы вотъ уже 80 лѣтъ наступаютъ съ такою же правильностью, какъ раньше великія чумныя эпидеміи, а приносятъ больше нищеты, больше безнравственности, чѣмъ эти послѣднія. Конечно, эти кризисы подтверждаютъ данный законъ, подтверждаютъ его въ полной мѣрѣ, но на иной ладъ, чѣмъ хотѣлось бы увѣрить насъ экономисту. Что можно въ самомъ дѣлѣ думать о законѣ, который проявляется лишь путемъ періодическихъ революцій? Это именно законъ природы, покоящийся на безсознательности участниковъ. Если бы производители, какъ таковые, знали, въ какомъ количествѣ нуждаются потребители, если бы они организовали производство, если бы они распредѣлили его между собою, то колебанія конкуренціи и ея склонность къ кризисамъ сдѣлались бы невозможными. Производите же сознательно, какъ люди, а не какъ разсѣянные атомы, лишённые родового сознанія, и вы выберетесь изъ всѣхъ искусственныхъ и невыносимыхъ противорѣчій»¹⁾.

Въ другой своей статьѣ («Положеніе Англіи»), помѣщенной тоже въ «Нѣмецко-французскихъ лѣтописяхъ» и посвященной разбору книги Карлейля о «Прошломъ и настоящемъ», Энгельсъ сочувственно относится къ критикѣ Карлейля, направленной противъ тогдашнихъ англійскихъ порядковъ, но совершенно вѣрно отмѣчаетъ ея реакціонную сторону, не ведущую ни къ какому положительному заключенію. Онъ выражаетъ надежду, однако, что Карлейль можетъ сдѣлать еще одинъ рѣшительный, «тяжелый» для него шагъ, чтобы придти къ социализму, если только захочетъ стать на точку зрѣнія радикальной нѣмецкой философіи. Онъ подчеркиваетъ, съ другой стороны, и узко практическую манію англійскихъ соціалистовъ, которые предлагаютъ различныя мелкія мѣры для рѣшенія соціального вопроса на манеръ чудо-

¹⁾ Ibid., стр. 449.

дійсвенныхъ «пилюль Моррисона». Но онъ вѣрить въ англійскій рабочій класъ и надѣется даже на его скорое и могучее движеніе, которое произведетъ рѣшительный общественный переворотъ: «Лишь незнакома на континентѣ часть англійской націи, лишь рабочіе, лишь паріи Англіи, ея бѣдняки—дійствительно «респектабельны», несмотря на всю свою грубость и всю свою деморализацію. Отъ нихъ зависитъ спасеніе Англіи, въ нихъ еще заключается способный къ созиданію матеріалъ; они лишены образованія, но свободны и отъ предразсудковъ, у нихъ еще есть сила, которую они могутъ употребить на великое національное дѣло,—у нихъ есть еще будущее»¹⁾.

Двойная надежда на Энгельса, какъ извѣстно, не сбылась. Карлейль, не хотѣвшій знать ничего даже объ англійскихъ практическихъ социалистахъ, которыхъ онъ тѣмъ не менѣе часто копировалъ, остался при своей идеализаціи XII-го столѣтія (эту сторону, кстати сказать, можно открыть при внимательномъ чтеніи даже у социалиста-эстета. Вилліама Морриса). Англійскій же пролетаріатъ, революціонно настроенный въ эпоху чартистскаго движенія, впалъ позже въ трэдс-юніонизмъ или, въ лучшемъ случаѣ, въ «пилюльный социализмъ». Но эту дѣньгу Энгельса, написанный въ началѣ 40-хъ годовъ, остается памятникомъ замѣчательно прогрессивнаго для той эпохи міровоззрѣнія.

«Нѣмецко-французскія лѣтописи» не пошли, какъ извѣстно далѣе одного толстаго выпуска, появившагося весною 1844 г., и ликвидація ихъ обострила непріязненные отношенія между Арнольдомъ Ругэ и Марксомъ, дорога которыхъ отнынѣ расходилась. Марксъ шелъ впередъ по тому пути, вѣхами котораго будутъ «Манифестъ коммунистической партіи», «Критика политической экономіи», «Капиталъ». Ругэ остановился временно на кульминаціонной точкѣ своего демократизма, чтобы затѣмъ болѣе или менѣе быстро сползти внизъ и дойти, наконецъ, до полученія пенсіи изъ «фонда пресмыкающихся» при Бисмаркѣ.

¹⁾ Ibid. 462—463.

Второй томъ уже упомянутого «Литературнаго наслѣдія» заключаетъ въ себѣ перепечатку наиболѣе интересныхъ вещей, написанныхъ Марксомъ и Энгельсомъ между іюлемъ 1844 г. и ноябремъ 1847. Онъ охватываетъ, такимъ образомъ, статью (единственную) Маркса во «Впередѣ», нѣмецкой газетѣ, выходявшей два раза въ недѣлю въ Парижѣ и перебѣгавшей,—благодаря низменной натурѣ издателя-афериста, нѣкоего Бёрнштейна (Börnstein), —отъ лъстивой оппозиціи къ грубой ругани противъ германскихъ властей и обратно; затѣмъ объемистую полемическую книгу «Святое семейство», написанную Энгельсомъ, а главное Марксомъ противъ братьевъ Бруно и Эдгара Бауэровъ и ихъ единомышленниковъ; наконецъ, рядъ рѣчей и статей, появившихся въ различныхъ нѣмецкихъ органахъ социалистическаго отгѣнка.

Этотъ промежутокъ времени былъ, можно сказать, героическимъ періодомъ въ исторіи умственнаго развитія двухъ друзей. Въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ они выработали,—по крайней мѣрѣ, въ общихъ чертахъ,—то, что называется «научнымъ социализмомъ», какъ онъ выраженъ въ «Манифестѣ коммунистической партіи». При этомъ каждый изъ мыслителей работалъ болѣе или менѣе независимо въ отмежеванной себѣ области, хотя все болѣе и болѣе дѣлясь результатами изслѣдованія съ другимъ, пока, наконецъ, не создалось то рѣдкое общеніе умовъ, какое представляетъ намъ дѣятельность Маркса-Энгельса. Энгельсъ изучалъ преимущественно англійскія экономическія условія и англійскую же экономическую литературу. Марксъ погрузился въ изученіе великой французской революціи и социалистическихъ системъ, инья изъ которыхъ выросли тутъ же на его глазахъ, въ шумномъ Парижѣ, бывшемъ въ то время міровою лабораторією социализма. На Маркса, перенесеннаго сюда изъ жалкихъ нѣмецкихъ условій и отъ гегельянской «философіи разумности», должно было благотѣльно подѣйствовать соприкосновеніе съ кипучею жизнью и нервно-геніальною мыслью Франціи.

Здѣсь передъ историкомъ марксизма открывалась бы соб-

ственно увлекательная задача прослѣдить образованіе новаго умственнаго теченія изъ сліянія нѣмецкой философіи Гегеля, прогнанной сквозь фильтръ фейербахианства, съ французской общественно-политической мыслью,—великими матеріалистами XVIII вѣка, буржуазными историками и социалистами первой половины XIX-го,—а нѣсколько позже съ англійской классической экономіей и англійскимъ же социализмомъ. Но для надлежащаго выполненія этой задачи, очевидно, не настало еще время. Во всякомъ случаѣ, не такому правовѣрному марксисту, каковъ Мерингъ, несмотря на его писательскія достоинства и мѣстами значительную эрудицію (особенно въ политической исторіи Германіи), могло удасться рѣшеніе этой задачи, требующей большаго безпристрастія, да, пожалуй, и болѣе непосредственнаго знакомства съ французскими авторами.

Такъ, въ объяснительныхъ комментаріяхъ ко второму тому Мерингъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ старается воздать должное вліянію на Маркса французскихъ социалистовъ, прежде всего Фурье, а затѣмъ Прудона, оцѣнка котораго показываетъ серьезное желаніе комментатора отрѣшиться отъ чрезычуръ рѣзкихъ отзывовъ марксистской школы о социалистахъ иныхъ направленій (ниже мы увидимъ, что самъ Марксъ, вплоть до появленія «Экономическихъ протворѣчій» Прудона, цѣнилъ геніальнаго мыслителя, вышедшаго изъ народа). Но въ тѣхъ же комментаріяхъ Мерингъ страдаетъ недостаткомъ безпристрастія, когда, напр., рѣчь заходитъ о Луи-Бланѣ. Можно рѣзко относиться къ безхарактерности этого дѣятеля, можно подвергать критикѣ склонность Луи-Блана къ сентиментально-религіозной риторикѣ, часто замѣняющей доказательство. Но бросать его въ одинъ горшокъ съ представителями тогдашней «мелко-буржуазной» социалистической партіи въ родѣ Ледрю-Роллэна (вѣроятно, на основаніи маленькаго примѣчанія Энгельса въ «Манифестѣ»), значить грѣшить противъ исторической перспективы и вообще злоупотреблять терминомъ «мелко-буржуазный». Послѣдующія политическія событія, разыгравшіяся во время февральской революціи, показали, что какой бы ложной идеализаціей совре-

меннаго государства и правящихъ классовъ ни страдалъ планъ «Организаціи труда», и какую бы крупную тактическую ошибку ни совершилъ Луи-Бланъ, вступивъ въ буржуазное временное правительство, идеи этого дѣятеля расходились съ міровоззрѣніемъ социалистствующей буржуазіи, полной «ненависти коммунизма» (подлинныя слова Ледрю-Роллэна). Намъ, конечно, нѣтъ здѣсь дѣла до дальнѣйшей эволюціи, — вѣрнѣе, паденія — Луи-Блана въ послѣдніе годы его жизни, вплоть до возмутительно несправедливаго приговора, произнесеннаго имъ надъ парижской Коммуной.

Странное также впечатлѣніе производитъ на читателя и совершенное умолчаніе Меринга о Пьерѣ Леру¹⁾. Неужели человѣкъ, который успѣлъ, какъ показываютъ добросовѣстные историки (напр., Жоржъ Вейль, И. Черновъ), въ теченіе іюльской монархіи связать идеи аполитическаго и даже въ извѣстномъ смыслѣ реакціоннаго сэнъ-симонизма съ требованіемъ энергичной политической дѣятельности массъ,—неужели этотъ человѣкъ не долженъ былъ оказать ровно никакого вліянія на идейную эволюцію Маркса, шедшаго какъ разъ въ направленіи отъ утопическаго социализма Сэнъ-Симона и Фурье къ социализму, основанному на политической борьбѣ классовъ?

Перейдемъ, впрочемъ, отъ комментатора къ самому Марксу. Минуя горячую статью Маркса во «Впередѣ», заключающую поправки къ взглядамъ Ругэ на тогдашнія прусскія дѣла, а вмѣстѣ аполлогію возстанія силезскихъ ткачей, мы остановимся нѣсколько болѣе на любопытной по содержанію и курьезной по формѣ книгѣ «Святое семейство, или критика критической критики». Въ этой странной, почти единственной въ своемъ родѣ диссертациі de omnibus rebus et quibusdam aliis Энгельсу принадлежитъ листа полтора, Марксу болѣе двадцати. И вся эта грузная артиллерія была направлена противъ «Всеобщей литературной газеты», издававшейся въ теченіе года братьями Бауэрами (и нѣкоторыми ихъ сотрудни-

¹⁾ О немъ Мерингъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ и совсѣмъ мимоходомъ.

ками), которые отказывались отъ «поверхностной и злой» критики «Рейнской газеты» и вообще политическаго направиленія и становились теперь на точку зрѣнія «свободной человѣческой критики», объявляя, напримѣръ, такія понятія, какъ «свобода», «народъ», «свобода печати», «верховенство народа» пустыми, ничего не значащими погремушками и объщаясь неизмѣнно проникать въ самую «суть вещей». Эти претензіи достаточно объясняютъ заглавіе полемической книги, направленной противъ «критической критики» всего клана или «святого семейства» Бауэровъ (въ ихъ газетѣ участвовалъ еще одинъ изъ этихъ родственниковъ).

Какъ мы уже сказали, въ книгѣ Маркса-Энгельса говорится обо всемъ: у авторовъ, подъ вліяніемъ чтенія Бауэровъ, словно прорвался громадный не то желчный, не то смѣхотворный мѣшокъ, и все, что юношеская и оригинальная ассоціація идей могла связать въ ихъ головѣ со «Всеобщей газетой», все это было выброшено, еще живое, еще трепещущее, на страницы безконечной полемической брошюры. А такъ какъ наши мыслители работали въ это время необыкновенно горячо и интенсивно, жадно всматривались и въ жизненные факты, и въ умственные явленія, то «Святое семейство» представляетъ собой какъ бы идейный журналъ всего, что друзья пережили и передумали за это время. Подумайте, въ книгѣ говорится и о 10-часовомъ англійскомъ биллѣ, и о проституціи, и о Прудонѣ, и о «Парижскихъ тайнахъ» Эжена Сю, и о еврейскомъ вопросѣ, и объ абстрагирующихъ пріемахъ идеалистической философіи, и т. д., и т. д. и тысячу разъ и т. д. Все это въ извѣстномъ смыслѣ очень интересно, и для историка марксо-энгельсовской эволюціи является драгоценнымъ матеріаломъ; но многое само по себѣ не имѣетъ больше никакого значенія. Мы укажемъ лишь на вещи, дѣйствительно заслуживающія вниманія.

Любопытно прежде всего видѣть, что въ этой книгѣ Марксъ является уже послѣдовательнымъ социалистомъ-политикомъ, хотя и находится еще подъ сильнымъ вліяніемъ Прудона. Къ могучему мыслителю-плебею нашъ авторъ относится

съ горячимъ сочувствіемъ и, зло издѣваясь надъ неудачнымъ переводомъ и еще менѣе того удачными комментаріями Эдгара Бруно къ трактату Прудона о собственности, такъ характеризуетъ значеніе французскаго философа: «Прудонъ подвергаетъ самое основаніе политической экономіи, частную собственность, критическому испытанію, и еще какому?—первому рѣшительному, беспощадному и вмѣстѣ научному испытанію. Это—великій научный прогрессъ, совершенный имъ, прогрессъ, который производитъ цѣлую революцію въ политической экономіи и впервые дѣлаетъ возможною истинную политико-экономическую науку. Сочиненіе Прудона *Qu'est ce que la propriété* имѣетъ то же самое значеніе для современной политической экономіи, какое сочиненіе Сьейеса *Qu'est ce que le tiers Etat* имѣетъ для современной политики» ¹⁾.

И далѣе, гдѣ Марксъ самой критикой своей Прудона указываетъ на высокое мѣсто, занимаемое этимъ авторомъ въ исторіи науки:

«Французское сочиненіе Прудона, появившееся въ 1840 г., не стоитъ на точкѣ зрѣнія нѣмецкаго развитія въ 1844 г... Достаточно, впрочемъ, только провести послѣдовательно установленный самимъ Прудонѣмъ законъ, а именно осуществленіе справедливости, чтобы раздѣлаться и съ этимъ абсолютѣмъ въ исторіи. И если Прудонъ не доходитъ до этого заключенія, то виною этому то обстоятельство, что онъ по несчастію родился французомъ, а не нѣмцемъ» ²⁾.

Замѣчательна далѣе та законченность, съ которою уже въ это время Марксъ формулируетъ свою философію исторіи съ господствующей въ ней ролью интересовъ и лишь производною ролью идей. Разбирая презрительный взглядъ Бруно Бауэра на «массу», которая, молъ, всегда находится въ противорѣчій съ «духомъ», съ истиннымъ философскимъ пониманіемъ, и которая именно потому проваливаетъ всѣ «революціи», что осмѣливается приходить въ состояніе энтузіазма

¹⁾ Ibid., II, стр. 127.

²⁾ Ibid., стр. 129—130.

изъ-за «идеи», въ то время какъ никогда не можетъ понять ее надлежащимъ образомъ,—обрушиваясь съ негодующей критикой на этотъ аристократическій взглядъ, Марксъ пишетъ: «Идея» срамилась всякій разъ, какъ только отдѣлялась отъ «интереса»... Интересъ буржуазіи въ революціи 1789 г. не только былъ далеко отъ того, чтобы «не удался», но «выигралъ», наоборотъ, все и имѣлъ «самый рѣшительный успѣхъ», какъ бы ни испарялся первоначальный «паѳосъ» и какъ бы ни блекли цвѣты «энтузіазма», которыми этотъ интересъ обвивалъ свою колыбель. Этотъ интересъ былъ столь могущественъ, что онъ побѣдоносно справился съ перомъ Марата, гильотиною террористовъ, шпагой Наполеона, распятіемъ и чистокровностью Бурбоновъ. «Не удалась» революція лишь для массы, для *той* массы, которая въ политической идеѣ не обладала идеей своего дѣйствительнаго интереса, истинный жизненный принципъ которой не совпадалъ съ жизненнымъ принципомъ революціи, реальныя условія освобожденія которой существенно отличались отъ условій, внутри которыхъ буржуазія могла освободить себя и общество» ¹⁾.

Изъ этого произведенія Маркса видно, какъ для него въ это время идеалистическая философія была уже навсегда оставленной позади полосой развитія, завѣщавшей ему лишь свой «діалектический» аппаратъ и свой гегельянскій жаргонъ. Онъ подсмѣивается надъ тенденціями этой философіи смотрѣть въ «сущность» вещей и безразлично относиться къ ихъ конкретному, къ ихъ дѣйствительному бытію: «Если изъ дѣйствительныхъ яблокъ, грушъ, земляники, миндаля я составляю общее представленіе «плодъ», если я иду еще далѣе и воображаю, что мое абстрактное представленіе «плодъ», полученное мною отъ дѣйствительныхъ плодовъ, есть внѣ меня существующая сущность, да даже истинная сущность груши, яблока и т. д., то тогда—выражаясь спекулятивно—я объявляю плодъ вообще за «субстанцію» груши, яблока, миндаля и т. д.» ²⁾.

¹⁾ Ibid., стр. 182.

²⁾ II, стр. 156.

Мы видимъ, какую роль играетъ въ смыслѣ указанія на эволюцію марксизма эта курьезная, но интересная книга, которая была до сихъ поръ библиографическою рѣдкостью и знаніемъ которой очень щеголяли «ученики», имѣвшие счастье видѣть подлинникъ. Во всякомъ случаѣ уже въ 1845 г. («Святое семейство» появилось весной этого года) Марксъ, по словамъ Энгельса, развилъ ему свою теорію экономического объясненія исторіи, которая близко подходила къ воззрѣніямъ Энгельса, но захватывала лишь глубже вопросъ. Именно это обстоятельство и заставило Энгельса, поистинѣ съ рѣдкимъ интеллектуальнымъ самоотверженіемъ, стать лишь главнымъ помощникомъ, правою рукою самого Маркса, предоставивъ послѣднему руководящую роль въ выработкѣ теоріи. Во второй половинѣ 40-хъ годовъ она была окончательно выработана.

На эти годы падаетъ рядъ полемическихъ стычекъ Маркса и Энгельса съ болѣе или менѣе родственными направленіями, отъ теоріи и практики которыхъ они желали отгородить свое рѣзко опредѣлившееся міровоззрѣніе и сгруппировать подъ его знаменемъ революціонные элементы. Эти годы, вплоть до февральской революціи, Марксъ прожилъ въ Брюсселѣ, куда удался по высылкѣ изъ Парижа (въ январѣ 1845 г., изгнаніе постигло его въ числѣ другихъ свободомыслящихъ нѣмцевъ, высылки которыхъ прусское правительство добилось отъ Дюшателя, министра внутреннихъ дѣлъ въ кабинетѣ Гизо). Энгельсъ же провелъ это время отчасти въ Парижѣ, отчасти въ Брюсселѣ, а главнымъ образомъ въ Германіи, гдѣ занимался торговыми дѣлами отца, но также и самообразованіемъ, думая даже одно время поступить въ университетъ. Лѣтомъ 1845 года Марксъ совершилъ полуторамѣсячное путешествіе по Англіи вмѣстѣ съ Энгельсомъ, уже въ то время авторомъ «Положенія рабочихъ классовъ въ Англіи», но, какъ было сказано выше, самоотверженно отступавшимъ на второй планъ передъ Марксомъ. На Маркса наблюденіе промышленной жизни Англіи и первое болѣе близкое знакомство съ островными экономистами произвели глубокое впечатлѣніе и помогли быстрѣйшей кристаллизаціи формировавшихся идей.

Въ 1847 г. вышла, какъ извѣстно, «Нищета философіи», гдѣ Марксъ рѣшительно билъ въ забрало «мелко-буржуазному» социализму Прудона, съ которымъ еще въ 1844 г. онъ проговаривалъ цѣлыя ночи, «отравляя его Гегелемъ», но который уже незадолго до выхода въ свѣтъ своихъ «Экономическихъ противорѣчій», вызывая въ письмѣ изъ Ліона отъ 17-го мая 1846 г. «ферулу» Маркса, развивалъ взгляды, рѣзко отдѣлявшіе его мировоззрѣніе отъ революціоннаго социализма. Когда читаешь теперь это письмо, то ясно видишь, въ чемъ лежала сущность разногласія. Марксъ стоитъ на точкѣ зрѣнія коренного преобразованія общества путемъ революціи; Прудонъ высказывается за частныя социальныя реформы и объявляетъ эту революцію окончательно поконченной—какъ разъ наканунѣ февральской революціи!..

Письмо Прудона настолько интересно въ смыслѣ уясненія этого противорѣчія во взглядахъ, что я дамъ здѣсь переводъ (не въ короткомъ изложеніи Меринга, а съ французскаго подлинника) наиболѣе характерныхъ его мѣстъ, тѣмъ болѣе, что оно мало знакомо большой публикѣ. «Будемъ искать вмѣстѣ, если угодно,—говоритъ сынъ французскаго мужика,—законы, управляющіе обществомъ, способъ, какимъ осуществляются эти законы, прогрессъ, который помогаетъ намъ открыть ихъ. Но, разрушивъ всѣ виды догматизма à priori, не будемъ, ради Бога, въ свою очередь начинать народъ новыми доктринами, не будемъ впадать въ противорѣчіе вашего соотечественника, Мартина Лютера, который, ниспровергнувъ католическую теологію, тотчасъ же принялся съ превеликимъ усердіемъ, при помощи отлученій и анаѳемъ, основывать протестантскую теологію... Будемъ вести между собою хорошую и честную полемику; дадимъ міру примѣръ ученой и предусмотрительной терпимости, но потому только, что мы стоимъ во главѣ движенія, не будемъ дѣлать изъ себя вождей новой нетерпимости, не будемъ становиться въ позу апостоловъ новой религіи, будь она даже религіею логики, религіею разума...

«Мнѣ должно также сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно выраженія вашего письма *въ моментъ дѣйствія*. Мо-

жетъ быть, вы сохраняете еще мнѣніе, что никакая реформа не возможна въ настоящее время безъ насильственнаго переворота, безъ того, что нѣкогда называли «революціей», и что въ сущности-то представляетъ—ни болѣе ни менѣе, какъ отдѣльную встряску. Я понимаю это мнѣніе, я извиняю его, и я охотно буду даже оспаривать его, такъ какъ самъ долго раздѣлялъ его. Но я долженъ признаться, что мои послѣднія занятія заставили меня совершенно отказаться отъ него. Я думаю, что въ этомъ мы не нуждаемся, чтобы достигнуть успѣха; и что, слѣдовательно, мы не должны ставить *революціонное* дѣйствіе, какъ средство социальной реформы, потому что это мнимое средство было бы просто-на-просто лишь призывомъ къ силѣ, къ произволу, короче сказать, противорѣчіемъ. Я ставлю себѣ проблему слѣдующимъ образомъ: *возвратить обществу путемъ экономической комбинаціи тѣ богатства, которыя ушли изъ этого общества путемъ другой экономической комбинаціи*. Другими словами, повернуть въ области политической экономіи теорію собственности противъ собственности такимъ образомъ, чтобы получить то, что вы, нѣмецкіе социалисты, называете *общностью* и по отношенію къ чему я ограничусь для даннаго момента наименованіемъ *свободы, равенства*. А я думаю, что нашелъ средство разрѣшить въ короткое время эту проблему: я предпочитаю поэтому сжигать собственность на медленномъ огнѣ, чѣмъ придать ей новую силу, устроить Варфоломеевскую ночь собственниковъ. Моя слѣдующая книга, половина которой уже набрана въ данный моментъ, разъяснитъ вамъ больше. Вотъ, любезный философъ, какъ я смотрю въ настоящее время на вещи, если только я не ошибаюсь, и готовъ въ случаѣ надобности подвергнуться удару ферулы изъ вашихъ рукъ, чему я охотно подчиняюсь, въ ожиданіи реванша со своей стороны. Я долженъ вамъ кстати сказать, что таковымъ же мнѣ представляется настроеніе рабочаго класса во Франціи; наши пролетаріи такъ жаждутъ науки, что они очень дурно встрѣтили бы всякаго, кто сталъ бы давать имъ для утоленія этой жажды лишь кровь. Короче сказать, было бы дурной политикой съ

нашей стороны говорить тономъ людей, желающихъ истребить все и вся; средства насилія найдутся въ достаточномъ числѣ; народъ не нуждается въ напоминаніи о томъ» ¹⁾).

Мы знаемъ, съ какой мѣстами придиричивостью, но зато и съ какой энергіей и глубиной Марксъ разобралъ межеумочный социализмъ Прудона, въ которомъ было много предразсудковъ не столько «мелкаго буржуа», сколько французскаго крестьянина, крестьянина-индивидуалиста, рѣзко возстающаго противъ коммунизма. А по отношенію къ подчеркиванію Прудономъ начала мирнаго развитія кто не припомнитъ послѣднихъ строкъ марксовской «Нищеты философіи», заканчивающихся словами Жоржъ Зандъ: «битва или смерть, кровавая борьба или ничтожество: такъ неотразимо поставленъ вопросъ».

Рѣзко раздѣливался въ это время Марксъ и съ нѣмецкимъ или «истиннымъ социализмомъ», который подъ предлогомъ возвышенныхъ идей о предстоящемъ социальномъ переустройствѣ проповѣдовалъ равнодушіе къ борьбѣ за политическую свободу, утверждая, что «конституціи требуютъ лишь либералы», а «народъ въ ней не нуждается». Разорваны были связи и съ портнымъ Вейтлингомъ, главою «ремесленнаго коммунизма», который возбуждалъ непріязнь Маркса своею утопическою и сентиментальною аргументаціею необходимости общественнаго переустройства (объ этомъ столкновеніи писалъ и нашъ П. В. Анненковъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1880 г., въ статьѣ «Замѣчательное десятилѣтіе», приурочивая его къ 1846 г.; по словамъ самого Вейтлинга, оно имѣло мѣсто въ 1847 г.).

Перечитывая относящіяся сюда мѣста изъ пояснительныхъ примѣчаній Меринга, не можешь отказаться отъ той мысли, что въ эти столкновенія вносилась чрезмѣрная рѣзкость; и что, можетъ быть, движеніе развивалось бы отнюдь не хуже, если бы соперничающія стороны, особенно Марксъ и Энгельсъ, проявляли больше терпимости въ спорахъ и болѣе считались

¹⁾ Correspondance de P.-J.-Proudhon; Парижъ, 1875, т. II, стр. 198—200, passim.

съ разнообразіемъ темпераментовъ у различныхъ участниковъ въ общемъ дѣлѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ понимаешь, что это должно было случиться фатально. Новое міровоззрѣніе потому такъ рѣзко и противоположало себя другимъ, что было новымъ и инстинктивно старалось отстоять свое право на существованіе, подчеркивая и даже, можетъ быть, утрируя свою разницу съ другими. Тутъ поневолѣ вспоминаешь парадоксальную нѣмецкую поговорку: «тотъ вѣрно оцѣниваетъ, кто переоцѣниваетъ», т.-е. преувеличиваетъ. Въ пылу борьбы люди неизбѣжно перехватываютъ черезъ край. Лишь когда остыла горячая лава плаголовъ, нѣкогда жегшихъ сердца людей, и превратилась въ извѣстномъ смыслѣ въ отвердѣвшую историческую формацію, позднѣйшій изслѣдователь можетъ болѣе справедливо отнестись къ перипетіямъ прежней идейной битвы. Такъ, даже у правовѣрнаго Меринга вырываются фразы (см. особенно стр. 390), свидѣтельствующія, по крайней мѣрѣ, о желаніи ученика внести нѣкоторыя смягчающія обстоятельства въ безусловно отрицательный приговоръ, произнесенный въ свое время Марксомъ и Энгельсомъ надъ представителями соперничающихъ направленій социализма.

Какъ бы то ни было, благодаря (а, можетъ, и вопреки) этой рѣзкой критикѣ и прямолинейной тактикѣ, идеи марксизма быстро завоевывали себѣ почву. Такъ, «союзъ справедливыхъ», состоявшій изъ нѣмецкихъ революціонеровъ въ Парижѣ и погибшій здѣсь вмѣстѣ съ барбэсовскимъ тайнымъ «обществомъ Времени» въ возстаніи 1839 г., но восстановленный въ началѣ 40-хъ годовъ въ Лондонѣ, сначала включалъ въ себѣ различныхъ приверженцевъ демократизма и социализма, которые смущались начавшими въ то время распространяться первыми идеями Маркса и Энгельса. Интересно, что и оба теоретика сами отклонили сначала приглашеніе «Справедливыхъ» войти въ ихъ организацію. Лишь въ 1847 г., когда марксизмъ сталъ преобладающимъ ученіемъ и среди этого союза, Марксъ и Энгельсъ вступили въ него. Затѣмъ ихъ вліяніе становится здѣсь почти исключительнымъ. Конспираціи, направленная на заговоры и инсurreкціи во французскомъ

духъ, уступаетъ мѣсто тайной организаціи идейной пропаганды. Эпитетъ «справедливые» замѣняется эпитетомъ «коммунисты». Девизъ общества «всѣ люди братья» переходитъ въ кличъ «пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь». Таково было и заключеніе «Манифеста коммунистической партіи», который былъ принятъ послѣ 10-дневныхъ дебатовъ на вторичномъ конгрессѣ новой организаціи въ ноябрѣ 1847 г. (первый имѣлъ мѣсто всего нѣсколькими мѣсяцами раньше, лѣтомъ того же года). Мы принуждены для краткости отказаться отъ указанія на работы Маркса-Энгельса за этотъ періодъ времени въ различныхъ по большей части небольшихъ органахъ. Съ другой стороны, нѣкоторые замѣчательные рефераты нашихъ авторовъ, въ родѣ «Капитала и наемнаго труда» Маркса, не вошли въ изданіе Меринга по причинѣ своей распространенности.

Третій томъ «Литературнаго наслѣдія» заключаетъ въ себѣ вещи, написанныя Марксомъ и Энгельсомъ между маемъ 1848 г. и октябремъ 1850 г., т.-е. въ періодъ, наиболѣе переполненный внѣшними драматическими событіями. За это время успѣла разразиться февральская революція во Франціи и масса вызванныхъ ею революцій и возстаній въ другихъ мѣстахъ. За это же время революціонная волна успѣла пойти назадъ и смѣниться реакціонной волной, смывшей почти повсюду значительную часть демократическихъ пріобрѣтеній. И во всѣхъ этихъ исполненныхъ то величаваго трагизма, то жалкаго комизма событіяхъ оба друга участвовали перомъ, словомъ и лично дѣятельностью. Въ теоретическомъ отношеніи ихъ произведенія этой эпохи не имѣютъ очень большого значенія. Основные черты новаго міровоззрѣнія были выработаны, какъ мы видѣли, раньше. Однако вещи этого періода интересны, какъ практическія приложенія новаго міровоззрѣнія къ оцѣнкѣ текущихъ явленій тогдашней кипучей политической жизни, не говоря уже о большомъ публицистическомъ талантѣ авторовъ. То—статьи изъ «Новой рейнской газеты» и смѣнившего ее «Новаго рейнскаго обозрѣнія».

Центръ тяжести этой полосы въ жизни Маркса и Энгельса лежитъ, такимъ образомъ, въ непосредственной общественной

дѣятельности, а ихъ литература является какъ бы комментариемъ къ ней. Когда вспыхнула революція 24-го февраля и изгнала Орлеановъ изъ Франціи, бельгійскій король очень ловкой и хитрой рѣчью объ отреченіи, въ случаѣ если народъ не одобритъ его политики, успѣлъ расположить въ свою пользу мѣстную буржуазію, которая напала на демократическіе элементы Брюсселя и прежде всего на эмигрантовъ. Марксъ и жена его были при этомъ арестованы и подверглись возмутительнымъ полицейскимъ насиліямъ. Затѣмъ имъ былъ объявленъ декретъ о высылкѣ. Но членъ временнаго французскаго правительства, Флоконъ, съ которымъ Марксъ познакомился еще въ бытность свою въ Парижѣ, приглашалъ очень любезнымъ письмомъ Маркса во Францію: «тираннія изгнала васъ, свободная Франція открываетъ вамъ свои двери». Когда мартовское возстаніе въ Берлинѣ сломило королевско-феодалную власть, и вся Германія пришла въ сильное броженіе, Марксъ изъ Парижа отправился на родину и здѣсь въ теченіе почти цѣлаго года (съ іюня 1848 г. по май 1849 г.) издавалъ «Новую рейнскую газету» при дѣятельномъ сотрудничествѣ Энгельса, Вильгельма Вольфа и нѣкоторыхъ другихъ единомышленниковъ, съ октября же 1848 г. и при участіи знаменитаго поэта Фрейлихрата.

Этотъ органъ страстно отзывался на всѣ политическія событія. И коллекція его номеровъ представляетъ замѣчательную исторію «сумашасшедшаго года», оцѣниваемую день за днемъ съ точки зрѣнія опредѣленнаго міросозерцанія. Онъ зло смѣялся надъ политической незрѣлостью германской буржуазіи и безсиліемъ Національнаго собранія, съ самаго начала не умѣвшаго воспользоваться революціоннымъ положеніемъ. Онъ подвергалъ критикѣ расплывчатость самыхъ, повидимому, крайнихъ демократическихъ программъ. Онъ клеймилъ нѣмцевъ за сочувственное отношеніе къ Виндишгрецу, раздавившему пражское возстаніе чеховъ. Онъ клеймилъ и буржуазную республику Франціи за іюньскіе дни, вскрывая истинный смыслъ «братства противоположныхъ классовъ, изъ которыхъ одинъ эксплуатируетъ другой» (III, стр. 115). Онъ приглашалъ граж-

данъ привести въ исполненіе рѣшеніе прусскаго парламента не платить налоговъ, не отступая предъ вооруженнымъ возстаніемъ, за что въ лицѣ своихъ редакторовъ подвергался судебному преслѣдованію. Но присяжные вынесли оправдательный приговоръ. Защитительная рѣчь, произнесенная Марксомъ, 9-го февраля 1849 г., передъ кельнскимъ судомъ присяжныхъ, представляетъ собою такое мастерское развитіе революціоннаго права, что къ ея аргументаціи должно будетъ возвращаться всякій разъ, когда реакція будетъ въ своей борьбѣ съ революціей ссылаться на ея же попираемую законность. Само правительство, — говоритъ Марксъ, — стало на революціонный (а именно на контръ-революціонный) путь и не можетъ поэтому выдвигать противъ революціонеровъ законы, нарушенные имъ самимъ. Или, какъ энергично восклицаетъ обвиняемый, «корона совершила революцію, она опрокинула существующій правовой порядокъ, и, стало быть, не имѣетъ права апеллировать къ законамъ, которые такъ постыдно низвергнуты ею. Если счастливо продѣлали революцію, то можно вѣшать своихъ противниковъ, но не судить ихъ». А когда прокуроръ, отвѣчая на это, сказалъ, что корона отказалась отъ извѣстной доли своей власти въ пользу народа, созвавъ Національное собраніе, Марксъ возразилъ: «Власть лежала *разбитою* въ рукахъ короны; она отказалась отъ власти въ ея цѣломъ, чтобы спасти ея обломки. Король сдѣлалъ уступки, но къ этому его принудила революція. Ни больше, ни меньше».

Въ частности по поводу неплатежа податей Марксъ говорилъ, что такъ какъ въ Германіи шла борьба между двумя обществами, борьба «старого феодально-бюрократическаго строя и современнаго буржуазнаго общества», и въ исходѣ такой борьбы должно будетъ восторжествовать послѣднее, то неплатежъ податей отнюдь не подрываетъ, какъ то «комически утверждаетъ» прокуроръ, основъ этого общества, но, наоборотъ, является необходимымъ оборонительнымъ орудіемъ общества противъ правительства, которое именно и подрываетъ основы современнаго общества. Оправдательный приговоръ при-

сяжныхъ не спасъ, впрочемъ, ни Маркса, ни газеты отъ ударовъ расхолодившейся реакціи. Правительство рѣшило закрыть изданіе, а Марксъ получилъ приказъ о выѣздѣ изъ Кельна. Тогда «Новая рейнская газета» выпустила послѣдній номеръ, въ которомъ мѣстные рабочіе предостерегались противъ попытки вооруженнаго возстанія, а Фрейлигратъ напечаталъ свое знаменитое стихотвореніе «Прости».

По закрытіи газеты редакторы ея разъѣхались въ разныя стороны, чтобы продолжать политическую агитацію: Вильгельмъ Вольфъ во Франкфуртъ, гдѣ бѣгство депутата Штенцеля дало ему возможность занять его мѣсто въ Національномъ собраніи; Энгельсъ въ Баденъ, въ качествѣ адъютанта Виллиха, одного изъ предводителей баденскаго возстанія; Марксъ въ Парижъ, чтобы завязать сношенія съ Горой, которая подготавливала въ то время возстаніе противъ «партіи порядка» и президента республики Людовика-Наполеона. Всѣ эти попытки не удались. И отбитые по всей линіи, друзья встрѣтились въ Лондонѣ, куда Марксъ пріѣхалъ лѣтомъ въ 1849 г., избѣгнувъ ссылки (въ самый глухой бретонскій департаментъ Морбиганъ), которою вздумало было наказать его реакціонное правительство Второй республики, легко разогнавшее войсками (13-го іюня 1849 г.) безоружную демонстрацію демократической національной гвардіи. Въ Лондонѣ съѣхавшіеся друзья рѣшили продолжать изданіе органа, въ формѣ ежемѣсячнаго журнала. Но недостатокъ средствъ и все болѣе и болѣе отливавшая волна революціоннаго настроенія заставили ихъ прекратить литературное предпріятіе на двойномъ, пятомъ-шестомъ номерѣ: журналъ, носившій названіе «Новаго рейнскаго обозрѣнія», не просуществовалъ и года, а именно съ января по ноябрь 1850 г.

Здѣсь былъ помѣщенъ очень интересный этюдъ Маркса о «Классовой борьбѣ во Франціи» (не вошедшій въ собраніе Меринга, какъ находящійся въ отдѣльномъ новомъ изданіи). Здѣсь же появились статьи Энгельса о «Крестьянской войнѣ въ Германіи» (не вошло по той же причинѣ) и о «Кампаніи въ защиту конституціи». Послѣдній историческій очеркъ Любопытенъ, однако, не столько какъ описаніе самаго похода

инсургентовъ, лично пережитого Энгельсомъ въ отдѣльномъ отрядѣ волонтеровъ, сколько какъ попытка приложить къ характеристикѣ тогдашнихъ событій и взаимнымъ отношеніямъ различныхъ классовъ населенія методъ историческаго матеріализма. Изъ прочихъ статей заслуживаютъ интереса: «Англійскій 10-часовой билль», этюдъ Энгельса, показывающій, что въ 40-хъ и 50-хъ годахъ основатели марксизма еще скептически относились къ рабочему законодательству въ рамкахъ капиталистической промышленности и лишь въ послѣдствіи (съ половины 60-хъ годовъ) признали его очень важнымъ факторомъ рабочаго движенія по пути къ окончательному освобожденію; нѣсколько рецензій, въ томъ числѣ одна, дававшая характеристику тайныхъ революціонныхъ обществъ во Франціи и противопоставлявшая ихъ рабочему организованному движенію; и политико-соціальные «обзоры» разныхъ странъ, въ одномъ изъ которыхъ находится очень типичное мѣсто, показывающее проницательный взглядъ авторовъ и большое пониманіе ими сложившихся въ началѣ 50-хъ годовъ условій: «При этомъ всеобщемъ процвѣтаніи, внутри котораго производительныя силы буржуазнаго общества развиваются столь роскошно, какъ только это вообще возможно при буржуазныхъ отношеніяхъ, ни о какой дѣйствительной революціи не можетъ быть и рѣчи. Такая революція возможна только въ періоды, когда эти оба фактора, современные производительныя силы и буржуазныя формы производства, попадаютъ въ противорѣчіе. Различныя перебранки, которыя затѣваютъ между собой и которыми взаимно компрометируютъ себя теперь представители отдѣльныхъ фракцій континентальной партіи порядка, не только не даютъ повода къ новымъ революціямъ, но, наоборотъ, только потому и возможны, что самое основаніе отношеній въ данный моментъ стоитъ такъ прочно и носитъ,—чего не сознаетъ реакція,—столь буржуазный характеръ. Отъ этой основы такъ же будутъ безсильно отскакивать всѣ реакціонныя попытки, задерживающія буржуазное развитіе, какъ и все нравственное негодованіе и всѣ пламенные прокламаціи демократовъ. Новая революція возможна только, какъ

слѣдствіе новаго кризиса. Но она за то столь же неизбежна, какъ и самый кризисъ»¹⁾.

Въ промежутокъ (1849—1850 г.), какъ можно увидѣть, между прочимъ, и изъ писемъ Лассалю къ Марксу (о нихъ рѣчь сейчасъ), основатели «историческаго матеріализма» отказались отъ надежды на немедленную революцію, но отодвинули ее въ ближайшее будущее, когда долженъ разразиться, по ихъ мнѣнію, сильнѣйшій экономическій кризисъ. Мы знаемъ, однако, что кризиса этого пришлось имъ ждать довольно долго, такъ какъ онъ назрѣлъ лишь къ 1857 г. Во всякомъ случаѣ интересно, что рабочее движеніе стало оживляться тоже не раньше этой эпохи. И, напр., активное настроеніе рабочихъ въ Германіи, которымъ воспользуется въ началѣ 60-хъ годовъ Лассаль, и живой обмѣнъ мыслей между французскими и англійскими пролетаріями, изъ котораго вырастетъ въ 1864 г. Международное общество, опредѣляются въ немалой степени обостреніемъ нужды и нищеты, вызванной хлопчато-бумажнымъ кризисомъ. Онъ, какъ извѣстно, сначала вспыхнулъ въ Американскихъ Штатахъ подъ вліяніемъ готовившейся войны между сѣверомъ и югомъ и затѣмъ перешелъ въ Германію (черезъ торговый міръ Гамбурга), Англию, Францію, Австрію.

III.

Мы только что упомянули о письмахъ Лассалю: они составляютъ цѣликомъ содержаніе четвертаго тома «наслѣдія» и обнимаютъ промежутокъ между 1849 и 1862 г. Намъ, къ сожалѣнію, не хватаетъ ихъ естественнаго дополненія: писемъ Маркса (и Энгельса) къ Лассалю. Эту переписку крайне выдающихся людей съ Лассалемъ, постигла, какъ извѣстно, печальная судьба. Умирая, гениальный трибунъ завѣщалъ свою коллекцію писемъ графинѣ Гатцфельдъ, отъ которой она перешла къ ея сыну и наслѣднику, Павлу Гатцфельду, во время

¹⁾ Ibid., III, стр. 467—468.

оно рядившемуся въ демократическія и даже социалистическія перья подъ вліяніемъ своего воспитателя Лассалля, а кончившему свою жизнь германскимъ посланникомъ въ Лондонѣ. Аристократическое міровоззрѣніе зрѣлаго графа ярко сказалося въ томъ, что онъ не захотѣлъ дѣлиться съ публикой компрометтировавшими, вѣроятно, по его мнѣнію, Лассалля письмами. Такъ, уже издатели писемъ Лассалля къ Родбертусу не могли узнать, что сдѣлалось съ письмами Родбертуса къ Лассалю. Что касается до писемъ Маркса къ Лассалю, то младшая дочь Маркса обратилась разъ къ Гатцфельду съ изысканно-вѣжливой просьбой передать ей письма отца, которыя могутъ находиться въ коллекціи Лассалля. Но его сіятельство отвѣтилъ великолѣпнымъ молчаніемъ. Издатель «наслѣдія» совершенно основательно не считалъ нужнымъ возобновлять эту попытку. А послѣ появленія писемъ Лассалля къ Марксу германскій посланникъ умеръ, и мы до сихъ поръ не знаемъ, какая участь ждетъ переписку Маркса.

Какъ бы то ни было, уже одна половина корреспонденціи, а именно письма Лассалля, представляютъ собою высоко интересный документъ какъ для исторіи социальнo-политическихъ идей и рабочаго движенія, такъ и для психологіи обоихъ изъ ряду вонъ выдающихся мыслителей и дѣятелей. Въ этихъ письмахъ Лассаль неизмѣримо проще, естественнѣе и является болѣе самимъ собою, чѣмъ въ своей зачастую манерничающей перепискѣ со своими аристократическими и буржуазными знакомыми: Мерингъ по праву отмѣчаетъ въ предисловіи это обстоятельство (IV, стр. XII).

Обширность этой переписки вынуждаетъ, однако, насъ не столько касаться подробно ея содержанія, сколько воспользоваться ею лишь для обрисовки нѣкоторыхъ чертъ въ фізіономіи двухъ гениальныхъ людей и для указанія на кой-какіе отдѣльные почему-либо особенно интересные пункты. Въдь это не сборникъ статей, изъ котораго можно извлечь все существенное въ видѣ простого резюме. Здѣсь передъ нами стоитъ живой человѣкъ, отзывающійся въ теченіе болѣе десяти лѣтъ, порою почти изо дня въ день, на явленія дѣйстви-

тельности, личныя обстоятельства или же на собственную и чужую работу теоретической мысли. Надо читать эти письма если не цѣликомъ, то очень большими кусками, чтобы понять въ данный моментъ ходъ разсужденій Лассалля (и, отраженнымъ образомъ, Маркса), или по достоинству оцѣнить очень интересные, но мимоходомъ брошенныя идеи. А такихъ длинныхъ цитатъ мы не можемъ дѣлать часто въ этомъ литературно-біографическомъ очеркѣ: иначе его пришлось бы сдѣлать вдвое болѣе объемистымъ лишь для писемъ.

Первое впечатлѣніе, когда вы начинаете вчитываться въ переписку, это, что вы имѣете дѣло съ двумя очень рѣдкими умами и, мало того, съ очень рельефными и, несмотря на свою сложность, цѣльными личностями. Быстро замѣчается и нѣкоторая разность въ отношеніяхъ одного мыслителя къ другому, насколько, конечно, о томъ можно судить по односторонней корреспонденціи: Лассаль играетъ скорѣе роль ученика, Марксъ—учителя. Но оба они одного умственного типа. Оба они сознаютъ свое превосходство надъ средними людьми. Оба обладаютъ такимъ громаднымъ самолюбіемъ, какое показалось бы чудовищнымъ или крайне смѣшнымъ въ обыкновенномъ человѣкѣ. Но ни тотъ, ни другой не изнемогаютъ подъ бременемъ этого колоссальнаго самолюбія, а, наоборотъ, гордо несутъ его, такъ сказать, на самомъ челѣ, головой превышая окружающихъ.

Можно прослѣдить и оттѣнки этого самолюбія. У Маркса оно носитъ болѣе абсолютный характеръ, болѣе сконцентрированный на своемъ духовномъ я и болѣе сливающийся съ общимъ дѣломъ, которое въ глазахъ самого мыслителя отождествляется именно съ духовною его личностью. Азъ есмь азъ, я—Марксъ, и то, что нашла моя непогрѣшимая мысль, есть истина; то, въ чемъ я вижу своимъ проницательнымъ взглядомъ пользу для общаго дѣла, есть единственная политика. Кто не понимаетъ этого, тотъ или глупъ,—что всего чаще,—или же сознательно борется противъ меня, противъ истины, и, значитъ, подлежитъ уничтоженію, несмотря на нѣкоторыя, можетъ быть, вѣрныя, но частныя стороны критики, какъ под-

лежитъ уничтоженію всякая однобокая, относительная истина, которая должна уступить мѣсто, должна поглотиться, исчезнуть въ общей и абсолютной. Отсюда враги личные и враги идейные и общественные составляли для Маркса одну категорию. Но отсюда же, внѣ круга, гдѣ царило его верховное духовное я, для него не было враговъ. И въ этомъ смыслѣ можно сказать, что онъ не понималъ личной вражды, какъ ее понимаютъ сплошь и рядомъ средніе люди, которые дѣлаются непріятелями по совершенно пустой или, во всякомъ случаѣ, третьестепенной причинѣ.

Внѣ арены своей боевой интеллектуальной и политической жизни Марксъ, наоборотъ, несмотря на свою вспыльчивость и импульсивность, очаровывалъ своимъ обхожденіемъ, особенно въ моменты, когда не былъ окруженъ черезчуръ идолопоклонствующими учениками. А въ семьѣ или среди друзей, вообще, въ личной сферѣ онъ сохранялъ свѣжесть и нѣжность аффектовъ до послѣднихъ дней. Даже по отношенію къ индифферентнымъ ему людямъ онъ проявлялъ въ этой строго личной области удивительную покладистость, добродушно подвергаясь критикѣ своихъ внѣшнихъ сторонъ, первый же смѣясь надъ своими недостатками или слабостями и вообще не простирая на всю свою личность съ ея внѣшними особенностями и тиками того обожанія, которое свойственно самолюбивымъ людямъ низшаго калибра.

У Лассалья гигантское самолюбіе, опиравшееся, конечно, тоже прежде всего на сознаніе своего превосходства надъ людьми, носило, наоборотъ, характеръ отчасти этого болѣе мелкаго самообожанія. Его самолюбіе было не такъ спокойно, не такъ сконцентрировано на своемъ духовномъ я, какъ у Маркса. Оно распространялось и на внѣшнія стороны, которыми Лассаль гордился наравнѣ со своими великими внутренними качествами. Замѣчательный мыслитель, удивительно сильный и энергичный дѣятель, Лассаль желалъ быть, однако, и первымъ дэнди, первымъ донъ-жуаномъ, первымъ аристократомъ, вообще, первымъ человѣкомъ въ ряду существъ, которыхъ врядъ ли даже и заслуживаютъ названіе людей. Мало того,

Его самолюбіе было болѣе безпокойно, отчасти даже словно неувѣренно въ себѣ, если не встрѣчало пищи въ восхищеніи окружающихъ. На немъ лежалъ поэтому экспансивный, рекламный, крикливый, а порою заискивающий отпечатокъ. Тамъ, гдѣ Марксъ отвѣчалъ своимъ маленькимъ врагамъ презрительнымъ молчаніемъ, — это было особенно замѣтно, начиная съ 70-хъ годовъ, — Лассаль бушевалъ, неистовствовалъ, призывалъ небо, землю и преисподнюю, друзей и даже непріятелей во свидѣтели того, что онъ, Лассаль, неизмѣримо выше такого-то или иного минутнаго его врага, можетъ быть, очень мелкокалибернаго субъекта, и такимъ образомъ, именно и становился на одну точку съ тѣмъ, кого хотѣлъ подавить своимъ величіемъ.

Этотъ безпокойный, нуждающійся во внѣшнемъ признаніи даже мелочныхъ сторонъ, характеръ самолюбія объясняется отчасти первыми впечатлѣніями дѣтства Лассалья и условиями среды, въ которой онъ росъ и воспитывался. Если Марксъ родился въ высоко-культурной семьѣ прирейнскихъ евреевъ, которые не знали многихъ унижительныхъ проявленій правительственнаго гнета и общественнаго антисемитизма, то Лассаль, родившійся 11-го апрѣля 1825 г. въ Бреславлѣ (умеръ 39 лѣтъ отъ роду послѣ трехдневныхъ страданій отъ раны, полученной имъ въ Швейцаріи на дуэли съ Янко Раковицемъ 28-го августа 1864 г.), отъ зажиточнаго шелковаго торговца, принадлежалъ по своему происхожденію, какъ выражается его біографъ, къ «тому восточно-европейскому еврейству, которое успѣло освободиться отъ феодальной цѣпи, висѣвшей на его шеѣ лишь ржавчиной паразитнаго торгашества». Въ дневникѣ 15-лѣтняго Лассалья встрѣчаются мѣста, отъ которыхъ непріятно разитъ этимъ мелкимъ, грубо практичнымъ меркантильнымъ духомъ. Но рядомъ съ этимъ уже тогда въ его душѣ живутъ идеальные порывы, правда, всегда перемѣшанные съ планами личной грандіозной карьеры. Такъ, оставаясь въ это время еще на почвѣ традиціоннаго еврейства, Лассаль мечтаетъ о томъ, чтобы во главѣ евреевъ, съ оружіемъ въ рукахъ, стать ихъ освободителемъ, сдѣлать ихъ независимымъ

народомъ; и въ представленіи объ этой героической борьбѣ онъ не отступаетъ даже предъ «эшафотомъ». Послѣ этотъ энтузіазмъ семитскаго Маккавея смѣняется могучимъ стремленіемъ освободить все человѣчество. Но быть столь же безпристрастнымъ по отношенію къ дурнымъ и хорошимъ сторонамъ еврейства, какимъ былъ Марксъ, Лассалю никогда не удастся въ теченіе всей своей жизни. Сознаніе, что онъ принадлежитъ къ угнетенной національности, желаніе доказать людямъ, что эта національность ничуть не хуже другихъ, мысль о необходимости лишній разъ подчеркивать свое превосходство надъ окружающими именно въ качествѣ еврея не разъ толкали гигантски самолюбиваго Лассалья къ дѣйствіямъ, которыя порою должны были поражать своимъ наивнымъ комизмомъ именно въ этомъ на рѣдкость умномъ и энергичномъ человѣкѣ. Напр., желаніе первенствовать во всемъ, даже въ области ловеласничества, превращало временами эту крупную историческую фигуру въ претенціознаго салоннаго кавалера, который въ изысканномъ костюмѣ, палевыхъ перчаткахъ и т. п., часами проводилъ время въ ухаживаніи за умѣренно интересными дамами берлинскаго бомонда и даже вульгарнаго богатаго мѣщанства. Разумѣется, Лассаль самъ чувствовалъ смѣшныя стороны этой роли и охотно сознавался въ томъ людямъ, бывшимъ его близкими идейными товарищами. Когда однажды жена поэта Гервега, увидѣвъ Лассалья преисправно исполнявшимъ функціи свѣтскаго льва, не могла удержаться отъ замѣчанія по этому поводу, Лассаль расхохотался и добродушно отвѣтилъ ей: «ну, что же прикажете дѣлать, разъ теперь я занятъ этимъ».

Надо ли, впрочемъ, намъ говорить читателю, что мы скорѣе рисуемъ здѣсь психологическій портретъ, чѣмъ обличаемъ безнравственность самолюбія на примѣрѣ Маркса и Лассалья? Мы считаемъ столь же бесплоднымъ, сколько филистерскимъ упражненіемъ эти моральныя проповѣди, а пытаемся лишь вскрыть нѣкоторыя стороны характера обоихъ мыслителей. Увы! ихъ примѣръ доказываетъ — самое большее — лишь то, что и въ интеллектуальной области между побѣдоносными

полководцами неизмѣримо чаще встрѣчаются Наполеоны, чѣмъ Гоши и Марсо; и что въ нашемъ обществѣ, основанномъ на борьбѣ и развивающемъ боевые инстинкты, для оригинальныхъ умовъ выгоднѣе, пожалуй, обладать и подчеркнутымъ личнымъ элементомъ, чѣмъ однимъ самоотверженнымъ стремленіемъ къ истинѣ. Въ концѣ концовъ гигантское самолюбіе великихъ людей покоится, вѣроятно, на иллюзіи, — такъ сильно эти умы обязаны общей работѣ множества обыкновенныхъ людей. Но эта иллюзія такъ же облегчаетъ, усиливаетъ и расцвѣчиваетъ ихъ полезную для человѣчества дѣятельность, какъ иллюзія свободной воли и личной отвѣтственности.

Какъ бы то ни было, очень любопытно наблюдать столкновение или, лучше сказать, соприкосновение двухъ великихъ умовъ и двухъ колоссальныхъ самолюбій. Къ чести Лассалья надо сказать, что онъ, несмотря на все свое самомнѣніе, склоняется передъ умственнымъ авторитетомъ, правда, болѣе зрѣлаго Маркса: въ 1849 г., когда начинается переписка, Лассалю было 24 года, Марксу 31. Онъ не только неоднократно выражаетъ свою горячую дружбу къ Марксу, свое восхищеніе передъ его умомъ и ученостью, но добровольно признаетъ превосходство Маркса надъ собою въ высшихъ областяхъ человѣческаго знанія. Когда онъ услышалъ (въ 1851 г.), что Марксъ задумалъ большое — въ трехъ томахъ — сочиненіе по политической экономіи, онъ съ живѣйшимъ любопытствомъ и самымъ искреннимъ нетерпѣніемъ ждетъ появленія въ свѣтъ этого труда. Мало того, онъ всячески торопитъ Маркса, предлагаетъ ему издать работу на акціяхъ, неумоимо ищетъ издателя и, наконецъ, дѣйствительно, находитъ такового. Дѣло шло о появившейся лишь въ 1859 г. «Критикѣ политической экономіи», продолженіемъ или, вѣрнѣе, совершенной переделкой котораго былъ «Капиталъ», напечатанный уже послѣ смерти Лассалья.

Вотъ какъ привѣтствуетъ Лассаль первый дошедшій до него слухъ о планѣ Маркса: «Я слышу, что твоя политическая экономія, наконецъ-таки, увидитъ свѣтъ. Три толстые тома заразъ! Я смертельно голоденъ, я алчу этой пищи он

ne peut plus. Твоя брошюра против Прудона вполне способна возбудить у всякаго величайшаго ожиданія и относительно твоей положительной силы. Ибо она полна доказательствами поистинѣ поражающей литературно-исторической эрудиціи и глубочайшаго пониманія экономическихъ категорій!.. Но именно поэтому мнѣ такъ хотѣлось бы видѣть на своемъ рабочемъ столѣ трехтомное чудовище Рикардо, ставшаго социалистомъ, и Гегеля, сдѣлавшагося экономистомъ» ¹⁾.

А когда вмѣсто «трехтомнаго чудовища» 8 лѣтъ спустя вышла, наконецъ, у Дункера, благодаря стараніямъ Лассалья, монографія «Къ критикѣ» (Марксъ, какъ извѣстно, работалъ чѣмъ основательнѣе, тѣмъ медленнѣе), Лассаль горячо привѣтствуетъ ея появленіе, утѣшаетъ Маркса, негодовавшаго на молчаніе рецензентовъ, и годъ спустя даетъ въ письмѣ самый лестный отзывъ о «Критикѣ»:

«Я хочу лишь сказать тебѣ вкратцѣ, что она повергла меня поистинѣ въ восхищеніе. Что касается до языка и способа изложенія, то, естественно, она страдаетъ недостаткомъ своихъ достоинствъ. Она вся цѣликомъ выдержана, какъ самыя прекрасныя главы гегелевской «Феноменологіи». Но именно поэтому она чрезвычайно трудна для пониманія и образованной большой публики... Это повредитъ непосредственному вліянію, и ты долженъ быть сначала популяризированъ и произведешь свое дѣйствіе изъ вторыхъ рукъ. Однако, если бы ты въ слѣдующихъ выпускахъ, какъ этого мнѣ почти хотѣлось бы, ослабилъ нѣсколько такой пріемъ изложенія, то это, конечно, испортило бы замѣчательный характеръ художественнаго шедевра, отличающій твое произведеніе. А! я теперь вполне могу понять, почему ты находилъ многое въ моемъ «Гераклитѣ» растянутымъ. Твое изложеніе повсюду пластическое, пріемъ ваятеля... Что касается, наоборотъ, меня, то не можетъ быть и вопроса, что тутъ дѣло идетъ о болѣе второстепенномъ сортѣ изложенія. А если обратить вниманіе на то наслажденіе, которое доставило мнѣ чтеніе твоей книги и будетъ всегда

¹⁾ IV, стр. 31.

доставлять немногимъ посвященнымъ всѣхъ временъ, то не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что мы не должны бы и желать, чтобы ты измѣнилъ свой методъ въ продолженіи труда. Да, кромѣ того, всякое такое произведеніе находитъ всегда и людей, которые согласятся популяризировать его идеальное содержаніе и пустить его, словно мелкую монету, въ обращеніе» ¹⁾.

Со стороны Маркса видишь менѣе «восхищенія» и гораздо болѣе строгую критику, которая, какъ только политическія дороги двухъ мыслителей разошлись, переходитъ даже въ собственное Марксу желчное и полупрезрительное, а во всякомъ случаѣ несправедливое отношеніе. Напомнимъ, кстати, по этому поводу читателю, что, если еще въ 1864 г., въ своемъ «Капиталѣ и трудѣ», Лассаль отзывался о «Критикѣ», какъ о «великолѣпномъ сочиненіи, дѣлающемъ эпоху въ развитіи экономической науки», то, наоборотъ, Марксъ въ одномъ изъ примѣчаній къ первому тому «Капитала» упрекаетъ Лассалья въ томъ, что онъ будто бы пользовался его «Критикой» безъ ссылокъ на источникъ, а, передавая «квинтэссенцію» его изслѣдованія (что не совсѣмъ вяжется съ отсутствіемъ указанія на источникъ), надѣлалъ ошибокъ. Но тутъ, повторяю, дѣло идетъ объ эпохѣ, когда Марксъ и Лассаль пошли разными путями.

Если обратиться къ письмамъ Лассалья, то, несмотря на сравнительно долгій промежутокъ времени, въ теченіе котораго они писались, въ нихъ съ начала до конца Лассаль является по главнымъ вопросамъ солидарнымъ съ Марксомъ. Возьмемъ, напр., отношеніе ихъ къ рабочему классу. О томъ, какъ смотрѣлъ на пролетаріатъ Марксъ, видѣвшій въ немъ главнѣйшую революціонную силу нашей эпохи, много распространяться не приходится. Но приглядитесь и ко взгляду Лассалья въ этой области. Я процитирую одно сравнительно очень раннее письмо будущаго автора «Программы работниковъ», письмо, которое было набросано, можно сказать, на второй

¹⁾ IV, стр. 281.

день послѣ переворота, продѣланнаго Людовикомъ-Бонапартомъ 2-го декабря 1851 г. Въ этомъ письмѣ находится интересная оцѣнка отношенія французскаго пролетаріата и французской буржуазіи къ только-что совершившемуся *coup d'Etat*: «Все великое значеніе событія стало мнѣ ясно, когда оно окончательно совершилось. При этомъ два факта выступили прежде всего на передній планъ: рабочіе не участвовали въ возстаніи; и парижская національная гвардія совсѣмъ не появилась на сценѣ. Я не раздѣляю твоего мнѣнія, что парижскій пролетаріатъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы вступить въ бой. Подымись онъ, онъ, конечно, побѣдилъ бы, и все, что мы уже знаемъ теперь о провинціи, подтверждаетъ это. А почему онъ не поднялся, объясняется для меня изъ самого положенія вещей. Было разогнано Собраніе, которое составляло предметъ ненависти рабочихъ *par excellence*, которое уничтожило всеобщее избирательное право. Теперь само это право было восстановлено. Въ этихъ событіяхъ не было ничего, что могло бы вызвать возстаніе пролетаріата. Хотя ни одинъ рабочій не могъ заблуждаться относительно мотивовъ и намѣреній Наполеона, все же недовольству пролетаріата не хватало прямой побудительной причины, а возстанію—боевого лозунга. Рабочіе хотѣли прежде присмотрѣться.

«Страннѣе могло бы показаться безучастіе національной гвардіи и, того болѣе, ея частное выступленіе въ пользу Людовика-Наполеона. Ибо какъ разъ политическое и парламентарное владычество буржуазіи и было выброшено за окно, и была безцеремонно порвана связь со всѣми ея шестидесятилѣтними традиціями. Но страхъ, какъ бы изъ борьбы не вытекла побѣда соціальной республики, и заставилъ ее перенести поистинѣ чудовищныя вещи. Французская буржуазія отрекается отъ своего политическаго господства, ради котораго она боролась шестьдесятъ лѣтъ и побѣдила трехъ королей. Она отрекается отъ этого господства, потому что признаетъ и заявляетъ, что дальнѣйшее существованіе созданныхъ ею экономическихъ учрежденій возможно только при диктатурѣ военнаго деспотизма. Итакъ, вотъ значеніе этихъ дней: въ

промежутокъ времени отъ 2-го до 5-го декабря социализмъ одержалъ побѣду и положительно, и отрицательно. Отрицательно, поскольку не возсталъ единственная способная побѣдить партія, партія соціальная; положительно, поскольку буржуазія, изъ-за страха социализма, съ энтузіазмомъ привѣтствовала свое собственное униженіе и уничтоженіе! Такимъ образомъ эти событія представляютъ собою не что иное, какъ громадныя содроганія общества въ виду надвигающагося на него рока, не что иное какъ откровеніе, что этотъ рокъ, социализмъ, уже сегодня является, хотя и съ отрицательной стороны, ея рѣшающей сущностью. Цикль событій завершился. Неумолимымъ послѣдствіемъ іюньской побѣды было уничтоженіе всеобщаго избирательнаго права, а Эрриніею, мстившею и за то, и за другое, было 2-ое декабря. Но съ 2-мъ декабря общество стоитъ на одинъ волосокъ отъ пропасти новой пролетарской революціи. Я уже вижу, какъ она несется на насъ. Что изумительно, такъ это несравненная глупость буржуазіи, глупость, съ которой она принимаетъ свое свидѣтельство о смерти за полисъ, свидѣтельствующій о томъ, что ея жизнь застрахована. Пятипроцентная рента достигла почти 97 франковъ!» ¹⁾.

Не менѣе интересно совпаденіе взглядовъ Лассалю и Маркса на значеніе революціи для переустройства общества. Опять-таки много говорить въ этомъ отношеніи о Марксѣ не приходится. Роль силы, роль политическаго переворота съ достаточной энергіей подчеркивалась Марксомъ, который въ глазахъ учениковъ Бернштейна и прочихъ защитниковъ мирнаго развитія страдаетъ грѣхомъ «бланкизма» и «якобинства», и который, дѣйствительно, неоднократно характеризуетъ революціонное насиліе, какъ необходимое орудіе соціального переворота, какъ «повивальную бабу стараго общества, чреватаго новымъ». Но обратите вниманіе и на мысли Лассалю въ этомъ отношеніи. Я знаю, что нѣкоторые изъ послѣдователей его старались представить Лассалю эволюціонистомъ, сторонникомъ

¹⁾ IV, стр. 40—41 *passim*.

постепеннаго преобразованія общественныхъ формъ. Они ссылались при этомъ на его знаменитую бутаду въ отвѣтной рѣчи прокурору, гдѣ онъ подсмѣивается надъ вилами, которыя мерещатся его обвинителю, когда дѣло заходитъ о революціи, между тѣмъ какъ она, молъ, можетъ совершиться безъ всякаго кровопролитія, а какое-нибудь реакціонное движеніе, наоборотъ, принять крайне насильственный характеръ. Но, во-первыхъ, этой бутадѣ нечего придавать больше значенія, чѣмъ она на самомъ дѣлѣ заключаетъ. Во-вторыхъ, если правда, что глубокія измѣненія, что настоящія революціи могутъ происходить и безъ насилія, то все же типичныя революціонныя движенія были до сихъ поръ почти всегда связаны съ кровавымъ столкновеніемъ новаго и стараго міровъ, и почти всегда по винѣ представителей послѣдняго. А что Лассаль понималъ громадное значеніе именно такихъ коренныхъ, основанныхъ на насиліи переворотовъ, видно хотя бы изъ слѣдующаго мѣста письма, посланнаго Лассалемъ Марксу и Энгельсу въ числѣ другихъ писемъ, которыми друзья обмѣнялись по поводу исторической драмы Лассалья «Францъ фонъ-Зикингенъ»:

«... Вѣчная слабость всякой серьезной (berechtigten) революціонной идеи, желающей осуществиться на практикѣ, лежитъ въ недостаткѣ сознательности со стороны членовъ служащихъ ей классовъ, принципъ которыхъ еще не осуществленъ, равно какъ въ связанномъ съ этимъ недостаткѣ организациі находящихся въ ея распоряженіи средствъ. Діалектическое противорѣчіе, постоянно возвращающееся въ этомъ случаѣ, вкратцѣ таково. Сила революціи состоитъ въ ея *одушевленіи*, въ непосредственномъ довѣріи идеи къ своей собственной силѣ и безконечному значенію. Но одушевление есть—именно какъ эта *непосредственная* увѣренность во всемогущество идеи—прежде всего абстрактное игнорированіе конечныхъ средствъ къ ея дѣйствительному осуществленію и трудностей сложной реальной обстановки. Одушевление должно поэтому обратиться къ этой реальной сложности, къ оперированію при помощи конечныхъ средствъ, если хочетъ до-

стигнуть своихъ цѣлей въ ихъ конечной дѣйствительности. Иначе она забываетъ въ своихъ мечтаніяхъ о «что», о цѣли, реальную сторону «какъ», сторону осуществленія.

«При такихъ обстоятельствахъ намъ можетъ казаться торжествомъ выдающейся реалистической мудрости со стороны вожаковъ революціи считаться съ данными конечными средствами, скрывать истинныя и послѣднія цѣли движенія отъ другихъ (и, мимоходомъ будь сказано, часто даже отъ самихъ себя), и пріобрѣтать возможность организациі новыхъ силъ, благодаря этому умышленному обману господствующихъ классовъ, или даже эксплуатированію ихъ въ этомъ отношеніи, чтобы при помощи умно добытаго куска дѣйствительности побѣдить затѣмъ всю дѣйствительность.

«Въ третьемъ актѣ моей драмы Зикингенъ противопоставляется Гуттену именно съ точки зрѣнія этой безконечно реалистической мудрости, какъ и вообще онъ обнаруживаетъ постоянно сравнительно съ *нимъ*, какъ исключительно *уличнымъ* революціонеромъ, превосходство реалистическаго взгляда и практически-политическаго государственнаго генія. Но въ этомъ обращеніи одушевленія на конечныя цѣли, въ этомъ его подчиненіи имъ, одушевленіе отнюдь не *осуществляетъ себя*, но, наоборотъ, *уничтожаетъ* свой формальный принципъ,—безконечность идеи,—отдаетъ себя въ руки противоположнаго начала, въ уничтоженіи котораго и лежало его значеніе, и должно поэтому погибнуть заодно съ нимъ.

«Дѣйствительно, какъ ни трудно согласиться съ этимъ разсудку, но, повидимому, существуетъ почти неразрѣшимое противорѣчіе между спекулятивной идеей, составляющей силу и оправданіе революціи, и конечнымъ разсудкомъ съ его мудростью. Большая часть неудавшихся революцій не удалась—всякій дѣйствительный знатокъ исторіи долженъ будетъ согласиться съ этимъ—по причинѣ этой мудрости; или, по крайней не удались всѣ тѣ изъ нихъ, которыя полагались на эту мудрость. Великая французская революція 1792 г., побѣдившая при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, побѣ-

дила только потому, что поняла и разсудила отбросить въ сторону разсудокъ.

«Здѣсь лежитъ тайна силы крайнихъ партій въ революціяхъ, здѣсь, наконецъ, лежитъ и тайна того, почему инстинктъ массъ въ революціяхъ обыкновенно настолько превышаетъ пониманіе образованныхъ людей. «И чего не видитъ разсудокъ разсуждающаго, то дѣлаетъ и т. д.» Именно *недостатокъ образованія*, присущій массамъ, предохраняетъ ихъ отъ подводнаго камня хитроумнаго поведенія.

«... Каждая цѣль можетъ быть достигнута лишь при помощи того, что соотвѣтствуетъ ея собственной внутренней природѣ, а потому и *революціонныя цѣли* не могутъ быть достигнуты *дипломатическими средствами*.

«Или, говоря болѣе реально, революціи можно дѣлать лишь при помощи массъ и ихъ страстной преданности. Но массы, именно вслѣдствіе ихъ такъ называемой «грубости», вслѣдствіе ихъ недостатка въ образованіи, лишены какого бы то ни было пониманія компромиссовъ (Vermittlungen) и интересуются лишь крайностью, лишь цѣлымъ, лишь непосредственнымъ. Такимъ образомъ должно, въ концѣ концовъ, случиться, что такіе люди разсчета въ революціонномъ лагерѣ, вмѣсто того, чтобы избѣгнуть обманутыхъ враговъ передъ собою и опираться на друзей позади себя, встрѣчаются все же въ концѣ концовъ съ врагами впереди, но растериваютъ друзей позади. Самый высокій повидимому разсудокъ оказывается, слѣдовательно, на практикѣ высшей безразсудочностью.

«Впрочемъ, вполне естественно, что чѣмъ болѣшимъ знаніемъ, положеніемъ въ существующемъ строѣ, проницательностью, мудростью и образованіемъ обладаютъ личности, тѣмъ легче онѣ впадаютъ въ ошибку этой пагубной, воображающей себя очень реалистичною разсудочности. Вотъ почему и происходитъ, что, напр., во французской революціи (да и въ великой англійской было аналогичное явленіе) абстрактные идеалисты, якобинцы, лучше угадывали дѣйствительно тогда возможное и долженствовавшее осуществиться, чѣмъ гордившіеся своимъ образованіемъ, реалистическимъ взглядомъ на

вещи и государственною мудростью жирондисты, которыхъ народъ въ своей ненависти къ этой государственной мудрости и заклеилъ своеобразной кличкой *les hommes d'Etat* — государственные люди» ¹⁾).

Вдумайтесь въ общій ходъ мысли Лассалю и въ развитіе ея частныхъ, и для васъ не будетъ никакого сомнѣнія, что и авторъ «Системы приобрѣтенныхъ правъ» былъ не меньшимъ революціонеромъ, чѣмъ авторъ «Коммунистическаго манифеста». И Лассалю, какъ Марксу, претила та мнимая мудрость «государственныхъ людей» изъ революціоннаго лагеря, которая думаетъ перехитрить противника и въ концѣ концовъ, спутывая понятія среди массъ, охлаждая ихъ энтузіазмъ, проигрываетъ безповоротно дѣло или, по крайней мѣрѣ, отодвигаетъ въ неопредѣленное будущее торжество новыхъ началъ. И Лассаль, какъ Марксъ, понималъ, что научное понятіе объ эволюціи, о постепенномъ развитіи извѣстныхъ формъ и учреждений, нисколько не исключаетъ необходимости взрывовъ въ узловыхъ точкахъ движенія.

Такъ какъ мы заговорили о перепискѣ по поводу Зикингена, то небезынтересно, можетъ быть, будетъ кстати указать на замѣтное расхожденіе Маркса и Энгельса съ одной стороны, Лассалю съ другой въ вопросѣ о крестьянской войнѣ. Это расхожденіе тѣмъ болѣе знаменательно, что у насъ принято обыкновенно считать совершенно тождественными взгляды Маркса и Лассалю на крестьянское движеніе, какъ на явленіе глубоко реакціонное. Какъ извѣстно Лассаль далъ въ своей драмѣ не историческій, а идеализированный типъ Зикингена, превративъ этого средневѣковаго рыцаря, хотѣвшаго возстановить въ прежней силѣ феодальныя отношенія, въ поборника новыхъ политическихъ идеаловъ, который погибаетъ лишь потому, что, преслѣдуя революціонныя цѣли, хитритъ съ исторіей и думаетъ опираться на элементы стараго порядка. Марксъ и Энгельсъ, насколько можно судить по репликамъ Лассалю, возражали противъ такой постановки вопроса у автора драмы,

¹⁾ Т. IV, стр. 133—135, passim.

указывая, что если ему хотѣлось создать героя, проникнутаго революціоннымъ настроеніемъ, то Лассаль долженъ былъ бы скорѣе искать его въ рядахъ возставшихъ крестьянъ, и особенно среди тогдашнихъ религіозныхъ коммунистовъ въ родѣ Томаса Мюнцера.

Лассаль возражаетъ на это горячо, и возражаетъ указаніемъ на то, что и нѣмецкое дворянство, и нѣмецкое крестьянство были въ сущности крайне реакціонными классами, а потому и ихъ движенія можно поставить совершенно на одну доску, такъ какъ и крестьяне, и феодалы исходили въ своихъ планахъ реформъ изъ средневѣковаго принципа землевладѣнія. На этомъ-то, молъ, основаніи онъ, Лассаль, и не считалъ возможнымъ выбирать героя своей драмы изъ среды крестьянскаго класса.

Въ противоположность этому воззрѣнію Марксъ и Энгельсъ, не отрицая реакціонности принципа средневѣковаго землевладѣнія, дѣлаютъ существенное различіе между движеніемъ крестьянъ и движеніемъ рыцарей. Энгельсъ въ своей статьѣ о крестьянской войнѣ, напечатанной еще въ журналѣ «Новое рейнское обозрѣніе», назвалъ это возстаніе нѣмецкихъ крестьянъ одной изъ германскихъ революціонныхъ традицій. И онъ, и Марксъ видѣли основное несходство между двумя движеніями въ томъ, что рыцари самымъ экономическимъ процессомъ тогдашней жизни уже были превращены въ совершенно бесполезный для національнаго производства классъ паразитовъ, являвшихся, кромѣ того, реакціонерами даже по отношенію къ деспотизму нѣмецкихъ князей XVI-го столѣтія. Крестьяне же были основнымъ производительнымъ классомъ націи и выставили въ своихъ знаменитыхъ двѣнадцати статьяхъ такія требованія, какія своимъ осуществленіемъ могли бы, дѣйствительно, ускорить развитіе производительныхъ силъ общества. Кромѣ того, соединись крестьяне съ городами, не будь они преданы этими послѣдними, программы обѣихъ сторонъ, не противорѣчившія одна другой, могли бы позволить совмѣстную дѣятельность по пути выработки центральной національной власти и, стало быть, уберечь Германію отъ долгаго и

дорого стоившаго народу хозяйничанья мѣстныхъ князей и вообще всего періода партикуляризма. Конечно, въ послѣднемъ счетѣ сама экономическая отсталость Германіи вызывала разобщенность, какъ между толпами возставшихъ въ разныхъ мѣстахъ крестьянъ, такъ и между крестьянами и горожанами. Но именно съ точки зрѣнія общаго соціального развитія побѣда крестьянскаго крѣпостного населенія могла бы имѣть совершенно иные результаты, чѣмъ побѣда чисто средневѣковыхъ феодаловъ.

Мерингъ въ своей «Исторіи нѣмецкой социаль-демократіи» дѣлаетъ какъ разъ по этому поводу замѣчаніе, особенно любопытное въ устахъ правовѣрнаго марксиста: «Съ точки зрѣнія патріархальнаго крестьянскаго хозяйства феодальный способъ производства не могъ быть сорванъ съ петель; всѣ возстанія крестьянъ, которыя хотѣли своими собственными силами разбить феодальное иго, были подавлены, развѣ только, что здѣсь и тамъ они удались въ очень ограниченной области, благодаря мѣстнымъ или какимъ-либо другимъ особымъ условіямъ. Революціонная сила, разрушившая феодальныя общественныя формаціи, исходила не отъ крестьянъ, а отъ горожанъ. Но какъ ни справедливо это, не менѣе справедливо и то, что каждая буржуазная революція, въ Англіи, во Франціи, да и въ Германіи, поскольку она здѣсь вообще увѣнчалась успѣхомъ,—побѣдила прежде всего (in erster Reihe) силою крестьянства. Потому совершенно ошибоченъ взглядъ Лассалья, который видитъ въ крестьянскихъ войнахъ реакціонныя явленія. Онъ потерпѣли неудачу не потому, что хотѣли повернуть назадъ колесо исторіи, но потому, что онъ хотѣли повернуть его впередъ въ то время, когда не были еще осуществлены условія, при которыхъ оно позволяетъ повертывать себя впередъ» ¹⁾).

Во всякомъ случаѣ, какъ ни могли расходиться взгляды Маркса и Лассалья по нѣкоторымъ второстепеннымъ вопросамъ ихъ міровоззрѣнія, основной пунктъ этого міровоззрѣнія, роль

¹⁾ Geschichte etc., т. II, стр. 267.

пролетариата въ современномъ обществѣ, выдвигался обоими великими социалистами одинаково сильно и энергично, съ тою, быть можетъ, разницею, что у Маркса преобладали интернациональные, у Лассалья же специально германскіе мотивы.

Какъ въ началѣ 50-хъ годовъ Лассаль жадно всматривается въ рабочій классъ, дожидаясь со дня на день его новаго движенія (см. выше интересную оцѣнку декабрьскаго переворота), такъ и въ началѣ 60-хъ онъ обращается къ «четвертому сословию», правда, на сей разъ въ болѣе національной формѣ, чѣмъ та, которая выразилась, подъ вліяніемъ Маркса, въ «Международномъ обществѣ». Но теперешніе продолжатели дѣятельности Маркса и Лассалья въ Германіи, и въ томъ числѣ Мерингъ, справедливо стараются не противопоставить, а соединить заслуги обоихъ дѣятелей въ общемъ историческомъ движеніи.

Интересно, впрочемъ, что самъ Марксъ, который еще въ 1875 г. подвергалъ жесточайшей критикѣ лассалеанскую программу, самъ Марксъ въ письмѣ къ Швейцеру отъ 13-го октября 1868 г. признаетъ великія заслуги Лассалья предъ германскимъ пролетариатомъ, хотя и обрушивается крайне рѣзко на нѣкоторыя стороны агитаторской дѣятельности Лассалья.

Письмо это настолько интересно, что мы приведемъ его здѣсь почти цѣликомъ: «...Послѣ пятнадцатилѣтняго сна Лассаль снова пробудилъ рабочее движеніе въ Германіи, и это останется его безсмертной заслугой. Но онъ совершилъ крупныя ошибки. Онъ черезчуръ поддался дѣйствию непосредственныхъ условій времени. Онъ сдѣлалъ свой маленькій исходный пунктъ — свою оппозицію противъ такого карлика, какимъ былъ Шульце-Деличъ — центральнымъ пунктомъ своей агитаціи, выдвигая государственную помощь противъ самопомощи. Онъ снова взялъ тѣмъ самымъ лишь старый пароль, который Бюше, глава французскаго *католическаго* социализма, пустилъ въ ходъ въ 1843 и послѣдующихъ годахъ противъ истиннаго рабочаго движенія во Франціи. Будучи слишкомъ умнымъ, чтобы видѣть въ этомъ паролѣ что-либо другое, кромѣ временнаго *pis aller*

(на худой конецъ), онъ могъ оправдывать его только не-посредственной (мнимой!) *practicability* (практичностью). Въ этихъ видахъ онъ долженъ былъ защищать его выполнимость въ ближайшемъ будущемъ. «Государство» вообще превращалось поэтому для него въ прусское государство. Такъ онъ былъ вынужденъ на уступки прусской королевской власти, прусской реакціи (феодальной партіи) и даже клерикаламъ. Съ государственной помощью во вкусъ Бюше, онъ соединилъ чартистскій кличъ «всеобщая подача голосовъ». Онъ забылъ, что условія въ Германіи и Англіи различны. Онъ забылъ уроки *bas Empire* (второй французской имперіи) насчетъ всеобщаго избирательнаго права. Далѣе, подобно всякому человѣку, который утверждаетъ, что у него въ карманѣ есть панацея противъ страданій массъ, онъ придалъ своей агитаціи религіозный характеръ сектантства. Дѣйствительно, каждая секта религіозна. Далѣе, онъ отрицалъ, опять-таки какъ основатель секты, всякую естественную связь съ прежнимъ движеніемъ. Онъ впалъ въ ошибку Прудона, не ища реального основанія дѣятельности въ дѣйствительныхъ элементахъ классоваго движенія, но, наоборотъ, стараясь предписать путь послѣднему согласно извѣстному доктринерскому рецепту. Что я говорю здѣсь *post factum* (заднимъ числомъ), то я предсказалъ большею частью самому Лассалю, когда онъ пріѣзжалъ въ Лондонъ въ 1862 г. и просилъ меня стать вмѣстѣ съ нимъ во главѣ новаго движенія» ¹⁾.

Эти политическія ошибки, по нашему мнѣнію, были отчасти не ошибки: таково, напр., его требованіе всеобщей подачи голосовъ, хотя бы и при нѣмецкихъ условіяхъ. А отчасти ихъ можно поставить въ вину личнымъ свойствамъ Лассалья, развившимся среди прусскихъ условій, въ которыхъ онъ находился сравнительно изолированнымъ отъ своихъ идейныхъ друзей въ родѣ Маркса и окруженнымъ черезчуръ часто людьми другого, буржуазнаго и аристократическаго лагеря. Въ положеніи Лассалья есть, дѣйствительно, крупныя *pro* и *contra*.

¹⁾ Aus dem literarischen Nachlass, т. IV, стр. 362—363.

Тотъ фактъ, что Лассаль, какъ ни была тяжела и жалка прусская дѣйствительность за эти 15 лѣтъ, жилъ все же въ близкомъ общеніи со своей родиной, ея жизнью, ея задачами, этотъ фактъ и далъ ему возможность прекрасно ориентироваться въ этой, повидимому, безнадежной обстановкѣ и скоро привести въ движеніе активные элементы массъ. И такъ какъ, судя по словамъ самого Лассалья и знавшихъ его лицъ, его заставила остаться въ Германіи графиня Гатцфельдъ и ея процессы, то мы можемъ въ извѣстномъ смыслѣ благодарить судьбу за это романтически-юридическое приключеніе. Но, съ другой стороны, это же обстоятельство, заставившее его потерять столько лѣтъ на гомерическую борьбу съ прусской юстиціей во имя интересовъ отдѣльной личности, связавшее его судьбу всевозможными нитями съ міромъ привилегированныхъ, зачастую пустыхъ, чванлыхъ и напыщенныхъ личностей, должно было оставить неблагопріятный слѣдъ на личномъ характерѣ Лассалья.

Мы уже видѣли характерныя особенности его грандіознаго самолюбія: если у Маркса преобладала въ этомъ самолюбіи гордость, то у Лассалья тщеславіе, внѣшняя сторона насчетъ внутренней. Нетрудно видѣть, въ какой степени эти природныя свойства должны были развиваться подъ вліяніемъ мишурной и пустопорожней свѣтской среды, которая затягивала все болѣе и болѣе Лассалья. Возьмите, напр., вопросъ о дуэли, который ставился передъ Лассалемъ еще въ 1858 г. по поводу столкновенія съ нѣкимъ жалкимъ господиномъ, и который 6 лѣтъ спустя былъ рѣшенъ имъ къ несчастью въ обыкновенномъ традиціонномъ смыслѣ, положившемъ конецъ жизни и дѣятельности этого удивительнаго, несмотря на всѣ слабости свои, человѣка. Первый разъ, когда заходила рѣчь о поединкѣ съ хлыщемъ Фабрице, Лассаль въ письмѣ къ Марксу принципиально высказывается противъ дуэли во имя своего социалистическаго міровоззрѣнія, но въ то же время настолько снѣдаемъ личными сомнѣніями, что проситъ Маркса разрѣшить за него это столкновеніе между общимъ идеаломъ и банальнымъ предразсудкомъ.

Читайте въ самомъ дѣлѣ слѣдующія строки: «...Я не только считаю дуэль въ силу своихъ принциповъ за безсмысленную окаменѣлость, оставшуюся отъ пройденной человѣчествомъ ступени культуры, но постоянно твердо вѣрилъ и, не касайся дѣло *самою меня*, вѣрилъ бы и теперь, что дуэль исключается самыми принципами демократической партіи. Но именно потому, что дѣло касается меня, я долженъ быть очень осмотрителенъ, и начинаю колебаться тамъ, гдѣ я прежде не колебался. Ибо французская демократія дерется на дуэли, а нѣмецкая демократическая партія—но что она такое? Гдѣ она? Думаетъ ли она въ этомъ вопросѣ такъ же, какъ и я? Или она въ такой степени плохо понимаетъ свои собственные принципы, что принимаетъ дуэль? И въ такомъ случаѣ не могу ли я сдѣлаться подозрительнымъ еще въ нѣдрахъ своей *партіи*? Тогда, конечно, я долженъ признаться, что мнѣ было бы очень тяжело остаться на сей разъ вѣрнымъ своимъ принципамъ. Ибо какая мнѣ польза быть одному разсудительнымъ человѣкомъ!

«Мое положеніе тѣмъ труднѣе, что здѣсь у меня нѣтъ собственно ни одного человѣка, на сужденіе котораго я могъ бы положиться съ полнымъ довѣріемъ. У меня есть много друзей, хорошихъ людей, напр. Дункеръ, Домъ и т. д. Но, съ одной стороны, они *стоятъ* еще на точкѣ зрѣнія дуэли, и недостаточно еще прониклись *вообще* принципами нашей партіи, съ другой стороны, мое смущеніе зависитъ именно отъ того, что я боюсь и вижу, что они находятся подъ *моимъ* вліяніемъ и прислушиваются къ развиваемымъ мною доводамъ. Они недостаточно независимы отъ меня въ умственномъ отношеніи, чтобы я могъ придать рѣшительный вѣсъ ихъ сужденію, если оно совпадаетъ съ моимъ, и они недостаточно крупны въ умственномъ же отношеніи, чтобы я могъ положиться на ихъ сужденіе, если оно расходится съ моимъ. Въ первый разъ за тринадцать лѣтъ я колеблюсь въ этомъ случаѣ; въ первый разъ я нуждаюсь въ комъ-нибудь, кто соединялъ бы въ себѣ два упомянутыя качества въ достаточной степени, чтобы быть въ состояніи совѣтовать мнѣ. Вотъ почему я обращаюсь къ

тебѣ съ сердечной просьбой высказать мнѣ свой взглядъ по возможности скорѣе и подробнѣе. Можетъ быть, ты будешь смѣяться надо мной, ставить мнѣ даже въ упрекъ, что я вообще могу еще спрашивать? Но человѣка охватываетъ слишкомъ комическое чувство, когда есть основанія бояться, что тотъ или другой можетъ упрекать его въ трусости,—упрекать, кромѣ того, человѣка въ родѣ меня, который такъ часто въ своей жизни схватилъ бы луну зубами и который съ тѣмъ же хладнокровіемъ стрѣлялъ бы, съ какимъ другой говоритъ *bon jour*. И если это тянетъ меня въ одну сторону, то, съ другой стороны, меня охватываетъ безконечный стыдъ при мысли, что я долженъ быть осужденъ на перспективу дѣйствовать противъ своихъ истинныхъ принциповъ — изъ пустого тщеславія, надъ которымъ я самъ такъ часто смѣялся. Тогда я говорю себѣ, что именно это и было бы дѣйствительной трусостью, и самъ удивляюсь, что я, который изъ-за своихъ взглядовъ стократно шелъ на гибель, вдругъ, на сей единственный разъ, сталъ такъ несамостоятеленъ. Или я ужъ такъ составился? Конечно, раньше я рисковалъ и шелъ на всякаго рода гибель, но не подъ упрекъ въ томъ, что я боюсь, упрекъ, который особенно тяжело отзывается на моемъ тщеславіи, такъ какъ я теперь вижу, что обладаю достаточнымъ запасомъ его»¹⁾.

Въ 1864 г. Лассаль уже не сомнѣвался и не колебался въ банальномъ вопросѣ «чести», а подставилъ себя подъ дуло глупаго румына: тщеславное желаніе получить Елену фонъ-Деннигесъ формально изъ рукъ ея родителей отодвинуло на задній планъ великіе интересы дѣла, которому онъ посвятилъ лучшую часть своей натуры. И когда припоминаешь это, то не можешь не придти къ заключенію, что Лассалю, въ концѣ концовъ, не доставало тѣхъ самоотверженныхъ друзей, которые всегда окружали Маркса. Не будемъ уже говорить объ Энгельсѣ, Либкнехтѣ, Вольфѣ и другихъ преданныхъ товарищахъ Маркса: возьмите хотя бы жену послѣдняго и сравните

вліяніе этого лучшаго друга на Маркса съ тѣмъ вліяніемъ, которое могли имѣть на Лассалья его аристократическія и прочія красавицы.

Въ одномъ изъ писемъ Лассалья къ Марксу у пламеннаго трибуна вырывается фраза насчетъ графини Гатцфельдъ, что какъ, молъ, «она вообще и ни превосходна» и какъ ни «драгоценна» для него, Лассалья, «ея дружба», но все же, молъ, она «какъ женщина неспособна слѣдить съ вполнѣ исчерпывающимъ пониманіемъ за всѣми мистеріями мужской мысли» (IV, стр. 130). А вѣдь графиня была, пожалуй, далеко не изъ наилучшихъ между «побѣдами» Лассалья, порою довольствовавшегося такими райскими птицами, что, несмотря на ихъ красивыя оперенія, къ нимъ вполнѣ приложимъ стихъ того самаго Гейне, который такъ заинтересовался молодымъ Лассалемъ:

О, какой же гусыней была ты,
Если лебедь тебя одурачилъ!..

Поневолѣ станешь передъ зеркаломъ съ такой милой особой и, примѣривая къ себѣ мысленно корону, начнешь говорить глупости, достойныя не Лассалья, а хлыща, какъ это Лассаль продѣлывалъ съ одною изъ героинь своихъ низменныхъ романовъ.

А теперь сравните съ этимъ жену Маркса, которая была вѣрнымъ и мужественнымъ товарищемъ, была вполнѣ понимавшимъ своего мужа, и въ то же время женственнымъ и прекраснымъ существомъ. Она-то, по словамъ хорошо знавшихъ семью Маркса, успѣвала смягчать порою страстность и несправедливость политической тактики Маркса, хотя никогда не заставляла его жертвовать принципами. Она раздѣляла всѣ горести и радости этой исполненной тревоженій жизни. Приведу изъ комментаріевъ Меринга слѣдующее письмо Джени Марксъ (отъ декабря 1857 г.) къ одному изъ знакомыхъ:

«Хотя мы и очень чувствуемъ американскій кризисъ на своемъ кошелькѣ, потому что теперь Карлъ пишетъ не два раза, а всего одинъ разъ въ газету (*New York Tribune*), вы все-таки можете себѣ легко представить, какое приподнятое

¹⁾ IV, стр. 119—120.

настроение овладѣло нашимъ Мавромъ (шутливое прозвище Маркса). Къ нему возвратилась его прежняя способность и легкость труда, прежняя свѣжесть и ясность духа... Карлъ работаетъ днемъ для насущнаго хлѣба, ночью надъ окончаніемъ политической экономіи» ¹⁾).

И знаете, почему это бодрое, это жизнерадостное настроение въ то время, когда нужда, — до 70-хъ годовъ преслѣдовавшая Маркса, — особенно налегала на него? Потому, что тяжелый лично для него экономическій кризисъ возвѣщалъ, наконецъ, серьезное замѣшательство въ промышленности и то настроение умовъ въ массахъ, котораго съ нетерпѣніемъ ждали, какъ мы видѣли, Марксъ въ Лондонѣ и Лассаль въ своемъ Дюссельдорфѣ. И всѣ друзья и жена раздѣляли это бодрое настроение вмѣсто того, чтобы хныкать надъ личными затруднительными обстоятельствами...

Да, какая жалость, что у Лассаля не было такихъ преданныхъ друзей, кромѣ развѣ горячо любившихъ его въ послѣдніе годы рабочихъ, которые слишкомъ поздно вошли серьезнымъ элементомъ въ эту наполненную уже свѣтскимъ тщеславіемъ жизнь и были принесены имъ въ моментъ прилива гордости въ жертву фрейлейнъ Деннигесъ. Но если лично Лассаль былъ въ извѣстномъ смыслѣ несчастнымъ по своему умственному одиночеству человѣкомъ, то въ послѣднемъ счетѣ его общественная роль очищаетъ эту крупнѣйшую фигуру отъ всѣхъ шлаковъ, налетѣвшихъ на нее за пятнадцатилѣтнее пребываніе въ удушающей атмосферѣ. Эти шлаки остались въ гробу Лассаля вмѣстѣ съ его прахомъ. И не даромъ эпитафія, сочиненная Бѣкомъ, краснорѣчиво говоритъ: «здѣсь лежитъ то, что было смертнаго въ Лассалѣ, мыслитель и борецъ!»...

Жюль Валлэсъ ¹⁾.

(Литературно-біографическій очеркъ).

I.

Въ біографіи Рошфора мнѣ пришлось изобразить сцену похоронъ Жюля Валлэса ²⁾. То было, дѣйствительно, парижское событіе. Но уже въ то время Валлэсъ, можно сказать, пережилъ себя, пережилъ, несмотря на сравнительно еще не старый возрастъ, лучшій расцвѣтъ своей индивидуальности. А теперь мало кто даже изъ образованныхъ французовъ, — не говоря уже объ иностранцахъ, — имѣетъ ясное представленіе о литературной фізіономіи автора «Отщепенцевъ» (какъ можно перевести вслѣдъ за Н. В. Соколовымъ терминъ «Réfractaires»), «Улицы», автобіографической трилогіи «Жакъ Вэнтрассъ».

Я попытаюсь на нижеслѣдующихъ страницахъ обрисовать личность Жюля Валлэса, по обыкновенію ставя въ тѣсную зависимость писательскую карьеру и жизнь. Да по отношенію къ изображаемой мною индивидуальности было бы трудно, почти невозможно поступить иначе: Жюль Валлэсъ не былъ чистымъ «литературщикомъ», и его писательская дѣятельность носитъ глубокой отпечатокъ его личнаго и общественнаго существованія.

¹⁾ Русское Богатство, 1906, сентябрь.

²⁾ Галерея современныхъ французскихъ знаменитостей. С.-Петербургъ, 1906, стр. 227.

Жюль Валлэс родился 10-го июня 1832 г. въ Ле-Пюи, главномъ городѣ департамента Верхней Луары (умеръ, какъ уже было сказано, въ Парижѣ, 14-го февраля 1885 г., всего, значитъ, 52 лѣтъ отъ роду). Родители его вышли изъ народа. Про мать можно даже сказать, что, несмотря на замашки мелкой буржуазки, хотѣвшей играть роль «дамы», она осталась въ душѣ бѣдной крестьянкой Оверни, съ жесткостью, скупостью и сильной волей, характеризующими население гористой центральной Франціи. Выходцы Оверни хорошо извѣстны въ этомъ смыслѣ населенію Парижа, гдѣ громадное большинство торговцевъ углемъ, соединяющихъ обыкновенно съ этимъ занятіемъ профессію мелкихъ кабатчиковъ, воспроизводятъ типичныя черты овернцевъ. Масса анекдотовъ ходитъ насчетъ этой приземистой, но очень крѣпко сложенной расы, съ большою круглой головой, смуглымъ цвѣтомъ лица, черными, какъ уголь, который она продаетъ, глазами, курьезнымъ, страшно рѣзкимъ и шипящимъ акцентомъ. Любовь къ деньгамъ умѣряется (а, можетъ, и подхлестывается) у овернцевъ развѣ любовью къ родинѣ: и въ Парижѣ они остаются вѣрны своему національному «супу изъ капусты» — родъ нашихъ щей, — своей шумной и тяжелой пляскѣ «bourrée». Какъ только овернецъ, благодаря своему удивительному трудолюбію и еще болѣе удивительной воздержности, успѣлъ сколотить капиталецъ, онъ сейчасъ же возвращается на свою нѣкогда вулканическую, нынѣ богатую лѣсами, пастбищами и минеральными источниками родину, — если только особо удачливый поворотъ колеса Фортуны не возноситъ овернца на самый верхъ соціальной лѣстницы. И тогда онъ охотно остается въ Парижѣ, но не разрывая связи съ своей страной, а особенно со своими привычками...

Мать Жюля Валлэса, сказали мы, не только вышла изъ овернскаго крестьянства, но осталась наполовину въ немъ своею жесткостью и скаредностью, хотя и смотря сверху внизъ на родичей, продолжавшихъ жить жизнью мужиковъ. Отцу эта операція «выхожденія» удалась лучше, хотя бы уже въ силу образованія. Онъ былъ учителемъ въ низшихъ клас-

сахъ гимназій. Но зато это мизерное существованіе педагогической ломовой клячи, старавшейся слѣдовать традиціямъ «хорошаго общества», отгораживавшей себя всѣми правдами и неправдами отъ среды, изъ которой вышла, смяло и истерзало лучшія качества этой не лишенной природной гордости натуры. Отецъ Жюля Валлэса воспитывался въ семинаріи, такъ какъ его семья питала честолюбивые замыслы сдѣлать изъ Антуана священника. Но юноша, выдержавъ экзаменъ на бакалавра (нашъ аттестатъ зрѣлости), вступилъ, вопреки желанію родныхъ, на поприще свѣтскаго преподаванія и получилъ мѣсто учителя въ элементарныхъ классахъ «коллежа» въ Ле-Пюи. Ему пришлось схватиться за первое представившееся занятіе, такъ какъ едва двадцати лѣтъ отъ роду онъ, опять-таки вопреки желанію семьи, женился по любви на бѣдной крестьянской дѣвушкѣ, и 22 лѣтъ отъ роду былъ уже отцомъ Жюля: другихъ дѣтей въ этомъ бракѣ по склонности не было.

Притиснутые безжалостной рукой судьбы, родители будущего «отщепенца» ожесточенно боролись за существованіе, усложняя эту борьбу страстнымъ желаніемъ соблюдать всѣ приличія, весь декорумъ того «хорошаго общества», на периферіи, если не въ центрѣ котораго ихъ поставила карьера маленькаго гимназическаго учителя. Приходилось отказывать себѣ въ существенномъ, чтобы сберечь гроши на какіе-нибудь вздорные расходы, требовавшіеся положеніемъ преподавателя. Семья урѣзывала себя въ пищѣ, простыхъ удобствахъ жизни, но зато хотѣла внѣшнимъ видомъ, квартирой, одеждой, кругомъ знакомыхъ, подражать фешіонэбельному провинціальному обществу и проводить рѣзкую грань между собой и родичами земледѣльцами и мелкими фермерами.

Жюль Валлэсъ въ дѣтствѣ ужасно страдалъ отъ жестокости властолюбивой матери и вспышекъ гнѣва вѣчно раздраженнаго жалкими условіями жизни отца. Мать была его, что называется, походя, била за все, за малѣйшіе пустяки, и при томъ била методически, во имя идеала хорошаго воспитанія, который засѣлъ въ ея узкую голову, и все время дѣлая видъ

и даже искренно думая, что эти безконечные побои были проявленіемъ горячей, но рациональной материнской любви, чуть ли не самозакланіемъ нѣжной родительницы на алтарѣ искренней привязанности къ подроставшему сыну. Недаромъ большая часть автобіографіи Валлэса полна желчью, почти злобой по отношенію къ виновницѣ его пасмурныхъ дней дѣтства и юности. У него срывается даже однажды съ кончика ядовитаго въ данномъ случаѣ, какъ отравленный ножъ, пера фраза о томъ, что его мать могла быть прекрасно «замѣнена палкой»,—фраза, которая до глубины души возмущала одного моего знакомаго француза, не понимавшаго, что великій расколъ между «отцами» и «дѣтьми», столь извѣстный намъ, русскимъ, могъ оставлять навсегда чувство почти злобы между старымъ и молодымъ поколѣніями.

Но мать Жюля Валлэса не только била его, она мучила его физически и морально во всѣхъ отношеніяхъ: отнимала у него изо рта то, что ему нравилось; принуждала его поглощать въ неимовѣрномъ количествѣ вещи, которыя, наоборотъ, внушали ему органическое отвращеніе; лишала его всякаго удовольствія, игры съ сверстниками, даже простой бѣготни; и, опять-таки, наоборотъ, усаживала его за такія занятія, которыя вызывали у него непреодолимую антипатію,—все это во имя того педагогическаго принципа, особенно характеризующаго мелкую французскую буржуазію, что надо «исправлять» (corriger) дѣтей. Замѣчу кстати, что этотъ глаголъ «corriger», который вы безпрестанно встрѣтите въ устахъ французскихъ отцовъ и матерей извѣстной категоріи, почти всегда обозначаетъ «колотить», совершенно во вкусѣ жестокой премудрости Іисуса сына Сирахова: «любая сына—учащаяй ему раны и сокрушаяй ему ребра».

Билъ Валлэса и отецъ. Но это битіе не имѣло того систематическаго характера, какъ «исправленіе», практиковавшееся матерью. И потому въ автобіографіи Валлэса меньше злобы и горечи противъ отца. У отца рука поднималась лишь подъ вліяніемъ охватывавшаго его гнѣва, который, къ сожалѣнію, загорался у него на мальчика порою почти безъ всякой серьез-

ной причины, просто подъ вліяніемъ раздраженія на тяжелую жизнь, дававшую мало радостей бѣдному гимназическому учителю. Отцовское битіе стало повторяться чаще и приближаться нѣсколько по своей методичности къ материнскому лишь позже, когда маленькій Валлэсъ поступилъ въ лицей сосѣдняго города, Сэнтъ-Этьенна, одного изъ центровъ французской металлургіи, куда, благодаря хлопотамъ друзей, отецъ Жюля былъ переведенъ учителемъ «элементарнаго» класса. Чтобы не быть заподозреннымъ въ пристрастіи къ сыну, педагогъ при малѣйшей шалости школьниковъ и не разбирая путемъ, кто былъ виновникомъ ея, жестоко билъ мальчика. Бѣднягъ, сверхъ того, приходилось часто голодать, такъ какъ отецъ оставлялъ его при себѣ цѣлый день въ гимназіи, но не рѣшался кормить его казеннымъ ужиномъ, который полагался на долю учителей, помогавшихъ пансіонерамъ готовить уроки. А мать нарочно не посылала во-время за сыномъ, желая, наоборотъ, чтобы отецъ выхлопоталъ для Жюля даровой столъ у начальства.

Несмотря на тяжелыя условія жизни и «воспитанія», Жюль Валлэсъ крѣпкъ и росъ, здоровая крестьянская кровь брала свое, и къ 13—14 годамъ, когда его отецъ былъ переведенъ съ небольшимъ повышеніемъ на далекій западъ Франціи, въ Нантъ, на границу Бретани и Вандеи, нашъ герой былъ очень сильнымъ и храбрымъ подросткомъ, бросавшимся впереди всѣхъ, когда дѣло шло о дракѣ или какой-нибудь отчаянной дѣтской экспедиціи. Затаенная пока злоба противъ мучившихъ и оскорблявшихъ его родителей, а особенно матери, смягчалась у него развѣ чувствомъ искренней симпатіи къ родственникамъ, мужикамъ и ремесленникамъ,—образъ жизни которыхъ, съ ея трудомъ и ея простыми удовольствіями, онъ хотѣлъ постоянно раздѣлять,—и инстинктомъ солидарности ко всѣмъ бѣднымъ, слабымъ и угнетеннымъ. Въ унылой и ненавистой пустынѣ его дѣтской жизни оазисами у него были минуты и дни, которые онъ могъ проводить или въ бѣдныхъ кварталахъ городовъ, гдѣ ему приходилось жить, играя съ сверстниками, или гостя отъ времени до времени на каникулахъ у своихъ

родственниковъ фермеровъ, у дяди, сельскаго священника, и т. п.

Учился онъ, когда его подталкивало то или другое обстоятельство, хорошо, нерѣдко получалъ первыя награды, особенно за французскія сочиненія и писаніе латинскихъ стиховъ. Но въ общемъ онъ рано возненавидѣлъ схоластическую науку тогдашней средней школы,—остающейся, впрочемъ, и до сихъ поръ, надо отдать ей печальную справедливость, однимъ изъ самыхъ удачныхъ разсадниковъ рутины. Позже, когда онъ началъ глубже всматриваться въ жизнь, его ненависть къ традиціонному «классическому» образованію, дающему знаніе словъ, а не вещей, приучающему къ фразѣ, а не мысли, реторикѣ, а не искреннему чувству, усугубилось еще пониманіемъ той каторги, которой окружилъ себя отецъ, стараясь тянуться за людьми своего общества. Жюль Валлэсъ возненавидѣлъ рутинную школу,—фабриковавшую, такъ называемыхъ, образованныхъ людей, привилегированную интеллигенцію,—вдвойнѣ: за себя и за отца. Онъ понималъ, какую безпросвѣтную жизнь, полную лишеній и огорченій, семейной прозы возлѣ недалекой, но властной жены и оскорбленій человѣческаго достоинства со стороны всесильнаго гимназическаго начальства, велъ его родной отецъ, рано утратившій природную живость ума и свѣжесть сердца.

Немудрено, что нѣкоторая теплота къ отцу прорывается у автобіографа, лишь когда онъ рассказываетъ о двухъ любовныхъ исторіяхъ, приключившихся со скромнымъ учителемъ и хоть отчасти скрасившихъ его унылое существованіе. Первая, сводившаяся къ банальной легкой интригѣ, возмутила временно семейный миръ Валлэсовъ, когда Жюль былъ еще мальчикомъ. Вторая, гораздо болѣе серьезная и поведшая къ разводу между супругами, произошла, когда молодой Валлэсъ былъ уже вдали отъ родныхъ, въ Парижѣ. Вдова одного изъ товарищей отца послѣдовала за нимъ въ одинъ изъ сѣверныхъ городовъ Франціи, куда цѣломудренное и высоконравственное начальство Второй имперіи сослало въ педагогическую ссылку стараго Валлэса въ наказаніе за «ужасный скандалъ». И здѣсь, лишь

здѣсь «отщепенецъ» могъ поцѣловать въ лобъ трупъ умершаго отъ болѣзни сердца всего въ 48 лѣтъ отца, на похоронахъ котораго мать по закону оттѣснила отъ гроба любовницу—«чужую». Но мы нѣсколько забѣжали впередъ. Мы лишь у начала мрачной одиссеи Жюля Валлэса, который будетъ принужденъ провести среди голода и всевозможныхъ лишеній цѣлыя десять лѣтъ, пока его литературный талантъ не дастъ ему возможности, наконецъ, достигнуть обезпеченнаго, почти блестящаго положенія...

Занятія будущаго «отщепенца» въ нантскомъ лицей, куда онъ послѣдовалъ за отцомъ, были прерваны въ одномъ изъ высшихъ классовъ тоже вслѣдствіе любовной исторіи, но уже самого Жюля, въ которой 16-тилѣтній мальчикъ сыгралъ скорѣе роль жертвы, чѣмъ соблазнителя. Имъ увлеклась зрѣлая провинціальная красавица, мать одного изъ его товарищей по классу. Скандалъ вышелъ на славу. И отецъ принужденъ былъ послать Донъ-Жуана поневолѣ въ одинъ изъ иногороднихъ пансіоновъ съ тѣмъ, чтобы, подготовившись тамъ, юноша могъ держать экзаменъ на бакалавра. Въ 1849 г. мы находимъ молодого Валлэса въ одномъ изъ парижскихъ интернатовъ, куда онъ былъ принятъ на очень подходящихъ условіяхъ и по уменьшенной цѣнѣ, такъ какъ родители его скрыли отъ директора заведенія значительно улучшившееся къ тому времени ихъ матеріальное положеніе: отецъ Валлэса сталъ вмѣстѣ съ частными уроками зарабатывать до восьми тысячъ франковъ въ годъ.

Молодой Валлэсъ даже въ этой педагогической темницѣ уже успѣваетъ обнаружить свою индивидуальность. Онъ не любитъ фальшиваго классицизма. Но ему претитъ и тогдашній декламационный романтизмъ. Его не тянетъ смотрѣть на парижскіе монументы: ему нужны «люди», а не «камни»; его привлекаетъ не неподвижная исторія, а жизнь, все, что живетъ и дышетъ. Съ другой стороны, на конкурсномъ экзаменѣ онъ проваливается потому, что между его юношескимъ воображеніемъ и традиціоннымъ «сочиненіемъ», которое надо было написать александрійскими стихами, стоитъ шумный Парижъ.

И его душу охватывает отвращение, когда онъ видитъ, какая масса получившихъ дипломы бакалавра и даже выше того умираютъ съ голоду или влачатъ сѣрое существованіе въ великой, нервно живущей столицѣ. А онъ успѣлъ уже вкусить во время прогулокъ хоть немного парижской жизни среди учащейся молодежи, гдѣ его храбрость, сила и давнишнее горячее чувство справедливости, толкающее его на защиту слабыхъ и обиженныхъ, создаютъ ему репутацію хорошаго товарища.

Эти качества не имѣютъ, однако, значенія въ глазахъ официальныхъ педагоговъ; и автору неудачнаго «сочиненія» придется возвращаться къ родителямъ, въ Нантъ, и тамъ уже готовиться къ экзамену на бакалавра. За нимъ пріѣзжаетъ мать.

Она сначала шокируетъ Валлеса своею вульгарностью, скредностью, но потомъ, добившись откровеннаго объясненія съ сыномъ, видитъ, наконецъ, какую бездну огорченій она причинила ему въ теченіе всѣхъ предшествующихъ лѣтъ неуклоннымъ слѣдованіемъ «принципамъ воспитанія», и теперь желаетъ дать юношѣ возможность пожить свободною жизнью, не боясь на каждомъ шагу родительской узды или кнута. Такъ проходитъ мѣсяцъ, въ теченіе котораго молодой Валлэсъ впервые погружается съ жаромъ въ чтеніе Великой французской революціи, становится республиканцемъ и социалистомъ, поскольку можно примѣнить эти выраженія къ семнадцатилѣтнему мальчику, только-что пробуждающемуся къ настоящей сознательной жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ знакомится съ мелкими журналистами, съ рабочими печатнаго дѣла, и его давнишнее затаенное желаніе заниматься физическимъ трудомъ принимаетъ болѣе опредѣленную форму: онъ хочетъ стать рабочимъ, чтобы жить жизнью трудящихся классовъ и вмѣстѣ съ ними, путемъ борьбы со старымъ міромъ, добывать довольство, счастье и свободу для всего человѣчества.

Но нетерпѣливое письмо отца прерываетъ это счастливое существованіе молодого Валлеса. Надо отправляться въ Нантъ. И вдвойнѣ тусклымъ и ненавистнымъ кажется теперь юношѣ

жизнь въ провинціальномъ городѣ, бокъ-о-бокъ съ отцомъ, котораго не коснулась перемѣна въ отношеніяхъ къ сыну матери, — снова, впрочемъ, вернувшейся, если не ко всѣмъ, то къ нѣкоторымъ проявленіямъ своей узко-тиранической натуры. Непріязнь между отцомъ и сыномъ усиливается особенно съ того времени, какъ молодой Валлэсъ срѣзлся на бакалаврскомъ экзаменѣ въ Реннѣ изъ-за нелѣпѣйшаго схоластическаго вопроса насчетъ того, какимъ числомъ «способностей» обладаетъ душа. Дѣло доходитъ до того, что отецъ хочетъ, пользуясь правомъ, которое ему даетъ законъ, посадить сына въ тюрьму на исправленіе. Но здѣсь въ будничную жизнь этихъ физически родныхъ, по духу же совершенно чуждыхъ другъ другу каторжниковъ, прикованныхъ къ одной семейной цѣпи, въ эту сѣрую и ужасную вмѣстѣ жизнь врывается драматическое происшествіе. Оно, словно гроза, освѣжаетъ невыносимо душную атмосферу взаимнаго непониманія и чуть не взаимной ненависти. Одинъ изъ учениковъ отца, получившій пощечину отъ послѣдняго, — отецъ Валлеса дрался часто и жестоко, какъ полагалось педагогу старой школы, — пожаловался своимъ роднымъ. И вотъ отецъ и старшій братъ пострадавшаго являются къ невоздержному на руку учителю и, осыпая его всевозможными оскорбленіями, требуютъ, чтобы онъ извинился передъ ученикомъ. На шумъ сцены, на крики матери молодой Валлэсъ врывается въ комнату, вышвыриваетъ за дверь посѣтителей и жестоко колотитъ на улицѣ младшаго. Въ результатѣ — дуэль, во время которой не искусившійся въ фехтовкѣ Жюль Валлэсъ получаетъ довольно серьезную рану въ ногу. Умиленный отецъ соглашается отпустить непокорнаго сына на свободу и независимую жизнь. И вотъ, по выздоровленіи, молодой Валлэсъ очутился снова въ Парижѣ съ 24 су въ карманѣ и порученіемъ отъ родителей получить сорокъ франковъ долгу съ одного изъ ихъ парижскихъ знакомыхъ... который временно отсутствуетъ, и обрекаетъ тѣмъ молодого «отщепенца» на мученія голода...

Послѣ всевозможныхъ шатаній и тщетныхъ попытокъ найти хоть кого-нибудь изъ своихъ парижскихъ друзей, истомлен-

ный, еле держащийся на ногахъ, Жюль Валлэсъ добирается, наконецъ, до грязнаго, населеннаго богемой отеля, въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ падаетъ въ объятія стараго школьнаго пріятеля, которому онъ даетъ въ своей автобіографіи вымышленное имя Матуссэна. Такъ кончается жизнь «ребенка» и начинается жизнь «баккалавра». Родители высылаютъ ему сорокъ франковъ въ мѣсяцъ; десять-пятнадцать франковъ въ мѣсяцъ онъ зарабатываетъ нищенскими уроками, такъ приблизительно по двадцати копѣекъ за урокъ на наши деньги. А между тѣмъ молодой, здоровый организмъ хочетъ жить. Приходится помѣщаться какъ попало, въ ужасныхъ меблированныхъ комнатахъ, ѣсть гнилую рыбу и низкопробное мясо и запивать чернымъ кофе, которое напоминаетъ настоящій напитокъ развѣ только своимъ цвѣтомъ. Эту мизерную жизнь скрашиваетъ нѣсколько Валлэсу любовь простой дѣвушки изъ народа, дочери хозяина дешеваго ресторана, который отъ времени до времени и матеріально поддерживаетъ хронически голодающаго молодого человѣка, открывая ему кредитъ въ нѣсколько франковъ.

А, главное, всѣ невзгоды этого существованія забываются, благодаря тому идейному энтузіазму, который охватываетъ на сей разъ Валлэса въ Парижѣ. «Отщепенецъ» съ жадностью набрасывается на чтеніе соціалистическихъ книгъ и газетъ, тратя на это чуть не восьмую часть своего жалкаго мѣсячнаго бюджета. Съ другой стороны, онъ съ не меньшимъ жаромъ погружается въ юношескую политику, составляя вмѣстѣ съ своими сверстниками различныя тайныя общества, «комитеты» и вырабатывая планы спасенія демократической и республиканской Франціи изъ когтей реакціи. Второй республикѣ грозитъ, дѣйствительно, въ это время крайне серьезная опасность. Надъ буржуазной демократіей, залившей въ іюньскіе дни плиты Парижа горячей кровью рабочихъ, носится уже тѣнь хищнаго бонапартистскаго орла. Въ теченіе года, который Жюль Валлэсъ проводитъ въ столицѣ, республика успѣваетъ жестоко скомпрометтировать себя въ глазахъ массъ. Вмѣстѣ съ другими молодыми людьми, зачастую въ первыхъ

рядахъ ихъ, Валлэсъ бросается всюду, гдѣ дѣло идетъ о томъ, чтобы защищать свободу и соціализмъ отъ мутныхъ волнъ реакціи. «Отщепенецъ» принимаетъ дѣятельное участіе въ манифестаціи свободомыслящихъ республиканцевъ противъ закрытія курса Мишлэ во Французскомъ Коллежѣ. Онъ ищетъ даже побѣды или смерти на баррикадахъ во время декабрьскаго переворота, когда парижскій пролетаріатъ не безъ злорадства наблюдаетъ, какъ цезаризмъ разноситъ республиканскую буржуазію и гонитъ ея представителей въ изгнаніе и ссылку. Самому Валлэсу, звавшему рабочихъ стать на кое-какъ воздвигнутую молодежью баррикаду, пришлось выслушать изъ устъ одного пролетарія, который окинулъ презрительнымъ взглядомъ «интеллигентный» костюмъ инсургента: «буржуазный юнецъ! а что это твой отецъ или дядя разстрѣливалъ насъ и ссылалъ въ іюнѣ 1848 г.?»

Имперія декабрьской ночи восторжествовала: 2 декабря 1851 г. отбрасываетъ Францію въ политическомъ отношеніи на полвѣка назадъ, и повсюду торжествующая реакція поднимаетъ голову. Избѣжавшій чудомъ смерти, Валлэсъ получаетъ всего черезъ нѣсколько дней послѣ бонапартистскаго переворота встревоженное письмо отца, который требуетъ отъ своего сына немедленно же возвратиться въ Нантъ къ родителямъ. Дѣло въ томъ, что досужіе провинціальныя сплетники повсюду разносятъ слухи, будто молодой Валлэсъ попался въ числѣ мятежниковъ. Достаточно одного такого подозрѣнія, чтобы педагогическая карьера отца была навсегда прервана: торжествующій режимъ сабли и Кайенны шутить не любитъ. И вотъ, еще пылающій жаромъ борьбы, 19-лѣтній революціонеръ покидаетъ Парижъ и ѣдетъ въ Нантъ, чтобы своимъ присутствіемъ подкрѣпить шатающееся положеніе отца. Можно себя представить, съ какою ненавистью молодой Валлэсъ, вкусившій шумной жизни и политической дѣятельности, погружается въ сонную атмосферу провинціи. А въ семьѣ царитъ настоящій адъ. Какъ запертые въ банку пауки, отецъ и сынъ смотрятъ другъ на друга. Попытка молодого Валлэса найти себя хоть самые дешевые уроки приводитъ педагога въ новое

бѣшенство: оказывается, что сынъ сбиваетъ цѣну отцовскимъ урокамъ. Въ головѣ Жюля Валлеса роятся самые отчаянные планы. Ему хочется сбѣжать изъ дому куда-нибудь далеко, далеко, въ колоніи, выполняя, наконецъ, давнишнее еще дѣтское намѣреніе скрыться изъ родительской каторги за море, хоть самымъ послѣднимъ юнгой на кораблѣ. Встрѣча съ однимъ старымъ извѣстнымъ республиканцемъ, который нынѣ забился ради семьи въ провинціальную щель и отказался отъ прежнихъ свободолюбивыхъ идей, наполняетъ душу Жюля Валлеса новой горечью. Съ отчаянія онъ бросается въ среду нантскихъ моряковъ, и здѣсь, въ этомъ портовомъ городѣ, проводитъ время въ самыхъ грязныхъ вертепахъ.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ такой жизни избавленіе отъ этого ада приходитъ неожиданно въ видѣ завѣщанія нѣкой старой доброй дѣвы, которая питала чувство состраданія и искренней симпатіи къ Валлэсу съ самаго его дѣтства и которая, умирая, оставляетъ юношѣ тринадцать тысячъ франковъ. Но нашъ герой еще несовершеннолѣтній, онъ еще не можетъ располагать своимъ имуществомъ. И вотъ отецъ предлагаетъ ему слѣдующую сдѣлку: сынъ уступаетъ родителямъ весь небольшой капиталъ, а взамѣнъ получаетъ разрѣшеніе отправляться куда ему угодно, хоть въ Парижъ, чтобы вести на этотъ разъ уже совершенно свободную и независимую жизнь. Отецъ даетъ формальное обѣщаніе высылать сыну ежемѣсячно сорокъ франковъ и немедленно же вручаетъ ему 500 франковъ на первое обзаведеніе и устройство. И вотъ Жюль Валлэсъ снова въ столицѣ, съ нищенской получкой отъ родителей и при томъ вынужденный еще кормить умирающаго съ голоду школьнаго пріятеля, съ которымъ онъ встрѣтился послѣдній разъ въ Нантѣ и которому онъ предложилъ теперь поселиться въ его жалкой мансардѣ.

Приходится снова изодраться на всѣ лады, искать всевозможной работы, чтобы поддерживать нищенское существованіе себя самого и своего друга. «Баккалавръ» проявляетъ чудеса настойчивости и дипломатіи, чтобы найти уроки, переписку, какую-нибудь литературную работу. Сегодня онъ въ роли не

то учителя, не то гувернера при какомъ-то подозрительномъ пансіонѣ, хозяинъ котораго живетъ мошенничествомъ, убѣгаетъ постоянно отъ кредиторовъ, держитъ впроголодь Жюля Валлэса и, наконецъ, ухитряется со скандаломъ въ полицію отдѣлаться отъ него, не заплатя ни копѣйки. На завтра здоровенный и ловкій физически юноша даетъ уроки французскаго бокса, которому онъ выучился у одного гимнаста. Еще нѣкоторое время спустя, «отщепенецъ» пишетъ сатирическіе стихи по заказу одного состоятельнаго господина, который хочетъ донять этимъ литературнымъ оружіемъ своихъ враговъ. И этотъ родъ писанія создаетъ даже нашему герою извѣстную популярность среди столичныхъ и провинціальныхъ пріятелей заказчика и даетъ ему въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ кой-какой заработокъ. Наоборотъ, попытки пробиться въ настоящую литературу увѣнчиваются пока полнѣйшимъ фіаско. Если ему и удастся помѣстить нѣсколько статей, то лишь въ жалкихъ газеткахъ, издаваемыхъ его пріятелями, принадлежавшими къ типичной парижской богемѣ, которые не только не могутъ платить своему собрату, но сами прибѣгаютъ къ самымъ курьезнымъ уловкамъ, чтобы заполучить одного, двухъ подписчиковъ. Лучше дѣла идутъ у Валлэса съ частными уроками, когда соединенными усилями пріятелей и при помощи всевозможныхъ портняжныхъ фокусовъ и невѣроятнаго количества булавокъ нашему «баккалавру» удастся смастерить костюмъ, или, вѣрнѣе сказать, рядъ сносныхъ на внѣшній видъ костюмовъ, чтобы получить возможность являться въ состоятельныя семьи.

Такъ проходитъ нѣсколько лѣтъ, нѣсколько ужасныхъ годовъ, цѣликомъ заполненныхъ голодовкой, горькой борьбой за существованіе, однообразная вереница которыхъ прерывается время отъ времени ребяческими планами похищенія всесильнаго императора и кратковременнымъ арестомъ, отчаянной дуэлью съ пріятелемъ, осточертѣвшимъ вслѣдствіе постоянной жизни вмѣстѣ, комичными романами съ свѣтскими дамами, бѣгущими въ ужасѣ отъ *jeune premier'a*, какъ только узнавали нищенскую обстановку его жизни. Написанная Жю-

лемъ Валлэсомъ въ промежуткахъ между вѣчными исканіями работы, книга «Деньги» (L'Argent, 1856) не имѣетъ никакого успѣха. Несмотря на эффектное заглавіе и на эффектную обложку, изображающую серебряный пятифранковикъ, къ которому тянется отовсюду цѣлый лѣсъ рукъ, несмотря на оригинальный, свирѣпый, хотя и не вездѣ выдержанный тонъ книги, представляющей сатирической панегрикъ «Денегъ», у этого юношескаго произведенія Валлэса нашлось очень мало читателей. Нѣкоторое подспорье доставили, наоборотъ, начинающему писателю занятія въ качествѣ домашняго секретаря у критика Гюстава Планша, смѣяться надъ которымъ вошло въ моду у молодыхъ литераторовъ Второй имперіи, прошедшихъ черезъ школу Сэнтъ-Бѣва и Тэна, но у котораго были кой-какія идеи, заимствованныя у него самими же насмѣшниками. Такъ, Гюставу Планшу принадлежитъ, если не ошибаюсь, мысль и чуть ли даже не сама формулировка мысли о взаимодѣйствіи между расой, средой, моментомъ, съ одной стороны, и личностью писателя съ другой,—словомъ, ставшая въ послѣдствіи знаменитой подъ энергичнымъ перомъ Тэна тройственная формула литературнаго произведенія. Какъ бы то ни было, Жюль Валлэсъ сохранилъ чувство личной симпатіи къ критику, надъ посредственностью котораго любили подсмѣиваться писатели, претендовавшіе на оригинальность, и по смерти Планша, въ 1857 г., написалъ о немъ этюдъ, который можно назвать почти трогательнымъ.

II.

Въ концѣ 50-хъ годовъ умираетъ отецъ «отщепенца», всего 48 лѣтъ отъ роду, какъ уже было сказано нами выше. На похоронахъ отца молодой Валлэсъ узнаетъ отъ матери, что мѣстный провизоръ (по нашему директоръ) лицея былъ бы очень склоненъ дать сыну умершаго мѣсто надзирателя-репетитора въ своемъ учебномъ заведеніи. Сначала Валлэсъ съ ожесточеніемъ отвергаетъ самую мысль заняться официальной педагогикой, въ которой онъ видитъ убійцу своего отца и

мучительницу самого себя. Но въ одну изъ парижскихъ голодовокъ, когда десятилѣтняя борьба за существованіе временно до-нельзя истомила его, онъ рѣшается взять предлагавшееся ему мѣсто. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ живетъ на сѣверѣ Франціи, въ глубинѣ провинціи, исключительно растительной жизнью, снисходительно смотря на шалости ввѣренныхъ ему мальчиковъ и стараясь «отѣсться» и «отпиться» (сидромъ). Но его непосѣдливая натура, а главное—отвращеніе къ роли надзирателя скоро погнали его снова въ Парижъ. Замѣтивъ, что присяжные педагоги съ неудовольствіемъ смотрѣли на воспитательные приемы давнишняго врага официальной науки и даже старались устроить заговоръ противъ него среди школьниковъ, Валлэсъ нарочно устроилъ гимназическій скандалъ. При первой же возможности онъ прочиталъ ученикамъ цѣлую лекцію насчетъ того, что они не должны заниматься ничѣмъ, ровно ничѣмъ изъ преподаваемаго имъ въ школѣ, какъ вещами, совершенно бесполезными. И снова бакалавръ-отщепенецъ гранитъ мостовую въ Парижѣ.

Измѣнить идеаламъ своей молодости, своему революціонному міровоззрѣнію онъ не можетъ: лучше голодная или насильственная смерть, чѣмъ отступничество! Онъ доказалъ это еще нѣсколько времени тому назадъ, когда отвергъ сердце и руку влюбившейся въ него богатой дѣвицы, и отвергъ потому, что замѣтилъ глубокое презрѣніе у этой привилегированной особы къ нищетѣ и физическому труду. Но, съ другой стороны, онъ слишкомъ усталъ, годы свирѣпой борьбы за кусокъ хлѣба слишкомъ надломили его, чтобы онъ снова рѣшился бѣгать по урокамъ или искать случайной литературной работы. Ему хотѣлось бы занять какое-нибудь постоянное мѣсто. И вотъ, подобно молодому Рошфору, подобно столькимъ французскимъ писателямъ и дѣятелямъ, онъ поступаетъ мелкимъ служащимъ въ одну изъ мэрій Парижа: за 100 франковъ въ мѣсяцъ онъ цѣлый день проводитъ въ мэріи Вожирарскаго квартала, ведя метрическіе списки рождающихся. Вечера принадлежатъ ему, и съ удвоенной энергіей онъ старается теперь пробиться въ литературномъ мірѣ.

Сначала эти попытки увѣнчиваются лишь половиннымъ успѣхомъ. То, что онъ пишетъ, врядъ ли принадлежитъ къ отдѣлу собственно такъ называемой литературы. Ибо какая же литература финансовая хроника въ тогда еще лишь ежедневномъ «Фигаро»? Но его, написанная сильнымъ, нервнымъ языкомъ и проникнутая искренней злобой къ современному обществу, статья «Воскресенье бѣднаго молодого человѣка» («Le dimanche d'un jeune homme pauvre», 1860) производитъ сенсацію и открываетъ ему двери въ различные газеты и журналы. Эмиль-де-Жирардэнъ отказывается принять въ число своихъ постоянныхъ сотрудниковъ этого, какъ онъ называетъ, «бульдога», который бѣшено показываетъ настоящему строю свои страшные зубы и только ждетъ удобнаго случая, чтобы вцѣпиться въ него мертвой хваткой, со всей накопившейся на современное общество злобой, злобой не только лично за себя, но за всѣхъ своихъ товарищей по труду, борьбѣ и страданіямъ,—словомъ, за весь міръ свободы и нищеты. Лишь одинъ разъ, взбѣшенный преслѣдованіями правительства, Жирардэнъ выпускаетъ противъ наполеоновскаго режима литературнаго «бульдога». Но, добившись своего, давъ почувствовать людямъ Второй имперіи, что съ нимъ, Жирардэномъ, шутить не годится, онъ прерываетъ сношенія съ нераскаяннымъ отщепенцемъ. Зато его успѣваетъ приютить у себя обладающій большимъ дѣлецкимъ чутьемъ Вильмессанъ, издающій теперь «L'Événement», а вскорѣ ежедневное «Фигаро». И это спасаетъ Жюля Валлеса отъ серьезной матеріальной невзгоды, такъ какъ начальство приказываетъ ему подать въ отставку изъ мэріи, возмущившись крайне революціонной публичной лекціей, которую отщепенецъ прочиталъ на вечерѣ, устроенномъ республиканской оппозиціей въ честь славнаго изгнанника Виктора Гюго. Субботнія хроники Жюля Валлеса хорошо оплачиваются шустримъ газетчикомъ, а когда ставшій знаменитымъ въ то время Рошфоръ былъ перехваченъ издателемъ «Le Soleil», то оставшійся на бобахъ фигаристъ предлагаетъ Валлэсу еще лучшія условія, а именно: восемнадцать тысячъ франковъ въ годъ. Дѣло въ томъ, что появившійся въ то

время и составленный изъ различныхъ статей романъ Жюля Валлеса «Отщепенцы» («Les Refractaires», 1866), изображающій жизнь общественныхъ парій и вообще людей, которые не могутъ войти въ рамки правильного буржуазнаго общества,—это горячо и зло написанное произведеніе сильно подняло шансы Валлеса на литературномъ рынкѣ. Эта вещь, кстати сказать, легла въ основу «Отщепенцевъ» Н. В. Соколова, который черпалъ полными пригоршнями въ книгѣ Валлеса, а мѣстами, особенно во введеніи, буквально воспроизводилъ ее...

Перо Валлеса не ограничивается нанесеніемъ жестокихъ ударовъ императорскому деспотизму и всему режиму произвола. Оно бередитъ больныя мѣста современнаго общества, основаннаго на «поляризації» богатства и бѣдности, голодающаго труда и сибаритствующаго капитала. Оно жестоко бичуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ буржуазныхъ либераловъ и буржуазныхъ республиканцевъ, которые стараются теперь всячески кокетничать съ народомъ, чтобы при помощи его свалить цезаристическій режимъ и самимъ стать у власти. Изъ своихъ колючихъ хроникъ, которыя, въ концѣ концовъ, заставляютъ Вильмессана временно разстаться съ Жюлемъ Валлэсомъ, отщепенецъ составляетъ цѣлую книгу, представляющую въ извѣстномъ смыслѣ продолженіе предшествующей. Уже самое названіе ея «Улица» («La Rue», 1867) показываетъ, что героями ея избраны всѣ типы кишачей въ Парижѣ бѣдности, кое-какъ и чѣмъ попало зарабатывающей себѣ хлѣбъ на улицахъ великаго города. Одинъ за другимъ передъ взорами взволнованнаго читателя проходятъ акробаты, геркулесы, уличные пѣвцы, бродячіе торговцы. И единственнымъ отдохновеніемъ отъ этого пандемоніума, отъ этого міра нищеты и страданій служатъ заключительныя страницы книги, гдѣ авторъ развертываетъ нить своихъ раннихъ сельскихъ воспоминаній, проникнутыхъ запахомъ полей и идилліей деревенскаго труда, которому такъ завидовалъ юный Жюль, смотря на своихъ родственниковъ-мужиковъ.

Названіе этой книги внушило даже Валлэсу идею издавать самому подъ такимъ заглавіемъ газету, гдѣ онъ могъ бы, не

стѣсняясь требованіями какого-нибудь торговца печатнымъ словомъ, въ родѣ Вильмессана, отзываться на всѣ интересующія его явленія жизни и откровенно высказывать свои мысли. Послѣ всевозможныхъ, порою комическихъ, а зачастую горестныхъ приключеній, связанныхъ съ отыскиваніемъ денегъ для новаго органа, Валлэсу удается, наконецъ, устроить матеріальную сторону дѣла. И вотъ, подобравъ штабъ подходящихъ сотрудниковъ, такихъ же непримиримыхъ, какъ самъ, Жюль Валлэсъ съ 1867 г. начинаетъ издавать газету «La Rue» («Улица»), на которую съ первыхъ же номеровъ обрушивается гнѣвъ людей Второй имперіи, ставшей къ тому времени лицомъ реноме величать себя «либеральной». Послѣ всевозможныхъ предостереженій, конфискацій и т. п. судебно-административныхъ перуновъ, которые чуть не ежедневно раздражались надъ «Улицей», злополучная газета была, наконецъ, закрыта попечительнымъ начальствомъ, конечно, высказывавшимъ полное сочувствіе «разумной свободѣ» печати, но не терпѣвшимъ, чтобы эта «свобода вырождалась въ распущенность». Валлэсъ и его сотрудники могли говорить съ своей трибуны сочувствующимъ читателямъ лишь въ теченіе полгода. Но и то, что они успѣли высказать за эти шесть мѣсяцевъ, носить печать горячаго убѣжденія и искренней общественно-политической страсти. Подбирая матеріалы для политическихъ памфлетовъ Франціи¹⁾, я даже колебался, не пустить ли въ первую голову выдержки изъ «Улицы», такъ мало извѣстной русскому читателю. И лишь скорѣе социальный, чѣмъ политическій характеръ этой газеты, да отрывочность ея статей и необходимость снабжать частыми примѣчаніями ихъ переполненное намеками или прямыми указаніями на современныхъ людей и событія содержаніе заставили меня отложить ихъ воспроизведеніе на русскомъ языкѣ. Во всякомъ случаѣ, сильная индивидуальность Валлэса со всѣми ея шероховатостями, но и съ могучимъ крикомъ

¹⁾ См. мое предисловіе къ «Французскимъ памфлетистамъ XIX вѣка», составляющимъ серію I «Политическихъ памфлетовъ». С.-Петербургъ, 1906. «Библиотека Общественной Пользы».

сочувствія къ трудящимся и ненависти къ празднымъ паразитамъ ярко выражается въ «Улицѣ», которую можно считать въ значительной части личнымъ произведеніемъ отщепенца.

Между тѣмъ, извѣстность Валлэса росла не только среди единомышленниковъ, но и въ широкихъ литературныхъ кругахъ и даже во «всѣхъ Парижѣ». Онъ становился львомъ періодической печати. И если его репутація уступала колоссальной репутаціи Рошфора, созданной столько же симпатіями читателей-друзей, сколько лютой злобой идейныхъ враговъ, то все же его писательская фізіономія выдѣлялась ярко и рельефно изъ рядовъ оппозиціонной арміи, ведшей все болѣе и болѣе ожесточенную войну противъ Имперіи. Благодаря этому, Валлэсу было нетрудно находить работу, и при томъ очень хорошо оплачиваемую работу, у литературныхъ промышленниковъ. Имъ вѣдь, въ сущности, было все равно, какія идеи развивалъ нанимаемый ими работникъ пера, лишь бы онъ умѣлъ интересовать читателей и усиливать сбытъ органа, хотя бы путемъ «скандала», т. е. проведенія такихъ взглядовъ, что могли шокировать и возмущать, но въ то же время привлекать своей пикантною обычныхъ потребителей газеты. Такъ, по закрытіи «Улицы», Валлэсъ переходитъ въ 1868 г. въ ставшее большимъ ежедневнымъ изданіемъ «Фигаро» и здѣсь продолжаетъ свои хроники, больно ущемляющія предрассудки привилегированныхъ классовъ, но порою раздражающія смѣлостью своихъ сужденій о людяхъ и вещахъ идейныхъ товарищей Валлэса, особенно изъ категоріи ригористовъ. Они, дѣйствительно, не могли допустить, чтобы «отщепенецъ», въ теоретическомъ отношеніи находившійся все болѣе и болѣе подъ вліяніемъ Прудона и его школы, смѣлъ такъ рѣзко отзываться о якобинцахъ Великой революціи, начиная съ Робеспьера. Возбуждали неудовольствіе этихъ товарищей и насмѣшки Валлэса надъ тѣми прямолинейными послѣдователями крайняго міровоззрѣнія, которые на все хотѣли смотрѣть глазами доктрины и требовали неуклоннаго проведенія ея въ жизни и мысли. Ихъ онъ любилъ называть «чистыми», «монахами революціи» и «попами социализма». И нѣтъ сомнѣнія,

что въ этихъ сужденіяхъ и насмѣшкахъ онъ иногда переходилъ границу, что отчасти объясняется его личнымъ положеніемъ высоко талантливаго и, можно сказать, моднаго писателя, которому приходилось черезчуръ часто вращаться среди людей привилегированнаго общества или торгашей печатнымъ словомъ, видѣвшихъ въ литературѣ лишь средство наживы. Присоединялась тутъ, конечно, и та естественная реакція могучаго и цѣлыми годами голодавашаго организма Валлеса, которая толкала его пользоваться комфортомъ и нѣкоторыми благами жизни съ большимъ, можетъ быть, увлеченіемъ, чѣмъ то хотѣлось бы видѣть убѣжденнымъ единомышленникамъ въ проповѣдникѣ евангелія труда. Ходили слухи и даже порою раздавались громкія обвиненія товарищей противъ блестящаго сотрудника бульварной печати, что онъ наполовину уже примирился съ буржуазіей и не сегодня-завтра перейдетъ въ лагерь сытыхъ и привилегированныхъ.

Съ другой стороны, буржуазные республиканцы обвиняли Валлеса въ томъ, что онъ готовъ вступить въ сдѣлку съ Имперіей и стать послушнымъ орудіемъ въ рукахъ отживающаго режима, лишь бы насолить свободолубивой, но отнюдь не социалистической буржуазіи. Нѣкоторые доходили даже до того, что прямо обвинили Валлеса въ продажности, когда на выборахъ 1869 г. онъ выступилъ въ одномъ изъ кварталовъ Парижа, какъ «кандидатъ нищеты», противъ медоточиваго, но глубоко буржуазнаго Жюля Симона. Валлесь получилъ всего нѣсколько сотенъ голосовъ, и его противникъ прошелъ громаднымъ большинствомъ. Но и въ пылу избирательной кампаніи, и неоднократно позже довольно широкіе круги обвиняли Валлеса въ сознательномъ или безсознательномъ служеніи интересамъ бонапартизма, бросая ему въ лицо его избирательный «маневръ», его «неумѣстную диверсію» предъ лицомъ общаго, пока еще сильнаго врага. Между тѣмъ, справедливость заставляетъ сказать, что именно въ этомъ дѣлѣ Валлесь стоялъ на точкѣ зрѣнія тогдашняго послѣдовательнаго социализма, представители которого считали долгомъ обособляться на выборахъ отъ всѣхъ буржуазныхъ партій и вы-

ставлять то, что принято теперь называть «кандидатурой класса». Вспомните хотя бы полемику, которая завязалась въ половинѣ 60-хъ годовъ по поводу знаменитаго «Манифеста шестидесяти» парижскихъ рабочихъ между социалистами и буржуазными республиканцами и въ которой на сторону пролетаріата, выступавшаго отдѣльнымъ классомъ, сталъ самъ аполитическій Прудонъ, вдохновившійся отчасти этимъ обстоятельствомъ и въ своемъ посмертномъ трудѣ «О политической правоспособности рабочаго класса».

Но событія несутся въ Франціи съ поразительной быстротой. Имѣлъ ли намѣреніе или нѣтъ Валлесь примириться съ буржуазіей и даже позволить себѣ вступить въ избирательную сдѣлку съ Имперіей,—этотъ вопросъ, дѣлившій тогда людей, знавшихъ Валлеса, на два лагеря, скоро сталъ празднымъ въ виду надвигавшейся національной катастрофы. Она уже была готова разразиться надъ Франціей и увлечь всѣ классы и всѣхъ гражданъ въ сторону болѣе или менѣе искренней ликвидаціи прошлаго и сопротивленія завоевателю при новомъ, республиканскомъ правительствѣ. Валлесь раздѣляетъ со всѣми французами, или лучше сказать въ первыхъ рядахъ сознательныхъ политическихъ дѣятелей, перипетіи «страшнаго года». Издатель «Народа» (Le Peuple) въ 1869 г., временный жилецъ политической тюрьмы «Святой Пелагеи» за двѣ рѣзкихъ статьи, написанныхъ въ «чужихъ» органахъ, Валлесь бросается съ особеннымъ жаромъ въ политику съ самаго начала 1870 г., когда издыхающая Имперія чувствуетъ свою близкую гибель и хватается за всякія средства, лишь бы отсрочить часъ своего неизбежнаго паденія. На похоронахъ Виктора Нуара, предательски убитаго Пьеромъ Бонапартомъ 10 января 1870 г., Жюль Валлесь совѣтуетъ друзьямъ тактику, которую ему подсказываетъ его боевой темпераментъ: двинуться съ погребальной процессіей, во главѣ дышащей негодованіемъ двухсоттысячной толпы, прямо на Парижъ, вызвать уличную революцію и силою низвергнуть съ трона рыцаря декабрьской ночи. Но болѣе робкіе или болѣе дальновидные вожаки крайнихъ партій разстраиваютъ этотъ планъ. Да и самъ Валлесь съ яростью

въ душѣ убѣждается, что и народъ въ концѣ концовъ не рѣшается еще броситься въ открытое столкновение съ полиціей и войсками.

Въ день объявленія войны Пруссіи, въ іюлѣ 1870 г., взбѣшенный Валлэсъ ходитъ по бульварамъ впереди мирныхъ контръ-манifestацій, которыя организованы социалистами, объединенными теперь подъ знаменемъ Интернаціонала, и вообще убѣжденными демократами и республиканцами, чтобы противопоставить голосъ истиннаго рабочаго народа воплямъ воинственныхъ манифестацій и крикамъ «въ Берлинъ! Въ Берлинъ!», наполовину одураченныхъ, наполовину состоящихъ изъ шпионовъ шовинистующихъ толпъ. Валлэса жестоко избиваютъ партизаны войны. Правительство сажаетъ его въ тюрьму, какъ измѣнника отечеству, но вскорѣ, подъ вліяніемъ поражений, наносящихъ все новые и новые удары императорскому трону, выпускаетъ его на свободу. А черезъ какой-нибудь мѣсяць, 4 сентября, рушится и весь режимъ восемнадцатилѣтняго гнета и произвола, уступая мѣсто республикѣ, которую Валлэсъ и его единомышленники желали бы тутъ же превратить въ социальную, но которая останется анонимнымъ правленіемъ, многоголовой дектатурой буржуазнаго класса, не останавливающегося, какъ то вскорѣ увидитъ исторія, передъ потоками рабочей крови, когда дѣло пойдетъ объ охраненіи привилегій капитала и владѣнія.

Не проходитъ, дѣйствительно, и двухъ мѣсяцевъ, какъ народъ, искренно желающій отстоять отъ нѣмцевъ осажденный Парижъ, видитъ, что правительство «національной обороны», состоящее изъ крупныхъ вожаковъ буржуазіи, ведетъ дѣло защиты такъ вяло, будто оно боится гораздо больше вооруженнаго столичнаго населенія, чѣмъ враговъ, охватившихъ желѣзнымъ кольцомъ великій городъ. Социалисты и революціонеры школы Бланки дѣлаютъ попытку 31 октября захватить ратушу и на мѣсто буржуазнаго поставить истинно народное правительство. Уже произносится и идетъ изъ устъ въ уста слово «Коммуна», которою секции вооруженныхъ «федералистовъ», выбирающихъ своихъ вождей, надѣются замѣнить вялыхъ и трусливыхъ

людей 4 сентября. Валлэсъ назначенъ народомъ во время этой попытки мэромъ XIX-го округа.

Но народное движеніе послѣ нѣсколькихъ часовъ торжества подавлено пришедшимъ въ себя правительствомъ, которое, однако, рѣшается преслѣдовать мятежниковъ военнымъ судомъ лишь нѣсколько мѣсяцевъ спустя. Буржуазія мститъ народу только послѣ капитуляціи, только послѣ постыдной сдачи Парижа правительствомъ торжествующему врагу, несмотря на слезы ярости и героизмъ населенія (январь 1871 г.). Лишь въ началѣ марта буржуазная юстиція приговариваетъ заочно Бланки и Флуранса къ смертной казни, а Валлэса, успѣвшаго тѣмъ временемъ скрыться и пріютиться у друзей, къ шестимѣсячному заключенію. Зато газета «Крикъ народа» (Le Cri du Peuple), которую Валлэсъ началъ издавать при республикѣ и которая сильно расходилась между рабочими и революціонной буржуазіей въ Парижѣ, была пріостановлена правительствомъ «національной обороны» на 18-мъ номерѣ въ числѣ шести социалистическихъ органовъ...

Но въ воздухѣ пахнетъ уже настоящей Коммуной. Валлэсъ, вступившій незадолго передъ тѣмъ въ одну изъ секцій Интернаціонала и могущій теперь ближе познакомиться съ настроеніемъ наиболѣе сознательныхъ рабочихъ, чувствуетъ, что готовится нѣчто огромное не только по внѣшнимъ размѣрамъ, но и по своему историческому смыслу. Самое событіе застаётъ все-таки Валлэса врасплохъ: Коммуна провозглашена если не неожиданно, то внезапно, какъ результатъ народнаго движенія 18-го марта. Появившаяся вновь газета Валлэса привѣтствуетъ ее слѣдующей передовой статьей, которая производитъ сильную сенсацию среди наэлектризованныхъ массъ, идущихъ, какъ имъ кажется, на окончательное завоеваніе новаго міра:

«Что за день!

«Это теплое и ясное солнце, которое золотитъ жерла пушекъ, этотъ запахъ букетовъ, это трепетаніе знаменъ, рокотъ этой революціи, которая разворачивается, спокойная и прекрасная, словно голубая рѣка; эта дрожь, пробѣгающая по толпѣ,

этотъ свѣтъ, эти мѣдныя трубы, этотъ блескъ бронзы, эти горячіе взрывы надежды, этотъ запахъ честности въ воздухѣ,—да, тутъ есть чѣмъ опьянить гордостью и радостью побѣдоносную армію республиканцевъ.

«О, великій Парижъ!

«Мы были жалкими трусами, мы говорили уже о томъ, чтобы покинуть тебя и удалиться изъ твоихъ предмѣстій, которыя, намъ думалось, оставило дыханіе жизни!

«Прости! Отечество чести, городъ спасенія, бивуакъ революціи!

«Что бы ни случилось, и пусть намъ суждено снова быть побѣжденными и умереть завтра, наше поколѣніе нашло утѣшеніе! Намъ заплачено за двадцать лѣтъ поражений и томительной скорби.

«Трубы! Бросайте далеко по вѣтру ваши звуки! Барабаны, бейте лагерный сборъ!

«Обними меня, товарищъ, у котораго, какъ и у меня, уже показалась сѣдина въ волосахъ! А ты, мальчикъ, играющій въ шарики позади баррикады, подойди и ты, чтобы я расцѣловалъ тебя!

«День 18-го марта спасъ тебя отъ великой бѣды, малютка. Ты могъ бы, какъ мы, расти въ туманѣ, шлепать въ грязи, утопать въ крови, издыхать отъ стыда, испытывать неслыханное горе обезчещенныхъ!

«Теперь этому конецъ!

«Мы проливали кровь и слезы за тебя. Ты получишь наше наслѣдство.

«Сынъ отчаявшихся, ты будешь отнынѣ свободнымъ человекомъ!»

На выборахъ въ Коммуну Валлэсъ проходитъ однимъ изъ трехъ представителей Гренельскаго квартала. Въ этомъ импровизированномъ правительствѣ четвертаго сословія отщепенецъ вотируетъ по большей части съ социалистическимъ меньшинствомъ, которое тщетно борется съ яacobинскими и террористическими тенденціями большинства, состоящаго изъ крайнихъ буржуазныхъ республиканцевъ и изъ учениковъ Бланки.

Нѣкоторые взгляды Валлэса встрѣчаютъ суровое осужденіе не только среди его коллегъ, но со стороны самихъ, доведенныхъ до отчаянія, массъ, которыя, видя, съ какою свирѣпостью, съ какимъ презрѣніемъ законовъ войны версальцы разстрѣливаютъ плѣнныхъ и безоружныхъ, сами начинаютъ думать о репрессіяхъ. Такъ, Валлэсъ сталъ было настаивать — во имя принциповъ свободы печати, столько разъ попиравшейся въ его лицѣ, на разрѣшеніи выходить всѣмъ, самымъ клеветническимъ органамъ буржуазіи въ осажденномъ арміей Тьера Парижѣ. Въ этомъ случаѣ онъ стоялъ на точкѣ зрѣнія Рошфора, газета котораго неоднократно вызывала неудовольствіе Коммуны. Но вступившіе въ отчаянную борьбу съ версальцами, вожаки инсurreкціи рѣзко отвергли это предложеніе, указавъ, — не безъ основанія, впрочемъ, — что всѣ эти газеты буржуазіи были, въ сущности, органами формальнаго военнаго шпіонства, доносившими версальцамъ о всѣхъ планахъ федералистовъ.

Разгромъ Коммуны прекратилъ передъ лицомъ неумолимаго врага эти распри большинства и меньшинства. И свободолюбивые, и яacobинствующіе члены Коммуны исполнили, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, свой долгъ передъ возставшимъ и выдвинувшимъ ихъ впередъ народомъ. Они бились, какъ львы, на баррикадахъ среди ужасовъ майской «кровавой недѣли». И одни полегли въ первыхъ рядахъ инсургентовъ; другіе, когда всякая надежда на побѣду была потеряна, спаслись, лишь благодаря счастливой случайности и собственной находчивости и хладнокровію. Боевая натура Валлэса кидала его всюду, гдѣ подъ краснымъ знаменемъ пролетаріата народъ оказывалъ отчаянное сопротивленіе генераламъ арміи порядка, тѣмъ самымъ генераламъ, которые — какъ это всегда бываетъ, — чѣмъ трусливѣе вели себя на полѣ битвы съ внѣшнимъ врагомъ, тѣмъ болѣе неистовствовали на улицахъ родного Парижа, проливая кровь соотечественниковъ. Не было, кажется, ни одной крупной баррикады въ V-мъ и XIII-мъ парижскихъ округахъ, на которой въ тотъ или другой моментъ «кровавой недѣли» не появлялась бы всѣмъ знакомая въ то время фи-

гура Валлеса, обрекающего себя, что называется, на смерть. А въ послѣдніе дни съ высотъ Люксембурга и Пантеона, залитыхъ кровью послѣднихъ защитниковъ Коммуны на лѣвомъ берегу, онъ удаляется на высоты рабочаго Белльвиля, этого «Авентинскаго холма» французскаго пролетаріата. Когда и этотъ оплотъ народа разгромленъ митральезами, постыдно молчавшими передъ нѣмцами, и наводненъ героями Седана и Меца, Валлэсъ оставляетъ проигранное окончательно поле сраженія. Ему удается сойти за санитара; вѣрные друзья даютъ ему въ теченіе нѣсколькихъ недѣль пріютъ. И, наконецъ, Валлэсъ переступаетъ французскую границу и удаляется въ Англію въ то самое время, какъ версальцы гордятся чуть не каждый день разстрѣломъ новаго лже-Валлеса, и органы буржуазіи съ наслажденіемъ описываютъ, какъ подло и трусливо умиралъ авторъ «Отщепенцевъ» и главный редакторъ «Le Cri du Peuple».

Отнынѣ драматическій періодъ жизни Валлеса конченъ. Потянутся унылые дни и годы изгнанія, когда эмигрантъ, прислушиваясь къ тому, что дѣлается на родинѣ, будетъ переходить отъ надежды къ негодованію и почти отчаянію, и отъ этихъ чувствъ снова къ надеждѣ въ ожиданіи торжества своихъ идеаловъ. Участъ Валлеса была еще завиднѣе участи многихъ и многихъ его товарищей, благодаря его изъ ряду вонъ выходящему литературному таланту, который даетъ ему и изъ-за границы возможность писать въ родной печати. Изъ Лондона онъ посылаетъ въ «L'Evènement» анонимныя письма, изображая въ нихъ своимъ могучимъ, хотя и утрированнымъ языкомъ, сцены и типы столичной англійской жизни. Изъ нихъ составился въ 70-хъ годахъ цѣлая книга, которой онъ дастъ характерное заглавіе «Улицы въ Лондонѣ» (La Rue à Londres), въ pendant къ своей прежней парижской «Улицѣ», которую онъ описывалъ съ такою энергіею и рельефностью. Изъ Лондона же онъ посылаетъ въ республиканскій «Voltaire» «Хроники человѣка въ маскѣ» (Chroniques de l'homme masqué). Наконецъ, въ изгнаніи онъ начинаетъ въ газетѣ «Le Siècle» свою автобіографическую трилогію, героемъ которой является

самъ онъ, Жюль Валлэсъ, подъ прозрачнымъ псевдонимомъ Жака Вэнтраса (Jacques Vingtras). Первая часть, «Ребенокъ» (*L'Enfant*), выходитъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1879; вторая, «Баккалавръ» (*Le Bachelier*), въ 1881; третью—«Инсургента» (*L'Insurgé*) онъ пишетъ уже на родинѣ, куда возвращается послѣ общей амнистіи 10-го іюля 1880 г., а отдѣльное изданіе ея появляется уже послѣ его смерти, въ 1885 г.

Во Франціи же Жюль Валлэсъ воскрешаетъ съ 1883 г. свою прежнюю газету «Le Cri du Peuple», стараясь придать ей особую фізіономію, подчеркнуть ея индивидуальность, противопоставляя ея безпартійно соціалистическое міровоззрѣніе радикально-соціалистическому революціонизму рошфоровскаго «L'Intransigeant» и радикально-соціалистическому эволюціонизму клемансовской «La Justice». Валлэсъ группируетъ вокругъ себя сотрудниковъ, принадлежащихъ къ различнымъ, довольно часто враждующимъ между собою фракціямъ французскаго соціализма, что вредитъ цѣльности направленія органа, которому не особенно много цвѣта и блеска сообщаетъ и самъ значительно потускнѣвшій теперь и ослабѣвшій редакторъ. Однако, и въ послѣдніе годы своей жизни Валлэсъ настолько еще пользуется литературной репутаціей, отчасти оставшейся ему отъ времени наибольшаго расцвѣта его таланта, что только что возникшая тогда и понынѣ здравствующая шустрая газета «Le Matin» включила Валлеса въ число четырехъ передовиковъ совершенно различныхъ направленій, которые, по предложенію издателя, пресловутаго Эдвардса, должны были знакомить читателей органа каждый со взглядами своей партіи, не стѣсняясь мнѣніями пишущаго тутъ же рядомъ сосѣда. Въ то время, какъ Поль-де-Кассаньякъ представлялъ въ «Le Matin» бонапартизмъ, Корнели орлеанизмъ, Эмманюэль Арэнъ оппортунизмъ, Валлэсъ считался выражающимъ въ газетѣ міросозерцаніе соціализма.

Умеръ Жюль Валлэсъ, какъ уже было сказано, сравнительно очень нестарымъ, особенно по французскимъ понятіямъ, недостигнувъ и 53 лѣтъ отъ роду. Его могучій, но надорванный лишеніями молодости и тревоженіями зрѣлаго возраста

организмъ рано былъ подточень порывами бунтующей и вѣчно мятущейся души, которая износила крѣпкую оболочку, какъ острый клинокъ, находящійся часто въ движеніи, изнашиваетъ самыя прочныя ножны.

III.

Валлэсъ принадлежитъ къ людямъ, надлежащая оцѣнка которыхъ можетъ быть сдѣлана только подъ условіемъ разсматривать ихъ личность въ цѣломъ, не разрывая ея на части, не абстрагируя различныхъ сторонъ ихъ индивидуальности. Такъ, человекъ и писатель настолько сливаются въ немъ, что его литературныя произведенія даютъ ключъ къ нѣкоторымъ его личнымъ свойствамъ; и, наоборотъ, его жизнь и дѣятельность уясняютъ намъ порою лучше всего, почему онъ писалъ такъ, а не иначе. Скажутъ, эта зависимость существуетъ всегда. Да, но въ какой степени? Есть писатели, которые въ личной жизни обнаруживали жажду пользоваться и, дѣйствительно, пользовались всѣми благами существованія, а въ теоритическомъ отношеніи выражали самый отчаянный пессимизмъ: таковъ Шопенгауэръ. Извѣстны, наоборотъ, такіе писатели, вся жизнь которыхъ была омрачена страданіями, физическимъ уродствомъ, и произведенія которыхъ брызжутъ весельемъ и довольствомъ судьбой: вспомните калѣку Скаррона, пишущаго свои комедіи въ колясочкѣ, гдѣ онъ скрывалъ свой горбъ и свою вѣчную подагру. Валлэсъ же жилъ, какъ писалъ, и писалъ, какъ жилъ. Говорю это вообще, т.-е. всматриваясь въ среднее теченіе его жизни и объясняя нѣкоторыми особенностями самой натуры «отщепенца» иногда довольно длительныя противорѣчія между характеромъ его существованія и тономъ его писаній въ данный моментъ.

Валлэсъ былъ сыномъ народа, потомкомъ длиннаго ряда мужиковъ съ могучимъ организмомъ и неизношенными нервами, не боящимися ни боли, ни лишеній. Его всю жизнь тянуло къ физическому труду, и особенно сельскому труду,

такъ что даже его социализмъ проникался чувствительной струей,—вообще-то претившей его сильной и грубой натурѣ,—когда онъ говорилъ о деревнѣ и ея надрывающемся надъ работою населеніи. И этотъ сынъ народа былъ богато одаренъ природою, при чемъ его честолюбіе подсказывало ему, подсказывало настойчиво и громко, что онъ достоинъ лучшей участи. Между тѣмъ, судьба обрекала его на жалкое прозябаніе въ рамкахъ педагогической карьеры, и при томъ на низшихъ и среднихъ ступеняхъ учительской лѣстницы, на манеръ его отца, пасмурная жизнь котораго показывала ему, словно въ магическомъ зеркалѣ, его собственное сѣрое и мизерное существованіе. Отсюда та ненависть, которая рано созрѣла въ душѣ Жюла Валлэса по отношенію къ счастливымъ міра сего, ко всѣмъ этимъ празднымъ тунеядцамъ, которымъ стоило лишь родиться, чтобы уже въ своей колыбели быть окруженными всѣми удобствами жизни. А съ самихъ представителей капитала и владѣнія эта ненависть пореходила и на весь современный строй, основанный на противоположности интересовъ привилегированнаго меньшинства и трудящихся массъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Валлэсъ въ теченіе десяти лѣтъ, проведенныхъ имъ въ голодовкѣ, лишеніяхъ и оскорбленіяхъ достоинства, могъ не разъ встрѣтить среди богемъ, въ кругу которыхъ онъ вращался, болѣе или менѣе такихъ же, какъ самъ онъ, высокоталантливыхъ парій и пасынковъ современнаго общества, задавленныхъ неудачами и общимъ гнетомъ глубоко несправедливаго строя. Его злоба противъ этого склада вещей изъ личной превращалась поэтому, если можно такъ выразиться, въ альтруистическую, укрѣплялась и обострялась сознаніемъ солидарности со всѣми отщепенцами.

Политическія условія тогдашней Франціи оттачивали въ свою очередь еще болѣе жало злобы, которою Валлэсъ пламенѣлъ къ окружавшему обществу. Особенно тяжелыми годами его существованія было первое десятилѣтіе Второй имперіи, когда торжествующій цезаризмъ нахально издѣвался надъ всѣмъ, что было честнаго, великаго и благороднаго въ націи, когда реакція повсюду справляла свои оргіи, и когда просто

честному и независимому человѣку, не говоря уже о принципиальныхъ врагахъ Имперіи, не было житья среди запуганной и развращенной націи. Сколько низостей надо было сдѣлать, сколько расточить лести, въ какія сдѣлки съ совѣстью надо было вступать, чтобы не только составить себѣ положеніе, но отстоять голое право на существованіе! Отсюда у Валлэса, рядомъ съ ненавистью соціальнаго характера, обращенною на весь современный строй, лютая политическая злоба противъ императорскаго деспотизма и вообще такъ называемыхъ «сильныхъ правительствъ», подавляющихъ свободу личности и инициативу общества.

Болѣе десяти лѣтъ Валлэсъ провелъ, страдая этою, какъ выражаются французы, «вогнанною внутрь» (*rentré*) болѣзнию, этою двоякою соціально-политическою злобою. И вотъ, когда въ началѣ 60-хъ годовъ ему удалось, наконецъ, благодаря мощному литературному таланту, найти себѣ трибуну въ буржуазной прессѣ, его желчный пузырь прорвался, и изъ-подъ его пера стали выходить статьи, проникнутыя такою силою и искренностью, что сразу же заинтересованные ими читатели не могли себѣ отдать отчетъ, чѣмъ они больше увлечены: искусствомъ ли писателя, или выстраданной убѣжденностью стовшаго за нимъ человѣка. Литературный талантъ, несомнѣнно, трепеталъ въ каждой строкѣ этихъ писаній, и талантъ большой. Самая утрированность нѣкоторыхъ сравненій, которою бичуемый Валлэсомъ романтизмъ à la Hugo словно мстилъ своему отрицателю, равно какъ обиліе чисто народныхъ и даже вульгарныхъ выраженій не портили общаго впечатлѣнія отъ этой живой, яркой, необыкновенно просто построенной, но, главное, страстной и желчной рѣчи. Желчь—выдающаяся черта произведеній Валлэса, у котораго онъ нерѣдко доходитъ до степени тяжелой злобы, а порою до положительнаго бѣшенства, но бѣшенства, не отнимающаго у писателя чувства самообладанія, а, наоборотъ, придающаго выпадамъ его пера особенно колючій, свистящій характеръ. Самый юморъ Валлэса,—а юморъ чувствуется на каждой страницѣ писаній отщепенца,—основанъ на безпощадномъ изобли-

ченіи, на жгучемъ издѣвательствѣ надъ пошлыми, порою даже просто смѣшными сторонами людей и явленій.

Это всего лучше ощущается, когда сравниваешь Валлэса съ родственнымъ ему въ извѣстномъ отношеніи Рошфоромъ. И у Рошфора (я говорю, главнымъ образомъ, о прежнемъ Рошфорѣ) юморъ кипитъ зачастую сатирическимъ негодованіемъ, порождающимъ свирѣпую «блягу» или колючій каламбуръ. Но у этого «принца каламбура» всплываетъ сплошь и рядомъ простая безобидная острота, которая срывается у него съ кончика пера помимо всякой тенденціи, безъ всякой цѣли, а просто потому, что памфлетисту она показалась смѣшною сама по себѣ, и у него возникло почти дѣтское желаніе стряхнуть ее на бумагу. Рошфоръ, выражаясь фигурально, когда выступаетъ на путь сатиры, можетъ тутъ нерѣдко оставлять свой обличительный бичъ, чтобы тутъ же наклониться и сорвать на краю дороги цвѣтокъ невиннаго юмора, а порою сдѣлать нѣсколько шаговъ и совсѣмъ въ сторону.

Валлэсъ и такой цвѣтокъ готовъ сейчасъ же превратить въ бичъ. Безобидный каламбуръ не по душѣ его годами озлоблявшейся личности. Самая невинная шутка вызываетъ у него черезчуръ богатую ассоціацію тяжелыхъ идей и чувствъ, чтобы онъ могъ заниматься «искусствомъ для искусства» каламбура. Въ такихъ случаяхъ онъ, говоря любимымъ выраженіемъ французовъ, отступаетъ лишь для того, чтобы лучше прыгнуть. Начавъ, повидимому, съ простой шутки, онъ скоро вскипаетъ гнѣвомъ или презрѣніемъ и быстро, быстро гонитъ впередъ и развиваетъ внезапно родившуюся въ его головѣ смѣшную мысль и доводитъ ее до такой крайности, до такой односторонней выпуклости, что весь юморъ его начинается отливаться горькой-прегорькой желчью.

Не надо, конечно, думать, что этой горечью и озлобленіемъ и исчерпывается весь Валлэсъ. Когда онъ говоритъ о страдающихъ, объ угнетенныхъ, о простомъ народѣ, о героическомъ революціонерѣ, объ оскорбляемой женщинѣ, объ истязаемомъ ребенкѣ, перо его проникнуто неподдѣльнымъ чувствомъ, въ которомъ развѣ слегка мелькнетъ риторика,—дочь

его «классического» воспитанія. Въ этомъ смыслѣ онъ, несомнѣнно, превосходитъ Рошфора, который гораздо суше его, когда дѣло идетъ объ аффективномъ отношеніи къ людямъ и событіямъ. Здѣсь, какъ это ни странно можетъ показаться на первый взглядъ иному читателю, Валлэсъ обнаруживаетъ даже извѣстную сентиментальность, совершенно чуждую «красному маркизу», Анри-де-Рошфору-Люсэ. Не слѣдуетъ забывать, что народъ далеко не лишенъ своеобразной сентиментальности. И какъ истый сынъ народа, Валлэсъ обладаетъ этой чертой, тогда какъ Рошфоръ напоминаетъ неспособностью къ сильной эмоціи привилегированныхъ остроумцевъ XVIII-го вѣка вплоть до гениальныхъ умовъ этой категоріи, въ родѣ Вольтера.

Разъ уже рѣчь зашла о сравненіи Валлэса и Рошфора, то придется замѣтить, что Валлэсъ, не написавшій и половины «романовъ», написанныхъ знаменитымъ памфлетистомъ, на самомъ-то дѣлѣ въ гораздо большей степени обладаетъ собственно беллетристическимъ талантомъ, чѣмъ Рошфоръ. По силѣ художественнаго изображенія физическихъ и умственныхъ свойствъ той или другой личности, Валлэса приходится поставить очень высоко. Нѣкоторые изъ нарисованныхъ имъ въ автобіографіи портретовъ отличаются такою рельефностью, что положительно выступаютъ со страницъ книги, какъ живые, передъ читателемъ. И если восторженные поклонники Бальзака восхищаются тѣлесною рельефностью героевъ великаго автора «Человѣческой комедіи», то Валлэсъ умѣлъ воспроизвести характерныя черты нѣкоторыхъ знакомыхъ ему личностей съ выпуклостью, приближающей ихъ къ настоящимъ художественнымъ типамъ.

Теперь мнѣ хотѣлось бы подкрѣпить однимъ-двумя конкретными примѣрами, цитируя самаго Валлэса, тѣ нѣсколько общіи разсужденія, которыя я высказалъ о немъ выше.

Вотъ образчики его свирѣпаго, подхлестывающаго самого себя юмора. Жакъ Вэнтрассъ описываетъ въ «Ребенкѣ», какъ мать поощряла его поведение при помощи копилки:

— «Мама! Мнѣ больно.

— Это глисты, дитя мое!

— Я чувствую, что мнѣ больно.

— Нѣженка, одно слово! Вотъ если бы у тебя было десять тысячъ ренты!.. А болитъ животъ, сдѣлай, какъ дѣлывалъ мой отецъ: перекувыркнись черезъ голову на полу!

«Деньги! рента!

«Мнѣ общаются, какъ и всѣмъ мальчикамъ, награды, большое мѣдное су, если я буду умникомъ, а всякій разъ, когда я первымъ въ классѣ, серебряную монетку. Ну, и что же, даютъ мнѣ ее? О, нѣтъ, моя мать слишкомъ для этого любить меня.

«Но она не лишала меня денегъ, чтобы обогатить себя.

«О, нѣтъ! десять су отнюдь не возвращались въ семейный обиходъ,—они ложились на дно копилки, горлышко которой смѣялось мнѣ прямо въ лицо.

— Это вѣдь для тебя,—говорила мать, показывая мнѣ монету прежде, чѣмъ пропихнуть ее въ щель.

«Я никогда не видалъ ея больше.

— Это,—прибавляла она,—для того, чтобы нанять за тебя рекрута.

«И вотъ этотъ-то замѣститель, спрятанный въ копилкѣ, и поглощаетъ всѣ серебряныя монетки и большія мѣдныя су, которыя другіе мои товарищи тратятъ по воскреснымъ и ярмарочнымъ днямъ на балаганы, конфетныя сигары и мѣдныя пушечки.

«Всегда благоразумная, давая мнѣ уроки безъ всякаго педантизма, моя мать, которая шла за вѣкомъ, внушала мнѣ, такимъ образомъ, ненависть къ *постояннымъ арміямъ* и заставляла меня задумываться насчетъ «налога кровью». Иногда я возражалъ и указывалъ на товарищей, издерживавшихъ свои деньги вмѣсто того, чтобы сберегать ихъ для рекрута.

— Вотъ видишь ли, они, безъ сомнѣнія, калѣки!

«Она даже произносила грустныя и сочувственныя слова по адресу этихъ бѣдныхъ дѣтей, которыя хорошо дѣлали, что утѣшали себя, тратя деньги, они,—несчастненькія, искривленныя и сгорбленныя небомъ такъ искусно, что и не замѣтишь этого...

«А я, неблагодарный и недовѣрчивый, сгорая желаніемъ покататься на карусели, я часто сожалѣлъ, что не былъ горбатымъ, и молилъ Бога наградить меня какимъ-нибудь недугомъ, который я скрою подъ рубашкой и который, спасая меня отъ рекрутчины, дастъ мнѣ право брать то, что откладываютъ, и не совать ничего больше въ эту проклятую копилку» ¹⁾).

А вотъ уже прямо жестокія страницы, которыя авторъ посвящаетъ своей матери; и бичъ этого юмора обрушивается на нее какъ разъ въ ту изображаемую Валлэсомъ минуту ея жизни, когда мать, привыкшая къ битью мальчика, вдругъ прерываетъ эту привычку, начавъ подстерегать своего мужа, ухаживающаго за красивой дамой:

«Вдругъ жизнь сразу перемѣняется.

«До сихъ поръ я былъ барабаномъ, на которомъ мать выбивала *тра-та-та!* Она испробовала на мнѣ всевозможнаго сорта лупки и примѣряла ко мнѣ всякаго рода орудія, она обрабатывала меня во всѣхъ смыслахъ, и щипала, и царапала, и нахлопывала, и насаживала, и била по щекамъ, и чесала, и дубила, не успѣвъ сдѣлать меня ни идиотомъ, ни калѣкой, ни горбуномъ, ни кривоножкой и не выростивъ ни луку въ моемъ желудкѣ, ни овечьей шерсти на спинѣ — и это послѣ столькихъ проглоченныхъ мною съ отвращеніемъ бараньихъ ногъ!

«Но вотъ въ извѣстный моментъ ея нѣжность удаляется отъ меня. Ея заботливость слабѣетъ.

«Прежде у насъ только и слышно было, что *бацъ! трахъ! вотъ тебѣ!* Меня называли бандитомъ, «преклятымъ» негодеемъ. Мать говорила «преклятый» вмѣсто «проклятый». Она говорила такъ же «идѣтъ» вмѣсто «идиотъ». (Я приблизительно воспроизвожу по-русски непереводимыя искаженія французскаго языка въ устахъ матери героя. Н. К.).

«Цѣлыхъ тринадцать лѣтъ я не могъ остаться пяти ми-

нута съ ней, да, всего пяти минутъ, чтобы не довести ея нѣжной любви ко мнѣ до крайности, до пароксизма.

«Что же случилось съ этимъ движеніемъ, этимъ шумомъ, этой постоянной раздачей пощечинъ?

«Я не особенно возмущался, когда меня называли бандитомъ, негодеемъ: я привыкъ къ этому — мнѣ даже это льстило нѣсколько.

«Бандитъ! — да вѣдь это какъ въ романѣ съ картинками. А потомъ я хорошо чувствовалъ, что моей матери доставляло удовольствіе дѣлать мнѣ больно; что она нуждалась въ движеніи и могла предаваться даровой гимнастикѣ, не ходя въ спеціальныя залы...

«...И вотъ, я живу въ теченіе нѣкотораго времени, не получая ничего освѣжительнаго или горячительнаго, живу, какъ снопъ, который гниетъ въ углу, вмѣсто того, чтобы танцовать подъ ударами цѣпа, живу, какъ гусь, котораго прибили лапами къ доскѣ и который пухнетъ передъ печью.

«Мнѣ не зачѣмъ больше подниматься и идти, какъ обреченная на удары цѣль, къ матери; я могу сидѣть все время.

«Эта забастовка беспокоитъ меня.

«Конечно, сидѣть спокойно это не дурно. Но когда возвратятся снова къ старымъ привычкамъ, когда снова пробьетъ часъ кнута, какъ мнѣ быть тогда? О, меня погубятъ сладости Капуи: я потеряю панцырь привычки, ловкость гимнаста, прочность битой и перебитой кожи!

«Но что же, наконецъ, происходитъ?

«Я врядъ ли что понимаю, но мнѣ кажется, что г-жа Бриньолэнъ кой при чемъ въ этой мрачной печали нашего дома, въ блѣдномъ гнѣвѣ матери.

«Моя мать проводитъ длинные вечера, не говоря ни слова, съ устремленными въ одну точку глазами и сжатыми губами. Она прячется за стеклами окна и поднимаетъ занавѣску, она словно стережетъ добычу» ¹⁾).

Я могъ бы продолжать цитаты этого рода, дать нѣсколько образчиковъ менѣе свирѣпаго юмора. Я могъ бы, напримѣръ,

¹⁾ Jules Vallès, *Jacques Vingtras. L'Enfant*; Парижъ, изд. 1902, стр. 129—131.

¹⁾ Ibid., стр. 189—191.

передать исторію житья-бытья одного пріятеля Валлеса въ его гостепріимной мансардѣ, которая была такъ мала, что длинный-предлинный гость, ложась на ночь спать, принужденъ былъ или высовывать голову черезъ форточку на крышу, или же протягивать ноги въ отворенную дверь на лѣстницу. Или я могъ бы разсказать со словъ Валлеса препирательства между педагогами въ дешевомъ ресторанѣ, по поводу красоты цитатъ изъ знаменитыхъ писателей въ начавшей выходить энциклопедіи, между тѣмъ какъ присутствующій при этихъ диспутахъ «баккалавръ», Валлесъ, внутренне помираетъ со смѣху, ибо онъ самъ какъ разъ и сочиняетъ эти цитаты и лишь приписываетъ ихъ классикамъ французскаго языка, чтобы поскорѣе написать большее число строкъ для упомянутаго энциклопедическаго словаря и получить нѣсколько лишнихъ су съ жаднаго издателя. Надо сказать, что произведенія Валлеса всѣ брызжутъ остроуміемъ, и въ частностяхъ и въ общемъ ансамблѣ, такъ что испытываешь лишь затрудненіе въ выборѣ изъ этого богатаго запаса ѣдкихъ каламбуровъ и жестокихъ выпадовъ саркастическаго пера. Придется ограничиться въ этомъ смыслѣ вышеприведеннымъ. Зато я тороплюсь дать читателю цитату изъ Валлеса, гдѣ онъ является не только желчнымъ юмористомъ и свирѣпымъ остроумцемъ, но и недюжиннымъ художникомъ, перо котораго надѣляетъ изображаемыя имъ лица интенсивною жизнью и иллюзіей рельефной тѣлесности.

Дѣло идетъ о политическомъ свиданіи Валлеса, тогда уже виднаго дѣятеля крайняго лагеря, съ депутатами буржуазной оппозиціи, чтобы добиться отъ нихъ рѣшительнаго шага. Делегация идетъ отъ одного парижскаго депутата къ другому и повсюду наталкивается на отказъ. Вотъ, — съ нѣкоторыми сокращеніями — разсказъ объ этой одиссеѣ, позволяющей Валлесу нарисовать типы лидеровъ буржуазіи.

— «Къ Ферри! Вы изъ его округа, Вэнтрасъ. Вы и будете говорить съ нимъ.

«Обширный парадный ходъ, торжественныя площадки, молчаливый и серьезный домъ.

«Я поднимаюсь этажъ за этажомъ, волнуясь, словно бы всходилъ по ступенькамъ эшафота.

— Здѣсь...

«На звонокъ выходитъ горничная.

— Г. Жюль Ферри?

— Дома...

«...Хозяинъ появляется, въ пиджачкѣ и съ длиннымъ-длиннымъ носомъ.

— Что вамъ угодно, господа?—говоритъ онъ, обращая на насъ мутный, поистинѣ мутный взоръ.

«Его голосъ слегка дрожитъ, дрожатъ и пальцы.

«Минута молчанія. Говорить—такъ говорить!

— Вы знаете, м. г., письмо г. де-Кератри, который предлагаетъ отвѣчать на декретъ отсрочки палаты массовымъ появленіемъ депутатовъ передъ Бурбонскимъ дворцомъ въ день и и часъ, когда, по закону, должна была бы открыться сессія. Народное собраніе рѣшило заставить представителей Парижа высказаться категорически по этому поводу и поручило намъ требовать ихъ присутствія на собраніи, гдѣ народъ выразитъ свою волю... Вы придете?

«Руки все дрожатъ; человекъ, осанка и лицо котораго выражаютъ, однако, рѣшительность, повидимому сбить съ толку.

— Я не отказываюсь собственно. Но я долженъ посоветоваться со своими коллегами. Я сдѣлаю, что сдѣлаютъ они.

— Мы передадимъ ваши слова кому слѣдуетъ,—заявляю я тономъ революціоннаго секретаря въ дни сентябрьскихъ избіеній.

«Поклонились и вышли.

«А теперь на площадь Св. Магдалины.

— Г. Жюль Симонъ?

— Войдите, господа.

«Вотъ онъ, знаменитый чердакъ.

«Ну, о жилищѣ нельзя сказать ничего особеннаго. Конечно, это не крысоловка, но и не дворецъ подъ крышей.

«Ласковый-ласковый, вкрадчивый, съ кошачьими манерами патера, съ глазами горѣ, на подобіе Св. Терезы въ истери-

ческомъ припадкѣ, съ маслянымъ языкомъ и лоснящейся кожей, со ртомъ въ родѣ гузки рождественскаго гуся, онъ узнаетъ меня и подходитъ ко мнѣ, протягивая свои пухлые и влажные пальцы.

— Мой дорогой недавній соперникъ...

«Я заложилъ руки за спину и отодвинулся, предоставляя другимъ ставить вопросы господину...

«Какъ и Ферри, онъ отвѣчаетъ въ томъ родѣ, что, молъ, придетъ, если таково рѣшеніе депутатской группы».

Делегаты идутъ къ Тьеру. Здѣсь перо Валлеса становится прямо неподражаемымъ:

«...Невозможно отказать въ рукопожатіи веселому толстяку, съ бакенбардами изъ краснаго дерева, съ широкимъ животомъ и широкимъ смѣхомъ, который уже успѣлъ прежде, чѣмъ я могъ разжать свои клыки, просвистать мнѣ въ уши тонкимъ голосомъ:

— Ну, разноситель, какъ дѣла? А вы можете похвастаться, что ловко раскатали насъ въ «Улицѣ». Говорить нечего!

«И давай хлопать меня по тому, чтò у меня могло быть животомъ, спрашивая, чтò насъ занесло къ нему.

— Словомъ, чего же хочетъ, господа, народъ? Посылаетъ онъ васъ по мою голову? Вѣдь у меня есть слабость держаться за нее! Знаете... старая привычка носить ее на плечахъ.

«Хорошее расположеніе духа, веселье... Ротъ и сюртукъ нараспашку.

«У этого пальцы не дрожатъ, а барабанятъ по столу оставшейся въ памяти обрывокъ «Mère Godichon», и его голова вертится на жирномъ тѣлѣ пингвина съ лихорадочной быстротой птицы-мухи.

— Такъ пойду ли я на манифестацію 26-го числа? Э?

— Да, двое изъ вашихъ коллегъ уже общались.

— О, насчетъ этого мнѣ... наплевать!

— Значить, вы не придете?

— Ни за что въ жизни! Идти подвергаться опасности Тьеру, не зная, что еще за это нагорить? Вотъ такъ вздумали, милый мой!

«Онъ смѣется, и нельзя не смѣяться вмѣстѣ съ нимъ, потому что этотъ, по крайней мѣрѣ, не виляетъ.

— А если Белльвилль восторжествуетъ, сейчасъ же прибѣгу! Но чтобы самому поднимать его, самому играть въ Бруты, нѣтъ, дѣтки, на это я не иду! Ни къ чему не обязываюсь, ничего не обещаю. Ни съ эстолько!

«И онъ щелкаетъ пальцами по зубамъ.

— Вы, какъ видно, всѣ славные ребята и достаточно убѣжденный народъ, чтобы идти расколотить себѣ головушки. Передъ головошками этого рода я отвѣшиваю поклонъ, но свою прячу подальше!.. Да, кстати, разноситель! Вы мнѣ написали фразу: «Манюэль былъ герой, да только не былъ снова избранъ». Я ее не сказалъ, но думать такъ думаю... Ну, до свиданія! Честное слово, можно подумать, что вы только о томъ и помышляете, какъ бы умереть. Ну, а я держусь за жизнь,—таковы ужъ мои вкусы. Чортъ возьми, да это и понятно: вы изъ худыхъ, а я жирный!.. Осторожнѣй, здѣсь ступенька!.. Пойдите, если только вы влетите въ тюрьму, я принесу вамъ туда сигаръ и бургонскаго! И какого еще!..

«Онъ наклоняется надъ нами съ лѣстницы и аппетитно чмокаетъ, приближая всѣ пять пальцевъ ко рту» ¹⁾).

Я думаю, этой сцены достаточно, чтобы читатель могъ самъ убѣдиться, болѣе того—ощутить, съ какой живостью, съ какимъ чувствомъ реальности Валлесь изображалъ людей и событія. Достигая этой степени, описательный талантъ превращается въ истинное творчество. И Валлесь, котораго вкусы и чутье литературной правды гнали всегда въ сторону реализма, даже когда еще не выработалось теченія, извѣстнаго подъ именемъ «натурализма»,—Валлесь, говорю я, обнаруживалъ на иныхъ изъ своихъ страницъ огромное художественное дарованіе.

Я упомянулъ раньше еще объ одной чертѣ Валлеса: его чувствительности, или, если хотите, его сентиментальности, но сентиментальности во вкусѣ народа, выражающей серьезную

¹⁾ *L'Insurgé*; Парижъ, изд. 1904, стр. 121—126, passim.

аффективную сторону человѣка. Я приведу лишь слѣдующую страницу изъ исторіи страданій нѣкой маленькой дѣвочки, которую забилъ до смерти ея отецъ, злой и бездѣльный тиранъ, примѣнявшій, какъ онъ говорилъ, «принципы холоднаго разума» — онъ былъ учителемъ логики въ гимназій — къ воспитанію своихъ дѣтей.

«...О, эта маленькая Луизетта, которую били и которая просила прошенія, складывая свои ручки, падая на колѣни, катаясь по полу отъ ужаса передъ своимъ отцомъ, который наносилъ ей удары... еще и еще.

— Больно, ой, больно! Папа, папочка!

— ...Прости, прости...

«До меня донесся еще ударъ; и, наконецъ, я не слышалъ ничего болѣе, кромѣ подавленного шума, ничего, кромѣ хрипа.

«Однажды я подумалъ, что ея горлышко порвалось, что ея бѣдная маленькая грудь треснула, и я вошелъ въ ихъ домъ.

«Она лежала на полу, съ безкровнымъ личикомъ и рыданіемъ, перехваченнымъ на дорогѣ конвульсіями ужаса, передъ своимъ холоднымъ, поблѣднѣвшимъ отцомъ, который только потому и остановился, что побоялся на этотъ разъ совсѣмъ прикончить ее...

«...И ее все-таки убили. Она умерла отъ горя въ десять лѣтъ...

«Отъ горя!.. Какъ взрослый человѣкъ, котораго убиваетъ скорбь.

«А также отъ боли, которую ей причиняли удары.

«О, какъ ей дѣлали больно! А она тщетно молила о пощадѣ.

«Какъ только ея отецъ приближался къ ней, ея маленькій умъ начиналъ трепетать въ ея ангельской головкѣ...

«И его не гильотинировали, этого отца! Къ нему не приложили закона кроваваго возмездія, къ этому убійцѣ своего ребенка, и его не казнили, этого подлаго негодяя, его не зарыли живьемъ рядомъ съ трупомъ маленькой дѣвочки!

— Перестанешь ты у меня плакать, — кричалъ онъ ей, — потому что боялся, какъ бы не услышали сосѣди, и онъ билъ

ее головой о стѣну, что удваивало ея ужасъ и заставляло ее плакать еще больше.

«Она была миленькая, розовая, веселая, счастливая, когда она пріѣхала въ семью, протягивая свои маленькія ручки, даря всѣхъ своей дѣтской улыбкой.

«Нѣсколько времени спустя румянецъ уже сбѣжалъ съ ея щекъ, и когда она слышала шаги возвращающагося отца, она начинала дрожать, какъ дрожитъ собака, которую бьютъ.

«Какъ я цѣловалъ ее, глядя ея полная и тепленькія щечки на станціи дилижансовъ, куда мы провожали ея отца, г. Бергуньяра, чтобы принять ее на руки, какъ букетъ цвѣтовъ!

«Въ послѣднее время (къ счастью, она не долго дожидалась его!) она была словно восковая; она знала, — я видѣлъ это, — что хоть она и маленькая, но должна скоро умереть, — ея улыбка напоминала теперь гримаску. Она казалась такой старой, Луизетта, когда умерла десяти лѣтъ, — умерла отъ горя, говорю вамъ это.

«Моя мать замѣтила мою скорбь въ день похоронъ.

— Небось, ты не плакалъ бы столько, еслибъ я умерла.

«...А я и не слушаю, что они мнѣ говорятъ, я думаю о мертвой дѣвочкѣ, истязанія которой они видѣли, подобно мнѣ и которую они допустили бить, вмѣсто того, чтобы помѣшать Бергуньяру мучить ее; и они же говорили ей, что она не должна быть злой, не должна причинять огорченій своему папѣ!

«Луизетта злая? Эта крошка съ ея улыбкой, ея рученками...

«Словно вода заливаєтъ мои глаза, и я цѣлую самъ не знаю что, кажется, кончикъ платка, который я взялъ съ шеи убитой малютки» ¹⁾).

IV.

Познакомивши читателей съ жизнью и съ литературными особенностями Валлеса, я въ заключеніе попытаюсь охарактеризовать міровоззрѣніе этого революціонера. Валлэсъ не былъ

¹⁾ L'Enfant, стр. 280—283, *passim*.

теоретикомъ; его умъ былъ далекъ отъ абстрактнаго мышленія; да его и не влекло въ сторону отвлеченностей,—вотъ чтò придется прежде всего сказать, говоря о міровоззрѣніи отщепенца. Поэтому прилагать къ нему мѣрку мыслителя или вообще логическаго ума значитъ совершать крупную ошибку, обнаруживать непониманіе типа этой личности. Валлэсъ обладалъ живымъ, практическимъ умомъ, опять-таки нѣсколько во вкусъ народа, который еще Прудономъ былъ названъ «по преимуществу практикомъ» (*éminemment pratique*). Этотъ любящій конкретное умъ былъ, къ сожалѣнію, испорченъ протившимъ ему «классическимъ» воспитаніемъ, мертвенныя и риторскія начала котораго вошли противъ воли Валлэса въ его сознаніе, благодаря воспріимчивости, памяти и вообще даровитости этой богатой, хотя и неуравновѣшенной натуры.

Вотъ какимъ инструментомъ пришлось вырабатывать Валлэсу свое міровоззрѣніе. То былъ отнюдь не теоретизирующий, но практическій умъ, который, однако, былъ перегнутъ не въ сторону своего естественнаго уклона схоластической *фразеоломаніей* традиціонной средней школы. Не мудрено, что общіе взгляды «отщепенца» слагались изъ элементовъ, доставляемыхъ ему непосредственными конкретными впечатлѣніями отъ внѣшняго міра и живыхъ людей, но искаженныхъ привнесомъ фразъ и готовыхъ формулъ схоластической литературщины. Недостатокъ обобщающей способности заставлялъ Валлэса, при переработкѣ и осмысливаніи жизненныхъ впечатлѣній, прибѣгать, къ сожалѣнію черезчуръ часто, къ памяти и внѣшней ассимиляціи чужихъ, обращавшихся въ обществѣ готовыхъ взглядовъ. Онъ могъ бы при этомъ остановиться на реакціонной доктринѣ, какъ могъ остановиться на буржуазномъ либерализмѣ, какъ могъ остановиться на социалистическомъ міровоззрѣніи, на міровоззрѣніи труда. Перевѣсь послѣднему въ сознаніи Валлэса дали личныя условія существованія «отщепенца», которыя въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ снабдили его мятущуюся душу громаднымъ запасомъ конкретныхъ впечатлѣній страданія и нищеты. Валлэсъ рано сталъ социалистомъ. И если въ его социализмъ вдумывающійся чловѣкъ

найдетъ не мало упомянутыхъ выше элементовъ риторики и школьничества, то отъ голой декламации на социальныя темы Валлэса спасъ горькій опытъ его личной жизни и не менѣе горькое наблюденіе жизни его травимыхъ судьбою и правительствомъ пріятелей и вообще существованія трудящихся и голодающихъ массъ.

Наиболѣе глубокое впечатлѣніе на Валлэса произвелъ социализмъ Прудона. Объ этомъ говорить и самъ Валлэсъ. Къ такому же выводу необходимо придетъ и всякій знакомый съ социалистическими доктринами читатель. Сильная сторона Прудона заключалась въ его критикѣ: какъ создатель положительной доктрины, знаменитый самоучка часто самъ противорѣчитъ себѣ, или же вырождается въ наивнаго прожектера и социального утописта средней руки. Критическая сторона ученія Прудона наиболѣе рельефно отражается и на произведеніяхъ Валлэса: въ отрицаніи современнаго общества «отщепенецъ» стоитъ на сравнительно твердой почвѣ; и его горькій конкретный опытъ въ связи съ его искренней ненавистью къ настоящему, глубоко несправедливому строю придаетъ прочность и мѣткость его ударамъ противъ социально-экономической и политической организаціи нашихъ дней. Во имя этого отрицанія онъ придаетъ такое значеніе революціонной самодѣятельности массъ: къ вожакамъ онъ сохраняетъ почти инстинктивное недовѣріе народа, — когда послѣдній не увлеченъ, конечно, какимъ-нибудь массовымъ аффектомъ. Во имя этого же отрицанія онъ рѣзко относится къ буржуазной, организаторской сторонѣ Великой революціи, сторонѣ, которая воплощалась въ дѣятельности авторитетныхъ якобинцевъ и должна была вести къ упроченію основъ современнаго капиталистическаго общества. Тутъ сказывается не только вліяніе Прудона, жестоко нападавшаго, какъ извѣстно, на Робеспьера и другихъ служителей централизованнаго государства. Валлэсъ искренно, кровно ненавидитъ игру той гигантской махины нашихъ дней, которая называется современнымъ правительствомъ и защищаетъ интересы имущихъ противъ революціонныхъ попытокъ неимущихъ. Въ дни юности онъ призывалъ рабочихъ

на баррикады для защиты республики против императорского цезаризма. Зрѣлымъ человѣкомъ Валлэсъ не отдѣлялъ политической борьбы противъ Имперіи отъ соціальной борьбы противъ привилегированныхъ классовъ, и въ лучшие моменты своей жизни вмѣстѣ съ социалистами Интернаціонала толкалъ рабочихъ обособляться отъ буржуазныхъ республиканцевъ и развѣрнуть свое общественное знамя, знамя эксплуатируемыхъ и угнетаемыхъ.

Если вы перейдете теперь къ положительной сторонѣ міровоззрѣнія Валлэса, то вы поразитесь бѣдностью и неясностью его взглядовъ. Основная идея у него здѣсь, повидимому, такая: дайте совершиться народной революціи; дайте установиться «демократической и соціальной республикѣ» — и все «образуется». Но начните вы немного углублять эти взгляды, и вы сейчасъ же наткнетесь на рядъ серьезныхъ недоразумѣній, какъ по отношенію къ движущимъ силамъ соціального переворота, такъ и по отношенію къ формамъ, которыя долженъ принять этотъ переворотъ. Въ качествѣ ученика Прудона онъ не разъ говоритъ, что онъ «социалистъ-индивидуалистъ», а не «коммунистъ». Но чтѣ скрывается за этими словами, понять довольно трудно. Повидимому, Валлэсу этотъ индивидуалистическій социализмъ представлялся нѣсколько на манеръ Прудона, въ видѣ перехода орудій производства въ руки трудящихся, но преимущественно на началахъ частнаго пользованія, недостатки котораго умѣрялись бы лишь добровольной ассоціаціей и «мутуализмомъ» интересовъ производителей.

Всего темнѣе у Валлэса отношеніе между двумя великими отдѣлами трудящагося большинства: рабочими и крестьянами. Иногда у него вырываются фразы, на основаніи которыхъ можно заключить, что крестьяне будутъ продолжать свой образъ жизни мелкаго собственника, только очищенный отъ тѣхъ шлаковъ, что налипли на него при режимѣ крупнаго привилегированнаго владѣнія; а рабочіе — свой, сдѣлавшись членами всевозможныхъ ассоціацій. Иногда, наоборотъ, Валлэсъ представляетъ себѣ, повидимому, планъ гораздо болѣе коренного переворота въ духѣ наиболѣе лѣвыхъ элементовъ Интер-

націонала, проповѣдовавшихъ коммунистическій, или, какъ вскорѣ стало принято выражаться, коллективистическій строй. Повторяю, у Валлэса можно найти мѣста и въ томъ и въ другомъ родѣ. Въ общемъ, стройное социалистическое міровоззрѣніе было, если можно такъ сказать, одной изъ послѣднихъ заботъ «отщепенца».

Была, впрочемъ, одна сторона его взглядовъ, которая по своей опредѣленности не оставляла желать многого: это энергичное подчеркиваніе возможно полной слободы въ отношеніяхъ человѣка къ человѣку и отрицаніе всякаго авторитета въ этой сферѣ. Лучшія страницы, то трогательныя, то негодующія, написаны Валлэсомъ въ защиту свободной любви, угнетаемой женщины, истязуемаго ребенка. Здѣсь все мучительное личное прошлое возставало передъ Валлэсомъ и подталкивало могучее перо «отщепенца» на беспощадную борьбу съ семейнымъ и общественнымъ гнетомъ.

Наконецъ, въ тѣсной связи съ этимъ отрицаніемъ земныхъ авторитетовъ находилось у Валлэса отрицаніе авторитета заоблачнаго. Валлэсъ былъ заклятымъ атеистомъ, и его бунтующая природа видѣла въ «реабилитаціи плоти» (выраженіе, принадлежащее еще Сэнь-Симону) одно изъ условій раскрѣпощенія человѣка отъ ига спиритаулистическихъ предразсудковъ и согласованія жизни съ матеріалистическимъ міровоззрѣніемъ. Валлэсъ всю жизнь свою боролся съ религіей, особенно съ ея католической формой. И его похороны, которые согласно волѣ покойнаго, неоднократно выраженной въ разговорѣ съ друзьями, обошлись безъ символовъ какой бы то ни было религіи, были торжествомъ свободной, и при томъ не буржуазной, а социалистической свободной мысли.

Красота на служеніи человечеству ¹⁾.

(Жизнь и сочинения Вилліама Морриса).

I.

Въ граціозномъ и плѣнительно-наивномъ предисловіи къ «Земному раю» Вилліамъ Моррисъ выражалъ свое міровоззрѣніе въ слѣдующихъ яркихъ словахъ:

«Я не въ силахъ пѣть о небѣ и адѣ, я не могу облегчить бремя вашихъ страховъ или сдѣлать для васъ быстро-приходящую смерть незначительной вещью, или возвратить вамъ наслажденіе былыхъ лѣтъ; вы не забудете о вашихъ слезахъ изъ-за моихъ словъ, не станете питать себя надеждой, какія бы рѣчи ни говорилъ вамъ я,—я, праздничный пѣвецъ досужаго дня. Тяжелыя тревоги, ошеломляющія заботы, которыя гнетутъ насъ, живущихъ на землѣ и зарабатывающихъ свой хлѣбъ,—ихъ не въ силахъ устранить эти праздные стихи; такъ дайте же мнѣ воспѣть имена, остающіяся въ памяти людей, ибо, не принадлежа болѣе людямъ, они никогда не умрутъ... Мечтатель, утопающій въ грезахъ, рожденный не въ

свое время, зачѣмъ я стану стараться выпрямлять то, что криво отъ природы? Пусть будетъ довольно съ меня и того, что моя журчащая риема бьется легкимъ крыломъ о дверь изъ слоновой кости и рассказываетъ не совсѣмъ скучныя сказки тѣмъ, которые пребываютъ въ этой сонной странѣ, убаюканные пѣвцомъ досужаго дня... Таковъ и этотъ Земной Рай, если только вы будете читать его безъ задней мысли и простите мнѣ, мнѣ, который старается построить призрачный островъ счастья среди прибоя стального океана, гдѣ суждено колыхаться на бурныхъ волнахъ всѣмъ человѣческимъ сердцамъ: лишь мощные люди убьютъ яростныхъ морскихъ чудовищъ, а не я, я, бѣдный пѣвецъ досужаго дня» ¹⁾.

А вотъ что тотъ же самый Моррисъ воспѣваетъ въ своей знаменитой пѣснѣ о «Грядущемъ Днѣ»:

«Подойдите сюда, молодые товарищи, и послушайте сказаніе о чудныхъ дняхъ грядущаго, когда всѣмъ будетъ лучше, чѣмъ теперь хорошо. И будетъ говорить въ томъ сказаніи объ одной странѣ, о землѣ среди океана, и будутъ люди называть ее Англіей въ эти грядущіе дни. Тогда болѣе, чѣмъ у одного изъ тысячи, будетъ надежда на завтрашній день, будетъ хоть какая-нибудь радость у стараго очага. Ибо тогда,—о, не смѣйтесь, но прислушайтесь къ странной моей сказкѣ,—тогда всѣ люди въ Англіи будутъ имѣть лучшее помѣщеніе, чѣмъ свиньи. Тогда человѣкъ будетъ работать, будетъ сознавать себя и наслаждаться дѣлами рукъ своихъ и не будетъ болѣе приходить вечеромъ домой истомленнымъ и не держась на ногахъ отъ усталости. Люди въ эти грядущія времена будутъ трудиться и не бояться ни отсутствія работы на завтрашній день, ни бродячаго возлѣ нихъ волка-голода. Да, истинно говорю вамъ, свершится и такое чудо, что никто не будетъ радоваться неудачѣ своего товарища, который хотѣлъ вырвать у него изъ рукъ работу. Ибо то, что заработаетъ трудящійся, будетъ дѣйствительно его, и половина не будетъ

¹⁾ «Современность». 1906, № 1 (мартъ).

¹⁾ William Morris, The Earthly Paradise. I. Spring. An Apology; Лондонъ, 1868.

пожинаться тѣмъ, кто не сѣялъ. О, странная, о, новая и чудесная справедливость! Но для кого же мы будемъ тогда зарабатывать? Для насъ самихъ, для каждого изъ нашихъ собратій, и ни одна рука не будетъ трудиться понапрасну. Тогда все *мое* и все *твое* будетъ *нашимъ*, и уже никто не будетъ больше жадно стремиться къ богатствамъ, которыя служатъ лишь для того, чтобы заковывать друга въ кандалы раба. Но какое же богатство останется тогда у насъ, когда никто не будетъ копить золото, чтобы покупать своего друга на рынкѣ и угнетать, и вмѣстѣ жалѣть продавагося? Какое богатство? Никакого! Развѣ вотъ этотъ красивый городъ и уютный домикъ на холмѣ, и привольныя пустоши, и красота лѣсовъ, и счастливыя поля, которыя мы будемъ обрабатывать! Или развѣ вотъ эти зданія, полныя старыхъ легендъ, и гробы мощныхъ мертвецовъ, и мудрые люди, открывающіе чудеса, и творческая голова поэта, и удивительная кисть художника, и дивный смычокъ виртуоза, и обширные хоры пѣвцовъ — всѣ тѣ, кто творитъ и кто знаетъ. И все это будетъ принадлежать намъ и всѣмъ людямъ, и всякій будетъ имѣть свою часть работы и свою часть жизненныхъ радостей въ тѣ дни, когда міръ дѣйствительно станетъ прекраснымъ... Почему же и чего же мы тогда ждемъ? Стоитъ только сказать три слова: «мы хотимъ этого» — и во что превращается нашъ врагъ, какъ не въ пустую страшную грезу, которая сейчасъ же слабѣетъ и блѣднѣетъ?.. Идемъ же, сомкнемъ ряды для битвы, въ которой одной никто изъ насъ не можетъ погибнуть, ибо тотъ, кто исчезаетъ и умираетъ, будетъ жить своими дѣяніями. Идемъ, отбросимъ вздорныя мысли, ибо мы знаемъ, что загорается заря, что наступаетъ день, и развѣваются наши знамена» ¹⁾.

Откиньте изящную форму, общую обоимъ стихотвореніямъ, и вы остановитесь въ недоумѣніи; неужели и тамъ, и здѣсь говорить одинъ и тотъ же человѣкъ? Тамъ поэтъ безотрадно смотрѣлъ на будничную жизнь людей, на ихъ слезы,

¹⁾ The Day is coming.

ихъ страданія, страхъ передъ смертью, необходимость зарабатывать хлѣбъ въ мучительныхъ заботахъ и тревогахъ. Онъ ярко и рельефно выдвигалъ свою фигуру грезяшаго мечтателя, который отказывается выпрямлять все, что криво — и въ самомъ человѣкѣ, и въ человѣческомъ обществѣ. «Праздный пѣвецъ досужаго дня» понималъ по-своему свою роль по отношенію къ этому обществу, которое какъ разъ и позволяло ему быть «празднымъ» и имѣть «досужіе дни». Вотъ я вижу его сидящимъ на какомъ-нибудь холмѣ фантастическаго «острова счастья» и бряцающимъ на золотой лирѣ. И крылатыя риѣмы срываются со струнъ его безпечной лиры и въ видѣ разноцвѣтныхъ колибри стучатся своими «легкими крыльями» въ двери и окна еще болѣе фантастическаго замка изъ слоновой кости, гдѣ царитъ богиня вѣчной красоты, и пытаются долетѣть до нея и принести къ ея прекраснымъ мраморнымъ ногамъ вздохи, любовь и птичье щебетанье поэта. А вокругъ пѣвца, куда ни броситъ онъ, опьяненный энтузіазмомъ, взоръ свой, разстилается гнѣвный «стального» цвѣта океанъ, — то жизненное море, которое мы, обыкновенные люди, такъ хорошо знаемъ, съ его бурями, подводными камнями и роковыми водоворотами. И въ то время, какъ всѣ мы, рядовые смертные, зачастую на простомъ плоту, безъ руля, компаса и пищи, пытаемся пристать къ спасительному, но далекому берегу, а вокругъ насъ снуютъ гигантскія чудища, — и левіафанъ братоубійственной войны, и алчная акула капитализма, — пѣвецъ зоветъ насъ на свой фантастическій островъ, къ своей чудной феѣ красоты, этой фатаморганѣ, которая воздвигаетъ призрачные куполы и пальмы своего Земного Рая какъ разъ тамъ, гдѣ волны свирѣпѣе, гдѣ грознѣе скалы.

Вдругъ поэтъ замѣчаетъ, что если бы мы даже хотѣли передъ смертью упиться гашишемъ его фантазіи, немногіе изъ насъ могутъ слышать его призывъ изъ-за рева океана, а большинство, налегая на весла, не имѣетъ даже времени поднять голову, чтобы увидѣть воздушные замки поэзіи. И вотъ онъ сходитъ съ облаковъ и братски присоединяется къ намъ, съ

трудомъ пролагающимъ себѣ путь къ твердой землѣ, садится съ нами у руля и паруса, и если снова раздается его пѣснь, то она ободряетъ наши усилія и указываетъ намъ путь къ реальному «Земному раю», а крылатыя риѣмы его поэзіи изъ щебечущихъ колибри превращаются въ убійственныя стрѣлы для чудищъ:

O ye, rich men, hear and tremble! for with words the sound is rife:
Once for you and death we laboured; changed henceforward is the strife.
We are men and we shall battle for the world of men and life.
And our host is marching on... ¹⁾,

т.-е. «Слушайте и трепещите, о, вы, богачи! Ибо воздухъ наполненъ грозными словами: нѣкогда мы работали для васъ и для смерти, отнынѣ борьба измѣнилась. Мы—люди и мы вступимъ въ бой за міръ людей и жизни. И нашъ отрядъ идетъ все впередъ, впередъ».

Вотъ между этими-то двумя противоположными міровоззрѣніями и двигалась въ своемъ постепенномъ развитіи цѣльная и яркая личность поэта,—говоря «развитіи», потому что первый томъ «Земного рая» появился въ 1868 году, а пѣснь о «Грядущемъ днѣ» относится къ 1884 г. Между тѣмъ, какъ большинство среднихъ и слабыхъ людей обнаруживаютъ склонность къ общественной безкорыстной дѣятельности лишь въ юношескомъ возрастѣ, а въ зрѣломъ усаживаются подъ смоковницу практическаго эгоизма безъ фразъ или фразистаго эгоизма «чистаго искусства», Моррисъ началъ съ пылкаго служенія эстетическому идеалу, чтобы уже затѣмъ проникнуться общественнымъ энтузіазмомъ и проникнуться, насколько не вредя красотѣ своихъ произведеній. Это гармоничное сочетаніе идеи и формы, прекраснаго и справедливаго, особенно привлекаетъ меня въ постепенно опредѣлившемся поэтѣ. И, сдается мнѣ, очеркъ его жизненной и литературной дѣятельности можетъ быть очень поучительнымъ именно теперь, когда рядомъ съ міровымъ стремленіемъ трудящихся къ

¹⁾ Изъ пѣсни «The March of the Workers». (Маршъ работниковъ).

истинно-человѣческому строю, въ буржуазной интеллигенціи зачастую обнаруживаются постыдныя реакціонныя и противообщественныя тенденціи въ разныхъ формахъ,—будетъ ли то визгливый пессимизмъ двухъаршиннаго генія, непонятаго «чернью», или фальшивый энтузіазмъ и кривлянье шамана «чистаго искусства», или же вполне ребяческая игра декадента въ пестрые камешки странныхъ словъ и безсвязныхъ фразъ.

Если читатель убѣдится, что можно быть и первокласснымъ художникомъ, и борцомъ за общественный идеалъ, если изъ этой несовершенной біографіи онъ вынесетъ чувство и гражданскаго удовлетворенія дѣятельностью Морриса-человѣка, и эстетическаго наслажденія произведеніями Морриса-поэта и декоратора,—цѣль моего этюда будетъ вполне достигнута.

II.

При жизни Вилліама Морриса еще не было его подробной біографіи. И даже первое время послѣ его смерти приходилось довольствоваться отрывочными очерками жизни, приложенными къ нѣкоторымъ изданіямъ его сочиненій, напр., предисловіемъ Френсиса Гюффера къ таухницевскому изданію «Избранныхъ поэмъ»; журнальными и газетными некрологами, которые были написаны у свѣжей могилы покойнаго его идейными друзьями, въ родѣ хотя бы статей Вальтера Крэна (въ «Progressive Review» и «Freedom»), дающаго общую характеристику Морриса; этюдомъ Эмера Валлэнса о Моррисѣ, какъ артистѣ и декораторѣ; подобнымъ же этюдомъ Герберта Горна (въ рождественскомъ номерѣ «Saturday Review» за 1896 г.), и т. д. Лишь въ 1897 г. уже упомянутый Валлэнсъ далъ большую біографію Морриса подъ заглавіемъ «Вилліамъ Моррисъ, его искусство, его произведенія и его общественная жизнь» ¹⁾. А въ 1899 г. вышла исчерпыва-

¹⁾ Aymer Vallance, William Morris, his Art, his Writings, and his Public Life; Лондонъ, 1897.

ющая во многихъ отношеніяхъ вопросъ работа Маккэля «Жизнь Вилліама Морриса»¹⁾). Въ предлагаемой читателю статьѣ, которая представляетъ собою обработку моего первоначальнаго, до сихъ поръ не напечатаннаго этюда о Моррисѣ, я пользовался сверхъ упомянутыхъ работъ (къ сожалѣнію, не находящихся въ данный моментъ въ моихъ рукахъ и утилизированныхъ лишь въ видѣ замѣтокъ, извлеченныхъ мною въ свое время изъ этихъ книгъ), еще кой-какими не безъинтересными свѣдѣніями, сообщенными мнѣ Спарлингомъ, зятемъ Морриса. Конструированіе же нѣкоторыхъ сторонъ богатой индивидуальности Морриса принадлежитъ лично мнѣ. Такова въ частности попытка установить переходные психологическіе моменты между Моррисомъ прерафаэлитомъ и рэскинианцемъ и Моррисомъ социалистомъ. Мнѣ было пріятно констатировать, что нѣкоторыя догадки, сдѣланныя мною за отсутствіемъ матеріала въ 1896 г., были подтверждены послѣдующими біографическими данными уже вполне положительнаго характера.

Вилліамъ (произносится по-англійски почти какъ Уильямъ) Моррисъ родился 24-го марта 1834 г. въ семьѣ богатаго купца изъ Сити, который проживалъ въ улицѣ Clay Street, въ мѣстечкѣ Уольсамсто (Walthamstow), бывшемъ въ то время простой деревней Эссекскаго графства, а нынѣ попавшемъ въ сферу притяженій гигантскаго Лондона и почти вполне превратившимся въ одинъ изъ сѣверныхъ пригородовъ его. Когда Вилліаму было 6 лѣтъ, родители его переселились въ близкое мѣстечко, носившее названіе Вудфордъ и соприкасавшееся своимъ паркомъ съ знаменитымъ Эппингскимъ лѣсомъ, который въ то время придавалъ еще всей сосѣдней странѣ характеръ средневѣковаго, почти первобытнаго пейзажа. Эта обстановка должна была оставить навсегда глубокіе слѣды въ душѣ ребенка. Романтическія стремленія, разносторонность натуры,

¹⁾ J-W. Mackail, Life of William Morris; Лондонъ, 1899, въ 2-хъ томахъ (есть два изданія этой книжки: одно болѣе дорогое, съ нѣсколькими портретами Морриса, другое болѣе дешевое).

живость и впечатлительность характера, склонность къ энтузіазму и упорство въ достиженіи поставленной цѣли были съ самаго ранняго дѣтства отличительными чертами будущаго поэта и артиста. Когда Вилліаму было не болѣе девяти лѣтъ, онъ на своемъ маленькомъ пони извѣздилъ все Эссекское графство, ища красивыхъ и старинныхъ церквей: у него была уже въ то время настоящая страсть къ архитектурѣ. Кстати, чтобы дать понятіе читателю о сильной эстетической восприимчивости и художественной памяти Морриса, достаточно сказать, что до самой смерти своей пламенный художникъ могъ съ мельчайшими подробностями описывать стиль какого-нибудь стараго зданія, видѣннаго имъ всего, можетъ быть, одинъ разъ во время своихъ дѣтскихъ экскурсій.

Мальчика не душили наукой и зубреніемъ схоластическихъ вещей, почитаемыхъ еще до сихъ поръ столь многими педагогами и родителями за необходимое условіе такъ называемаго образованія. Въ школѣ города Марльборо (Уилтское графство, верстахъ въ 120 на западъ отъ Лондона), куда онъ поступилъ 14-ти лѣтъ, въ 1848 г., и гдѣ онъ оставался до 1851 г., дисциплина была не изъ строгихъ. И страсть къ прогулкамъ, къ спорту всякаго рода и физическимъ играмъ, которою Моррисъ отличался съ самыхъ первыхъ лѣтъ, не встрѣчала особой помѣхи въ начальствѣ заведенія. Однако еще на школьной скамейкѣ Моррисъ практически изучилъ ботанику и зоологію этой части Англіи, а въ области архитектуры приобрѣлъ самыя основательныя знанія относительно такъ называемаго англійскаго готическаго стиля, знакомясь съ нимъ не только изъ книгъ, находившихся въ бібліотекѣ заведенія, но и непосредственно осматривая всѣ старыя зданія окрестностей. Живымъ и страстнымъ охотникомъ до архитектурныхъ и прочихъ экскурсій нашъ юноша явился и между студентами Оксфордскаго университета, куда онъ поступилъ въ 1852 г., уже послѣ смерти отца, оставившаго ему большое состояніе. Перечитайте одну изъ главъ его «Вѣстей ни откуда», посвященную привольной жизни дѣтей въ будущемъ строѣ и всю проникнутую запахомъ лѣсныхъ травъ и упоительной идил-

ліей полей: въ этой главѣ авторъ, видимо, лишь опозитизировалъ свои молодые годы и то наслажденіе природой, которому онъ предавался ребенкомъ. Не забыто осталось и его маленькое пони, превратившееся подъ перомъ романиста въ смирнаго и добраго Сѣрка (Greylocks), который везетъ своей неторопливой рысцой нашего автора и его чичероне по счастливой «странѣ отдыха».

Но не въ одну сторону спорта и развлеченій уходила въ то время страстная натура юноши. Интересно, что Моррисъ, сынъ прозаическаго купца (мать его была, впрочемъ, дочерью учителя музыки), почувствовалъ въ то время приливъ религіознаго настроенія и, рѣшивъ, что его призваніе быть пасторомъ, избралъ себѣ богословскій факультетъ. Я полагаю, тутъ отчасти вылилась въ особую форму его любовь къ средневѣковой, главнымъ образомъ, церковной архитектурѣ: эстетическій восторгъ, который охватывалъ его при посѣщеніи этихъ величаво мрачныхъ, старинныхъ зданій, придавалъ колоритъ поэзии и вещамъ, и людямъ, такъ или иначе соприкасавшимся съ этой стороной жизни. Быть близкимъ сосѣдомъ и ежедневнымъ посѣтителемъ какой-нибудь старинной церкви, работать надъ пожелтѣвшими рукописями въ ея ризницѣ, проводить время въ бесѣдѣ съ какимъ-нибудь достойнымъ пасторомъ-археологомъ—это ли не завидное существованіе? Но, несомнѣнно, тутъ играло роль и болѣе общее увлеченіе средневѣковыми традиціями, гдѣ религія занимала такое важное мѣсто. Нѣкоторое время онъ былъ горячимъ сторонникомъ теолога Пьюзи (Pusey), который до половины 30-хъ годовъ былъ либеральнымъ духовнымъ писателемъ во вкусѣ нѣмецкихъ раціоналистовъ-богослововъ, а затѣмъ рѣзко повернулъ въ направленіи среднихъ вѣковъ и въ нѣкоторыхъ, особенно обрядовыхъ, пунктахъ старался приблизиться къ католицизму. Очевидно, не реакціонная сторона «пьюзеизма», какъ называлось это движеніе, привлекала пылкаго юношу: его прельщала попытка вернуться къ міру средневѣковыхъ легендъ, который на разстояніи казался такимъ цвѣтущимъ и плѣнительно-таинственнымъ. Но скоро этотъ косвенный путь по-

груженія въ средневѣковый романтизмъ былъ замѣненъ прямымъ, какъ нельзя болѣе удовлетворявшимъ эстетическому идеалу Морриса. Я говорю о такъ называемомъ «праерафаэлитизмѣ», который въ половинѣ 50-хъ годовъ велъ ожесточенную борьбу противъ установившихся взглядовъ на искусство, прежде всего въ области живописи, и который уже былъ въ то время близокъ къ побѣдѣ, благодаря картинамъ Россетти, Гэнта (Hunt) и Миллэ, поэмамъ и сонетамъ перваго изъ упомянутыхъ живописцевъ и пламеннымъ эстетическимъ статьямъ Рэскина.

Подробно останавливаться на праерафаэлитскомъ движеніи въ Англіи значило бы выйти изъ рамокъ этого этюда. Но не бесполезно выдвинуть основныя стороны движенія, игравшія роль въ исторіи идейнаго развитія Морриса. Такъ какъ «праерафаэлитское братство» проводило свои взгляды преимущественно кистью, то и мнѣ придется оцѣнивать ихъ главнымъ образомъ на этой почвѣ.

Если вы остановитесь только на внѣшнихъ, чисто техническихъ чертахъ новой школы живописи, то васъ поразятъ сложность общей композиціи въ ея картинахъ, странность (если не неестественность) жеста изображаемыхъ лицъ, поразительная, иногда непріятно рѣжущая яркость красокъ и неожиданное сосѣдство противоположныхъ цвѣтовъ. Съ этой внѣшней стороны праерафаэлитизмъ можетъ вызвать немалое недоразумѣніе. И дѣйствительно, находятся эстеты, восторгающіеся новой школой только потому, что видятъ въ ней одно изъ проявленій декадентскаго «искусства для искусства» и галиматіи для галиматіи. Но если отъ этого поверхностнаго впечатлѣнія вы постараетесь перейти къ анализу внутреннихъ и основныхъ мотивовъ праерафаэлитской живописи, а въ особенности, если вы припомните, чѣмъ руководились основатели и истолкователи этой школы, то вы скоро убѣдитесь, что новое направленіе носитъ на себѣ идейный, а въ извѣстномъ смыслѣ и социальный характеръ. Почему «праерафаэлитское братство», основанное въ 1848 г. Россетти, Гэнтомъ и Миллэ и нашедшее сильную опору въ Рэскинѣ, вдохновлялось наив-

ной, но въ высшей степени свѣжей и сильной живописью художниковъ, работавшихъ въ Италіи на зарѣ возрожденія, начиная съ Джіотто и кончая Боттичелли, Гоццолі и Мантенья? Потому что у этихъ «праерафаэлитовъ» оно находило какъ разъ то, чего не доставало царившей тогда въ Англіи официальной и классически-холодной живописи: жажду строгаго детальнаго изученія природы и дѣйствительности, а не эстетическій шаблонъ; и въ то же время полный энтузіазма взглядъ на искусство, какъ на великую соціальную функцію художника, который беретъ важный съ его точки зрѣнія («многозначительный», какъ говорятъ теоретики прерафаэлитизма) сюжетъ и трактуетъ его для поученія и восторга согражданъ. Мнѣ остается лишь прибавить, что, благодаря главнымъ образомъ усиліямъ поэта-живописца Россетти, новая школа стала слишкомъ часто искать «многозначительныхъ сюжетовъ» въ области тѣхъ мистическихъ порываній, которыя такъ часто замѣняли въ концѣ большаго XIX-го вѣка и продолжаютъ еще замѣнять у многихъ художниковъ жажду здороваго и яснаго идеала. Наконецъ, однимъ изъ важныхъ признаковъ этого идейнаго направленія въ искусствѣ является предпочтеніе, которое прерафаэлиты оказываютъ при трактованіи своихъ «психологическихъ ребусовъ» легендамъ среднихъ вѣковъ, такъ нравящихся имъ соціальнымъ характеромъ своего искусства. Чтобы не утомлять читателя этими нѣсколькими абстрактными разсужденіями, я приведу здѣсь двѣ-три цитаты, взятые у представителей англійскаго прерафаэлитизма.

Пунктъ первый—натурализмъ въ деталяхъ:

«Молодые художники не должны обезьянничать въ выполненіи мастеровъ... Они должны идти (на выучку) къ природѣ въ простотѣ своего сердца и слѣдовать за ней упорно и вѣрно, имѣя лишь одну мысль: проникнуть ея смыслъ, напомнить ея уроки, ничего не отбрасывая, ничего не презирая и ничего не выбирая».

Такъ говоритъ Рэскинъ ¹⁾. Напомню кстати тотъ фактъ изъ жизни знаменитаго Гэнта, что ради большей вѣрности

¹⁾ John Ruskin, *Modern Painters*, т. II, гл. III, § 21; Лондонъ, 1843.

деталей, нужныхъ для его библейской картины «Козель отпущенія», онъ поселился на долгіе мѣсяцы въ пустынь, на берегу Мертваго моря, и жилъ тамъ, страдая отъ всевозможныхъ лишеній и среди разбойничающихъ номадовъ, съ ружьемъ въ одной рукѣ, съ кистью въ другой, рисуя настоящаго козла, котораго онъ привезъ съ собой и который медленно чахнулъ на раскаленномъ берегу Соленаго озера. Этотъ же самый Гэнтъ употребилъ годы на подготовку къ своей знаменитой картинѣ «Бѣгство Св. Семейства въ Египетъ», изучая всѣ детали на мѣстѣ, въ Палестинѣ.

Пунктъ второй—необходимость идейнаго сюжета, пропаганды контуромъ и краской извѣстнаго идеала. Другой крупнейшій живописецъ современной Англіи, нынѣ умершій Джорджъ Ваттсъ, или Уотсъ (Watts), какъ произносятся его имя англичане, пишетъ, разбирая картины Бенжамэна Хэдона: «всякое искусство, которое имѣло дѣйствительный и прочный успѣхъ, являлось популяризацией какого-нибудь великаго принципа духа или матеріи, какой-нибудь великой истины, какого-либо великаго параграфа въ книгѣ природы».

Пунктъ третій—выборъ мистическихъ и легендарныхъ сюжетовъ для проведенія той или другой «великой истины». Эта сторона прерафаэлитизма не нуждается даже въ особомъ доказательствѣ, и кто не видѣлъ картинъ Уотза, Джона Миллэ (Millais), Бернъ-Джонса, уже по одному названію можетъ судить объ ихъ характерѣ: «Наканунѣ праздника Св. Агнесы» (сюжетъ изъ поэмы Китса того же имени), «Любовь и смерть», «Время, смерть и судъ», «Хаосъ», «Фата-Моргана», «Паоло и Франческа». Типично, что одинъ изъ поклонниковъ Россетти вмѣняетъ ему въ величайшую заслугу пробужденіе и усиленіе «духа Чудеснаго въ поэзіи и искусствѣ» ¹⁾.

Пунктъ четвертый—соціальная сторона творчества и восхищеніе этимъ характеромъ искусства въ средніе вѣка. Достаточно привести слѣдующія мысли Рэскина въ его «Долинѣ Арно»:

¹⁾ Theodore Watts въ статьѣ Rossetti; *Encyclopaedia Britannica*, vol. XX, p. 858; Лондонъ, 1886 (9-е изд.).

«Первое условіе жизненности для искусства, это, чтобы оно выражало нѣчто истинное или же украшало полезное. Въ благословенную эпоху XIII-го столѣтія искусство выражало религію, которую были въ состояніи понять тогда души людей, и украшало жилища тѣхъ гражданъ, которые полагали наивысшее счастье въ личной порядочности жизни и въ великолѣпіи на пользу общества. Мы говоримъ «на пользу общества», ибо нравы тогда были простые, и именно для общественныхъ зданій всего народа и трудились эти живописцы, эти скульпторы, эти ювелиры, эти кузнецы, эти позументщики, эти плотники... То была эпоха, когда соорудили каналъ *Naviglio Grande*, проводившій воду Тичино въ Миланъ, за тридцать миль оттуда, когда построили стѣны Милана, два портовыхъ магазина Генуи и стѣны ея набережныхъ и водопроводовъ. Эти гигантскія работы вызывали къ жизни цѣлые легіоны рабочихъ и артистовъ, смѣшивавшихся между собою, такъ какъ каждый ремесленникъ былъ въ то время и артистомъ. Имъ даютъ хорошую плату; они не выходятъ изъ своей касты и трудятся скромно и благородно для города, насколько только могутъ»¹⁾.

Я прошу читателя обратить вниманіе на приведенныя цитаты: въ нихъ, по-моему, лежитъ отчасти объясненіе и дальнѣйшей исторіи развитія Вилліама Морриса, къ которому мы и переходимъ. Въ тотъ самый день, когда Моррисъ поступалъ въ университетъ, туда же прибылъ и нѣкто Эдвардъ Бернъ-Джонсъ, въ послѣдствіи одинъ изъ самыхъ крупныхъ живописцевъ Англіи (умеръ недавно). Подобно Моррису, онъ избралъ теологическій факультетъ; подобно Моррису, онъ отличался энтузіазмомъ и впечатлительностью. Немудрено, что скоро молодые студенты стали неразрывными друзьями, и эта дружба не ослабѣла въ теченіе всей ихъ жизни. Бернъ-Джонсъ ускорилъ тотъ процессъ идейнаго броженія, который гналъ Морриса въ ряды прерафаэлитовъ. Внѣшнія обстоятельства, благоприятствовавшія этому переходу, сложились такимъ образомъ. Въ концѣ 1855 г. Бернъ-Джонсъ, восхищавшійся картинами

¹⁾ John Ruskin, *Val d'Arno*; Лондонъ, 1873.

Россетти, успѣлъ познакомиться съ этимъ необыкновенно талантливымъ поэтомъ-живописцемъ и показалъ ему нѣсколько своихъ рисунковъ. Россетти сразу увидѣлъ, какое рѣдкое дарованіе проглядывало въ этихъ первыхъ попыткахъ, и убѣдилъ своего молодого знакомаго оставить мысль о пасторствѣ, а заняться живописью. Легко себѣ представить, что за восторженные рѣчи долженъ былъ держать своему другу Бернъ-Джонсъ, рѣшившій посвятить себя искусству, и что за энтузіазмъ долженъ былъ заплыть подъ вліяніемъ этихъ рѣчей въ артистической душѣ Морриса! Вскорѣ и послѣдній пересталъ помышлять о пасторской дѣятельности и задумалъ изучать архитектуру, съ самаго ранняго дѣтства такъ привлекавшую его къ себѣ. Къ этому времени относится путешествіе Морриса на континентъ, въ сѣверную Францію, гдѣ сохранились такіе великолѣпные памятники средневѣковаго зодчества въ видѣ старинныхъ церквей и пр. Еще въ 1854 г. Моррисъ совершилъ бѣглую экскурсію въ Нормандію, а въ 1855 г. онъ провелъ тамъ долгія каникулы въ изученіи французской архитектуры, и ему на сей разъ сопутствовалъ Бернъ-Джонсъ. Я попрошу читателя по этому поводу обратить вниманіе на слѣдующую цитату, взятую мною изъ позднѣйшей брошюры Морриса о «Цѣляхъ искусства», перепечатанной въ формѣ одной изъ главъ его книжки о «Знаменіяхъ перемѣны». Эта цитата даетъ очень интересное указаніе на ходъ идейнаго развитія автора:

«Менѣе, чѣмъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, такъ около тридцати, я впервые увидѣлъ городъ Руанъ, который въ то время имѣлъ еще видъ средневѣковаго города: у меня нѣтъ словъ, чтобы передать вамъ, въ какой степени я былъ охваченъ тогда этимъ соединеніемъ красоты, исторіи и романтическаго элемента; могу лишь сказать, что, оглядываясь назадъ, на свою прошлую жизнь, я нахожу, что это было величайшее удовольствіе, какое только я когда-либо испытывалъ. А теперь никто уже не можетъ больше наслаждаться имъ: оно потеряно для міра навсегда. Въ то время я былъ студентомъ Оксфордскаго университета. Хотя не такой поразительно-романтиче-

скій и съ перваго же взгляда средневѣковый городъ, какимъ былъ Руанъ въ Нормандіи, Оксфордъ сохранялъ еще въ тѣ дни не мало прежней прелести. И воспоминаніе о его тогдашнихъ сѣрыхъ улицахъ оставило во мнѣ самые прочные слѣды и поныѣ является однимъ изъ истинныхъ удовольствій въ моей жизни... Но съ тѣхъ поръ официальные блюстители этой красоты и этой романтической прелести, исполненной глубокаго поученія... принесли интересы сохраненія въ жертву торгашескимъ соображеніямъ и вознамѣрились, какъ видно, окончательно разрушить прошлое» ¹⁾.

Нѣсколько далѣе авторъ негодуяще спрашиваетъ:

«Что же разрушило старинный Руанъ и Оксфордъ, къ которымъ идутъ мои поэтическія сожалѣнія? Погибли ли они въ интересахъ народа, уступая мало-по-малу росту разумнаго измѣненія въ вещахъ и новаго счастья, или сразу снесены какой-нибудь трагедіей, сопровождающей всякое рожденіе чего-либо крупнаго и новаго? О, нѣтъ! не фаланстеріи и не динамитъ унесли ихъ красоту, и разрушителями ихъ не были ни филантропы и социалисты, ни приверженцы кооперации, ни анархисты. Старина была продана, и продана за ничтожную плату: загрязнена жадностью и невѣжествомъ глупцовъ, которые не знаютъ, что такое жизнь и наслажденіе, сами не умѣютъ пользоваться этими дарами и не позволяютъ другимъ пользоваться. Вотъ почему гибель этихъ красотъ такъ глубоко трогаетъ насъ. Ни одинъ человѣкъ ума и сердца не осмѣлился бы сожалѣть о такихъ потеряхъ, если бы цѣной ихъ были завоеваны новая жизнь и новое счастье народа. Но народъ какъ былъ, такъ и остался; онъ стоитъ попрежнему передъ чудовищемъ, которое разрушило всю эту красоту, и имя этому чудовищу—«Коммерческій Барышъ» ²⁾.

Конечно, нечего забѣгать впередъ идейнаго развитія нашего автора и вкладывать въ его міровоззрѣніе 50-хъ годовъ тѣ

¹⁾ Signs of Change; Лондонъ, 1888 (глава The Aims of the Art, стр. 123—124).

²⁾ Ibid., стр. 134—135.

мысли, которая созрѣла у него лишь въ 80-хъ. Но, во-первыхъ, мы знаемъ, со словъ друзей Морриса, что послѣдній послѣ увлеченія Пьюзи испыталъ сильное увлеченіе Рэскиномъ, Карлейлемъ и ученикомъ послѣдняго, знаменитымъ христіанскимъ социалистомъ Кингсли. Во-вторыхъ, съ «Коммерческимъ Барышомъ», какъ врагомъ, если не народа, то истинной красоты, Моррисъ познакомился очень рано. Такъ, задумавъ отъ теоретическаго изученія архитектуры перейти къ практикѣ зодчества, юный энтузіастъ поступилъ подъ руководство архитектора Джорджа Стрита, прославившагося своей ловкостью по части «реставраціи» старыхъ зданій, особенно церквей. Но онъ скоро увидѣлъ, что эта архитектура имѣла въ виду доставлять занимающемуся ею крупные барыши, а отнюдь не преслѣдовать эстетическіе идеалы. Онъ скоро распростился со своимъ учителемъ. А что касается до профессіи «реставратора», то достаточно сказать, что Моррисъ сдѣлался, на ряду съ Рэскиномъ и другими истинными любителями красоты, однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ «Общества для охраненія старыхъ зданій», которое подъ шутиливою кличкою «Общества противоскобленія» (Anti-Scrape Society) боролось и борется съ вандализмомъ претенціозныхъ «поправокъ и подновленій» старинныхъ памятниковъ архитектуры. Урокъ отъ противнаго принесъ Моррису не малую пользу.

Но вернемся нѣсколько назадъ и посмотримъ, чѣмъ занимался, кромѣ архитектуры, Моррисъ въ послѣдніе годы своего пребыванія въ университетѣ. Вмѣстѣ съ нѣсколькими идейными товарищами онъ пытается издавать органъ прерафаэлитизма подъ заглавіемъ «The Oxford and Cambridge Magazine», который является въ нѣкоторомъ родѣ продолженіемъ подобнаго же органа, издававшагося Россетти въ 1850 г. подъ многозначительнымъ названіемъ «The Germ» (Зерно). Какъ извѣстно, журналъ Россетти прекратился на 4-мъ номерѣ. Не долго протянулъ и «Оксфордско-Кембриджскій Магазинъ»: его первый номеръ вышелъ въ январѣ 1856 г., а въ концѣ того же года его постигла преждевременная смерть. Но и то немногое, что было напечатано, представляетъ немалый интересъ

для історії прерафаелитського руху в Англії, особливо ж для історії ідейного розвитку самого Морріса. «Магазинъ» був строго-анонімнимъ изданіємъ: очевидно, керівники його були в такій ступені увлечені новимъ умовнимъ течіємъ, що особистість того чи іншого з них відступала на задній план перед інтересами загального діла. Тільки внаслідок перевидавання деяких статей і віршів учасниками під своїм іменем, або ж згадки близьких товаришів дали можливість зрозуміти, що кому належало в новому органі. Головними співробітниками були Россетти, Бернард-Джонс і Морріс; до них примикали Льюїс-Тон і Блэк. Россетти перевидав там з'явившися спочатку в «Зерні», а тепер так розхвалювану любителями містическої поезії «Благословенну діву» (Blessed Damsel) з її «глибокими, як бездна, очима», тріма ліліями в руках, сімью зірками в її «жовтих волосах, жовтих, як зрілий хліб»: «навколо неї любовники, недавно з'єдналися серед вигуків безсмертної любові, постійно повторили свої нові, захоплюючі її імена», а «душі, які возносились до Бога, проходили мимо неї, як тонке пламя». Россетти ж помістив в новому журналі своє «Віччя Нінівії» і «Посох і суму». Моррісу, який знаходився в тодішній час під сильним впливом Россетти, а частково Роберта Браунінга, належать звідси, між іншим, кілька віршів, одна прозаїчна легенда і невелика критична стаття про Браунінга.

Ця остання настільки характерна для тогочасного світогляду Морріса, що я дам із неї невелику витягу:

«Я не скажу, щоб Роберт Браунінг дійсно не був іноді темені. Не будь він ніколи таким, він був би повністю досконалим поетом. Але я сміло утверджую, що ця темнота рідко досягає такої ступені, щоб створювати розуміння його віршів дійсно важким. Ібо те, що критики називають у нього темнотою, обумовлюється з боку поета глибиною його думки і величчям

сюжету, а з боку його читачів поверховістю їх думки і обмеженістю їх знань; боюсь навіть, що частіше—їх фривольним неввіжеством і лїзністю. Таким чином, я думаю, що ця так звана темнота була б дійсно справою передвизливою, якщо б поезія, як деякі уявляють, належала цілком до області «легкої літератури»; але якщо вона є на самому-то ділі один із величайших дарів, даних божеством людині, то ми не повинні жалуватися на свої труднощі, хоча б нам і довелося іноді тренувати думку над якою-небудь великою поезією, а порою так навіть використовувати для цього всі сили розуму і переживати стан агонії, майже рівний тому, при якому сам поет створював цю поезію»¹⁾.

Ці молодісні розсудження нагадують кілька теперешню аргументацію декадентів, які вважають справу темі, краще, чим вона незрозуміла. Але вже в тодішній час Морріс відзначався від естетів темі, що замість самолюбного насолоди авторів туманною галімафетією, краще-ли зрозумілою і самому творцю, він наважувався на необхідність роботи думки і поширення художніх ідеалів в суспільстві. Морріс-поет, в будь-якому випадку, і в цю ранню пору не писав нічого, від чого у читача в той час «агонії» могли б очі вискочити з орбіт. Звідси одне з його віршів в «Магазині», прекрасне в своїй неопределенності, але відносно не лякаюче читача нічим крім чужого мудрого значення. Називається воно «Літнім світлом» і вошло в перший том віршів Морріса (о них см. нижче):

«Прочитай тільки одну молитву про мене твоїми стиснутими устами і подумай про мене тільки одну думку там вгору, в зірках. Увігнеть літня ніч; ранній світ скользить, слабкий і сироватий, і між листками осини, і між поло-

¹⁾ Я цитую за витягом із згаданого Горна: в теперішній час обидва органи прерафаелізму, з яких ідеє рече вище, стали бібліографічною рідкістю і продаються за велику ціну.

сами облаковъ, которыя тамъ вдали терпѣливо ждутъ разсвѣта,—терпѣливыя и безцвѣтныя, хотя золото неба скоро залетѣтъ ихъ лучами солнца. Далеко-далеко въ поляхъ, надъ молодыми всходами хлѣба, тяжело нависшіе вязы стоятъ въ ожиданіи; вострепелъ и растетъ безпокойный и холодный вѣтеръ; и тусклы еще розы: молятъ онѣ о зарѣ среди долгаго брезжущаго полусвѣта, молятъ кругомъ уединеннаго дома, тамъ среди хлѣбныхъ полей. О, брось мнѣ только одно слово чрезъ эти поля, чрезъ эти нѣжные, склоняющіеся кудри хлѣба».

Надо читать въ подлинникѣ эту граціозную вещь, которая почти вся состоитъ изъ односложныхъ словъ, придающихъ такую сжатость великимъ мастерамъ англійской поэзіи,—надо ощутить это осторожное, слегка монотонное паденіе слоговъ-образовъ, такъ хорошо выражающее сѣренькій пейзажъ ранняго утра, чтобы убѣдиться, въ какой степени Моррисъ уже въ эту раннюю пору былъ настоящимъ поэтомъ.

III.

Но насъ ждетъ новая грань разносторонняго «драгоцѣннаго камня», какъ называлъ одинъ изъ друзей Морриса его богатую, отливающую различными лучами красоты натуру. Въ началѣ 1857 года мы застаемъ Морриса въ Лондонѣ, куда онъ явился изучать живопись вмѣстѣ съ близкимъ ему по духу Бернъ-Джонсомъ послѣ того, какъ ремесленная архитектура отшибла у него охоту учиться у тамошнихъ прославленныхъ аристократіей и буржуазіей зодчихъ, а прерафаэлитскій органъ умеръ среди равнодушія публики. Около этого времени Россетти писалъ одному изъ своихъ пріятелей о томъ сильномъ впечатлѣніи, какое произвели на него два молодые друга, скоро ставшіе и его близкими друзьями. Уже тогда онъ восхищался рисунками Бернъ-Джонса, которые онъ сравнивалъ съ лучшими вещами Дюрера; а у Морриса онъ находилъ, несмотря на недостатокъ техники, не меньше поэтической силы и фантазіи. Лѣтомъ 1857 г. Моррисъ занялся было даже своей первой масляной

картиной, рисующей одинъ изъ эпизодовъ того цикла легендъ, который наслонился вокругъ центральной фигуры короля Артура и его сподвижниковъ Круглаго Стола. Что случилось съ этой картиной, начало выполненія которой обѣщало, по мнѣнію Россетти, замѣчательное произведение, біографы не говорятъ: вѣроятно, она была брошена Моррисомъ, увидавшимъ, что его кисть не была на высотѣ его фантазіи. Но упоминаніе объ этой попыткѣ интересно, по моему мнѣнію, въ томъ отношеніи, что указываетъ еще на одинъ элементъ въ идейномъ и художественномъ развитіи будущаго поэта «Земного рая». Рядомъ съ неправильнымъ, но страстнымъ изученіемъ классической литературы, рядомъ съ упорными занятіями средне-вѣковой архитектурой, рядомъ съ увлеченіемъ прерафаэлитизмомъ Моррисъ предавался въ университетѣ чтенію средне-вѣковыхъ легендъ и лѣтописей. Изъ послѣднихъ его особенно привлекала «Хроника» Фруассара. Что касается до легендъ, его энтузіазмъ былъ воспламененъ артуровскимъ цикломъ, съ которымъ онъ познакомился въ редакціи Малори (Thomas Malory; жилъ въ XV-мъ вѣкѣ), написавшаго или, вѣрнѣе, скомпилировавшаго по французскимъ источникамъ «Mort d'Arthur» Попавшее ему въ руки изданіе этой книги онъ переплелъ въ бѣлый веленевый переплетъ, зачитывался ею, познакомилъ съ нею Бернъ-Джонса, Россетти и прочихъ пріятелей и сообщилъ имъ свой энтузіазмъ. Можно сказать, что артуровская легенда сыграла въ живописи прерафаэлитовъ такую громадную роль благодаря Моррису.

Эта же легенда являлась сюжетомъ коллективной попытки разрисовать одну изъ залъ Оксфордскаго университета, и въ попыткѣ этой участвовали, кромѣ Морриса, Россетти и Бернъ-Джонса, еще и Хьюзъ (Hughes), Принсепъ, Стангопъ и Поллэнъ. Начатая въ 1857 г., въ томъ самомъ году, когда Моррисъ кончилъ курсъ, работа была завершена въ 1858 г. Но такъ какъ пріятель-художники вздумали писать не масляными красками, а на клею, то всѣ эти Артуры, Говэны, Ланселоты поблѣднѣли, пооблупились и со стѣнъ залы снова ушли на свой фантастическій островъ Аваллонъ. Пятнадцать лѣтъ тому

назадъ еще можно было различать благородныхъ рыцарей, которыхъ Моррисъ помѣстилъ на сводахъ залы; теперь отъ нихъ не осталось почти никакого слѣда. Одинъ изъ участниковъ въ этой артистической коопераціи со свойственнымъ англичанамъ юморомъ замѣчаетъ, что попытка эта имѣла тѣмъ не менѣе для Морриса благополучный исходъ. Послѣ одного изъ рабочихъ дней, проведенныхъ за живописью, вся компанія отправилась поразвлечься въ оксфордскій театръ и здѣсь въ одной ложѣ увидала идеальной красоты брюнетку, которая сочетала въ себѣ классическія черты Прозерпины или Цирцеи съ одухотвореннымъ выраженіемъ не то Беатрисы, не то средневѣковой Мадонны. Дѣвушка эта оказалась миссъ Бердэнъ, дочерью почтеннаго оксфордскаго негоціанта, съ которымъ кой-кто изъ художниковъ былъ знакомъ еще раньше. Отношенія между мужчинами и женщинами въ Англіи носятъ такой же простой и человѣческій характеръ, какъ среди русской интеллигенціи; и миссъ Бердэнъ безъ всякаго жеманства пришла въ тотъ же вечеръ посидѣть въ ложу молодыхъ пріятелей ея отца. Моррисъ вскорѣ до безумія влюбился въ нее; Прозерпина-Мадонна отвѣчала ему взаимностью. Въ апрѣлѣ 1859 г. они поженились и поселились въ деревушкѣ Эптонъ, возлѣ Бэксли, въ Кентскомъ графствѣ, верстахъ въ 25 отъ Лондона.

Молодой самъ выстроилъ себѣ домъ при помощи своего пріятеля, архитектора Филиппа Уэбба, съ которымъ онъ учился у Стрита, и изукрасилъ жилище живописью при пособіи своего самаго близкаго друга, Бернъ-Джонса. Домъ этотъ, получившій вскорѣ названіе Краснаго Дома въ Эптонѣ, явился выраженіемъ эстетическихъ идеаломъ хозяина и поражалъ своею оригинальностью. Одинъ изъ знакомыхъ описывалъ это первоначальное гнѣздо Морриса въ слѣдующихъ, до нѣкоторой степени юмористическихъ, выраженіяхъ:

«Единственная вещь, которую вы могли видѣть съ извѣстнаго разстоянія, была громадная, крутая и высокая кровля, покрытая красной черепицей, а единственная комната, о которой у меня осталось воспоминаніе, была столовая или, если

хотите, пріемный залъ, занимавшій почти весь домъ. Вокругъ стѣнъ тянулась одна прикрѣпленная къ нимъ скамья; въ залѣ помѣщались интереснаго устройства хоры для музыки, къ которымъ вела лѣстница внѣ дома, кончавшаяся лишь на самомъ князькѣ зданія; что касается до мебели, то она блистала отсутствіемъ, кромѣ длиннѣйшаго дубоваго стола, доходившаго почти отъ одного конца столовой до другого. И эта громадная пустая зала была расписана размашистой живописью, изображавшей цѣлыя чащи дико растущихъ деревьевъ и покрывавшей стѣны и потолокъ, который уходилъ высоко-высоко и состоялъ изъ неприкрытаго ничѣмъ дерева. Словомъ, украшенія дома отличались новымъ, чтобы не сказать поражающимъ характеромъ; но если бы кому-нибудь стали въ шутку говорить, что то—архитектурный стиль островитянъ Великаго океана, онъ, конечно, легко бы повѣрилъ этому: такъ причудливо и странно было исполненіе».

Отбросьте юморъ описателя, который не останавливается передъ эффектомъ краснаго словца, и вы легко узнаете въ этомъ удивительномъ зданіи попытку воскресить средневѣковой домъ феодала съ его громадной пріемной залой и высокой крышей, длиннѣйшимъ столомъ и круговой скамьей, на которой тѣснились подгулявшіе гости.

Воскрешеніемъ средневѣковой жизни является и первый сборникъ произведеній Морриса, который вышелъ нѣсколькими мѣсяцами раньше и заключалъ въ себѣ «Защиту Гуиневеры (или Женевиэвы, жены Артура) и другія поэмы» ¹⁾. Онъ отражалъ на себѣ замѣтные слѣды вліянія Россетти, которому и былъ посвященъ. Нѣкоторыя изъ этихъ поэмъ, напр. «Голубой покой» и «Мелодія семи башенъ», такъ даже являлись лишь текстомъ къ раннимъ акварелямъ Россетти, носившимъ именно такое названіе. Въ самой «Защитѣ Гуиневеры», передъ нами проходятъ тонкія и прозрачныя фигуры женщинъ Россетти, злоупотреблявшаго и въ своей поэзии, и въ своей живописи длинными, на подобіе лебедя, шеями героинь и ихъ ста-

¹⁾ The Defence of Guinevere and other poems; Лондонъ, 1858.

номъ, гибкимъ, какъ лилія. Стоитъ только припомнить, въ какихъ выраженіяхъ легкомысленная супруга добродѣтельнаго Артура, защищаясь противъ обвиненія въ прелюбодѣянніи съ рыцаремъ Ланселотомъ, говоритъ и о своихъ «длинныхъ рукахъ, сквозь нѣжно темнѣющіе пальцы которыхъ можно видѣть лазурь неба», и о своей «длинной шеѣ, черезъ которую слова журчатъ и достигаютъ рта легкими струями», и т. д.

Но есть въ этихъ поэмахъ и оригинальныя ноты, достигающія порою такой силы. что поэтической темпераментъ автора пробиваетъ въ традиціонныхъ легендарныхъ рамкахъ широкіе просвѣты, и реальный человѣкъ съ его страстями, горестями и радостями близко говоритъ вашему сердцу, несмотря на средневѣковое одѣяніе. Я не думаю, чтобы самъ Россетти написалъ когда-либо вещь, заключающую въ себѣ такой сконцентрированный трагизмъ, какимъ проникнута у Морриса короткая сцена изъ кровавой эпохи среднихъ вѣковъ подъ заглавіемъ «Затопленный стогъ сѣна». Эта чета любовниковъ, рыцарь и благородная дама, скрывающіеся, очевидно, за границу, чтобы тамъ найти мѣсто для своей любви; этотъ свирѣпый соперникъ рыцаря, который засадой и измѣной захватываетъ ихъ обоихъ врасплохъ и грозитъ дамѣ убить ея милаго, если она не согласится отвѣчать его страсти; ея гордый отказъ; ужасная сцена убійства безоружнаго и связаннаго по рукамъ противника, брошеннаго возлѣ стога сѣна среди болота,—сцена, при которой, кажется, слышишь, какъ скрипитъ лезвее меча, раздирая шею рыцаря, и тотъ падаетъ, «хрипя, какъ собака», въ то время, какъ приспѣшники убійцы бросаются на жертву и раздробляютъ ей голову ударами тяжелыхъ сапогъ,—я думаю, трудно найти во всей англійской поэзіи картину, болѣе ярко воскрешающую царство насилія и не знающаго преградъ аффекта.

Этотъ сборникъ поэмъ былъ встрѣченъ полнѣйшимъ равнодушіемъ публики: его было продано, кажется, не болѣе 250 экземпляровъ, а остальные издатель сбылъ на писчебумажную фабрику. Такая неудача не обезкуражила Морриса, у котораго, какъ гласитъ тривиальная, но мѣткая англійская

поговорка, «грѣлись другіе уюги на огнѣ». Правда, въ теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ по выходѣ своихъ первыхъ поэмъ Моррисъ не издалъ ни одной книжки. Но зато тѣмъ съ большей охотой пробовалъ свои силы на другихъ поприщахъ искусства. Живописью своей, которой онъ занимался до начала 60-хъ годовъ, Моррисъ не былъ удовлетворенъ: его фантазія умѣла выбирать глубоко-поэтическіе сюжеты; его общая композиція связывала изображаемыя фигуры оригинальными нитями зависимости; но его выполнение, само по себѣ далеко не дурное, рѣшительно отставало отъ полета его творчества. На свой настоящій путь въ области художественной техники Моррисъ сталъ въ 1860 г., когда нѣкоторыя удачныя попытки его друзей, Бернъ-Джонса и Мадокса Брауна, заняться живописью на стеклѣ и изготовленіемъ рисунковъ для артистической мебели, навели кружокъ нашихъ страстныхъ художниковъ на мысль поставить это дѣло на практическую почву и создать изъ него широкое предпріятіе. Технической планъ такой эстетической фабрики былъ выработанъ инженеромъ Маршалломъ; за рисованіе модельныхъ картоновъ взялись Россетти, Мадоксъ-Браунъ, а особенно Бернъ-Джонсъ; Филиппъ Уэббъ преслѣдовалъ артистическій идеалъ съ точки зрѣнія архитектурнаго стиля. Моррисъ явился главнымъ пайщикомъ, вложивши значительный капиталъ, и ему же принадлежала трудная роль рисовать съ картоновъ на стеклѣ. Дѣло въ томъ, что для усиленія художественнаго впечатлѣнія фирма рѣшила не готовить раскрашенныхъ модельныхъ картоновъ: живописцу на стеклѣ предоставлялась инициатива въ выборѣ красокъ для фигуръ, и онъ же зачастую рисовалъ фонъ и орнаменты. Мало того. Если картоны Мадокса-Брауна замѣчательно подходили къ декоративному типу этой живописи, то картоны Бернъ-Джонса, несмотря на ихъ самостоятельную прелесть и силу, нуждались въ извѣстномъ подчеркиваніи и, такъ сказать, вольномъ комментированіи при переводѣ на яркій языкъ живописи на стеклѣ. И въ этомъ переводѣ Моррисъ, по мнѣнію его друзей, поднимался до высоты истиннаго творческаго генія. Достаточно припомнить, какой эффектъ онъ извлекъ изъ живописи на

стеклѣ, нарисовавъ для Солисберійскаго собора группы «служащихъ и славословящихъ ангеловъ» по картонамъ Бернъ-Джонса. Я видѣлъ въ 1898 г. эти картины и живо помню, съ какимъ энтузіазмомъ показывалъ ихъ намъ, туристамъ, сторожъ-археологъ, помѣшавшійся на цвѣтной живописи Морриса.

Въ теченіе своей художественной карьеры самъ Моррисъ нарисовалъ не менѣе пятисотъ стеколъ, сюжеты которыхъ были ему доставлены главнымъ образомъ Бернъ-Джонсомъ. А возлѣ него стояло нѣсколько второстепенныхъ, но замѣчательныхъ въ своемъ родѣ исполнителей. Фирма «Моррисъ, Маршаллъ и К^о» (съ 1874 г. перешедшая въ руки Морриса) занималась, впрочемъ, не только живописью на стеклѣ, но и приготовленіемъ всякой вообще «артистической мебелировки». Здѣсь Моррису пришлось снова столкнуться съ противо-эстетическимъ «чудовищемъ Коммерческаго Барыша», и это чудовище отчасти опредѣлило даже направленіе, въ которомъ должна была работать фирма. Дѣло въ томъ, что Лондонъ 60-хъ годовъ, пока «снобизмъ»¹⁾ миллионеровъ не покрылъ его роскошными и зачастую безвкусными дворцами, задыхающимися подъ бременемъ архитектурныхъ украшеній, состоялъ изъ однообразныхъ домовъ, изъ которыхъ собственники старались извлечь наибольшую выгоду, какъ можно менѣе думая о жильцахъ, тогда какъ эти послѣдніе пытались по возможности украсить свое помѣщеніе, не дѣлая капитальныхъ затратъ на перестройки и т. п. Не сѣющій, но жнущій домовладѣлецъ взымалъ дань ренты съ роста социальныхъ силъ города, его богатства, его населенія, и постоянно поднималъ квартирную плату, выпроваживая жильцовъ, не согласныхъ на повышение. Жильцы уходили въ новое помѣщеніе, не имѣя права на вознагражденіе за тѣ существенныя приспособленія,

¹⁾ Замѣчу кстати, что слово «снобъ», породившее массу производныхъ словъ и вошедшее теперь повсюду въ такую моду, принадлежитъ Тэккерю, который опредѣляетъ его такимъ образомъ: «Снобъ—это тотъ мужчина или та женщина, которые постоянно претендуютъ на то, чтобы быть лучше, а особенно богаче и фешенебельнѣе, чѣмъ они есть на самомъ дѣлѣ».

какія они могли бы сдѣлать въ своей квартирѣ ради комфорта и изящества. Отсюда потребность квартиронанимателей ограничиться въ этихъ попыткахъ или вещами, сравнительно дешевыми, напр., артистическими обоями, или же такими, которыя легко можно было бы взять съ собой: коврами, драпри, цвѣтными стеклами, мебелью и вышиваньями для мебели. Отсюда же громадный спросъ на всѣ эти, такъ сказать, «подвижныя декораціи», спросъ, на встрѣчу которому и пошла артистическая фирма Морриса. Мы забѣжимъ нѣсколько впередъ того строго-хронологическаго порядка, ктому мы слѣдовали до сихъ поръ въ біографіи Морриса, и прослѣдимъ дальнѣйшее развитіе этой артистически-технической стороны жизни нашего поэта.

Успѣхъ произведеній художественной фирмы былъ вскорѣ колоссальный. Когда участники въ предпріятіи выпустили въ 1861 г. свой въ нѣкоторомъ родѣ, торгово-эстетическій циркуляръ, насмѣшкамъ со стороны и художниковъ, и ремесленниковъ, и торговцевъ не было конца. Какъ? Люди осмѣливались говорить, что какая то «компанія историческихъ артистовъ образовалась для выполненія работъ вполне художественнымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дешевымъ способомъ»? И они «рѣшились посвятить остающееся въ ихъ распоряженіи время рисункамъ моделей для всякаго рода предметовъ болѣе или менѣе артистическаго характера»? Гдѣ же это видано, и какъ потерпѣть это смѣшеніе искусства и техники? Искусство существуетъ для власти и деньги имущихъ, и эти господа могутъ удовлетворяться специально-выдрессированными для нихъ «жрецами чистаго (читай: дорого оплачиваемаго) искусства», всѣми этими живописцами, скульпторами и пр. Съ другой стороны, для грубой черни нужна вещь, а не изящество, столъ и кровать, а не идеалъ, воплощенный въ мебели; и этимъ потребностямъ илотовъ прекрасно удовлетворяютъ существующія теперь отрасли производства, особенно крупнаго фабричнаго, которое наводняетъ рынокъ тысячами совершенно одинаковыхъ, дрянныхъ, но зато дешевыхъ продуктовъ.

На лондонской выставкѣ 1862 г. фирма была встрѣчена

яростными нападеніями «братъевъ-художниковъ» и криками конкурирующихъ торговцевъ. «Морриса и К^о» упрекали даже въ простомъ мошенничествѣ, утверждая, что выставленные ими образцы живописи на стеклѣ, очевидно, выкрадены изъ какого-нибудь стариннаго зданія и лишь подмазаны свѣжими красками для приданія новизны,—въ такой степени эти произведенія выдавались надъ массой обыкновенной ремесленной техники. Какъ бы то ни было, публика быстро вошла во вкусъ новыхъ предметовъ. Постепенно расширяясь, первоначальная мастерская, рядомъ съ живописью на стеклѣ и изготовленіемъ моделей для артистической мебели, перешла къ производству обоевъ, раскрашенныхъ кафель и черепицъ, тканью ковровъ, оттискиванью рисунковъ на хлопчато-бумажныхъ, бархатныхъ и шелковыхъ матеріяхъ. Тутъ, между прочимъ, Моррису пришлось наткнуться на два явленія при сбытѣ произведеній фирмы. «Чернь» оказалась гораздо болѣе воспримчивою къ артистической Technikѣ, чѣмъ это утверждали аристократы искусства: обои и рисунки изъ дешеваго матеріала расходились хорошо не только между средней буржуазіей, но и между интеллигентными ремесленниками и рабочими. Зато ковры и мебель оказались рѣшительно не по карману простымъ смертнымъ. И скоро покупка особенно дорогихъ произведеній стала признакомъ родовыхъ и денежныхъ пошляковъ, которые сначала враждебно отнеслись къ «профанации искусства», а затѣмъ сдѣлали изъ этого предметъ моднаго увлеченія. Къ типу людей такого пошиба Моррисъ часто примѣнялъ въ шутку свою столь извѣстную его друзьямъ булду: «нѣтъ большихъ глупцовъ на свѣтѣ, какъ тѣ, кто покупаетъ мои ковры, за исключеніемъ, впрочемъ, тѣхъ, кто ни за что не хочетъ покупать ихъ».

Знаменитая фабрика фирмы возлѣ желѣзнодорожной станціи Мэртонскаго Аббатства (Merton Abbey on the Wandle), къ югу и недалеко отъ Лондона, значительно расширила свои операціи въ 70-хъ годахъ, когда Моррисъ произвелъ (въ 1875—1876 г.) цѣлый переворотъ въ Technikѣ окрашиванія художественныхъ тканей, возвратившись къ той самой прак-

тикѣ растительныхъ красокъ, которая была изгнана широкимъ распространеніемъ химическихъ (коальтаровыхъ) красящихъ веществъ, открытыхъ въ 1856 г. Перкинсомъ. Его техническимъ идеаломъ и здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, была реакція противъ современнаго капиталистическаго производства во имя средневѣковаго артистическаго ремесла,—разумѣется, тамъ, гдѣ это не было очевидной и невозможной утопій. Такъ, усовершенствованныя имъ растительныя краски отличаются необыкновенной прочностью и рѣдкою свѣжестью оттѣнковъ.

Возвращеніе къ растительнымъ краскамъ при печатаніи навело Морриса на мысль сдѣлать новый шагъ по пути этой художественной реакціи, а именно возстановить средневѣковый ткацкій станокъ для изготовленія ковровъ. Исторія его попытокъ, произведенныхъ въ 1877—1878 г. и увѣнчавшихся успѣхомъ и въ этомъ направленіи, крайне поучительна. Капиталистическое производство такъ основательно стерло съ лица земли прежнія орудія промышленности, что нечего было и помышлять о томъ, чтобы найти старинный станокъ для ковровъ. Что же дѣлаетъ Моррисъ? Онъ долгое время проводитъ въ наблюденіяхъ надъ приемами современнаго ткачества, чтобы разложить эту сложную механику на ея составныя части, выбравъ изъ нихъ существенныя манипуляціи, и только въ виду этихъ основныхъ приемовъ и устроить специальный станокъ. Затѣмъ онъ изучаетъ техническую сторону стариннаго станка при помощи его подробнаго описанія, сохранившагося еще въ знаменитой французской «Энциклопедіи» прошлаго вѣка, а именно въ статьяхъ геніальнаго Дидро. И, наконецъ, комбинируя эти элементы, онъ устраиваетъ себѣ такой усовершенствованный, но средневѣковый станокъ и ставитъ у себя въ спальнѣ. Здѣсь онъ въ теченіе долгихъ дней встаетъ въ пять часовъ утра и немедленно становится у станка, учась ткать на немъ. Достигнувъ совершенства въ ремеслѣ, онъ находитъ двухъ талантливыхъ молодыхъ рабочихъ и съ поразительнымъ педагогическимъ умѣньемъ передаетъ имъ техническіе приемы ручного тканья.

Эти рабочіе-артисты и были творцами великолѣпныхъ ковровъ Морриса и К^о, за лучшіе образцы которыхъ платились буржуазіей и аристократіей бѣшенныя деньги. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мода на старинныя орудія свирѣпствовала среди высшихъ классовъ Англіи и при дворѣ: принцесса Уэльская и герцогиня Файфская стали работать при помощи самопрялокъ прошлаго вѣка, а за ними потянулись и титулованныя особы...

Забѣжимъ еще болѣе впередъ въ артистической карьерѣ Морриса и скажемъ нѣсколько словъ о его типографской дѣятельности, пріобрѣтшей такую извѣстность съ 1891 г., когда были пущены въ продажу первые экземпляры изданій такъ называемаго «печатнаго станка Келмскотскаго замка» (название дома Морриса, построеннаго въ Гаммерсмитскомъ приходѣ, на западѣ Лондона и наименованнаго такъ въ честь деревенскаго замка, Kelmscott Manor House, который Моррисъ пріобрѣлъ еще въ 1871 г. на верхней Темзѣ, возлѣ Лечлэда, на разстояніи болѣе чѣмъ 100 верстъ отъ столицы). Мысль объ изданіи изящныхъ книгъ съ гравюрами во вкусѣ старинныхъ итальянскихъ мастеровъ преслѣдовала Морриса еще съ начала 60-хъ годовъ, а къ концу ихъ онъ подумалъ отпечатать иллюстрированное изданіе своего «Земного рая» и собственноручно приготовилъ было уже для него около двадцати пяти гравюръ на деревѣ. По той или другой причинѣ это изданіе не было выпущено. Въ 1883—1884 г. Моррисъ сталъ серьезно подумывать о печатнѣ. И, наконецъ, въ 1890 г. покупка имъ одной крайне рѣдкой средневѣковой книги («Золотой легенды» въ изданіи Винкина де-Вордэ) заставила его выполнить давно задуманное намѣреніе: онъ рѣшилъ переиздать эту книгу совершенно въ духѣ подлинника. И здѣсь Моррисъ выказалъ рѣдкое сочетаніе артистическаго таланта и практическаго, строго-научнаго склада ума. Такъ, для заказа подходящей бумаги онъ избралъ моделью старый экземпляръ средневѣковой книги, отпечатанной на настоящей болонской бумагѣ, и путемъ подробныхъ объясненій, касающихся чисто технической стороны дѣла, съумѣлъ добыть отъ

одного изъ извѣстнѣйшихъ писчебумажныхъ фабрикантовъ почти такой же сортъ бумаги. Для литья типографскаго шрифта онъ скупилъ огромное количество инкунабулъ, выбралъ наилучшіе образцы, заставилъ воспроизвести фотографіей эти буквы въ увеличенномъ въ пять разъ масштабѣ и сѣлъ за изученіе спеціальнаго характера этихъ изображеній. Только совершенно точно, такъ сказать, математически изслѣдовавъ структуру старинныхъ буквъ, онъ составилъ рисунокъ для шрифта, который былъ отлитъ съ необыкновенною тщательностью. Теперь Моррисъ могъ приступить къ давно задуманному плану. Но тѣмъ временемъ оказалось, что доставленная бумага не вполне соответствуетъ по размѣрамъ и прочности изданію «Золотой легенды», и въ видѣ пробы Моррисъ рѣшилъ отпечатать меньшимъ форматомъ одну изъ своихъ поэмъ («Блισταющую равнину»). На это изданіе Моррисъ смотрѣлъ больше, какъ на личное удовлетвореніе. Какое же было его удивленіе, когда всего черезъ нѣсколько недѣль книга была расхвачена, при чемъ цѣна доходила сплошь и рядомъ до десяти фунтовъ стерлинговъ (100 рублей) за экземпляръ. Морриса выручалъ денежный и родовитый снобъ, уже привыкшій видѣть въ немъ законодателя эстетической моды...

Надо ли говорить о томъ, что всѣ артисты-рабочіе, трудившіеся для фирмы Морриса, были скорѣе товарищами, чѣмъ наемниками руководителя? Оставимъ уже въ сторонѣ ихъ очень высокую заработную плату, которая давала имъ возможность жить почеловѣчески и удовлетворять ихъ высшія умственныя и эстетическія потребности, поддерживавшія въ нихъ необходимую степень артистическаго вкуса и идейнаго пониманія. Но Моррисъ осуществилъ, кромѣ того, въ своей мастерской тотъ идеалъ «привлекательнаго труда», который онъ позже проповѣдывалъ въ своихъ лекціяхъ, книгахъ и соціальныхъ романахъ.

IV.

Покончивъ съ Моррисомъ съ точки зрѣнія художественной техники, мы можемъ перейти къ нашей хронологической манерѣ изложенія, останавливаясь теперь лишь на его поэтической и общественной карьерѣ. Мы оставили автора въ то время, когда онъ издалъ свой первый сборникъ поэмъ, проданный на вѣсъ одному писчебумажному фабриканту. Десять лѣтъ нашъ авторъ молчалъ, живя въ своемъ «Красномъ домѣ» съ прекрасной Прозерпиной и увлекаясь эстетической пропагандой массъ при помощи цвѣтныхъ стеколъ, ковровъ и мебели. Но конецъ 60-хъ и начало 70-хъ гг. были ознаменованы возвращеніемъ Морриса къ карьерѣ поэта. Въ 1867 году вышла его «Жизнь и смерть Язона»¹⁾; въ 1868 г. появились два первыхъ тома его «Земного рая»²⁾, въ 1869 г. третій томъ, въ 1870 г. четвертый; въ 1872 г. былъ изданъ его аллегорическій рассказъ «Довольно любви»³⁾. Біографы Морриса прибавляютъ, что быстрое появленіе одна за другой этихъ глубоко-поэтическихъ книгъ сразу составило литературную репутацію автора, и всѣ онѣ были раскуплены довольно скоро. Я позволю себѣ усомниться въ такомъ объясненіи внезапнаго успѣха поэта. Дѣло не въ томъ, что книги были хороши, и что онѣ быстро слѣдовали одна за другой. Надо было прежде всего, чтобы на нихъ публика обратила вниманіе. И я склоненъ думать, что тутъ дѣйствовала рикошетомъ возраставшая репутація Морриса, какъ артиста-техника. Поэтическія произведенія Морриса этой эпохи не такого сорта, чтобы сейчасъ же воспламенить толпу. Ихъ читателями, кромѣ немногихъ истинныхъ цѣнителей, должны были явиться, прежде всего, тѣ же самые снобы, которые стали къ тому времени восторгаться стеклами и коврами

¹⁾ The Life and the Death of Iason.

²⁾ The Earthly Paradise.

³⁾ Love is Enough.

«Морриса и К^о» и переносили свой, полагавшійся имъ по штату, энтузіазмъ и на поэзію артиста-мебельщика. А крики этихъ господъ, располагающихъ и вліятельной прессой, и общественнымъ мнѣніемъ среднихъ классовъ, проникли и въ большую публику¹⁾. Поблагодаримъ же ихъ за услугу, оказанную ими поэту, и посмотримъ, что такое представляли собой только-что упомянутыя его произведенія.

«Жизнь и смерть Язона» является первой попыткой Морриса изъ міра средневѣковой легенды перейти въ цвѣтушій, ясный и гармоническій міръ классической древности. Попытка эта очень интересная и, несмотря на нѣкоторыя длинноты, въ цѣломъ глубоко поэтическая. Но читатель ошибется, если ждетъ найти тамъ то интимное проникновеніе въ античный міръ, какое встрѣчаемъ порою у Гете, этого единственнаго истиннаго «грека» XIX-го вѣка. Замѣьте, у Морриса подборъ древнихъ эпитетовъ очень удаченъ, мастерство въ обрисовкѣ пейзажей удивительное. Но это античный міръ, видимый сквозь очки романтизма; это прелестный ландшафтъ Эллады, наблюдаемый изъ окна готического собора. Внѣшніе контуры остаются, но атмосфера, въ которой купается этотъ пейзажъ, окрашена колоритомъ средневѣковаго цвѣтного стекла. Посмотритесь особенно къ героямъ поэмы: подъ ихъ античнымъ плащомъ гремятъ доспѣхи рыцаря, а подъ этими доспѣхами скрывается современный европеецъ, и даже европеецъ опредѣленной эпохи и опредѣленныхъ эстетическихъ идеаловъ. Самыя сильныя мѣста этой поэмы, несмотря на свою самостоятельную прелесть, какъ разъ разрушаютъ ея единство. Читайте, напр., въ эпическомъ описаніи возвращенія Аргонавтовъ на родину исполненный глубокой поэзіи діалогъ между Сиренами и Орфеемъ: его нота и драматизма, и вмѣстѣ лирики является какъ бы раскрашеннымъ пятномъ на бѣломъ мраморѣ

¹⁾ Въ особенности посчастливилось «Земному раю», нѣкоторые томы котораго выдержали по десятку изданій. Есть дешевое изданіе въ одномъ томѣ. Въ № 2378 Таухницевской серіи изданій помѣщены «избранныя поэмы» Морриса, какъ изъ «Земного рая», такъ и изъ другихъ произведеній.

античной статуи, и, какъ бы ни были прелестны сами по себѣ эти штрихи художника, они идутъ въ разрѣзъ съ внутренней гармоніей пластической поэмы.

Тутъ, впрочемъ, приходится считаться уже не съ индивидуальнымъ темпераментомъ Морриса, а съ общимъ отношеніемъ романтиковъ къ классическимъ сюжетамъ. Возьмите даже Китса, которому поклонники приписываютъ поразительную способность погружаться въ античный міръ. Кто, напр., изъ нихъ не зачитывался его «Одой на греческую урну»? Но сравнимъ его отношеніе къ предмету, его настроеніе съ настроеніемъ настоящаго грека. Беру сначала наиболѣе выразительныя строки изъ Китса (описание урны и заключеніе):

«Что это за люди, идущіе на жертвоприношеніе? Къ какому зеленому алтарю, о, таинственный жрецъ, ведешь ты эту телицу, поднимающую свой ревъ къ небу и украшенную гирляндами на шелковистыхъ бокахъ? Какой маленькій городъ при рѣкѣ, или у морского берега, или на горѣ съ ея мирной цитаделью оставили эти люди въ то благочестивое утро? О, маленький городъ, навсегда останутся пустыми твои улицы; и ни одна живая душа не можетъ вернуться, чтобы сказать, зачѣмъ ты былъ заброшенъ. Аттическая форма! Благородная урна! Украшенная сонмомъ мраморныхъ людей и дѣвъ, древесными вѣтвями и потоптанной травой, ты, о, молчаливая форма, будешь дразнить нашу мысль, какъ дразнить ее сама вѣчность: холодная пастораль! Когда старость опустошитъ наше поколѣніе, ты останешься жить среди иного горя, чѣмъ наше, дружелюбно говоря человѣку: «Красота есть истина, истина есть красота»—вотъ все, что вы знаете на землѣ, вотъ все, что должны знать»¹⁾.

А вотъ вамъ описаніе сосуда настоящимъ грекомъ:

«По бокамъ его сверху разстилается плоть, плоть, перевитый иммортелью, и вьется его гирлянда, гордясь своими желтыми какъ шафранъ ягодами. А внутри гирлянды изображена

¹⁾ John Keats, The Poetical Works; см. его «Ode on a Grecian Urn».

женщина,—созданіе боговъ,—украшенная покрываломъ и головной повязкой. Возлѣ нея двое мужчинъ, съ красиво зачесанными волосами, наперерывъ одинъ другого поносятъ словами. Но это не трогаетъ ея сердца: то на того посмотреть она мужчину, улыбаясь, то на другого обратить свое вниманіе. А они съ глазами, переполненными страстью, устаютъ въ напрасныхъ усиліяхъ. А за ними изображенъ старикъ рыбакъ и крутая скала, по которой онъ поспѣшно тащитъ большую сѣть, чтобы забросить ее въ море... А немного подальше старика, усталого отъ волнъ, прекрасныя виноградныя лозы обременены вкусными гроздьями. Ихъ сторожить мальчикъ, сидя на изгороди, а по сторонамъ двѣ лисицы, и одна бѣгаетъ между рядами лозъ, опустошая вкусныя ягоды, а другая замышляетъ всякія ковы противъ сумки мальчика и говоритъ себѣ, что не оставитъ мальчика въ покоѣ раньше, чѣмъ онъ не положитъ свой завтракъ на землю. Онъ же плететъ изъ соломы прекрасную ловушку для кузнечиковъ, скрѣпляя ее тростникомъ; и не заботится ни о сумкѣ, ни о виноградныхъ лозахъ: такъ онъ занятъ плетеньемъ»¹⁾.

Кончилъ божественный Теокрытъ описаніе своей вазы и сулитъ ее своему другу, если тотъ споетъ ему пѣсню. И началась пѣсня, наивно-юная и ясная, какъ небо, которое подымалось голубымъ шатромъ надъ сицилійскими выходцами изъ Эллады. А нашъ бѣдный Китсъ сидитъ надъ урной и не столько любитъ ея, сколько льетъ въ нее романтическія слезы и твердитъ намъ: «только красота есть истина, только истина есть красота», стараясь увѣрить себя въ томъ, что дѣйствительность отнимаетъ у него, борясь и въ своемъ восхищеніи «аттическими формами» съ отрицателями красоты. У грека же не было этой борьбы, какъ не было необходимости взывать меланхолически къ красотѣ: она была разлита вокругъ него, онъ дышалъ ею, и ему въ голову не приходило поднимать жалобы къ небу на потерю Прекраснаго...

Возвратимся къ Моррису, котораго мы, впрочемъ, и не

¹⁾ Theocr. idyll. I, 29—54.

покидали, ибо сравнение Китса и Теоокрита даетъ намъ ключъ для пониманія общаго отношенія романтиковъ къ античному міру. Въ слѣдующемъ, самомъ обширномъ произведеніи Морриса,—я говорю о его «Земномъ раѣ»,—классическій и романтический элементы тѣсно переплетены, и переплетены не только въ силу разнообразія сюжетовъ изъ классической древности, средневѣковаго міра, скандинавскихъ сагъ и пр., но и вслѣдствіе общаго поэтического міровоззрѣнія автора: въ самыхъ классическихъ по внѣшнимъ контурамъ вещахъ колоритъ, т.-е. настроеніе поэта, романтическое. Развѣ въ его «Купидонѣ и Психеѣ» исторія бѣдной любовницы Эрота не напоминаетъ средневѣковой темы объ искупляющей силѣ страданій и несчастья? Развѣ его Персей въ «Судьбѣ короля Акризія» не есть родной братъ средневѣковыхъ паладиновъ, спасающихъ прелестныхъ дамъ отъ чудовищъ? А разговоръ Пигмалиона съ оживленной по волѣ Венеры статуей, въ которую влюбился самъ ваятель? Слушайте:

«Тогда они вошли въ прекрасный садъ, и онъ рассказалъ ей всю исторію его любви, и когда дружной четой они проходили по росистой травѣ, онъ видѣлъ, при сіяніи взошедшаго мѣсяца, какъ у нея текли свѣтлыя слезы; и, смѣлѣя, онъ остановился и сказалъ: о, любовь моя, что значитъ это? И слѣдуютъ ли всегда слезы за земнымъ блаженствомъ? Тогда она обвила свои бѣлыя руки вокругъ его шеи и, рыдая, сказала: о, возлюбленный, ты хочешь знать, отчего мнѣ больно? Когда впервые я узнала сладость жизни, я не чувствовала еще этого, но когда я увидѣла впервые тебя, небольшое страданіе и великое счастье поднялись въ моей душѣ, а теперь отъ твоихъ рѣчей все растетъ и растетъ и мое горе, и мое наслажденіе...»¹⁾

Эта рыдающая любовь и это наслажденіе, приправленные горемъ, и эта чета любовниковъ, анализирующая при лунѣ, что они чувствуютъ и почему они плачутъ, все это, если хотите, прелестно и высоко-поэтично, но только это не антич-

¹⁾ The Earthly Paradise, t. II: «Pygmalion and the Image».

ная любовь: несчастная страсть у грековъ знала и горькія слезы, и безсонныя ночи; счастливая любовь не теряла у нихъ времени на эти меланхоличныя приправы. Вспомните Париса, который не успѣлъ вырваться цѣлымъ изъ поединка съ Менелаемъ, какъ обращается къ Еленѣ съ предложеніемъ: «насладимся, возлегли, любовью, ибо никогда еще любовь не охватывала такъ мою душу...»¹⁾

Но это не столько критика, сколько опредѣленіе характера книги. Самъ авторъ не скрываетъ своего романтическаго отношенія къ пестрому міру всевозможныхъ легендъ, составляющихъ содержаніе Земного рая. Въ послѣсловіи, представляющемъ вмѣстѣ съ тѣмъ посвященіе или, какъ говорилось въ средневѣковой литературѣ, *envoi* своего произведенія, Моррисъ прямо называетъ своимъ учителемъ, великимъ и по сердцу, и по языку, знаменитаго Джеффри Чосера, отца англійской поэзіи. Самый прологъ «Земного рая» приглашаетъ прежде всего читателей перенестись въ ту эпоху, когда жилъ и дѣйствовалъ великій учитель, и приглашаетъ въ такой глубоко прочувствованной формѣ, что я не могу не привести это начало.

«Забудьте о шести графствахъ, заволакиваемыхъ дымомъ, забудьте о сопѣннй пара и ударѣ поршней, забудьте о широко раскинувшемся отвратительномъ городѣ; вообразите себѣ навьюченную лошадь, сходящую къ берегу, и вызовите мечтой маленькой, бѣлой и чистой Лондонъ и свѣтлую Темзу, обрамленную зелеными садами; вообразите, что тамъ, ниже моста, зеленые же плещущія волны рѣки бьются о небольшое число кораблей, которые нагружены бондарными клепками, срубленными въ тисовыхъ рощахъ на сожженныхъ солнцемъ холмахъ Леванта; и высокими глиняными сосудами, что руки грековъ наполнили оливковымъ масломъ; и небольшимъ количествомъ драгоценныхъ пряностей изъ какой-нибудь далекой заморской страны; и флорентійскими золотыми парчами, и тонкимъ сто-

¹⁾ Ἀλλ' ἄγε δὴ φίλοισι τραπέμεν εὐνηθέντο. Οὐ γὰρ πόποτε μ' ὥδε ἔρωσ φρένας ἀμφεκάλυψεν. Iliad., III, ст. 441—442.

ловымъ бѣльемъ изъ Иперна, и сукнами изъ Брюгге, и бочками съ виномъ изъ Гіэнни; между тѣмъ какъ возлѣ загроможденной народомъ набережной перо Джеффри Чосера бѣжитъ по представляемымъ ему накладнымъ,—вотъ въ какія времена будутъ жить пустыя маріонетки моего риёмованнаго сказанія» ¹⁾).

Мы снова встрѣчаемся здѣсь съ ненавистью поэта къ капиталистическому строю, разрушившему красоту старинной Англіи. Отрясая пыль съ ногъ своихъ на копотъ и давку современнаго города, Моррисъ приглашаетъ насъ перенестись во времена того поэта, который къ концу 60-хъ годовъ сталъ любимымъ прототипомъ самого автора. «Земной рай» не только духомъ, но и способомъ трактованія сюжета живо напоминаетъ Чосера, насколько поэтъ XIX-го вѣка можетъ произвести иллюзію поэта XIV-го. Возьмите знаменитые «Кентерберійскіе рассказы» Чосера. Въ его фабулѣ 29 различныхъ персонажей, отправившись на поклоненіе мощамъ Томаса Бекета, сходятся вмѣстѣ и въ теченіе четырехъ дней совмѣстнаго путешествія успѣваютъ рассказать другъ другу 24 исторіи, взятыхъ изъ всевозможныхъ эпохъ и у разныхъ народовъ, при посредствѣ греческихъ, латинскихъ, итальянскихъ, французскихъ авторовъ и средневѣковыхъ народныхъ легендъ, то поэтическихъ, то изрядно циничныхъ. У Морриса фабула болѣе фантастическая и болѣе возвышеннаго рода. Давно, видите ли, въ средніе вѣка, во время страшной чумы, нѣсколько смѣлыхъ мореплавателей норвежцевъ рѣшили оставить опустошаемую язвой родину и отправиться за океанъ искать «земной рай», страну, гдѣ нѣтъ ни смерти, ни горестей. Послѣ всевозможныхъ приключеній за морями, среди дикихъ народовъ, которые то устраиваютъ имъ засаду, то почитаютъ ихъ, какъ боговъ, усталые душой и тѣломъ путешественники попадаютъ, нако-

¹⁾ The Earthly Paradise, I, Prologue.—Чосеръ (1340—1400), сынъ богатаго виноторговца, придворный пажъ, дипломатъ и поэтъ, былъ въ теченіе 12 лѣтъ таможеннымъ контролеромъ. Отсюда—намекъ Морриса на «накладныя».

нецъ, на цвѣтущей островъ, населенный потомками выходцевъ изъ Эллады, дружелюбно встрѣчены старѣйшинами и рѣшаются здѣсь провести остатокъ дней своихъ, бросивъ свои мечты о «земномъ раѣ». Два раза въ мѣсяцъ жители страны устраиваютъ общественное пиршество въ честь гостей, и на этомъ праздникѣ и хозяева, и пришельцы рассказываютъ другъ другу исторіи, одни изъ греческой древности, другія изъ средневѣковой рыцарской эпохи или изъ скандинавской сѣдой старины. Всѣхъ исторій, какъ и у Чосера, рассказано 24, по двѣ на каждый мѣсяцъ, и каждая шесть исторій, обнимающія три мѣсяца или одно изъ временъ года, весну, лѣто, осень и зиму, составляютъ предметъ особаго тома. Отсюда—первоначальное раздѣленіе «земнаго рая» на четыре части или тома.

Романтическое міровоззрѣніе автора связываетъ воедино эту пеструю галлерею легендъ. Цитирую наиболѣе выдающіяся изъ нихъ. Вотъ «Бѣгъ Аталанты», который вводитъ насъ въ легендарную Грецію, при чемъ авторъ, свободно обращаясь съ мифическимъ матеріаломъ, сливаетъ въ одну фигуру двухъ греческихъ Аталантъ, беотійскую и аркадскую. Вотъ средневѣковая извѣстная легенда о «Человѣкѣ, которому суждено было быть королемъ». «Судьба короля Акризія» снова погружаетъ насъ въ античный міръ, и передъ нами проходитъ сначала легенда о «Данай и золотомъ дождѣ-Юпитерѣ, затѣмъ легенда о Персеѣ и Андромедѣ. «Сказаніе о Гордомъ королѣ» переноситъ насъ въ средніе вѣка, тогда какъ «Исторія Купидона и Психеи» возвращаетъ насъ къ греко-римскому міру, и именно къ періоду, когда поэзія явилась помощницей платоновской философіи. Мотивы «Тысячи и одной ночи» довольно ясно слышатся въ страшной сказкѣ о «Надписи на статуѣ», хотя дѣйствіе происходитъ въ Римѣ. Насъ ждетъ снова греческій міръ въ «Любви Алкесты», супружеское самоотверженіе которой явилось предметомъ столькохъ легендъ у грековъ. И Эллада же доставляетъ матеріалъ для «Пигмалиона и статуи». А вотъ и герой средневѣковаго французскаго романа изъ рыцарской жизни, «Огирь-датчанинъ» (Ogier-le-Danois французовъ), свершитель великихъ подвиговъ и счастливый любов-

никъ феи Морганы. Въ сказаніи о «Золотыхъ яблокахъ» авторъ рисуетъ намъ Геркулеса, отправляющагося въ садъ Гесперидъ на финикійскомъ кораблѣ, и мы остаемся среди цикла же греческихъ легендъ въ «Смерти Париса». Народныя норвежскія сказки среднихъ вѣковъ послужили матеріаломъ для «Земли на востокъ отъ солнца и на западъ отъ мѣсяца». Отголоски, родственные «Тысячи и одной ночи», слышатся въ повѣсти о «Человѣкѣ, который никогда болѣе не смѣялся»; и героически-сумрачный міръ скандинавской поэзіи раскрывается передъ нами въ «Любовникахъ Гудруны»...

Порою растянутыя, но чаще прельщающія замѣчательнымъ мастерствомъ формы и проникнутыя по большей части плѣнительно-мистическимъ духомъ, легенды «Земного рая», какъ могъ уже видѣть читатель, облетаютъ на крыльяхъ фантазіи весь сказочный міръ человѣчества. Но замѣчательно, что нигдѣ ученикъ «великаго учителя» не вводитъ того элемента юмора и простонароднаго, мѣстами циническаго реализма, который такъ своеобразно скрашиваетъ романтическія исторіи Чосера. У Морриса вы не найдете ничего подобнаго ни грубымъ, но забавнымъ рассказамъ подвыпившаго мельника, ни скабрёзной исповѣди многожужней вдовы изъ города Баса (Bath), ни ужасно неприличной мѣстами легенды служителя при епископѣ. Отсутствуютъ даже и тѣ поразительно-естественныя замѣчанія трактирщика, которыя не безъ мастерства вносятъ въ этотъ міръ фантазіи элементъ реальной дѣйствительности. Я уже сказалъ, что Моррисъ вообще возвышеннѣе Чосера. И тутъ дѣло идетъ не только о грубомъ характерѣ средневѣковой поэзіи, которая пересыпала свои произведенія крупно-зернистой солью цинизма и тривіальности. На Моррисѣ, помимо всего прочаго, отразилось вліяніе прерафаэлизма, ищущаго «многозначительнаго сюжета» и думающаго пропагандировать образами извѣстный возвышенный идеалъ. Несмотря на желаніе поэта быть ни больше, ни меньше, какъ «празднымъ пѣвцомъ досужаго дня», у его фантазіи вырастаетъ невольная задача: не спускаясь до жизненныхъ интересовъ и злобы дня, воздер-

жаться и отъ воспѣванія грубо-чувственныхъ и грязныхъ элементовъ, на которые такъ падки жрецы якобы «чистаго искусства». Правда, иногда самъ легендарный матеріалъ заставляетъ его рисовать героевъ и героинь, не вполне удовлетворяющихъ современныхъ моралистовъ: примѣръ—Гудруна, пригибающая все въ угоду своей страсти. Но авторъ трактуетъ этотъ предметъ серьезно и въ духѣ старинной эпохи, такъ что читатель гораздо болѣе интересуется психическимъ складомъ этихъ людей, чѣмъ шокируется ихъ несоблюденіемъ того, что мы считаемъ нравственнымъ.

Не надо, однако, думать, что это приподнятое, такъ сказать, настроеніе автора отзывается не только на духѣ его произведеній, но и на манерѣ его рисовать детали картины. Опять-таки, какъ подобаешь вдумчивому прерафаэлиту, онъ въ рисовкѣ подробностей не только не расплывчатъ, но умѣетъ ихъ даже представить очень реально и правдиво. Я не буду говорить о вѣрности контуровъ его древнихъ пейзажей или средневѣковаго города,—сфера, въ которой онъ точенъ, какъ археологъ. Но вотъ вамъ въ извѣстномъ родѣ народный элементъ, описаніе простой фермы. Герой его рассказа, крестьянскій сынъ, возвращается изъ очарованнаго царства фей къ себѣ домой, въ Норвегію. Посмотрите теперь вмѣстѣ съ нимъ на эту глубоко-реальную и вмѣстѣ поэтичную картину, которая вдругъ вырѣзывается изъ золотого тумана фантазіи:

«Была осень. И все казалось такъ прекрасно его мирному сердцу. Среди тишины и безвѣтрія зрѣлые плоды падали отъ времени до времени на землю. Тѣни отъ широкихъ сѣрыхъ листьевъ ложились на овсяные снопы, когда онъ прошелъ возлѣ изгороди. Затрещалъ исполохнутый дроздъ, слетѣвъ съ тисоваго дерева у воротъ; его пестренькая самка осталась ждать, вытянувъ клювъ. Высокій и поджарый пѣтушокъ, вылупившійся въ мартѣ, звонко закричалъ, тогда какъ его старшій товарищъ зарылъ свои упругія косицы въ пыль, устало лежавшую на солнцѣ. Старый и кривой возовикъ, Бурка, привыкшій таскать навозъ, ковылялъ кругомъ, подбирая легкую солому съ земли. И любопытными глазами селезень всматри-

вался въ полумракъ сосѣдней риги, гдѣ теперь на минуту прекратился стукъ, и стала улегаться пыль»¹⁾).

Я думаю, эту рельефную до галлюцинаціи сцену мы найдемъ развѣ только у великихъ жанристовъ голландской школы, въ родѣ Тенирса!...

Произведение «Довольно любви, или освобожденіе Фарамунда»²⁾, вышедшее, какъ я уже сказалъ выше, въ 1872 г., принадлежитъ къ разряду нравственныхъ аллегорій, которыя были такъ распространены въ средневѣковой литературѣ: Моррисъ даже даетъ ему въ заглавіи терминъ «Morality», употребившійся въ такихъ случаяхъ. Это восторженный гимнъ любви, ведущей человѣка въ «Домъ исполненія страстнаго желанія» (House of Fulfilment of Craving). Конецъ 60-хъ и большую часть 70-хъ годовъ Моррисъ посвятилъ также поэтическимъ переводамъ. Такъ, въ 1876 году онъ перевелъ «Энеиду» Виргилія, и переводъ этотъ по изяществу и силѣ стоитъ неизмѣримо выше стихотворныхъ же переводовъ Конингтона и судьи Боуэна (Bowen)³⁾. Но особенно замѣчательны его переводы и переработки съ стариннаго скандинавскаго, которые были сдѣланы имъ при участіи извѣстнаго исландскаго ученаго, Магнуссона. Кстати сказать, поводомъ къ этимъ занятіямъ послужило путешествіе, совершенное Моррисомъ лѣтомъ 1871 г. въ Исландію и произведшее сильное впечатлѣніе на эту поэтическую, горѣвшую огнемъ вѣчнаго энтузіазма душу. Самостоятельная, но очень близкая къ духу подлинника передѣлка исландскаго легендарнаго міра была уже дана имъ въ «Любовникахъ Гудруны», составляющихъ одну изъ послѣднихъ исторій «Земного рая». Другой такой самостоятельной и въ то же время близкой къ подлиннику передѣлкой явилась «Исторія Сигурда Вольсунга»⁴⁾, которую многіе критики считаютъ

¹⁾ «The Land East of the Sun and West of the Moon»; въ *Earthly Paradise*, III.

²⁾ *Love is Enough, or the Freeing of Pharamond. A Morality*.

³⁾ Позже, въ 1887, онъ перевелъ и «Одиссею».

⁴⁾ *The Story of Sigurd the Volsung*; 1876.

за одно изъ лучшихъ эпическихъ произведеній Морриса. Что касается до собственно переводовъ, то изъ нихъ надо упомянуть «Исторію Греттира Сильнаго», «Сагу о Вольсунгахъ» и «Три сѣверныхъ любовныхъ исторіи»¹⁾.

Здѣсь, конечно, нечего входить въ содержаніе этого сѣвернаго обще-германскаго эпоса. Онъ болѣе или менѣе сталъ популяренъ и среди большой публики со времени вагнеровскаго «Кольца Нибелунговъ». Интересно отмѣтить лишь то обстоятельство, что истинное поэтическое чутье и здѣсь толкнуло Морриса къ эпосу въ его первоначальной формѣ, какъ намъ сохранили его двѣ редакціи (стихотворная и прозаическая) исландской Эдды и исторія о Вольсунгахъ и пр., а не въ позднѣйшей передѣлкѣ «Пѣсни о Нибелунгахъ». Гриммъ уже довольно давно доказалъ, что какова бы ни была эпоха окончательной редакціи Эдды и пѣсни о Нибелунгахъ, особенности міровоззрѣнія первой заставляютъ отнести время первоначальнаго возникновенія ея поэтическихъ элементовъ къ VIII-му, а можетъ быть, и VI-му вѣку, стало быть, гораздо раньше второй. Правда, и Вагнеръ пользуется для своей драматической тетралогіи исландской сагой. Но онъ останавливается на полдорогѣ и обрываетъ нить своей передѣлки на самоубійствѣ Брингильды, которая не можетъ вынести смерть Сигурда, погибшаго жертвою ея же коварства. Моррисъ въ своей эпической переработкѣ не боится сдѣлать еще нѣсколько шаговъ и рисуетъ намъ дальнѣйшія перипетіи этой кровавой и сложной саги. Онъ описываетъ намъ бракъ вдовы Сигурда, Гудруны, съ могучимъ королемъ Атли. Онъ рисуетъ намъ смерть братьевъ Гудруны отъ руки Атли и заканчиваетъ страшной местию, которую Гудруна обрушиваетъ на второго своего мужа и прижитыхъ съ нимъ дѣтей за гибель своихъ братьевъ. Только въ этой редакціи Гудруна возстаетъ передъ нами во весь ростъ трагической героини стариннаго родового строя, которая прощаетъ своимъ братьямъ, «пьетъ съ ними чашу забвенія» послѣ

¹⁾ *The Story of Grettir the Strong*, 1869.—*The Volsunga Saga*, 1870.—*Three Northern Love Stories*, 1875.

того, какъ они убиваютъ, по наущенію Брингильды, ея любимого мужа-героя, но которая безпощадно стираетъ съ земли вмѣстѣ со всѣмъ потомствомъ убійцу ея братьевъ и гордо остается «одинокимъ, какъ осина въ лѣсу». Напомню читателю, что менѣе древняя Кримгильда Нибелунговъ (фигура, соответствующая Гудрунѣ «Исторіи Сигурда Вольсунга») подстрекаетъ, наоборотъ, своего второго мужа убить ея братьевъ, виновниковъ смерти первого ¹⁾. Что взялъ Моррисъ изъ «Пѣсни Нибелунговъ», такъ это ея замѣчательный стихъ (такъ называемая длинная строка съ шестью тоническими удареніями). Не лишнимъ будетъ замѣтить, что основная «мораль» Эдды, это—проклятіе, которое легло на людей и даже на самихъ боговъ съ той поры, какъ Рейдмаръ и его сыновья похитили золотое сокровище у водяного эльфа Андвари при помощи злого Локки, и желтое сіяніе металла зажгло въ сердцѣ смертныхъ лютую алчность и вражду. Вспомните страшную сцену убійства Рейдмара его сыномъ, Фафниромъ, и безумныя слова убійцы, обращенныя къ испуганному брату:

«Да, это я убилъ своего отца Рейдмара, чтобы владѣть одному Золотомъ мрачныхъ подземелій, этой свѣчею глубинъ... Отнынѣ я буду жить одинъ и я буду сидѣть надъ золотомъ и его проклятіемъ... Смотри, я здѣсь—король, и король навсегда, и одинъ я буду оставаться у золота, и не буду раскаиваться ни въ чемъ, сдѣланномъ мною, и не потерплю ни одного слова» ²⁾.

V.

Я теперь перехожу къ очень интересному, такъ сказать, узловому пункту въ идейномъ развитіи Морриса. Какимъ образомъ этотъ тонкій художникъ, этотъ страстный артистъ

¹⁾ См. замѣчательное истолкованіе этого контраста Бахофеномъ въ его «Antiquarische Briefe» (Страсбургъ, 1880), гл. XX, «Bruder und Schwester in der Chrimhildsage der Nibelungen» (стр. 169—177) и гл. XXI, «Bruder und Schwester in der Chrimhildsage der Edda» (стр. 178—188).

²⁾ Story of Sigurd the Volsung.

и «праздный пѣвецъ досужаго дня» въ концѣ 60-хъ годовъ, какимъ образомъ онъ превратился въ агитатора, пропагандиста и одного изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ въ социально-политическомъ движеніи Англіи 80-хъ и 90-хъ годовъ? Всякій такой психологическій вопросъ предполагаетъ извѣстную гадательность въ рѣшеніи. Но у насъ есть теперь достаточно данныхъ для болѣе или менѣе правдоподобнаго отвѣта на этотъ вопросъ.

Моррисъ не принадлежитъ, насколько я понимаю его характеръ, къ типу людей, развивающихся внезапными скачками. Его впечатлительность, его способность къ энтузіазму несколько не исключали внутренней гармоніи натуры. Не внезапный переломъ превратилъ автора «Земного рая» и талантливаго декоратора въ пѣвца «Грядущаго дня» и оратора въ Трафальгарскомъ скверѣ или въ Гайдъ-паркѣ. Это превращеніе было логическимъ развитіемъ его разносторонней личности. Мы видимъ ту прочную и изящную ткань, которая составляетъ міровоззрѣніе покойнаго. Изъ какихъ же нитей соткалъ ее неустанный и безшумный станокъ мысли замѣчательнаго чловѣка? Всѣ эти нити и идейныя направленія уже существуютъ въ томъ періодѣ жизни и литературной дѣятельности Морриса, который мы оставили за собой. Вдохновимся же примѣромъ самого эстета, воссоздававшего процессъ стариннаго тканья при помощи чтенія, наблюденія и размышленія, и соединимъ въ одно разрозненные элементы.

Читатель уже могъ видѣть вліяніе на Морриса прерафаэлитизма съ его «многозначительнымъ сюжетомъ» (Рэскинъ), его «пропагандою какого-нибудь великаго принципа» (Гэнтъ), его «соціальнымъ характеромъ средневѣковаго творчества» (Россетти). Въ предисловіи Морриса къ «Земному раю», авторъ, правда, говоритъ о своемъ правѣ быть «празднымъ пѣвцомъ досужаго дня». Но во всей этой разнообразной серіи поэмъ видна жажда автора пропагандировать свой эстетическій идеалъ. И этотъ идеалъ—возможность приобщенія людей къ дѣйствительному, а не на словахъ только наслажденію красотой. Мало того, авторъ повсюду старается держаться на почвѣ

возвышенныхъ стремленій. Не разъ въ его прелестныхъ разсказахъ прорывается даже въ извѣстной степени общественная жилка, поучающая читателя образцами энергической дѣятельности героевъ ради блага ихъ ближнихъ или славы «въ памяти людей» (типы Аргонавтовъ, Геркулеса, совершающаго подвиги, Персея, самоотверженной Алкесты).

Но присмотримся поближе и къ его эстетическому идеалу. Этотъ идеалъ—искреннее, дѣйственное служеніе красотѣ, т.-е. не только эгоистичное наслажденіе ею, но потребность привлечь къ этому наслажденію людей-братьевъ. Этого можетъ быть, не поймутъ уродливые эстеты, любовь которыхъ не сопряжена съ дѣлами и потому мертва есть. Но это пойметъ истинный, активный поклонникъ красоты, который хочетъ, чтобы наслажденіе прекраснымъ находило отзвукъ въ душѣ окружающихъ, и чтобы все расширялся и расширялся эстетическій горизонтъ людей. Здѣсь Моррисъ уже рано столкнулся съ явленіями, которыя идутъ наперекоръ этому желанію и которыя тѣмъ не менѣе неразлучны съ современнымъ строемъ. За что ни возьмется онъ на поприщѣ служенія красотѣ, его повсюду ждетъ горькое разочарованіе. Онъ горячо пропагандируетъ произведенія Браунинга и тутъ же долженъ признать, что публика зачастую его не понимаетъ въ силу «фривольнаго невѣжества и лѣнності». Откуда это невѣжество и эта лѣнность въ эстетическихъ вещахъ? Оттого, что большинство современныхъ людей занимаются лишь внѣшней стороной жизни, потребностью ѣсть, пить, обдѣлывать дѣлишки, для того, чтобы снова ѣсть, пить, и заниматься дѣлишками. Но имъ и въ голову не приходитъ серьезно вдумываться въ мысль автора и всѣмъ сердцемъ отдаваться наслажденію художественнымъ образомъ.

Поступаетъ Моррисъ къ Стриту для занятій архитектурой. Новое разочарованіе: его руководитель старается прежде всего зашибить деньгу, а тамъ, что у него выйдетъ изъ «реставраціи», это дѣло его касается лишь съ рыночной стороны. Надо, чтобы подмалевываніе и передѣлываніе старыхъ зданій удовлетворяло низменному идеалу денежныхъ людей. Но не будетъ

ли совершенъ при этомъ какой-нибудь актъ вандализма, подобное опасеніе очень мало останавливаетъ спеціалиста по части «скребки».

Моррисъ махаетъ рукой на официальное зодчество и старается воспитывать свой вкусъ на художественныхъ памятникахъ минувшей эпохи. И что же? Ему приходится присутствовать при разореніи этихъ замѣчательныхъ образцовъ жадными до «коммерческаго барыша» торгашами, которые для постройки гигантскихъ фабрикъ, рабочихъ казармъ и безвкусныхъ домовъ эксплуататоровъ не остановятся передъ уничтоженіемъ самыхъ замѣчательныхъ созданій былого искусства (вспомните его жалобы на опустошенія, произведенныя въ Руанѣ, Оксфордѣ и пр.).

Бросается Моррисъ на пропаганду эстетическихъ идеаловъ и подкрѣпленіе этой пропаганды поэтическимъ творчествомъ—въ результатѣ его «Защита Гуиневры» идетъ цѣликомъ на бумажную фабрику и послужить, можетъ быть, въ концѣ концовъ, на печатаніе торговыхъ преискурантовъ отъ какого-нибудь склада виски и портера.

Наконецъ, Моррисъ попадаетъ на дорогу, гдѣ его жажда эстетической пропаганды можетъ быть удовлетворена въ рамкахъ современнаго строя, ибо фирма «Моррисъ и К^о» становится серьезнымъ коммерческимъ предпріятіемъ. Но и здѣсь сколько и положительныхъ и отрицательныхъ уроковъ получаетъ его серьезный и полный энтузіазма умъ! Во-первыхъ, онъ находитъ, что попытка внесенія художественнаго элемента въ жизнь людей увѣнчивается, съ одной стороны, успѣхомъ, ибо дешевыя произведенія фирмы хорошо расходятся какъ разъ между тѣми классами населенія, на которые привилегированные господа любятъ смотрѣть сверху внизъ. Но, съ другой стороны, наиболѣе изящныя вещи не могутъ найти доступа въ широкую публику именно по причинѣ ихъ цѣны, которая, наоборотъ, дѣлается для знатныхъ и денежныхъ снобовъ однимъ лишнимъ способомъ отличить себя отъ презрѣнной черни (вспомните бутаду Морриса насчетъ глупцовъ, покупающихъ его ковры). Этимъ поучительные уроки артистиче-

скаго предпріятія не ограничиваются. Моррисъ все больше и больше долженъ приходить въ негодованіе отъ низменнаго характера современнаго капиталистическаго производства, наводняющаго рынокъ горами однообразныхъ, дешевыхъ и дрянныхъ продуктовъ и являющагося рѣшительнымъ препятствіемъ его эстетическому міровоззрѣнію. Возникаетъ цѣлый рядъ вопросовъ, влекущихъ за собой цѣлый же рядъ отвѣтовъ. Почему такъ однообразны и плохи обыкновенные предметы потребленія? Потому что они фабрикуются исключительно при помощи гигантскихъ машинъ, вокругъ которыхъ до изнеможенія работаютъ дурно оплачиваемые пролетаріи, съ отвращеніемъ производящіе всю эту коммерческую дрянъ главнымъ образомъ для того класса, къ которому они сами принадлежатъ. Что нужно для того, чтобы эти предметы потребленія были, наоборотъ, дѣйствительно достойны «вѣнца творенія»? Надо, чтобы тамъ, гдѣ это возможно безъ ущерба для общественнаго производства, одуряющій трудъ при машинѣ наемнаго рабочаго уступилъ мѣсто художественному, любовному выполненію извѣстной технической задачи свободнымъ и счастливымъ работникомъ-артистомъ при помощи спеціальнаго инструмента. Такъ, по крайней мѣрѣ, занимались своей дѣятельностью участники фирмы; такъ они формировали свой персоналъ рабочихъ-артистовъ, скорѣе друзей, чѣмъ наемниковъ «Морриса и К^о». Но и этого мало. Какъ поддержать на высотѣ художественныхъ задачъ производителя продуктовъ? Давая ему возможность участвовать во всѣхъ благахъ цивилизации, открывая ему путь ко всестороннему развитію, усложняя его потребности умственныя, физическія и нравственныя и создавая общественную среду, способную удовлетворять эти все растущія, все болѣе утонченныя потребности.

Но въ чемъ должно заключаться основаніе этой новой общественной среды? Въ замѣнѣ современной конкуренціи между людьми ихъ сотрудничествомъ. Не забудемъ, что въ среднихъ вѣкахъ, которые были любимѣйшей эпохой Морриса, нашъ поэтъ и артистъ, и археологъ долженъ былъ найти этотъ идеалъ сотрудничества, но идеалъ, затемненный грубостью

тогдашнихъ политическихъ формъ и недостаткомъ положительныхъ знаній. Средневѣковая община, средневѣковой цехъ заключали въ себѣ начало кооперации, которое было разрушено капиталистической конкуренціей, основанной на взаимной борьбѣ мятущихся, ничѣмъ не связанныхъ между собой людей-атомовъ. Моррису оставалось сдѣлать одинъ шагъ. И этотъ шагъ былъ сдѣланъ имъ на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ. Отъ эстетической ненависти къ капитализму, которая характеризовала выдающихся прерафаэлитовъ въ родѣ Рэскина, Моррисъ пришелъ къ теоретической и практической борьбѣ съ капиталомъ, которая ввела его въ центръ жизненнаго движенія нашей эпохи, движенія социалистическаго. И прекрасная утопія приняла для Морриса осязательныя формы, а красота, являвшаяся для него высшимъ принципомъ человѣческой жизни, перешла на служеніе человѣчеству.

Прислушайтесь на минуту къ пламеннымъ проклятіямъ Рэскина, которыя этотъ эстетикъ и филантропъ-тори расточаетъ по адресу капитализма:

«По мнѣнію лорда Дэрби, мы должны срубить всѣ наши деревья, чтобы безпрепятственно предаться земледѣлію, основанному на паровыхъ машинахъ. А результатъ такого земледѣлія, это—то, что англійскій крестьянинъ не въ правѣ уже имѣть ни семейнаго гнѣзда, ни дѣтишекъ, и только тогда можетъ разсчитывать на нѣкоторое благосостояніе, если обнаружитъ замѣчательное пониманіе дѣла, воздержанность и честность и лишитъ себя, по меньшей мѣрѣ до 45 лѣтъ такъ называемой «роскоши брачной жизни»¹⁾).

Очень чувствительно, что и говоритъ! Но изъ всѣхъ этихъ благородныхъ жалобъ ничего не выйдетъ, если у краснорѣчиваго врага капитализма нѣтъ ни малѣйшаго пониманія основнои сути вопроса, и если трудную задачу онъ, не говоря уже, рѣшаетъ, а ставитъ въ ребячески наивной формѣ. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, что Рэскинъ говоритъ еще въ другомъ мѣстѣ:

«Различіе между рабочими и праздными людьми, какъ

¹⁾ John Ruskin, *Love's Meinie*, I; 1882 (въ главѣ, носящей подзаглавіе «The Robin»).

между негодяями (knaves) и честными, проходит через самое сердце и глубину души у людей всякого класса и всякого общественного положения. Рабочий класс—сильный и счастливый—существует среди богатых и бедных; праздный класс—слабый, злой и жалкий—точно также и среди богатых и среди бедных. И самое плачевное недоразумение, возникающее между двумя сословиями (the two orders), проистекает из того несчастного факта, что мудрые люди из одного класса презирают по обыкновению безумцев, принадлежащих к другому... Нѣтъ никакого классового различия между лѣнивыми и трудолюбивыми людьми»¹⁾.

Уже одна неясная и плохая форма, поражающая здѣсь у такого великаго мастера прозы, какимъ является обыкновенно Рэскинъ, достаточно указываетъ на сумбуръ, царящій по спеціальнымъ вопросамъ въ головѣ эстетика-филантропа. Не мудрено, что отъ этихъ сѣтованій онъ не можетъ перейти ни къ чему положительному и предлагаетъ лишь читателю совершить съ нимъ отдохновительную экскурсію изъ несчастной Англіи лорда Дэрби въ «счастливую Англію временъ Чосера».

Не то Моррисъ: каково бы ни было на него вліяніе Рэскина по эстетическимъ вопросамъ, онъ въ концѣ 70-хъ годовъ оставляетъ далеко за собой этого фантазера въ области общественныхъ задачъ и рѣшительно продвигается далѣе. Уже въ своихъ пяти лекціяхъ по искусству, читанныхъ имъ въ Бирмингемѣ между 1878 и 1881 г. о «Надеждахъ на искусство и страхахъ за него», Моррисъ изъ своихъ эстетическихъ посылокъ дѣлаетъ социальное заключеніе о необходимости такого труда, который «принесетъ трудящемуся удовольствіе и надежду вмѣсто страха и страданія и станетъ, наконецъ, искусствомъ для народа и при помощи народа,—радостью для того, кто занимался имъ, какъ и для того, кто имъ пользуется»²⁾. А съ 1881 г. Моррисъ формально переходитъ въ ряды социалистовъ Англіи.

¹⁾ См. лекцію Рэскина о «Трудѣ» въ его Crown of Wild Olive, 1866 г. (я цитирую по нью-йоркскому изданію 1890 г., стр. 6—7).

²⁾ Hopes and Fears for Art; 1881.

Описывать исторію англійскаго социалистическаго движенія не входитъ въ задачу этого этюда. Я укажу лишь самымъ бѣглымъ обзоромъ на нѣкоторые факты, исключительно съ цѣлью дать понять читателю, какія общественныя явленія поразили въ это время Морриса и опредѣлили окончательно мировоззрѣніе этого замѣчательнаго человѣка, которому тогда было уже подъ 50 лѣтъ. Послѣ чартистскаго движенія, подавленнаго окончательно въ апрѣлѣ 1848 г., послѣ временнаго пробужденія подъ вліяніемъ лондонскаго митинга 1864 г. (въ St Martin's Hall), основавшаго Международное товарищество, трудящіеся классы Англіи ушли цѣликомъ въ профессиональныя организаціи трэдъ-юніонизма. И до самаго начала 80-хъ годовъ и даже, точнѣе говоря, почти до 1885 г. эти профессиональныя организаціи держались принципа *laissez faire* и экономическаго невмѣшательства государства, а въ политикѣ шли на буксирѣ у либеральной партіи тогдашней эпохи¹⁾. Но новый духъ уже начиналъ вѣять. Прыжки въ экономической жизни, которая отъ остраго кризиса 1878—1879 г. переходила къ временному улучшенію 1881—1883 г., а затѣмъ снова возвращалась къ продолжительной и серьезной заминкѣ 1884—1887 г.; вліяніе книги Генри Джорджа о «Прогрессѣ и бѣдности» (Progress and Poverty), которая широко распространилась по всей Англіи въ 1880—1882 г. и, несмотря на теоретическую несостоятельность основныхъ положеній²⁾, возбудила броженіе умовъ своимъ планомъ «націонализациі» земли; популяризація «Капитала» Маркса въ рядѣ чтеній Гайндманомъ и другими,—все это создало благопріятную почву для новаго движенія и должно

¹⁾ См. объ этомъ въ добросовѣстной и документальной книгѣ супруговъ Уэббъ: Sydney and Beatrice Webb, The History of Trade Unionism, Лондонъ, 1894, глава VII «The Old and the New Unionism», стр. 360 и слѣд.

²⁾ См. замѣчательно сжатую и умную критику этого труда въ письмѣ Маркса къ Зоре въ книгѣ: Briefe und Auszüge aus Briefen von... Friedrich Engels, Karl Marx ... an F. A. Sorge und Andere; Штутгартъ, 1906, стр. 176—177.—Ср. мою статью «Тридцать лѣтъ рабочаго движенія и социализма» въ майской книжкѣ «Русскаго Богатства» за 1907 г., особенно стр. 79—81.

было увлечь чуткихъ и благородныхъ людей, а въ томъ числѣ и нашего энтузіаста.

Нѣкоторыя спеціальныя обстоятельства ускорили разъ начавшуюся для Морриса эволюцію взглядовъ. Въ теченіе долгаго времени онъ былъ по своимъ убѣжденіямъ типичнымъ англійскимъ либераломъ, и участвовалъ въ разныхъ организаціяхъ партіи въ 1879 г., занимая мѣсто казначея Національной Либеральной Лиги, а съ 1876 являясь однимъ изъ самыхъ активныхъ членовъ Ассоціаціи Восточнаго Вопроса. Правда, въ социальныхъ вопросахъ онъ отличался отъ своихъ единомышленниковъ болѣшимъ интересомъ къ тому неопредѣленному социализму, который произвелъ на него впечатлѣніе еще въ 50-хъ годахъ и съ которымъ онъ ознакомился изъ упомянутыхъ уже нами сочиненій Рэскина, Карлейля и Кингсли. Но на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ традиціонный виггизмъ или «игра въ вигство» (wiggery),—какъ вскорѣ заклеилъ презрительно это направление Моррисъ,—сталъ все болѣе и болѣе непріятно поражать его своимъ непониманіемъ величайшаго вопроса современности, вопроса социального. Вмѣстѣ съ тѣмъ Моррисъ былъ глубоко возмущенъ той политикой репрессій, которую либеральное министерство пустило въ ходъ, въ 1881 г., противъ Ирландіи, обрушившись, подъ предлогомъ нѣсколькихъ террористическихъ актовъ феніевъ, на злополучную страну съ арсеналомъ самыхъ драконовскихъ исключительныхъ мѣръ. Моррисъ почувствовалъ глубокое отвращеніе къ общественной дѣятельности своихъ прежнихъ единомышленниковъ и искалъ вокругъ себя новыхъ силъ и новыхъ организацій съ тѣмъ, чтобы примкнуть къ нимъ. Какъ разъ въ это время (мартъ 1881 г.) въ Лондонѣ была сдѣлана успѣшная попытка соединить радикальные, по преимуществу рабочіе клубы столицы и вообще страны въ одно цѣлое. По инициативѣ Гайндмана, Герберта Бэрроса (Burrows), Елены Тейлоръ,—падчерицы Джона Стюарта Милля,—и др. составила такъ называемая «Демократическая федерація», которая не была еще чисто социалистической, но отъ либеральныхъ организацій отличалась требованіемъ націонализаціи земли. Къ

концу слѣдующаго, 1882 г., сторонники послѣдовательнаго социализма взяли верхъ въ «Демократической федераціи», которая нѣсколько мѣсяцевъ спустя (сентябрь 1883 г.) въ отвѣтствіи съ этимъ стала называться «Соціально-демократической федераціей», и остававшіеся еще въ ней радикалы ушли, уступивъ мѣсто чистымъ социалистамъ. Моррисъ съ жаромъ (январь 1883 г.) присоединяется къ «федераціи» и сейчасъ же обнаруживаетъ, въ качествѣ члена ея, самую лихорадочную дѣятельность, не щадя для успѣха дѣла ни времени, ни усилий, ни денегъ. Свойственный ему энтузіазмъ загорается при знакомствѣ и соприкосновеніи съ поразившимъ его своей внутренней правдой и красотой движеніемъ, и міровоззрѣнію труда онъ остается вѣренъ въ теченіе всей послѣдующей жизни. Литературная, ораторская, организаціонная сторона идейнаго предпріятія временами почти цѣликомъ поглощаетъ Морриса. Онъ пишетъ съ этою цѣлью статьи въ издаваемомъ Федераціею журналѣ «Justice», читаетъ рефераты, произноситъ рѣчи на публичныхъ митингахъ. Хотя лично избѣгая полемики съ социалистами другихъ отбѣнковъ и вообще стараясь стоять на примирительной почвѣ, Моррисъ принужденъ, однако, принять участіе въ разногласіяхъ, вспыхнувшихъ среди Федераціи въ 1885 г., главнымъ образомъ, по вопросу объ избирательной тактикѣ. Въ то время, какъ большинство членовъ организаціи сочло возможнымъ на парламентскихъ выборахъ принять финансовую поддержку со стороны тори, которые рады были не мытьемъ, такъ катаньемъ повредить своимъ вѣчнымъ политическимъ противникамъ, либераламъ, меньшинство, и въ томъ числѣ Моррисъ, младшая дочь Маркса, Элеонора, и ея мужъ, докторъ Эвелингъ, рѣшительно возстаютъ противъ этого пріема и вообще противъ чрезмѣрнаго увлеченія избирательной и парламентарной дѣятельностью.

Этотъ расколъ ведетъ за собою отпаденіе отъ «Соціально-демократической федераціи» сторонниковъ второго, болѣе крайняго направленія. Моррисъ и его единомышленники образуютъ новую организацію подъ названіемъ «Социалистической лиги» и начинаютъ издавать свой еженедѣльный органъ «Com-

monweal» (Республика), скоро приобрьвшій значительную популярность не только въ рабочихъ, но и буржуазныхъ и интеллигентныхъ сферахъ. Выдающуюся роль, и какъ писатель, и какъ издатель, почти цѣликомъ поддерживавшій газету, играетъ и въ «Commonweal» Моррисъ, который лично составляетъ чуть не двѣ трети номера. Проза, стихи, публичныя лекціи въ разныхъ городахъ Англіи, — всякая форма пропаганды и агитаціи пускается въ ходъ могучей и разносторонней индивидуальностью Морриса, который за одну рѣчь, произнесенную въ сентябрѣ 1885 г. на митингѣ подъ открытымъ небомъ, даже арестуется, но вскорѣ выпущенъ на свободу. Эта кипучая дѣятельность нѣсколько ослабѣваетъ лишь съ 1887 г., когда и сама «Лига» начинаетъ клониться къ упадку и распаденію. Въ 1889 г. въ ней усиливаются чисто анархическіе элементы, которые въ началѣ являлись союзниками Морриса и его друзей въ борьбѣ съ черезчуръ игравшими въ парламентаризмъ членами «Федераціи», но чѣмъ дальше, тѣмъ больше подчеркивали свой аполитическій взглядъ, такъ что даже Моррисъ, въ общемъ сочувственно относившійся къ анархизму, какъ къ идеалу, но отрицавшій тактику его послѣдователей, выходитъ изъ «Лиги». Въ послѣдніе годы своей жизни Моррисъ старался примирить враждующія фракціи социалистической партіи, и въ частности принималъ участіе въ засѣданіяхъ такъ называемаго «Гаммерсмитскаго общества», собиравшагося въ его кварталѣ. Но вообще въ эти годы чисто политическая дѣятельность Морриса отходила на второй планъ передъ его артистической дѣятельностью въ качествѣ печатника роскошныхъ книгъ на средневѣковый ладъ. Годы за два до смерти здоровье Морриса значительно пошатнулось, и, конечно, это не могло не отразиться на его образѣ жизни. Онъ умеръ 3-го октября 1896 г., на 63-мъ году отъ роду, горячо сочувствуя социалистическому движенію и сожалья лишь, что слишкомъ поздно могъ отдать свои силы пропагандѣ идеаловъ свободной личности и гармоническаго общества.

Посмотримъ теперь на литературную карьеру Морриса въ послѣднюю эпоху его жизни, и для цѣльности впечатлѣній

остановимся сначала на его теоретическихъ вещахъ, а затѣмъ на его художественныхъ произведеніяхъ. Въ 1888 г. онъ перепечаталъ подъ общимъ заглавіемъ «Знаменія переменъ» нѣсколько своихъ статей и брошюръ по общественнымъ вопросамъ, дополнивъ ихъ однимъ-двумя этюдами, специально написанными для отдѣльнаго изданія. Уже одни заглавія этихъ статей и брошюръ, ставшихъ главами книги, даютъ довольно ясное понятіе о кругѣ вопросовъ, которыми авторъ занимается здѣсь, равно какъ характеръ ихъ рѣшенія. Главы эти слѣдующія: «Какъ мы живемъ и какъ мы могли бы жить»; «Виги, демократы и социалисты»; «Феодальная Англія»; «Надежды на цивилизацію»; «Цѣли искусства»; «Полезный трудъ въ противоположность безполезной работѣ»; «Заря новой эпохи».

Было бы долго излагать содержаніе книги. Приходится ограничиться существеннымъ. Замѣчу, прежде всего, что по экономическимъ вопросамъ Моррисъ, не мудрствуя лукаво, передаетъ взгляды автора «Капитала». Въ этомъ отношеніи интересно бываетъ временами лишь то, что спеціальныя знанія Морриса по художественной литературѣ и археологіи среднихъ вѣковъ подкрѣпляютъ воззрѣнія знаменитаго изслѣдователя капиталистическаго строя, — напр., когда Моррисъ рисуетъ сравнительное благосостояніе средневѣковой Англіи и ея грубую, но веселую жизнь ¹⁾. Но взгляды его на искусство этой эпохи заслуживаютъ особеннаго вниманія, ибо они подчеркиваютъ то очень знаменательное историческое явленіе, что, несмотря на всю грубость и насилие среднихъ вѣковъ, «промышленное производство не было тогда орудіемъ для грабежа низшихъ классовъ, тогда какъ теперь оно является главнымъ инструментомъ его въ рукахъ фабричныхъ лордовъ... Средневѣковый ремесленникъ былъ свободенъ въ своемъ занятіи; поэтому онъ старался сдѣлать его настолько привлекательнымъ, насколько могъ. Именно это-то удовольствіе, а не страданіе при работѣ, и дѣлало всѣ производимыя вещи прекрасными и разлило цѣлый сокровища человѣческой надежды и мысли на все,

¹⁾ См. Signs of change, стр. 87.

что ни производилъ этотъ человѣкъ, начиная отъ готическаго собора и кончая печнымъ горшкомъ»¹⁾.

Въ другомъ мѣстѣ, говоря объ условіяхъ привлекательности труда, Моррисъ высказываетъ надежду, что при правильномъ распредѣленіи труда между всѣми членами общества и прогрессѣ техническихъ знаній, низшія потребности человѣка будутъ легко удовлетворены при помощи машинъ, и употребленіе механическихъ агентовъ даже «въ извѣстной степени сократится, когда люди найдутъ, что имъ нечего больше опасаться недостатка въ необходимыхъ средствахъ для существованія, и пріучатся находить интересъ и удовольствіе въ ручномъ ремеслѣ, которое, при условіи обдуманнаго и интеллигентнаго занятія имъ, сдѣлается гораздо болѣе привлекательнымъ, чѣмъ трудъ при машинѣ»²⁾.

Другимъ теоретическимъ трудомъ Морриса явилось исторически-догматическое сочиненіе о социализмѣ, написанное имъ въ сотрудничествѣ съ Баксомъ. И здѣсь наиболѣе интересными страницами мнѣ представляются тѣ, гдѣ говорится объ измѣненіи современныхъ формъ искусства въ будущемъ строѣ (преобразованіе архитектуры, скульптуры, музыки и драмы въ смыслѣ усиленія элемента коопераціи, ослабленіе роли живописи и изящной литературы и т. д.)³⁾. Эти краткія замѣчанія съ интересомъ прочтеть и специалистъ-эстетикъ.

Къ числу художественныхъ произведеній Морриса-соціалиста принадлежатъ его прекрасныя и вмѣстѣ сильныя пѣсни, которыя начали выходить съ 1884 г. и были отпечатаны ма-

¹⁾ L. c., стр. 130.

²⁾ I. c., стр. 170. Ср. съ этимъ замѣчаніе Гобсона въ его недурной книжкѣ (Hobson, The Evolution of Modern Capitalism; Лондонъ 1894, стр. 372), о томъ, что «выработка вкуса въ индивидуальномъ потребленіи привьетъ, такимъ образомъ, изящное искусство на стволѣ каждой отрасли машиннаго производства, отдавая машинѣ всякій тяжелый, скучный, опасный, монотонный и маловоспитывающій трудъ и оставляя на долю человѣческаго элемента все то, что пріятно, интересно, цѣнно и поучительно».

³⁾ W. Morris and E. Belfort Bax, Socialism, its Growth and Outcome; Лондонъ, 1893, стр. 304 и слѣд.

ленькимъ сборникомъ въ 1892. Я привелъ большой отрывокъ изъ первой пѣсни въ началѣ своей статьи. Кромѣ этого восторженнаго гимна Грядущему дню, упомяну «Голосъ труда», «Посланіе мартовскаго вѣтра», «Всѣ для общаго дѣла», «Прочь къ мертвымъ людямъ», «Маршъ трудящихся».

Въ томъ самомъ 1888 г., когда появилась его книга, говорящая о «Знаменіяхъ переменъ», Моррисъ напечаталъ великолѣпную полуисторическую, полуфантастическую повѣсть «Сонъ про Джона Болла»¹⁾. Подъ этимъ именемъ извѣстенъ священникъ и народный трибунъ XIV-го вѣка, игравшій такую роль въ крестьянскомъ возстаніи Уота Тайлера. Моррисъ видитъ себя во снѣ современникомъ тогдашнихъ событій, привѣтствуется, какъ бардъ, доблестными плебеями, поднявшими знамя инсurreкціи противъ феодаловъ, присутствуетъ при побѣдѣ крестьянской арміи надъ блестящими рыцарями, принимаетъ участіе въ дружеской пирушкѣ, соединившей побѣдителей послѣ боя, и, наконецъ, приглашается Джономъ Болломъ провести съ нимъ ночь въ церкви, молясь возлѣ убитыхъ въ этотъ день народныхъ героевъ. Разговоръ, въ который Джонъ Болль вступаетъ съ Моррисомъ, считая его прозорливымъ пророкомъ будущаго, въ высокой степени поучителенъ. Когда пламенный проповѣдникъ равенства всѣхъ людей начинаетъ разспрашивать Морриса о томъ, осуществится ли планъ общественнаго переустройства, задуманнаго возставшими крестьянами, и когда онъ знакомится съ нѣкоторыми сторонами грядущаго капиталистическаго строя, описываемаго ему Моррисомъ, то нѣтъ конца изумленію этого средневѣковаго вожака трудящихся массъ. Чтобы свободный человѣкъ могъ быть закрѣпощенъ въ строѣ, основанномъ на конкуренціи, сильнѣе, чѣмъ подневольный крестьянинъ феодальнаго режима, превосходить мѣру пониманія Джона Болла. И лишь мало-по-малу въ голову человѣка среднихъ вѣковъ проникаетъ, по мѣрѣ терпѣливыхъ и искусныхъ объясненій Морриса, пониманіе сложнаго и гран-

¹⁾ A Dream of John Ball (напечатано первоначально въ «Commonweal» 1886—1887 г.; у меня подъ рукою изданіе 1903 г.).

діозного механизма капиталистической експлуатації, которая сковываетъ рабочіе классы цѣпами зависимости, ничуть не уступающими по своей прочности цѣпямъ крѣпостничества. Но когда проповѣдникъ «Товарищества» (Fellowship) между людьми уразумѣлъ истинный характеръ строя, который придетъ на смѣну феодальнаго, возбуждающаго такую ненависть предводимыхъ и пропагандируемыхъ имъ крестьянъ, безмѣрное облако печали окутываетъ его душу. И барду Моррису приходится употребить все пламенное краснорѣчіе социалистическаго трибуна нашихъ дней, чтобы снова придать мужество священнику-агитатору, идущему на вѣрную гибель ради низверженія феодальнаго общества, за которымъ должна послѣдовать такая безотрадная и ужасная вещь, какою является царство капиталистической експлуатації. Такъ прошла ночь въ разговорахъ между коммунистомъ среднихъ вѣковъ и коммунистомъ нашего времени. Но огненные лучи восходящаго солнца залили готическую церковь, и Моррисъ—пробудился, пробудился къ жизни и борьбѣ за социалистическій идеалъ, успѣвъ сказать своему собесѣднику: «ты былъ сномъ для меня, какъ я былъ сномъ для тебя» и разставаясь съ нимъ, словно старый и испытанный другъ, идущій къ одной и той же цѣли, раскрѣпощенію трудящихся массъ, хотя при иныхъ болѣе сложныхъ условіяхъ современности...

Едва ли еще не болѣе сильное произведение представляетъ написанная около этого же времени Моррисомъ коротенькая легенда тоже изъ среднихъ вѣковъ, носящая названіе «Урокъ короля»¹⁾ и изображающая, какъ венгерскій король Матвѣй Корвинъ заставилъ въ шутку своихъ феодаловъ, вмѣсто палимыхъ солнцемъ мужиковъ, обрабатывать виноградникъ, и какъ онъ закончилъ этотъ опытъ со своими рыцарями, изнемогшими лишь въ теченіе двухъ часовъ подъ бременемъ крѣпостной работы, слѣдующими словами, обращенными къ своему любимому вассалу: «Я скажу тебѣ, что я

¹⁾ A King's Lesson; напечатано въ 1887 г. въ «Commonweal» и находится обыкновенно въ одномъ томикѣ со «Сномъ про Джона Болла».

думалъ, пока говорилъ мужикъ. «Мужикъ,—думалъ я,—будь я тобою или подобнымъ тебѣ, я взялъ бы въ свою руку мечъ или копье, или даже простой колъ отъ забора, и велѣлъ бы другимъ сдѣлать то же самое, и принялись бы мы за дѣло; и такъ какъ насъ было бы много и намъ нечего было бы терять, кромѣ жалкой жизни, то мы стали бы биться и побѣдили бы и положили бы конецъ ремеслу и королей, и лордовъ, и ростовщиковъ, и осталось бы на свѣтѣ лишь одно ремесло: работать весело на самихъ себя и весело жить»...

Но вѣнцомъ художественной дѣятельности Морриса является, по моему мнѣнію, его утопическій романъ «Вѣсти ни откуда, или эпоха отдыха»¹⁾, вышедшій въ 1890 г. Я могу лишь сожалѣть, что не въ силахъ передать читателю то чарующее впечатлѣніе, которое производитъ это необыкновенно изящное и жизнерадостное произведение. Мы здѣсь далеки и отъ того восхищенія передъ машинной цивилизаціей и кооперативной рабочей книжкой, которое обнаруживаетъ, «глядя назадъ», американецъ Беллами, рисуящій намъ жизнь бостонскихъ обывателей въ 2000 г.²⁾ Мы не находимся и въ пресловутой «свободной странѣ» австрійца Гертцки, которая, несмотря на свое заманчивое названіе, представляетъ невообразимую мѣшанину шульце-деличевскихъ ассоціацій и государственнаго кредита, манчестерства и вмѣшательства правительства³⁾. Моррисъ переноситъ насъ въ «періодъ отдыха», который слѣдуетъ за тяжелыми и сравнительно длинными годами перехода отъ стараго строя къ новому. Его тонкое художественное чутье позволяетъ ему избѣгнуть той слишкомъ подробной и быющей на реализмъ рисовки возможнаго будущаго, которую такъ грѣшатъ сочинители утопій. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не

¹⁾ News from Nowhere, or an Epoch of Rest, being some Chapters from a Utopian Romance. Лондонъ (передо мной лежитъ 4-е изданіе. 1895 г.).—Въ 1906 г. появился русскій переводъ этого романа, помѣченный инициалами А. П.

²⁾ E. Bellamy, Looking Backward; Нью-Йоркъ, 1887.

³⁾ Th. Hertzka, Freiland. Ein sociales Zukunftsbild; Лейпцигъ, 1889.

теряется и въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, умѣстныхъ лишь въ социологическомъ трактатѣ. Его главная цѣль—пробудить въ насъ извѣстное бодрое и свѣтлое настроеніе, и въ этомъ настроеніи провести насъ передъ рядомъ умиротворяющихъ, яркихъ и, въ то же время, задернутыхъ легкимъ золотымъ туманомъ картинъ будущаго счастья. Онъ нигдѣ не опирается слишкомъ грузно на почву этой фантастической страны, но онъ и не летитъ надъ ней въ облакахъ. Онъ скользитъ, и скользитъ не слишкомъ быстро и не черезчуръ медленно. Одна за другой выплываютъ и проходятъ радужныя картины, словно декорации его друга Бернъ-Джонса. Ваше сердце бьется радостно, но не тревожно. Вы успѣваете насладиться какимъ-нибудь плѣнительнымъ образомъ; но едва только вы начинаете пристальнѣе всматриваться въ него, какъ искусный художникъ легкимъ покрываломъ фантазіи уже заслонилъ его, и на смѣну выступаетъ новый образъ. Начать съ того, что Моррисъ нигдѣ, если не ошибаюсь, не даетъ точнаго года, въ который онъ васъ переноситъ: всѣ эти 2000, 2384 и пр. года, дѣйствительно, грѣшатъ какой-то странной опредѣленностью. Вы знаете лишь, что очутились въ XXI-мъ вѣкѣ, узнаете мимоходомъ нѣсколько датъ прошлыхъ, очень важныхъ событій, и не настаиваете болѣе.

Самая фабула очень проста. Авторъ—разсказъ, ведется въ первомъ лицѣ, но якобы отъ одного изъ его друзей,—авторъ возвращается домой къ себѣ въ дымный Гаммерсмитъ, зимней ночью, послѣ горячихъ теоретическихъ споровъ на одномъ изъ засѣданій «Лиги» «о томъ, что будетъ послѣ революціи». Ложится, долго не засыпаетъ, наконецъ, теряетъ сознание—и просыпается раннимъ лѣтнимъ утромъ. Онъ сходитъ къ Темзѣ, чтобы выкупаться, и вдругъ замѣчаетъ, что находится на прежнемъ мѣстѣ, но среди совершенно иной обстановки. Ни дыма фабрикъ, ни грохота машинъ, ни грязныхъ и людныхъ улицъ. На мѣстѣ отвратительнаго желѣзнаго моста изящный каменный мостъ, напоминающій знаменитый Ponte Vecchio во Флоренціи. Вмѣсто обыкновеннаго наемнаго лодочника какой-то красивый, изящный и сильный молодой человѣкъ, исполнен-

ный радости и благородства и приглашающій его сдѣлать прогулку... Мы не можемъ, къ сожалѣнію, принять участіе въ этой очаровательной экскурсіи: пришлось бы переписать весь романъ. Довольно сказать, что авторъ проводитъ всего пять дней въ этой волшебной странѣ, среди любимыхъ имъ средне-вѣковыхъ домовъ XIII-го столѣтія, привольныхъ лѣсовъ, изящныхъ большихъ зданій и маленькихъ коттеджей, которые замѣнили ненавистный гигантскій Лондонъ, оставившій по себѣ развѣ нѣсколько зданій въ родѣ Вестминстерскаго аббатства. Автора окружаютъ прекрасные и деликатные мужчины и женщины; съ тремя-четырьмя изъ нихъ онъ особенно близко сходится. Первый день онъ развѣзжаетъ на старой и смирной лошаdkѣ въ окрестностяхъ прежняго Лондона (отъ котораго, повторяю, не осталось и слѣда), въ сопровожденіи того самаго симпатичнаго юноши, котораго онъ было принялъ за лодочника; знакомится съ любимой женщиной своего новаго пріятеля; отдаетъ визитъ старому родственнику своего друга. И этотъ ученый и глубоко-симпатичный старикъ разсказываетъ ему интересную и высоко-драматическую исторію того, что онъ видитъ ¹⁾, а вмѣстѣ съ тѣмъ вводитъ его въ этотъ новый міръ, гдѣ все основано на солидарности людей, привлекательности труда и гуманно-эстетическомъ складѣ жизни. На второй день очарованный пришлецъ изъ нашего желѣзнаго міра вражды и усиленнаго труда приглашенъ своимъ молодымъ пріателемъ подняться на лодкѣ вверхъ по Темзѣ, чтобы посмотреть на сѣнокосъ, на который жители страны идутъ, какъ на настоящий праздникъ.

Четыре дня длится это волшебное путешествіе. Между прочимъ, авторъ знакомится съ курьезнымъ типомъ старика, брюзжащаго на новые порядки и восхваляющаго старый строй, основанный, молъ, на развитіи энергіи и привлекательности борьбы. Вы можете себѣ представить, съ какимъ жаромъ авторъ защищаетъ новый міръ на основаніи горькаго опыта, вынесеннаго изъ стараго. Во время этого же путешествія авторъ

¹⁾ См. особенно стр. 114 и слѣд.

успѣваетъ почувствовать глубокую симпатію, можетъ быть, начало любви къ молодой родственницѣ старика-брюзги, пылкой и даровитой энтузіасткѣ, которая въ свою очередь какъ бы находитъ особое удовольствіе въ разговорахъ съ пришельцемъ изъ нашего печальнаго міра. Приближается конецъ четвертаго дня рѣчного путешествія. Вотъ всѣ они и на лугахъ, гдѣ раздается веселый смѣхъ прибывшихъ на сѣнокосъ. Идутъ приготовленія къ празднику. Въ старинной, заброшенной, но прелестной по архитектурѣ церкви, превращенной въ залу торжества, за большимъ праздничнымъ столомъ сидѣло уже много счастливыхъ, красивыхъ людей. Вотъ и знакомые нашего автора: и его пріятель Дикъ, и возлюбленная Дика Клара, и та пылкая энтузіастка Элленъ, которая произвела такое глубокое впечатлѣніе на пришельца. Онъ идетъ къ нимъ, надѣясь на обычный дружескій и деликатный пріемъ, который они до сихъ поръ ему оказывали и къ которому онъ привыкъ, какъ привыкъ къ этой очаровательной странѣ, этому лучезарному ряду дней, этой изящной архитектурѣ зданій. И вдругъ—о ужасъ!—онъ замѣчаетъ, что никто не обращаетъ на него вниманія, и что его знакомые перестали даже видѣть его. Онъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы привлечь ихъ взглядъ. Тщетно: «я повернулся къ Элленъ, рассказываетъ авторъ, и она какъ будто на мигъ узнала меня; но ея свѣтлое лицо вдругъ омрачилось, отвернулось въ сторону, она покачала головой съ печальнымъ видомъ, и моментъ спустя всякое сознаніе моего присутствія исчезло съ ея лица»... Авторъ въ ужасѣ кидается изъ церкви, но скоро натывается на современнаго худого, грязнаго и раболѣпнаго крестьянина. Это зловѣщее видѣніе, отъ котораго онъ было уже отвыкъ въ царствѣ счастья, пониживаетъ его душу холодомъ. Его глаза окутываетъ какое-то черное облако, и онъ въ ужасѣ—просыпается, просыпается въ грязномъ Гаммерсмитѣ. Но, странное дѣло, анализируя свои чувства по пробужденіи, онъ находитъ, что его сердце далеко не подавлено отчаяніемъ. Точно ли это сонъ, спрашиваетъ онъ себя, не есть ли это скорѣе пророческое видѣніе, и его друзья новаго общества не говорятъ развѣ ему: «Иди назадъ

и будь счастливѣе, увидѣвъ насъ и скрасивъ небольшой надеждой свою борьбу. Живи, пока можешь, борись, каковы бы ни были твои страданія и усилія, борись и созидай мало-помалу новые дни товарищества, отдыха и счастья».

Таково окончаніе этого замѣчательнаго по чувству и гармоніи произведенія, въ которомъ авторъ избѣжалъ обычной ошибки утопическихъ романистовъ, рисующихъ намъ съ пафосомъ невѣроятныя техническія улучшенія: онъ бросаетъ лишь мимоходомъ одно слово о баржахъ, которыя движутся какою-то силой. Изображая аффекты новыхъ людей, онъ умышленно не заходитъ слишкомъ далеко, и его отношенія между полами не очень удаляются отъ теперешнихъ чувствованій людей въ этой сферѣ. Но зато какъ умѣло обратилъ онъ на служеніе человѣчеству страстно-любимую имъ красоту! И какъ, въ концѣ концовъ, рельефно вырисовывается передъ нами разносторонняя и сильная личность художника, поэта, мыслителя, борца, который самъ признавался своему другу Вальтеру Крэну, что «въ душѣ его живутъ шесть различныхъ людей, и кто изъ нихъ беретъ верхъ, онъ и самъ не знаетъ этого!..»

Въ ряду социалистическихъ писателей и дѣятелей Вилліамъ Моррисъ будетъ всегда занимать почетное и оригинальное мѣсто. Въ его лицѣ міровоззрѣніе труда выставило на защиту новаго, счастливаго строя коммунизма истиннаго артиста, истиннаго поклонника неувядающей, высоко гуманной красоты. И долго-долго будетъ жить въ благодарной памяти людей эта могучая личность, сочетавшая въ себѣ и энтузіазмъ общественный, и энтузіазмъ художественный.



П. Л. Лавровъ ¹⁾.

(Очеркъ его жизни и дѣятельности).

I.

Исполнилось уже семь лѣтъ со дня смерти Петра Лавровича Лаврова: онъ умеръ 25-го января (по новому же стилю 6-го февраля) 1900 г. Можно горько сожалѣть, что ветерану русской революціи не удалось дожить до нашего времени, когда эта революція проникаетъ всю общественную жизнь и кончится лишь тогда, когда свалить окончательно старые порядки.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Противъ строгихъ законовъ судьбы.

«Слѣпые, бессмысленные процессы природы» (любимое выраженіе самого покойнаго) положили существованію Лаврова конецъ прежде, чѣмъ онъ могъ видѣть торжество идеаловъ и стремленій, которымъ служилъ большую часть своей жизни. Мы можемъ лишь попытаться изобразить эту жизнь, нарисовать хотя бы въ общихъ чертахъ крупную фигуру Лаврова и поставить ее передъ глазами мыслящихъ и дѣйствующихъ людей современной Россіи, какъ образъ челоѣка, изображеніе котораго представляетъ не одинъ историческій, но и практический интересъ. Ибо личность Лаврова въ состояніи вдохно-

влять борцовъ за лучшее будущее великой страны къ новой и все болѣе рѣшительной борьбѣ во имя коренного политическаго и социальнаго переворота...

На предлагаемую читателю біографію я смотрю лишь какъ на попытку, потому что достойное Лаврова жизнеописаніе требовало бы цѣлой книги и должно было бы опираться на изображеніе всей эпохи или, точнѣе, всѣхъ эпохъ русской общественной жизни, съ которыми связана дѣятельность покойнаго,—не говоря уже о матеріалахъ, касающихся его долгаго существованія и, къ сожалѣнію, пока неизвѣстныхъ или, по крайней мѣрѣ, не находящихся въ нашихъ рукахъ. Было бы, конечно, очень привлекательно изобразить Лаврова «въ видѣ центральной фигуры памятника, который должны бы воздвигнуть ему товарищи по убѣжденіямъ—на пьедесталѣ изъ общихъ политическихъ и социальныхъ условий и съ барельефами, рисующими главнѣйшія событія русской и заграничной жизни». Такъ именно выразился я у свѣжей могилы Лаврова, черезъ шесть дней послѣ его смерти и на другой день его похоронъ, въ засѣданіи 12-го февраля 1900 г. парижскаго «комитета памяти П. Л. Лаврова», состоявшаго изъ «друзей и почитателей П. Л. Лаврова и изъ представителей всѣхъ фракцій русской социально-революціонной партіи» (социально-революціонной въ широкомъ смыслѣ этого слова, такъ какъ въ комитетъ входили и социаль-демократическія организаціи и группы). И выслушавъ устное развитіе моего краткаго доклада, комитетъ согласился съ моимъ взглядомъ на характеръ біографіи Лаврова и поручилъ единогласно мнѣ составленіе ея въ формѣ книги листовъ въ 25, т.-е. около 400 печатныхъ страницъ.

Но, обратившись печатно ко всѣмъ друзьямъ и знакомымъ П. Л. Лаврова съ просьбой доставить мнѣ возможно скорѣе матеріалы для біографіи: воспоминанія о покойномъ, письма его и т. д., я скоро увидѣлъ, что о болѣе или менѣе исчерпывающемъ описаніи жизни и дѣятельности покойнаго нечего было и думать. Въ особенности скудны были свѣдѣнія изъ эпохи «60-хъ годовъ», или, лучше говоря, конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ, т.-е. періода, въ теченіе котораго взгляды

¹⁾ Былое, 1907, февраль.

П. Л. Лаврова, какъ онъ самъ говорилъ мнѣ, подверглись первому наиболѣе замѣтному преобразованію на пути отъ либерализма къ социализму. Ни писемъ покойнаго, ни воспоминаній о немъ, относившихся къ этому очень важному для эволюціи Лаврова времени, я ни откуда не получилъ. Есть еще нѣсколько полосъ въ его жизни, для которыхъ я располагаю лишь небольшимъ количествомъ матеріаловъ. Такъ что, отлагая пока въ сторону подробную біографію Петра Лавровича, я даю только очеркъ жизни и дѣятельности человѣка, съ которымъ я былъ знакомъ въ теченіе почти 18 лѣтъ и близокъ за исключеніемъ первыхъ трехъ-четырехъ лѣтъ знакомства.

Въ основу этого очерка я кладу главнымъ образомъ двѣ своихъ предшествовавшихъ работы: во-первыхъ, небольшую біографію, написанную мною въ іюнѣ 1898 г., по случаю 75-лѣтія Петра Лавровича, по просьбѣ «группы рабочихъ-революціонеровъ», издававшихъ нелегальное «Рабочее Знамя» (они обратились сначала съ этой просьбой къ Н. К. Михайловскому, который и направилъ ихъ ко мнѣ); во-вторыхъ, короткій некрологъ, составленный мною подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти для заграничнаго социаль-демократическаго «Рабочаго Дѣла», редакціи котораго сдѣлала слѣдующее примѣчаніе къ моей статейкѣ, появившейся въ № 6 этого журнала:

«Смерть П. Л. Лаврова объединила въ общемъ чувствѣ глубокаго горя всѣхъ русскихъ социалистовъ безъ различія направленій. Редакція «Рабочаго Дѣла» сочла своей обязанностью обратиться съ предложеніемъ написать некрологъ къ товарищу К. Тарасову (одинъ изъ моихъ литературныхъ псевдонимовъ. Н. Р.), одному изъ ближайшихъ друзей и единомышленниковъ покойнаго. Тарасовъ, такъ близко знавшій и такъ горячо любившій Лаврова, точнѣе и живѣе всякаго другаго можетъ вызвать передъ читателемъ образъ великаго мыслителя-борца.

Редакція «Рабочаго Дѣла».

Но, кромѣ того, я постараюсь ввести въ этотъ очеркъ возможно большее число своихъ личныхъ воспоминаній, или же разсказовъ, которые я слышалъ отъ другихъ о Лавровѣ. Наконецъ, я воспользуюсь нѣкоторыми письмами ко мнѣ покойнаго и кой-какими документами, оставшимися въ архивѣ «Группы старыхъ народовольцевъ», или же между бумагами Петра Лавровича. Личныхъ писемъ ко мнѣ отъ Лаврова было, впрочемъ, немного: мы жили почти всегда въ одномъ мѣстѣ, въ Парижѣ, и я рѣдкій день не заходилъ къ нему по дорогѣ, отправляясь на хлѣбную работу, такъ что переписываться было не зачѣмъ. Десятковъ писемъ, полученныхъ мною отъ Петра Лавровича, относятся къ лѣтнему времени, когда я уѣзжалъ на короткія каникулы, а Лавровъ, ни за что и слушать не хотѣвшій объ отъѣздѣ изъ Парижа, оставался въ своемъ рабочемъ кабинетѣ на улицѣ Сэнъ-Жакъ.

Повторяю, въ общемъ я могу дать пока лишь самый поверхностный очеркъ жизни и дѣятельности покойнаго. Я принужденъ даже отказаться отъ мысли изобразить болѣе или менѣе подробно умственную эволюцію Лаврова, насколько я ее понимаю: для этого надо было бы предпринять гораздо болѣе обширный трудъ. Несмотря на всѣ эти оговорки, я все-таки хотѣлъ бы думать, что за скудостью біографическихъ данныхъ о Петрѣ Лавровицѣ, и мой не претендующій на полноту очеркъ прочтется съ нѣкоторымъ интересомъ не только людьми, стоящими на точкѣ зрѣнія Лаврова, но и вообще всѣми тѣми, кому дорога исторія развитія русской общественной жизни и мысли.

Петръ Лавровицъ Лавровъ родился 2/14 іюня 1823 г. въ селѣ Мелеховѣ, Псковской губерніи, Великолукскаго уѣзда, въ состоятельной помѣщичьей семьѣ. Родовое имѣніе Лавровыхъ шло отъ прадѣда Петра Лавровича. Прадѣдъ этотъ былъ—на языкъ того времени—«генеральсь-адъютантомъ» графа Апраксина, одного изъ сподвижниковъ Петра I-го. У дѣда Петра Лавровича было 22 человѣка дѣтей мужеска и женска пола, въ томъ числѣ и Лавръ Степановицъ, отецъ Петра Лавровича. Лавръ Степановицъ воспитывался въ 1-мъ кадет-

скомъ корпусѣ. По выходѣ изъ военнаго заведенія, онъ служилъ въ артиллеріи и дослужился до чина полковника, участвовалъ въ кампаніи противъ Наполеона, которая была принята такъ называемой четвертой коалиціей державъ, былъ раненъ при Фридландѣ (2 іюня 1807 года), вышелъ въ отставку, поселился въ имѣніи и женился на Елизаветѣ Карловнѣ, урожденной Гандвигъ. Елизавета Карловна была изъ шведскаго рода, который обрусѣлъ. Отецъ ея служилъ по горному вѣдомству въ Сибири, и Петръ Лавровичъ показывалъ мнѣ еще ножницы, сдѣланныя на томъ заводѣ, которымъ управлялъ Гандвигъ. Женился Лавръ Степановичъ въ 1811 году; и отъ этого брака родилось нѣсколько дѣтей, между прочимъ старшая дочь въ 1812 году, старшій сынъ въ 1817 году, младшій сынъ, Петръ Лавровичъ, какъ уже было сказано, въ 1823 году.

Такъ какъ сестра Петра Лавровича была старше его почти на 11 лѣтъ, а братъ на 6, то ребенку пришлось расти и воспитываться, не имѣя близкихъ сверстниковъ по возрасту. Эта ранняя жизнь въ одиночку и среди взрослыхъ людей должна была, конечно, отразиться на характерѣ и умственномъ складѣ Петра Лавровича. Лишенный товарищей по играмъ и устраненный родителями отъ всякаго участія въ будничной жизни, молодой Лавровъ по необходимости долженъ былъ рано начать думать и чувствовать въ одиночку, избрѣтая подходящія занятія. Книжно-романтической, отвлеченной (если можно такъ выразиться, говоря о ребенкѣ) характеръ этихъ занятій и игръ кидается въ глаза, когда узнаешь, какъ проводилъ свое время одинокій мальчикъ. Воображеніе, конечно, работало страшно. Но чѣмъ приходилось питаться ему? Разсматриваніемъ картинъ, рисунковъ, книгъ съ гравюрами, а вскорѣ чтеніемъ. На этой почвѣ и происходило главнымъ образомъ вліяніе родителей на впечатлительнаго, способнаго и мечтательнаго ребенка.

Отецъ былъ человѣкъ нрава крутого, любившій поддержаніе авторитета въ семьѣ и требовавшій, чтобы все въ домѣ шло разъ навсегда заведеннымъ порядкомъ. Онъ отличался вѣрноподданническими чувствами и очень не любилъ тогдаш-

нихъ вольнодумцевъ, массоновъ и пр. Александръ I, проѣздомъ въ 1824 году въ южную Россію, откуда уже болѣе не вернулся, гостилъ въ имѣніи Лавровыхъ. И осчастливленный владѣлецъ воздвигнулъ въ саду въ честь такого приснопамятнаго событія колонну съ чугуннымъ бюстомъ высокаго посѣтителя. Монархъ, сказываютъ, видѣлъ годового ребенка и чуть ли даже не приласкалъ будущаго непримиримаго врага петербургской имперіи. Лавръ Степановичъ былъ личнымъ другомъ страшнаго Аракчеева и ѣзжалъ къ нему въ Грузино съ своимъ маленькимъ сыномъ. Но дружба эта была безкорыстная: старый Лавровъ никогда ничего не требовалъ для себя у всемогущаго временщика. Держась строго вѣрноподданническихъ традицій, Лавръ Степановичъ не менѣе строго держался и завѣтовъ православія. Однако отношеніе его къ религіи ограничивалось лишь добросовѣстнымъ исполненіемъ обрядовъ: внутренняго чувства, а тѣмъ болѣе религіознаго фанатизма у него совсѣмъ не было; и ему даже не нравилась излишняя религіозность нѣкоторыхъ знакомыхъ его жены. Священники приглашались во всѣхъ торжественныхъ случаяхъ и вообще по праздникамъ. Но угощеніе имъ подавалось всегда отдѣльно отъ барской семьи, и въ другихъ комнатахъ. Лавръ Степановичъ построилъ даже новый притворъ въ сельской церкви и изукрасилъ его иконами святыхъ, имена которыхъ были даны домохозяевамъ. Однако, повторяю, все это не шло далѣе простой обрядности.

Этимъ объясняется, почему, несмотря на свое православіе и вѣрноподданническія чувства. Лавръ Степановичъ, бывшій очень начитаннымъ и образованнымъ для своего времени человѣкомъ, держалъ въ своей библіотекѣ много французскихъ книгъ прошлаго вѣка, а въ томъ числѣ такія вольнодумныя сочиненія, какъ Вольтера и Энциклопедію Дидро и д'Аламбера. Кромѣ книгъ, отецъ Петра Лавровича любилъ также картины, гравюры, статуи, и былъ человѣкъ со вкусомъ: онъ самъ начертилъ планъ своего сада, и садъ вышелъ на славу. Въ домѣ было много масляныхъ картинъ, разныхъ изданій съ рисунками; ими-то и пришлось играть и развлекаться малень-

кому Лаврову. Была тутъ, напимѣрь, историческая хроника (на нѣмецкомъ языкѣ) съ гравюрами: ее особенно любилъ разсматривать Петръ Лавровичъ. Няня сидитъ съ барчукомъ и перелистываетъ тяжелый томъ, а ребенокъ впиивается глазами въ картинки, и то радуется, то печалуется, а то и прямо заливается горячими слезами, смотря по содержанію рисунка. Съ нетерпѣніемъ ждетъ онъ, напимѣрь, когда дойдетъ дѣло до героической битвы Гораціевъ съ Куріаціями, и все время топчетъ няню: «на, на, батюшка, вотъ тебѣ твои Горячіе и Курячіе», говоритъ, наконецъ, старушка, удачно ломая на русскій ладъ мудренныя бусурманскія имена, и ребенокъ участвуетъ воображеніемъ въ знаменитомъ поединкѣ. А то была еще въ книгѣ картина, изображающая, какъ Карлъ Великій разрушаетъ статую языческаго бога Ирменсула у Саксонцевъ. Идолъ этотъ былъ нарисованъ такимъ страшнымъ, что лишь увидитъ его Петръ Лавровичъ, такъ сейчасъ же расплачется. Няня уже знаетъ, когда подходитъ роковой рисунокъ, и норовитъ повертѣть его. Не тутъ то было: ребенокъ зорко слѣдитъ за нею, отстаивая свое право на всѣ привычныя ощущенія, и веселыя и горестныя, и не даетъ ей скрыть чертообразнаго идола: найдетъ, увидитъ, заплачетъ — и успокоится.

Скоро наступила и пора чтенія. Когда выучился Петръ Лавровичъ читать, онъ и самъ не помнитъ: во всякомъ случаѣ очень рано. Выучился онъ почти одновременно и по русски, и по французски. Лѣтъ въ пять-шесть онъ уже читалъ въ подлинникъ «Нуму Помпилія», прозаическую поэму Флоріана; а вскорѣ, на восьмомъ году, подъ руководствомъ матери, женщины образованной и мягкой, выучился нѣмецкому и восторгался «Волшебнымъ кольцомъ» Ламотта-Фукэ. Къ тому времени, какъ Петръ Лавровичъ сталъ сознавать себя, отецъ его уже позабылъ нѣмецкій, который зналъ въ молодости; но за французскими книгами сидѣлъ постоянно. Вотъ ребенокъ и долженъ былъ читать по вечерамъ своимъ родителямъ различныя вещи по французски. Между прочимъ, такъ лѣтъ въ 10 онъ читалъ вслухъ драму Бомарше «Евгенія» и горько плакалъ надъ злосудіями героини.

Къ слезамъ въ это время онъ вообще былъ очень склоненъ. Можетъ быть, въ томъ сказалось отчасти тогдашнее слезное настроеніе въ литературѣ и образованномъ обществѣ. Но, всего вѣроятнѣе, на чувствительность ребенка вліяло его необыкновенно тепличное воспитаніе. Его воспитывали «какъ дѣвочку». Изъ сада онъ никуда не могъ отлучиться одинъ. Когда наступали жаркіе лѣтніе дни, и начиналось купанье, ребенку ни за что не позволяли входить въ рѣку: на берегъ приносилась ванна, въ ванну наливалась рѣчная вода, а въ воду сажался молодой барчукъ—вотъ и все купанье! Шалить ребенокъ не любилъ и охотно слушался родителей, когда тѣ предлагали ему почитать какую-нибудь книгу. Кромѣ рыцарскихъ романовъ, ему особенно нравились историческія сочиненія. Нѣкоторыя, напимѣрь, «Исторію» Роллэна, онъ читалъ съ большимъ удовольствіемъ; даже Кревье, скучнаго ученика и продолжателя Роллэна, онъ одолѣлъ безъ особаго отвращенія, а ему было въ то время всего десять-двѣнадцать лѣтъ!..

Вообще же можно сказать, что годы домашняго воспитанія Петра Лавровича были главнымъ образомъ годами его самообученія. Учился онъ прекрасно, усваивалъ все легко, но сверхъ задаваемыхъ уроковъ занимался по собственной волѣ разными вещами, интересовавшими его дѣтскій мозгъ. Такъ, онъ со страстью изучалъ ариѳметику и перерѣшилъ отъ доски до доски толстый учебникъ задачъ. Присутствуя при урокахъ англійскаго, которые давались его старшему брату, онъ самъ выучился главнѣйшимъ основаніямъ этого языка, и впоследствии ему было не трудно пополнить эти первоначальныя знанія. Былъ у него русскій учитель, нѣкто Слободчиковъ, но изъ плохихъ: онъ скоро отказался отъ уроковъ, найдя, вѣроятно, что мальчику учиться у него, дѣйствительно, было нечему. Зато очень хорошее вліяніе на Лаврова имѣлъ учитель французскаго и нѣмецкаго языковъ, Берже (кажется швейцарецъ родомъ), человѣкъ образованный и съ литературными вкусами. Онъ много читалъ съ Петромъ Лавровичемъ, давая заучивать ему на память лучшія мѣста изъ Шиллера

(«Пѣснь о колоколѣ»), Виктора Гюго (стихотвореніе «Lui», обращенное къ Наполеону), Вольтера (рѣчь Заиры) и т. п.

II.

Въ 1837 году четырнадцатилѣтній мальчикъ поступилъ въ Артиллерійское училище. Круто ему приходилось первые два года въ этомъ закрытомъ заведеніи со строгой дисциплиной. Особенно донимали его товарищи, издѣвавшіеся всячески надъ робкимъ и неловкимъ новичкомъ. Петръ Лавровичъ былъ слабымъ ребенкомъ и, не привыкнувъ играть дома, почти не принималъ участія и въ училищныхъ шумныхъ забавахъ и физическихъ упражненіяхъ. Но къ шестнадцати годамъ его могучій отъ природы и лишь задержанный въ своемъ развитіи тепличнымъ воспитаніемъ организмъ быстро развернулся, и Лавровъ очень сильно возмужалъ и выросъ. Такъ при поступленіи въ училище онъ былъ помѣщенъ въ третій взводъ, а два года спустя онъ уже былъ вторымъ по росту во всемъ училищѣ, уступая лишь правофланговому. Къ тому времени около умнаго и способнаго юноши составилъ цѣлый кружокъ близкихъ друзей, и жить стало уже не такъ тяжело: было съ кѣмъ поговорить по душѣ, обмѣняться мыслями; молодые люди много читали и разсуждали по поводу прочитаннаго, пробовали и сами писать. Петръ Лавровичъ питалъ страсть къ писательству съ самаго дѣтства и рано сталъ сочинять стихи. Когда онъ поступалъ въ училище, на его совѣсти уже было нѣсколько литературныхъ—конечно, ненапечатанныхъ—грѣховъ въ видѣ драматическихъ сценъ. А года три-четыре спустя (въ 1840 или 1841 г.) одно изъ его стихотвореній было даже помѣщено за его подписью въ «Библіотека для Чтенія», издававшейся Сенковскимъ (барономъ Брамбеусомъ).

Очень интересно, что уже годамъ къ пятнадцати у Лаврова была своя философія, которую онъ выражаетъ главнымъ образомъ въ стихахъ. Самъ онъ называлъ ее фатализ-

момъ, но то въ сущности былъ детерминизмъ. Лавровъ уже въ то время глубоко былъ убѣжденъ, что все на свѣтѣ совершается неизбѣжно, на основаніи вѣчныхъ и неизмѣнныхъ законовъ. Самъ богъ, въ котораго онъ еще вѣрилъ въ то время, создалъ, по его мнѣнію, эти вѣчные законы, но измѣнить ихъ уже не могъ. Значитъ, на дѣлѣ то законы эти замѣняли волю божію и были выше ея, такъ что во всей вселенной не оставалось мѣста для чудесныхъ дѣйствій Промысла. Приблизительно въ это же время въ одномъ изъ своихъ французскихъ «сочиненій» Лавровъ нарисовалъ типъ чловѣка, который отрицаетъ устои современнаго общества и смѣется надъ ними; опытъ этотъ удался и понравился учителю. Вѣря въ бога, какъ только что было сказано, Петръ Лавровичъ полагалъ, что идея верховнаго существа годится особенно по своей возвышенности для поэзіи; но уже не придавалъ никакого значенія обрядамъ православія и вообще религіи. Въ эту пору онъ находился еще подъ вліяніемъ французскихъ эклектиковъ-деистовъ, въ родѣ Виктора Кузэна. Съ матеріализмомъ онъ познакомился нѣсколькими годами позже, лѣтъ въ двадцать, отчасти путемъ разговоровъ съ однимъ врачомъ изъ евреевъ, который указалъ ему, что если дѣйствительно признавать фатальность законовъ природы, то къ чему же тутъ приплетать еще бога: и безъ него, молъ, все должно происходить вполне правильно и неизбѣжно.

Въ училищѣ же Петръ Лавровичъ сталъ впервые интересоваться политическими и социальными идеями. Я помню его разсказъ о томъ, какъ, лежа гдѣ то на полу, онъ читалъ ночью, при свѣчкѣ, «Исторію французской революціи» Тьера и страшно увлекся описаніемъ суда надъ королемъ Людовикомъ XVI-мъ. Къ социализму онъ сталъ приходить рано; его внимание было прежде всего обращено на социалистическую критику современнаго брака и современной семьи. Уже въ училищѣ на него произвела впечатлѣніе книга Отта, принадлежавшаго къ школѣ католическаго социализма Бюше. Вообще съ великими социалистами начала XIX вѣка онъ познакомился рано. Между прочимъ, совсѣмъ молоденькимъ офицеромъ онъ

прочиталъ случайно «Трактатъ о домашней земледѣльческой ассоціаціи» Фурье. Онъ пріѣхалъ лѣтомъ въ деревню къ отцу, и тотъ далъ ему этотъ трудъ, прося просмотрѣть его и сказать, въ чемъ тутъ дѣло: самъ отецъ принялъ было сочиненіе Фурье за агрономическій учебникъ, но остановился передъ странными, какъ ему показалось, отступленіями книги отъ дѣла. Какъ бы то ни было, уже въ это время нѣсколько неопредѣленные социалистическіе идеалы были симпатичны Петру Лавровичу, но онъ лишь не видѣлъ, на что опереться для ихъ осуществленія вътогдашнемъ обществѣ, задавленномъ желѣзной пятой Николая, а потому рѣшилъ прежде всего работать для науки и справедливости и распространять ихъ кругомъ себя.

III.

Деятнадцати лѣтъ отъ роду (въ 1842 г.) Лавровъ кончилъ курсъ въ училищѣ и былъ произведенъ въ офицеры, а двадцати одного года (въ 1844 г.) былъ назначенъ преподавателемъ математическихъ наукъ въ Артиллерійскомъ училищѣ (потомъ въ Артиллерійской академіи: ему были переданы курсы высшей математики, которые читалъ прежде знаменитый Остроградскій). Къ этимъ наукамъ Лавровъ питалъ въ то время особую склонность, и начальство очень дорожило молодымъ и способнымъ ученымъ. Такъ, онъ былъ приглашенъ преподавать высшіе математическіе курсы въ специальномъ классѣ Константиновскаго военнаго училища при его основаніи (1852 г.). Замѣчу кстати, что занимался онъ преподаваніемъ во всѣхъ этихъ заведеніяхъ вплоть до самаго своего ареста, въ 1866 г., о чемъ рѣчь будетъ ниже.

Женился онъ въ 1847 году, а послѣ смерти отца (въ 1852 г.) и старшаго брата (въ 1853 г.) сталъ полнымъ хозяиномъ. Бракъ былъ счастливый: жена Петра Лавровича, Антонина Христіановна, урожденная Капгеръ, была женщина образованная и добрая; политикой она не интересовалась, но сочувствовала вообще, какъ говорится, хорошимъ идеямъ. По происхо-

жденію она была нѣмка: отецъ и мать ея были, кажется, изъ сѣверной Германіи. Братъя Антонины Христіановны находились на русской службѣ; двое изъ нихъ были сенаторами.

Собственно на литературное поприще П. Л. Лавровъ выступилъ лишь въ половинѣ пятидесятихъ годовъ, по смерти Николая, хотя и раньше писалъ спеціальныя статьи по математическимъ и т. п. вопросамъ, а также отъ время до времени занимался стихотворствомъ. Стихи эти по содержанію своему принадлежали къ числу «запрещенныхъ» и ходили по рукамъ въ рукописи. Въ стихотвореніи «Пророчество», написанномъ въ 1852 г., Лавровъ такъ обращался къ европейскимъ владыкамъ:

А вы, цари земли, вы, пастыри народа,
Падучею звѣздой промчится ваша власть,
И вамъ проклятiе пройдетъ изъ рода въ родъ...
Спѣшите выситься, чтобы страшнѣй упасть!

Онъ бодро смотрѣлъ на будущность Россіи, даже въ тяжелые дни Николаевщины, говоря въ томъ же стихотвореніи:

Не вѣченъ будетъ сонъ, настанетъ пробужденье,
И устыдится Русь невѣжественной тьмы,
И вырастетъ тогда общественное мнѣнье...
Признаетъ русскій царь народныя права,
Къ гражданскимъ доблестямъ воскреснутъ поколѣнья,
Свободно потекутъ и мысли и слова!..

Съ лучшими людьми того времени П. Л. Лавровъ раздѣлялъ либеральныя политическія убѣжденія, видѣлъ въ конституціи необходимое условіе для развитія Россіи. Этимъ свободолюбивымъ духомъ вѣетъ и отъ его другихъ стихотвореній, написанныхъ въ послѣдніе годы Николая и въ началѣ царствованія Александра II-го. Публикѣ очень нравилось, между прочимъ, его обращеніе «Къ русскому царю», которое сильно читалось въ Петербургѣ и даже, въ качествѣ запретнаго плода, было продекламировано самому автору кѣмъ то изъ его друзей, не знавшихъ, кто написалъ его. Стихотвореніе это было наполовину патріотическое и сочинено подъ влияніемъ

начавшейся Крымской кампаніи. Однако, сказавъ, что въ этой войнѣ

«Съ тобою, Царь, весь твой народъ,

авторъ сейчасъ же прибавляетъ:

Но помни, русскій царь, ты *нашей* силой крѣпокъ,
Величьемъ *нашимъ* ты великъ:
Безъ русской доблести престолъ твой —груда шепокъ!
Народовъ мощь—есть мощь владыкъ!

Въ другомъ стихотвореніи, «Русскому народу» (которое было напечатано Герценомъ), авторъ восклицаетъ, обращаясь къ Россіи:

Возстань, свободная, предъ силой беззаконной,
Предъ хаосомъ властей!
Отъ неурядицы спасенье, оборону
Ищи въ душѣ своей!

и требуетъ у Николая I отчета за ненавистный гнетъ, который тридцать лѣтъ висѣлъ надъ николаевской Россіей:

Предстань, царь, предъ судомъ исторіи, народа,
Предъ божіимъ судомъ!
Ты правду отвергалъ, ты попиралъ свободу,
Ты былъ страстей рабомъ;
Россію погубилъ ты гордостью пустою
И міръ вооружилъ...
Смирись предъ братьями, предъ родиной святою:
Ты немощенъ и хилъ.
—«Простите мнѣ,—скажи—мое забвенье, братья!
«Мнѣ нуженъ вашъ совѣтъ.
«Откройте грѣшнику народныя объятія:
«Другой опоры нѣтъ...»
Смирись! летятъ часы; пройдутъ дни испытанья;
Исторія не ждетъ...
И грозно подъ тобой волнуется въ молчаньи
Проснувшійся народъ.

Такъ какъ рѣчь зашла о стихахъ, то мы выпишемъ здѣсь нѣсколько строкъ изъ многозначительнаго въ философскомъ смыслѣ стихотворенія, которое было написано нѣсколькими

годами позже (въ 1857 г.), когда Петръ Лавровичъ уже сталъ извѣстенъ нѣкоторыми статьями въ литературѣ. Это стихотвореніе называется «Предопредѣленіемъ»; въ немъ хорошо и ярко выражены тотъ фатализмъ и та вѣра въ неизбѣжность законовъ, которые, какъ мы уже видѣли, рано овладѣли умомъ Лаврова.

Начинается оно такъ:

Нѣтъ, Богъ немилосердъ! предъ нимъ напрасны слезы,
И не сочувствуетъ людскому горю онъ:
Спокойно внемлетъ онъ и скрипъ сухой березы,
Жужжаніе пчелы и человѣка стонъ.
Нѣтъ, онъ немилосердъ! По вѣчному закону
Одинъ вслѣдъ за другимъ кончаются вѣка.
И рушатся міры, и падаютъ короны,
И кровью пѣнится исторія рѣка.

Далѣе авторъ показываетъ всю тщету моленій, обращенныхъ къ небу:

И вы, скорбящіе, не ждите утѣшенья:
Молитвы ваши суть лишь бредъ души больной;
Не милосердіе, а предопредѣленье
Влечетъ израненныхъ васъ жизненной стезей.

И смѣло поэтъ, вѣрящій въ неизбѣжность законовъ для самого бога, смотритъ въ лицо неумолимой судьбѣ и говоритъ:

...Онъ (богъ) ведетъ насъ къ неизвѣстной цѣли
По скользкому для насъ, печальному пути,
Желанье каждое намъ шепчетъ съ колыбели:
Намъ больно, страшно намъ, но мы должны идти.
И въ этотъ самый мигъ онъ руководитъ мною:
Дрожитъ рука моя, но слышу гласъ: «будь твердъ!
Я мыслю чрезъ тебя! Я говорю тобою»—
И повторяю я: да, Богъ немилосердъ!

Тутъ уже вполне видно, что эта вѣра въ божество означаетъ у Лаврова 50-хъ годовъ ни болѣе, ни менѣе, какъ ясное сознаніе неизбѣжности великихъ законовъ природы, съ которыми должны сообразоваться люди, не надѣясь на призрачную помощь неба...

IV.

Но, конечно, уже и въ то время не въ стихахъ была сила Лаврова, хотя самъ онъ, по его же добродушному признанію, нѣсколько обманывался,—правда, недолго,—насчетъ своего поэтического таланта. Такъ какъ онъ любилъ писать стихи, и давались они ему легко, то онъ, смѣшивая,—какъ зачастую это бываетъ у литераторовъ,—свое субъективное ощущение и объективное значеніе своихъ произведеній, нѣкоторое время полагалъ, что у него есть настоящій поэтический даръ. Однако, отъ его проницательности и художественнаго вкуса не могло продолжительно скрываться, что стихи его могутъ быть и гладки, а временами даже звучны, и могутъ заключать въ себѣ идейное содержаніе, но что истиннаго творчества и способности выражать свою мысль и чувство въ дѣйствительно поэтическихъ образахъ у него нѣтъ. Его въ особенности укрѣпилъ въ этомъ скептическомъ отношеніи къ своимъ стихамъ переданный ему друзьями отзывъ Некрасова о нѣкоторыхъ политическихъ стихотвореніяхъ Лаврова, которымъ самъ Петръ Лавровичъ придавалъ кой-какое значеніе: «о, да, это рифмованныя газетныя реляціи или передовыя статьи».

Петръ Лавровичъ продолжалъ писать стихи, писалъ ихъ порою, подъ стыдливымъ анонимомъ, даже еще во «Впередѣ» (объ этомъ ниже), но уже перенесъ центръ тяжести своей литературной дѣятельности на прозу, а именно на серьезныя, научныя или философскія статьи. Естественно является вопросъ, съ какимъ багажемъ и съ какимъ міровоззрѣніемъ выступалъ онъ на арену серьезной литературной дѣятельности.

Знанія Петра Лавровича,—который, надо сказать, становился писателемъ по общимъ вопросамъ не въ 20 лѣтъ, какъ то было зачастую съ нашими литераторами, особенно въ эпоху реформъ, а въ 34,—были уже въ то время очень обширны. Кромѣ специальныхъ математическихъ знаній, онъ обладалъ обширными свѣдѣніями по естествознанію, логикѣ, педагогикѣ, философій, психологій, исторіи религіозныхъ ученій и общей

исторіи. Преслѣдуя сначала спеціальныя цѣли изученія физико-математическихъ, а также механическихъ наукъ въ приложеніи къ военной Technikѣ, онъ рано познакомился, между прочимъ, съ самими сочиненіями (хотя и въ переводахъ, такъ какъ онъ греческаго и латинскаго не зналъ) крупнѣйшихъ античныхъ мыслителей. И то, что дошло до насъ цѣликомъ или въ отрывкахъ отъ древнѣйшихъ философовъ, математиковъ, астрономовъ, «агримензоровъ»,—Элеатовъ, Платона, Аристотеля, Архимеда, Гиппарха, Птолемея, Фронтинна,—онъ зналъ не какъ дилетантъ, а какъ присяжный ученый въ этой области. Въ подлинникахъ онъ изучилъ представителей новѣйшей европейской философіи, причемъ, начавъ съ болѣе поверхностныхъ французскихъ эклектиковъ, въ родѣ Ройе-Колара и Виктора Кузэна, онъ скоро перешелъ къ болѣе глубокимъ и оригинальнымъ корифеямъ нѣмецкаго идеализма: Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю. На послѣднемъ онъ остановился особенно долго, и изучалъ не только его, но и различныя отвѣтвившіяся отъ него школы, начиная отъ правыхъ ортодоксальныхъ и кончая лѣвыми гегельянцами: Бруно Бауэромъ, Арнольдомъ Руге, Фейербахомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ прилежно знакомился и съ произведеніями нѣмецкихъ научныхъ теологовъ, насколько можно говорить вообще о «научности» въ этой области богословскихъ грезъ на яву. Съ Неандеромъ, съ Шлейермахеромъ въ рукахъ онъ штудировалъ какъ исторію христіанства, такъ и философскія попытки рационалистическаго и гуманитарнаго протестантизма.

Я уже вскользь упомянулъ о томъ, что Лавровъ довольно рано былъ освѣдомленъ относительно ученій великихъ французскихъ социалистовъ первой половины прошлаго вѣка. Они привлекали его, однако, главнымъ образомъ съ точки зрѣнія психологій и морали, чѣмъ съ точки зрѣнія ихъ социально-экономическихъ построеній. «Реабилитація плоти» сэнъ-симонистовъ, игра различныхъ страстей въ фаланстеріяхъ Фурье, теорія личнаго достоинства и «справедливости» у Прудона,—все это интересовало Лаврова гораздо болѣе, чѣмъ планы этихъ мыслителей касательно кореннаго переустройства мате-

риальных отношений между людьми. По моему глубокому убеждению, первая причина того, что впоследствии будет называться «субъективным методом в социологии» и абрисъ чего уже данъ намъ въ «Очеркахъ вопросовъ практической философіи», слѣдуетъ искать именно въ интересной комбинаціи, возникшей въ обширномъ мозгу Лаврова между субъективизмомъ Канта, антропологизмомъ Фейербаха и теоріей человеческой личности Прудона. Заострение же этого міровоззрѣнія могло произойти подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ тонко-скептическихъ положеній античной философіи. Самъ Петръ Лавровичъ придавалъ, напр., большое значеніе въ смыслѣ возбужденія работы своего ума въ извѣстномъ направленіи афоризму Протагора: «человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей». Если не ошибаюсь, онъ говоритъ даже объ этомъ письменно, въ своей очень мало распространенной, но любопытной (гектографированной) небольшой автобіографіи, дающей очеркъ эволюціи нашего мыслителя, какъ она сама представлялась ему. Я, къ сожалѣнію, утерялъ ее, и говорю лишь по памяти ¹⁾...

Какъ бы то ни было, во второй половинѣ 50-хъ годовъ Петръ Лавровичъ вступилъ на поприще общей литературы, и съ самаго же начала обнаружилъ несомнѣнную индивидуальность, нѣкоторыя черты которой будутъ подвергаться критикѣ даже со стороны людей родственнаго направленія, но которая въ общемъ ясно говорила о томъ, что въ лицѣ Лаврова русская мысль пріобрѣтала крупнаго работника.

Раньше было уже сказано, что Петръ Лавровичъ вошелъ въ литературу по смерти Николая. Послѣ нѣсколькихъ небольшихъ статей и замѣтокъ о «системѣ наукъ», о «воспи-

¹⁾ Замѣчу мимоходомъ, что попытка г. Бельтова вывести «русскую социологическую школу» изъ разсужденій Бруно Бауэра о «критическомъ духѣ» и «массахъ» представляетъ собою гораздо болѣе остроумную, чѣмъ основательную гипотезу, годную только для полемическихъ цѣлей. «Критическія» упражненія Бауэра по этой части оставались неизвѣстны Лаврову: на нихъ обратили вниманіе только послѣ перепечатки «литературнаго наслѣдства» Маркса-Энгельса, въ томъ числѣ «Святого семейства».

таніи», объ «экзаменахъ», онъ обратилъ на себя вниманіе статьями объ ученіи Гегеля, которыя появились въ «Библиотекѣ для чтенія», издававшейся тогда подъ редакціей Дружинина,—и именно эту о «Гегелизмѣ» въ 1858 г., и эту о «Практической философіи Гегеля» въ 1859 г. Статьи эти очень понравились Дружинину, который всячески старался облегчить первые шаги Петра Лавровича на литературномъ пути, и скоро Лавровъ сталъ печататься въ «Отечественныхъ Запискахъ», которыя редактировалъ Краевскій, подъ главнымъ руководствомъ Дудышкина, а также въ «Русскомъ Словѣ», гдѣ уже работалъ Писаревъ. Тутъ, можетъ быть, будетъ кстати сказать, почему будущій социалистъ-революціонеръ продолжалъ свою писательскую дѣятельность въ такомъ умѣренно-либеральномъ органѣ, какъ тогдашнія «Отечественныя Записки», вскорѣ вступившія въ ожесточенную полемику съ «Современникомъ». Это сотрудничество П. Л. Лаврова было въ значительной степени случайностью. Уже въ началѣ 50-хъ годовъ онъ сталъ чувствовать сильную потребность попробовать силы въ общей литературѣ: писанье специальныхъ и техническихъ статей совсѣмъ не удовлетворяло его. Но какъ пробить себѣ дорогу въ печати? Число органовъ было въ то время ограничено; литературныя мѣста, что называется, заняты. Порою на Петра Лавровича находило уныніе, изъ котораго его всячески старалась выводить его жена: долго еще однако писательская дѣятельность казалась ему неосуществимой мечтой. Но вотъ умираетъ Николай. Россія зашевелилась. Общественное мнѣніе стало пробуждаться. Среди публики проявился интересъ къ различнымъ вопросамъ тогдашней современности. Оживилась сообразно съ этимъ и печать, и число органовъ замѣтно возрасло. На писателей спросъ поднялся: всякій, кто мало-мальски могъ владѣть перомъ и имѣлъ хоть что-нибудь за душой, былъ желаннымъ гостемъ въ литературѣ. Съ другой стороны, общественная и политическая мысль была еще очень смутна и незрѣла въ то время: кромѣ нѣкоторыхъ наболѣвшихъ жизненныхъ вопросовъ, напримѣръ, освобожденія крестьянъ, улучшенія судовъ, облегченія цензурныхъ условій для печати, за-

дачи тогдашняго времени мало кому изъ русскихъ рисовались въ опредѣленномъ свѣтѣ. Настроение у большой публики было праздничное, торжественное и до нѣкоторой степени комическое. То была пора хорошихъ людей и хорошихъ мыслей. Но люди эти были мало подготовлены къ общественной и политической дѣятельности, а мысли эти были крайне неясны. Не было еще въ то время и такой розни между различными лагерями, какая проявилась всего четыре-пять лѣтъ спустя. Либеральничавшій Катковъ еще могъ сообща обсуждать нѣкоторые вопросы съ пріѣзжавшимъ въ Москву «краснымъ» Чернышевскимъ. Не замѣчалось пока и особенно рѣзкаго разногласія между органами печати. «Отечественныя Записки» конца 50-хъ годовъ были не такъ далеки отъ «Современника», какъ это обнаружилось въ началѣ 60-хъ годовъ...

Но несомнѣнно, что въ извѣстной степени возможность стоять въ то время на границѣ между двумя лагерями опредѣлялась для Лаврова и нѣкоторыми личными особенностями его нравственной физіономіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣмъ моментомъ въ его эволюціи, который онъ переживалъ въ эту пору. Послѣдовательность, постепенность и логичность въ развитіи являются основными чертами индивидуальности Петра Лавровича. Онъ отнюдь не принадлежитъ къ типу тѣхъ, иногда и очень крупныхъ людей, которые способны испытывать быстрыя идейныя метаморфозы, и съ тою же рѣзкостью и импульсивностью теоретической мысли и практическаго чувства, какъ и прежде, проводить однако совершенно инныя идеи, чѣмъ тѣ, что раньше защищались ими. Я говорю о разновидности личностей въ родѣ апостола Павла, Ламеннэ, нашего Бѣлинскаго. Вся природа Петра Лавровича протестовала бы противъ такого психологическаго превращенія. Ему нужно было долго и много перерабатывать убѣжденія, постепенно замѣнять одинъ элементъ ихъ другимъ, семь разъ примѣрять, а одинъ разъ отрѣзать, чтобы измѣнить міровоззрѣніе. Не вдумывавшіеся въ его типъ люди указывали на нѣкоторыя полосы въ жизни Лаврова, которыя будто бы свидѣтельствуютъ о довольно быстрой смѣнѣ однихъ взглядовъ Петра Лавровича

другими. Это только повидимому: смѣнявшіе одинъ другой взгляды лежали, несмотря на свое внѣшнее противорѣчіе, въ одной плоскости. Затѣмъ ихъ смѣна принимала у него всегда форму поправокъ, ограниченій или расширеній прежняго принципа, словомъ, дополненій, хотя бы и очень существенныхъ, но не сходявшихъ съ почвы основныхъ взглядовъ. Лавровъ, напр., могъ изъ культурника становиться революціонеромъ, изъ противника террора его защитникомъ: это все же были только сравнительно поверхностныя катастрофы и движенія почвы надъ гораздо болѣе устойчивой толщей лишь медленно и логически развивавшихся идей. Впрочемъ, я забѣгаю нѣсколько впередъ.

Что касается до того пункта въ эволюціи, до какого онъ дошелъ на рубежѣ 50-хъ и 60-хъ годовъ, то эта точка по пути развитія сильно и много думающаго Лаврова несомнѣнно находилась между двумя быстро обособлявшимися теченіями общественно-политической мысли, либеральнымъ и радикальнымъ (соціалистическимъ) и во всякомъ случаѣ ближе къ послѣднему. У меня изъ этой эпохи въ жизни П. Л. Лаврова находится подъ-рукой,—какъ я уже сказалъ,—очень мало документовъ, представляющихъ серьезный біографическій интересъ. Какъ бы то ни было, если даже ограничиться чисто литературнымъ матеріаломъ, то можно видѣть, что Лавровъ былъ гораздо лѣвѣе идейныхъ вдохновителей «Отечественныхъ Записокъ», и что теченіе Чернышевскаго могло бы въ сущности считать его въ значительной степени своимъ.

Критика,—и критика, идущая до конца,—традицій и вѣрованій; выработка дѣйствительнаго прогрессивнаго убѣжденія; неразрывная связь между теоріей и практикой—вотъ что было уже тогда основной мыслью Лаврова и въ извѣстномъ смыслѣ осталось ею до самаго конца его жизни. Мѣнялись же по мѣрѣ хода историческихъ событій и развитія самого мыслителя лишь подробности этой умственной и нравственной задачи. Его статьи о критически-мыслящей личности, вышедшія въ 1860 г. отдѣльной брошюрою, подъ заглавіемъ «Очерки вопросовъ практической философіи. Личность», ярко ставили такое

именно требованіе предъ читателемъ. Замѣчу кстати, что посвящены онѣ были «А. Г. и П. П.», т.-е. А. Герцену и П. Прудону—вотъ кого ставилъ уже въ то время нашъ «постепеновецъ» своими учителями и идейными товарищами. Извѣстное нерасположеніе къ Лаврову въ радикальныхъ слояхъ того времени объясняется отчасти добросовѣстностью его критики, которая не щадила тогдашнихъ идоловъ. Такъ, Лаврову ставили, между прочимъ, въ упрекъ его статью о матеріализмѣ («Механическая теорія міра»), въ которой будто бы онъ сталъ на сторонѣ противниковъ «Современника». Читайте эту статью: въ ней нѣтъ ничего похожаго на подобное обвиненіе. Авторъ съ большимъ уваженіемъ относится къ попыткамъ матеріалистовъ объяснить все въ мірѣ движеніемъ вещества, но онъ показываетъ, что модный въ то время матеріализмъ Бюхнера и Молешота былъ не наукой, а метафизикой. И въ этомъ отношеніи Лавровъ былъ совершенно правъ¹⁾. Припомните только, что было сказано въ концѣ 70-хъ годовъ хотя бы такимъ «матеріалистомъ», какъ Энгельсъ, по поводу наивнаго матеріализма прежнихъ лѣтъ: и у Энгельса находится такое же точно обвиненіе, какъ у Лаврова, касательно метафизичности этого ученія. Но главнымъ-то образомъ отношеніе къ Лаврову со стороны крайнихъ радикаловъ 60-хъ годовъ было основано на недоразумѣніи. Когда борьба съ начавшейся политической реакціей вызвала распадѣніе оппозиціи на разныя фракціи, вражда между органами прессы, выражавшими эти фракціи, приняла очень скоро ожесточенный характеръ. Людямъ въ то время казалось, что кто не за «Современникъ», тотъ противъ Чернышевскаго и его друзей, а такъ какъ Лавровъ писалъ въ «Отеч. Зап.», съ которыми «Соврем.» полемизировалъ, то и авторъ «Личности» былъ причтенъ къ идейнымъ товарищамъ Дудышкина и Альбертини, что было далеко не вѣрно.

¹⁾ Самъ Фейербахъ, отгѣняя различіе своихъ взглядовъ отъ молешотовскаго матеріализма, оставилъ слѣдующій «афоризмъ»: я «согласенъ съ матеріализмомъ въ томъ, что позади насъ, но не въ томъ, что впереди».

Интересно въ этотъ моментъ отношеніе къ Лаврову со стороны Н. Г. Чернышевскаго. Онъ, какъ извѣстно, написалъ даже цѣлую статью «Антропологическій принципъ въ философіи» якобы по поводу работы Лаврова («Очерковъ практической философіи»), но, упомянувъ о немъ въ самомъ началѣ почтительно-иронически и даже съ симпатіей къ прогрессивному направленію нашего мыслителя, уже болѣе не возвращается къ нему. Точка зрѣнія Чернышевскаго въ данномъ случаѣ такова: онъ отдаетъ дань учености и хорошимъ тенденціямъ Лаврова, но не удовлетворяется его эклектизмомъ, заставляющимъ его приводить въ подтвержденіе своихъ мыслей всевозможныхъ, зачастую противорѣчащихъ другъ другу писателей. Духовному вождю тогдашней революціонной интеллигенціи, очевидно, казалось, что Лавровъ черезчуръ завертываетъ прогрессивный характеръ своихъ воззрѣній въ аппаратъ излишней эрудиціи, сбивая тѣмъ лишь съ толку русскую читающую публику, для которой, по мнѣнію Н. Г. Чернышевскаго, нужны прежде всего ясныя и опредѣленные взгляды. А ученики Чернышевскаго преувеличивали такое отношеніе самого Николая Гавриловича и доходили, разъ ступивъ на такую почву, уже до значительной недружелюбности.

Такъ, когда П. Л. Лавровъ прочиталъ въ 1860 году въ пользу Литературнаго Фонда,—однимъ изъ первыхъ членовъ котораго онъ былъ,—три публичныя лекціи о значеніи философіи («Три бесѣды о современномъ значеніи философіи», напечатанныя въ «Отеч. Запискахъ» 1861 г.), онъ подвергся рѣзкой критикѣ М. А. Антоновича. И послѣдній повторилъ нападеніе на Лаврова по поводу «Русскаго Энциклопедическаго Словаря», начавшаго выходить въ 1861 г. подъ общей редакціей Краевскаго, при редакціи по философскому отдѣлу Лаврова, скоро ставшаго главнымъ редакторомъ. Тутъ, что называется, своя своихъ не познаша: въ то время какъ архіереи и свѣтскіе доносчики, въ родѣ Асоченскаго, призывали на голову Лаврова правительственные громы за безбожіе, проповѣдуемое «Энциклопедическимъ Словаремъ», и требовали наказанія церковной анафемой и царской каторгой, Антоновичу

претила умѣренность взглядовъ редактора Словаря, и это нерасположеніе сказалося на общемъ тонѣ его черезчуръ строгой критики. Насколько эта полемика противъ Петра Лавровича держалась, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени на недоразумѣніи, видно было изъ того, что вскорѣ послѣ того самъ Антоновичъ предложилъ Лаврову свое сотрудничество въ Словарѣ и далъ, между прочимъ, статью объ Евангеліяхъ, которая, подобно многимъ вещамъ Антоновича, была написана очень ясно и талантливо и произвела въ свое время большой фуроръ¹⁾. Кстати сказать, Писаревъ обнаружилъ гораздо большее пониманіе первоначальной литературной дѣятельности Лаврова, и уже въ началѣ 60-хъ годовъ причислялъ его рѣшительно и энергично къ «прогрессивнымъ писателямъ», съ которымъ совершенно не зачѣмъ было, по его мнѣнію, полемизировать. Относительно Писарева, позже писавшаго въ «Отечественныхъ Запискахъ» Некрасова, извѣстенъ тотъ фактъ, что онъ съ величайшей деликатностью относился къ работамъ Петра Лавровича въ этомъ органѣ, и когда узнавалъ, что Лавровъ брался за какую-нибудь тему, то отказывался немедленно же отъ нея, даже когда уже началъ ее.

По мѣрѣ того, какъ деспотизмъ все больше и больше снималъ съ себя либеральную маску, Лавровъ все далѣе и далѣе передвигался влѣво. Въ 1862 году онъ былъ введенъ покойнымъ А. Н. Энгельгардтомъ въ революционное общество «Земля и Воля», а за нѣсколько мѣсяцевъ до ареста Чернышевскаго сблизился съ этимъ послѣднимъ и былъ приглашенъ имъ въ качествѣ секунданта на одну изъ «словесныхъ дуэлей» съ однимъ изъ представителей консервативнаго лагеря. Этотъ

¹⁾ Въ виду замѣчаній М. А. Антоновича на это мѣсто моего этюда (см. его «По поводу статьи Н. С. Русанова «П. Л. Лавровъ», въ апрѣльской книжкѣ «Былого» за 1907 г.) я нѣсколько смягчилъ свой отзывъ о явной «несправедливости» отношенія «Современника» къ Лаврову. Что касается до предложенія сотрудничества въ Словарѣ самимъ г. Антоновичемъ, то это было мнѣ передано за фактъ П. Л. Лавровымъ. Очевидно, на разстояніи сорока лѣтъ воспоминанія у той или у другой стороны поблѣднѣли и стали не совсѣмъ точными.

литературный поединокъ состоялся, впрочемъ, безъ участія Лаврова, который долженъ былъ экзаменовать въ этотъ день; и все, что было рассказано лѣтъ 10 тому назадъ объ упомянутой «дуэли» въ русской исторической печати, относится къ области выдумокъ заднимъ числомъ.

Арестъ Чернышевскаго и товарищей и разгромъ общества «Земля и Воля» вырвали изъ передовыхъ рядовъ много выдающихся дѣятелей, опрокинули старыя перегородки между различными группами оппозиціи, но съ другой стороны вызвали новыя и болѣе опредѣленные раздѣленія. Лавровъ самымъ положеніемъ вещей былъ поставленъ въ необходимость идти вправо или влѣво, и со свойственною ему послѣдовательностью сдѣлалъ новый шагъ въ сторону радикализма. Впрочемъ, уже въ 1861 г. начальство смотрѣло на него, какъ на прямого врага: принцъ Ольденбургскій, за нѣсколько мѣсяцевъ до ареста Чернышевскаго, говорилъ въ интимной бесѣдѣ: «стоитъ только схватить пять-шесть зачинщиковъ (упомяная въ томъ числѣ Лаврова), и революціи и въ поминѣ не будетъ». Когда послѣ студенческихъ исторій и закрытія университета студенты обратились къ Лаврову съ просьбою читать имъ лекціи въ зданіи Думы, то начальство воспретило эти чтенія. Нѣсколько позже, во время польскаго возстанія близкій родственникъ Лаврова и страшный консерваторъ Щебальскій, съ которымъ они были на ты, писалъ къ Петру Лавровичу дружеское, но ругательное увѣщаніе: «Куда, молъ, идешь? Къ измѣнникамъ отечества!» Упомяну еще два три факта, которые ясно показываютъ, что П. Л. Лавровъ уже не удовлетворялся тогда простой либеральной оппозиціей. Когда въ Петербургѣ стало основываться Общество женскаго труда, при ближайшемъ участіи Стасовой, Анны Павловны Философовой и графини Ростовцевой, приглашенный въ члены Лавровъ представилъ въ свою очередь списокъ новыхъ членовъ. И характеръ этихъ членовъ, на вербованныхъ почти исключительно въ рядахъ «нигилистовъ», показался учредительницамъ настолько страшнымъ, что онѣ отказались принять кандидатокъ Лаврова. На это послѣдній отвѣтилъ рѣзкою рѣчью о филантропіи

праздныхъ барынь и насущной потребности въ трудѣ дѣловыхъ женщинъ. Въ результатѣ графиня Ростовцева и А. П. Философова отказались открыть общество; и министерство, которое разрѣшило открытіе лишь этимъ знатымъ барынямъ, взяло назадъ свое разрѣшеніе. Другой разъ, говоря въ ревизионной комисіи Литературнаго Фонда по поводу одной ссуды, Лавровъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы заклеить мнимыхъ либераловъ, служившихъ и нашимъ и вашимъ, въ родѣ тогдашняго начальника Азіатскаго департамента Егора Ковалевскаго, который то являлся на свиданія въ тюрьму къ Чернышевскому, то жалъ руку Муравьеву-Вѣшателю...

V.

Скоро Петръ Лавровичу пришлось испытать на себѣ всю тяжесть русской реакціи. Совершивъ заграничную поѣздку съ больной женой (она умерла въ 1865 г.), Лавровъ находился въ Питерѣ въ тотъ моментъ, когда раздался Каракозовскій выстрѣлъ (4-го апрѣля 1866 г.). Обезумѣвшее отъ неожиданнаго сюрприза самодержавіе не могло понять, какую массу злобы и негодованія оно успѣло накопить въ сердцахъ истинныхъ друзей прогресса своей двуличной и лицемерной политикой, и не нашло ничего лучшаго, какъ отдать всю Россію, а особенно Петербургъ, во власть свирѣпаго диктатора. Что выдѣлывалось въ то время въ столицѣ, достаточно извѣстно: обыски, аресты и заключенія, ссылки и высылки; жизнь и честь гражданъ въ лапахъ звѣря-генерала; безграничный страхъ и вѣрнопопданническое лакейство, обнаруженные большинствомъ такъ называемыхъ либераловъ, которые не останавливались порою передъ доносами на своихъ родственниковъ, лишь бы выслужиться передъ начальствомъ; повсюду правительственная и общественная реакція. Даже со струнъ глубоко демократической лиры Некрасова срывались въ то время «невѣрные звуки». Долго и искренно пѣвецъ народного горя, дѣйствительно, раскаивался въ несчастныхъ стихахъ, которые онъ

страха ради іудейска написалъ тогда для умиловленія расходившагося самодержавія:

Не громка моя лира, въ ней нѣтъ
Величавыхъ, торжественныхъ пѣсень,
Но придетъ, народится поэтъ,
Вдохновеньемъ великимъ чудесенъ,
И великую пѣсню споетъ...
И героями пѣсни той чудной
Будутъ: царь, что стезей многотрудной
Царство русское къ счастью ведетъ
И народъ...

Словомъ, мало, очень мало было въ то время людей, которые изъ этого погрома вышли не съ покорностью и примиреніемъ, а съ жаждою новой борьбы за истину и свободу! Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и П. Л. Лавровъ, котораго событіе 4-го апрѣля выбросило навсегда изъ официальнаго, служебнаго, привилегированнаго и либеральнаго міра въ совершенно иной міръ крайнихъ радикаловъ и опальныхъ людей.

Вскорѣ послѣ выстрѣла начальство произвело обыскъ у Лаврова, а немного спустя (25-го апрѣля ст. ст.) онъ былъ арестованъ. Собственно, прямыхъ уликъ противъ него не имѣлось. Но это не помѣшало властямъ предать его военному суду въ августѣ 1866 г. Судъ призналъ его виновнымъ въ сочиненіи четырехъ стихотвореній, въ которыхъ «выражалось неуваженіе» къ Николаю I и Александру II; въ «сочувствіи и близости къ людямъ, извѣстнымъ правительству своимъ преступнымъ направленіемъ» (дѣло шло о Чернышевскомъ, Михайловѣ и др.); въ проведеніи «вредныхъ идей» путемъ печати и т. д. Военно-судебная комиссія приговорила его къ аресту на нѣкоторое время. Но приговоръ этотъ былъ измѣненъ къ худшему генераль-аудиторіатомъ (генераль-аудиторомъ былъ въ то время Философовъ, мужъ Анны Павловны, о которой рѣчь была выше). Императоръ утвердилъ измѣненный приговоръ, согласно которому Петръ Лавровичъ увольнялся со службы—въ чинѣ полковника—и ссылался на житіе въ «одну изъ внутреннихъ губерній» подъ надзоръ полиціи. Вѣрнопопданнные

географы не безъ остроумія причислили къ этой категоріи Вологодскую, и послѣ 9-ти мѣсячнаго ареста Лавровъ былъ вывезенъ въ г. Тотъму 15/27 февраля 1867 г. Тяжело было человѣку привыкшему къ жизни въ интеллигентномъ обществѣ столицы, пребываніе въ маленькомъ сонномъ городкѣ, который едва насчитывалъ 3500 жителей. Правда, Лаврова перевели было въ 1868 г. въ Вологду. Но, по несчастью, въ день его отъѣзда другіе жившіе въ Тотъмѣ ссыльные рѣшили провожать его на нѣкоторое разстояніе за городъ, что было сейчасъ же донесено мѣстными властями питерскому начальству. И въ результатѣ Петръ Лавровичъ былъ немедленно же высланъ въ Кадниковъ, городишко еще болѣе жалкій, чѣмъ Тотъма. Въ Кадниковѣ Лавровъ былъ единственнымъ политическимъ ссыльнымъ: для наблюденія за нимъ было назначено туда специально два жандарма. Но жизнь въ захолустѣ нисколько не сломила умственной энергіи мыслителя. Тамъ онъ очень много занимался и усиленно работалъ (подъ разными псевдонимами, въ родѣ Миртова) въ русской литературѣ, сотрудничая главнымъ образомъ въ «Недѣлѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ» новой (некрасовской) редакціи: въ послѣднія ввелъ его Г. З. Елисѣевъ. И между многочисленными вещами, помѣщенными въ этомъ журналѣ, особенно извѣстны его анонимныя статьи «Цивилизація и дикія племена» (1869 г.) и «Современное ученіе о нравственности и ея исторіи» (1870 г.). Но самое замѣчательное сочиненіе Лаврова изъ этого времени, это—его «Историческія письма», которыя печатались въ «Недѣлѣ» 1868—1869 г., а въ 1870 г. вышли въ переработанномъ видѣ отдѣльной книгой.

Это небольшое сравнительно произведеніе имѣло, какъ извѣстно, успѣхъ поразительный и, слѣдуетъ прибавить, неожиданный какъ для самого Петра Лавровича, такъ и для нѣкоторыхъ очень компетентныхъ судей. Интересно, что такой сильный и тонкій умъ, какимъ былъ Н. К. Михайловскій, игравшій въ то время важную роль въ редакціи «Недѣли», прочитавъ первыя письма, находилъ ихъ черезчуръ сухими для большинства публики и даже задавался вопросомъ, стоитъ ли

поощрять ихъ дальнѣйшее появленіе. И только болѣе чуткая оцѣнка ихъ покойною Е. И. Конради, участвовавшею также въ редакціи газеты, воспрепятствовала ихъ прекращенію. Между тѣмъ можно смѣло сказать, что «Историческія письма» скоро сдѣлались и были настольной книгой, Евангеліемъ молодежи въ теченіе всѣхъ семидесятихъ годовъ; да и послѣ многія мысли «Писемъ» вошли въ обиходъ всякаго образованнаго и порядочнаго челоѣка въ Россіи. Дѣло доходило порою до комизма, когда самые враги Лаврова били, что называется, его же добромъ да ему же челомъ, въ полемикѣ съ нимъ повторяя его собственныя идеи... Ахъ, надо было жить въ 70-ые годы, въ эпоху движенія въ народъ, чтобы видѣть вокругъ себя и чувствовать на самомъ себѣ удивительное вліяніе, произведенное «Историческими письмами»! Многіе изъ насъ, юноши въ то время, а другіе просто мальчики, не разставались съ небольшой, истрепанной, исчитанной, истертой въ конецъ книжкой. Она лежала у насъ подъ изголовьемъ. И на нее падали при чтеніи ночью наши горячія слезы идейнаго энтузіазма, охватывавшаго насъ безмѣрною жаждою жить для благородныхъ идей и умереть за нихъ... И какъ радостно трепетали наши сердца, въ какомъ величій возставалъ передъ нами образъ лично незнакомаго, но родного чашей мысли, далекаго матеріально, но близкаго къ намъ духомъ ученія «добраго учителя», призывавшаго насъ къ безкорыстной борьбѣ за убѣжденія!

Одно время мы увлекались Писаревымъ, который говорилъ намъ о великой пользѣ естественныхъ наукъ для выработки изъ челоѣка «мыслящаго реалиста». Мы готовились всѣ стать такими «мыслящими реалистами», которые желаютъ жить во имя своего «развитого эгоизма», низвергая всѣ авторитеты и ставя цѣлью свободную и счастливую жизнь какъ насъ самихъ, такъ и нашихъ единомышленниковъ. И вдругъ небольшая книжка говоритъ намъ, что на естественныхъ наукахъ свѣтъ не клиномъ сошелся; что на одной анатоміи лягушки далеко не уѣдешь; что есть другіе важные челоѣческіе вопросы: есть исторія, есть общественный прогрессъ, есть, нако-

нецъ, народъ, голодающій, замученный трудомъ народъ, рабочій людъ, который поддерживаетъ на себѣ все зданіе цивилизации и который только и позволяетъ намъ заниматься и лягушками и всякими другими науками; есть, наконецъ, нашъ неоплатный долгъ передъ народомъ, передъ великой арміей трудящихся.

Можете себѣ представить, какой ураганъ новыхъ мыслей и новыхъ чувствъ прохсидилъ по нашей душѣ! Какъ стыдно намъ было за свои мизерные буржуазные планы насчетъ счастливой личной жизни! Къ чорту и «разумный эгоизмъ», и «мыслящій реализмъ», и къ чорту всѣхъ этихъ лягушекъ и прочіе предчеты наукъ, которые заставляли насъ забывать о народѣ! Отнынѣ наша жизнь должна была всецѣло принадлежать массамъ, и только посвящая всѣ наши силы торжеству общественной правды, мы могли не оказаться злостными банкротами передъ нашей страной и всѣмъ человѣчествомъ. На разстояніи теперь становится виднѣе, какую важную роль «Историческія письма» сыграли въ созданіи и развитіи того возвышеннаго и безкорыстнаго энтузіазма, который двинулъ молодыхъ проповѣдниковъ социализма «въ народъ».

Самъ Лавровъ не присутствовалъ, впрочемъ, лично при начинавшемся и быстро возроставшемъ успѣхѣ книги. Видя, что его ссылкѣ не предвидится конца, и желая участвовать въ живой политической борьбѣ, онъ уже съ конца 60-хъ годовъ задумалъ переѣхать границу и при посредствѣ друзей условился насчетъ своего бѣгства, между прочимъ, съ Герценомъ, который обѣщалъ ему «устроить все: пускай лишь пріѣдетъ!» Бѣгство это было выполнено при пособіи знаменитаго Германа Александровича Лопатина и не обошлось безъ нѣкоторыхъ траги-комическихъ приключеній. Въ Кадниковѣ было всего на всего три почтовыхъ тройки: нечего было и думать воспользоваться ими. И вотъ однажды, когда Петръ Лавровичъ сидѣлъ у себя на квартирѣ и разговаривалъ съ двумя мѣстными пріятелями, къ нему явился рослый и красивый молодой человѣкъ, который, отрекомендовавъ себя господиномъ N. N., присоединился къ разговору и очаровалъ собесѣдни-

ковъ своимъ умомъ и блестящимъ краснорѣчіемъ. По уходѣ знакомыхъ, молодой человѣкъ выпалилъ въ упоръ Лаврову «я не N. N., а Лопатинъ; наши общіе друзья послали увезти васъ отсюда въ Петербургъ. Вы готовы? Когда можете отправиться?»—Хоть завтра, былъ отвѣтъ. Лопатинъ пріѣхалъ въ Кадниковъ на добытыхъ въ Вологдѣ лошадяхъ и въ назначенный день (15/27 февраля 1870 г.), ровно черезъ три года послѣ того, какъ Петръ Лавровичъ явился сюда ссыльнымъ, увезъ выбрившагося и ставшаго неузнаваемымъ Лаврова.

Рѣшено было ѣхать въ Вологду, а оттуда на ближайшую станцію строившейся въ то время Ярославско-Вологодской желѣзной дороги. Въ Вологдѣ, пересаживаясь на почтовую перекладную, бѣглецы узнали, что по дорогѣ имъ придется встрѣтиться съ жандармскимъ полковникомъ, который ѣхалъ по службѣ и хорошо зналъ въ глаза Петра Лавровича. Моментъ былъ критическій, но отступать было нельзя: надо было рисковать и прямо идти на встрѣчу опасности. Лопатинъ, который былъ въ то время въ цвѣтѣ лѣтъ и полонъ юношеской смѣлости, чтобы не показать, какъ озабочивала его предстоящая встрѣча, счелъ долгомъ завести со своимъ спутникомъ разговоръ о позитивизмѣ. П. Л. Лавровъ хорошо понималъ настроеніе Лопатина, но тоже, чтобы не отказаться отъ предложенной игры, съ оживленіемъ давалъ ученыя реплики товарищу по дорогѣ и опасности. Дѣло, впрочемъ, обошлось благополучно. Сани жандармскаго полковника встрѣтили перекладную съ философствующими диспутантами по дорогѣ, но блюститель порядка и не заглянулъ въ возокъ бѣглецовъ. Затрудненіе представилось дальше, когда Лавровъ и Лопатинъ пріѣхали въ то мѣсто, откуда они думали воспользоваться открытымъ уже, по слухамъ, желѣзнодорожнымъ участкомъ. Оказалось, что открытіе еще не состоялось, но должно произойти на слѣдующій день при самой торжественной обстановкѣ, въ присутствіи всѣхъ мѣстныхъ властей и въ томъ числѣ специально наблюдавшаго за Лавровымъ жандармскаго полковника. Дважды искушать фортуна нашимъ путешественникамъ не хотѣлось, и потому они порѣшили и

дальше ѣхать на лошадяхъ, а затѣмъ уже сѣсть на чугунокъ и катить черезъ Москву въ Питеръ.

Въ столицѣ бѣглеца ждали новыя испытанія. Лопатинъ, согласно уговору, «доставилъ» Лаврова на радикальную квартиру, закончивъ блистательно свою миссію. Но другіе пріятели и знакомые Петра Лавровича, посвященные въ его бѣгство, далеко не отличались лопатинскою энергіею и практичностью. Такъ какъ радикальная квартира, на которую Лавровъ попалъ сначала, была почему-то неудобна, то его сочли нужнымъ отвезти на другую, аристократическую квартиру, которая находилась на Конногвардейскомъ бульварѣ, и владѣлецъ которой, бравый офицеръ и добрый малый, сочувствовавшій «хорошимъ идеямъ», былъ очень посредственнымъ конспираторомъ. Не успѣлъ Петръ Лавровичъ прибыть въ новое помѣщеніе, какъ оказалось, что квартира эта была уже употреблена для другой «нелегальной» цѣли: сюда пріютилась дѣвица, которая, желая жить своимъ хлѣбомъ, обвѣнчалась съ однимъ изъ знакомыхъ фиктивнымъ бракомъ. И здѣсь съ часу на часъ ждали полицейскаго нашествія, которымъ грозили разсерженные родители.

А между тѣмъ Петру Лавровичу приходилось прожить еще нѣсколько дней въ Петербургѣ. Дѣло въ томъ, что прибылъ онъ сюда въ четвергъ на масляницу, на широкую, развеселую русскую масляницу, когда все въ Петербургѣ было пьянымъ пьяно, а всѣ присутственныя мѣста закрыты, и заграничнаго паспорта (на имя доктора Веймара, осужденнаго послѣ по дѣлу Соловьева) нельзя было получить раньше слѣдующаго понедѣльника. Сочувствующій хорошимъ идеямъ офицеръ предложилъ Петру Лавровичу отвезти его въ имѣніе своихъ пріятелей, находившееся въ Лужскомъ уѣздѣ. Поѣхали: по дорогѣ новое приключеніе. Въ Лугѣ Лаврову пришлось ужинать въ трактирѣ, гдѣ предавалось масляничному кутежу лужское уѣздное земство; а многіе члены его, которые были и губернскими гласными петербургскаго земства, отлично знали Петра Лавровича, тоже состоявшаго до своего ареста членомъ этого земства, и легко могли бы узнать бѣглеца. Въ самомъ

же имѣніи, куда пріѣхали Лавровъ и его провожатый, домъ былъ полонъ масляничныхъ гостей, которыхъ, конечно, долженъ былъ интриговать незнакомый, державшійся въ сторонѣ посягатель. Такъ прошли веселые для гостей и довольно меланхолические для отшельника послѣдніе дни масляницы. И можно было думать, что питерскіе пріятели уже добыли заграничный паспортъ у перешедшихъ на трезвое положеніе властей.

Было условлено, что паспортъ этотъ привезутъ на станцію города Луги. Туда, въ первый же день великаго поста, хозяева отправились съ Лавровымъ для того, чтобы встрѣтить посланца съ заграничнымъ видомъ и купить билетъ для отъѣзжающаго. Билетъ былъ купленъ, но изъ Питера паспорта не привезли; и приходилось возвращаться въ имѣніе и ждать слѣдующаго дня. На слѣдующій день поѣздка—замѣтите, за пятнадцать верстъ, на станцію, и на станцію очень ничтожную, откуда выѣзды за границу какого-нибудь лица были необыкновеннымъ событіемъ,—эта поѣздка увѣнчалась новымъ неуспѣхомъ. Наконецъ, на третій день паспортъ былъ привезенъ, и Петръ Лавровичъ благополучно выѣхалъ за предѣлы Россійской Имперіи, въ то время, какъ всполошившіяся въ Вологдѣ власти терялись въ догадкахъ, какъ и куда могъ исчезнуть ссыльный, ибо три ямскія тройки въ Кадниковѣ оказались всѣ налицо. Начальство успокоилось на томъ предположеніи, что Лавровъ, потихоньку выѣхавъ изъ города (какъ это онъ дѣлалъ нѣсколько разъ, по словамъ его матери), былъ убитъ неизвѣстнымъ ящикомъ. А въ губерніи ходили даже слухи насчетъ какихъ-то найденныхъ въ ямскихъ саняхъ слѣдовъ крови...

VI.

Въ это самое время Петръ Лавровичъ находился уже на французской территоріи, куда онъ пріѣхалъ въ послѣдніе мѣсяцы Второй имперіи: въ Парижѣ онъ былъ 1/13 марта 1870 г., вскорѣ послѣ того, какъ умеръ Герценъ, приглашавшій его

сюда. Новый міръ раскрывался передъ Лавровымъ, тотъ міръ, съ которымъ нашъ мыслитель былъ знакомъ раньше лишь по книгамъ. Съ одной стороны Лавровъ вошелъ въ ученые круги, былъ избранъ въ члены антропологическаго общества и (года два спустя) былъ приглашенъ извѣстнымъ Брока въ составъ редакціи *Revue d'Anthropologie*; съ другой, уже въ самомъ началѣ онъ близко сошелся съ переплетчикомъ Варлэномъ, однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ представителей французскаго пролетаріата, и былъ введенъ имъ въ Интернаціоналъ, а именно, если не ошибаюсь, въ секцію Тэрнъ. Изученіе Маркса и наблюденіе за рабочимъ движеніемъ Запада заставили нашего ученаго сдѣлать новый шагъ влѣво. И изъ политическаго радикала, лишь сочувствующаго благороднымъ идеямъ социализма, Лавровъ самъ становился убѣжденнымъ социалистомъ-революціонеромъ, видящимъ въ рабочемъ классѣ самага крупнаго двигателя прогресса и строителя будущаго коммунистическаго общества...

Въ это время политическія событія неслись съ ужающей быстротой. Въ одинъ-два года Франціи пришлось пережить болѣе, чѣмъ за послѣднія двадцать лѣтъ: нѣмецкія полчища наводнили страну; пала Имперія; сдался осажденный пруссаками Парижъ; Коммуна была утоплена въ крови парижскаго пролетаріата. Все время осады Лавровъ оставался въ Парижѣ, раздѣляя съ населеніемъ бѣдствія и лишенія войны. И мнѣ живо помнится его разсказъ о томъ, какъ въ одно печальное январское утро, когда перемиріе съ пруссаками уже было заключено, онъ отправился пѣшкомъ вмѣстѣ съ нѣсколькими пріятелями въ Сэнъ-Дени подъ Парижемъ, чтобы принести оттуда на своихъ плечахъ мѣшокъ съ картофелемъ, яйцами и прочими съѣдобными рѣдкостями.

Когда вспыхнуло возстаніе 18-го марта (1871 г.), и буржуазное правительство стремительно кинулось изъ Парижа въ Версаль, чтобы оттуда готовить нашествіе на героическій городъ, Лавровъ оставался, — короткое, впрочемъ, время, — среди коммунаровъ. Между прочимъ онъ черезъ Варлэна предложилъ революціонному правительству свои услуги по органи-

заціи школъ и вообще по учебной части. Но если въ самомъ началѣ возстанія можно было надѣяться на то, что Коммуна не только восторжествуетъ, но и успѣетъ осуществить хоть сколько-нибудь на практикѣ идею о переустройствѣ общества, то очень скоро эти иллюзіи исчезли, и революціонное правительство вынуждено было исключительно заняться защитой Парижа отъ нападенія свирѣпой версальской солдатчины. Во всякомъ случаѣ на предложеніе Лаврова Коммуна не имѣла времени отвѣтить. Когда положеніе дѣлъ значительно ухудшилось на сторонѣ революціонеровъ, но еще можно было надѣяться на отпоръ, Лавровъ рѣшилъ поискать помощи коммунарамъ внѣ Франціи, и съ этою цѣлью, взявъ паспортъ у правительства Коммуны и предупредивъ о своемъ отъѣздѣ Варлэна, попытался пройти чрезъ линію версальскихъ войскъ. Попытка эта увѣнчалась успѣхомъ, хотя дѣло не обошлось безъ затрудненій. Просматривая бумаги Лаврова, офицеръ, къ которому привели путешественника, увидалъ, что имѣетъ дѣло съ иностранцемъ, притомъ съ иностранцемъ привилегированнаго сословія, и готовъ былъ пропустить Лаврова. Но его смущало то обстоятельство, что паспортъ, какъ сказалъ онъ Лаврову, «былъ визированъ не законнымъ правительствомъ, а мятежниками». — А чѣмъ же я виноватъ, что «законное правительство» убѣжало изъ Парижа? — былъ отвѣтъ Петра Лавровича. Офицеръ согласился...

И вотъ, благополучно пробравшись чрезъ желѣзное кольцо версальской арміи, Лавровъ отправился сначала въ Бельгію, а потомъ въ Лондонъ, просить помощи коммунарамъ у Генеральнаго Совѣта Интернаціонала. Въ то время не только враги, но и друзья Международнаго Общества Рабочихъ крайне преувеличивали его силу и значеніе: говорили о четырехъ милліонахъ членовъ во всѣхъ странахъ Европы, о необыкновенно искусной и прочной организаціи Общества, которое могло будто бы по данному сигналу поднять всѣхъ рабочихъ, принадлежащихъ къ Интернаціоналу. Лавровъ изложилъ передъ бельгійскимъ федеральнымъ совѣтомъ Интернаціонала критическое положеніе коммунаровъ и поставилъ во-

прось, не найдетъ ли этотъ совѣтъ возможнымъ устроить въ пользу парижскихъ инсургентовъ сразу нѣсколько крупныхъ манифестацій рабочихъ на французскихъ границахъ. Съ подобнымъ же вопросомъ онъ обратился въ Лондонѣ къ Марксу и прочимъ членамъ уже Генеральнаго Совѣта. Но оказалось, что дѣла Интернаціонала были такъ плохи въ это время, что Генеральный Совѣтъ не могъ даже устроить публичной манифестаціи въ Гайдъ-паркѣ въ пользу Коммуны.

Впрочемъ, черезъ двѣ-три недѣли все было кончено для славной, но злополучной парижской революціи. И красный цвѣтъ знамени Коммуны могъ означать въ это время уже не ту зарю общественнаго возрожденія, къ которой обращалъ взоры рабочій народъ, а развѣ кровь 35.000 пролетаріевъ, которые полегли подъ саблями, штыками и картечью защитниковъ порядка и собственности, среди дымящихся развалинъ Парижа. Поѣздка Лаврова не имѣла практическаго результата для рабочаго движенія, но она дала возможность Петру Лавровичу ближе присмотрѣться къ положенію социализма въ Европѣ, равно какъ познакомиться съ знаменитымъ авторомъ «Капитала». Замѣчу кстати, что въ 1880 г. Лавровъ выпустилъ обстоятельную брошюру о Коммунѣ («18 марта 1871 года»; Женева), положивъ въ ея основаніе рѣчь, произнесенную имъ въ 1879 г. для собравшихся съ этою цѣлью русскихъ. Пониманіе общихъ причинъ движенія, пламенная любовь къ рабочему народу, яркое описаніе звѣрствъ, совершенныхъ буржуазіей во время подавленія возстанія—все это ставитъ упомянутую брошюру на одно изъ первыхъ мѣстъ въ европейской литературѣ о Коммунѣ.

VII.

Отнынѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ происшествій, добровольнаго или невольнаго переѣзда изъ одного города въ другой и т. п., существованіе Лаврова съ внѣшней стороны не представляетъ большого драматическаго интереса. Тѣмъ замѣчательнѣе та внутренняя жизнь, та уди-

вительная работа мысли, та неустанная пропаганда революціоннаго социализма, которыя отнынѣ сдѣлали изъ П. Л. Лаврова въ извѣстномъ смыслѣ единственную личность среди русскихъ и европейскихъ борцовъ за лучшее будущее человечества. Вся біографія Лаврова за послѣднюю четверть вѣка, съ того времени какъ появился первый томъ «Впередъ», состоитъ дѣйствительно изъ колоссальной умственной и нравственной дѣятельности, посвященной на развитіе человѣческой мысли вообще и идей социализма въ частности, особенно же въ приложеніи къ Россіи.

Здѣсь будетъ какъ разъ умѣстно остановиться, чтобы охарактеризовать сложившееся въ этотъ моментъ уже почти окончательно міровоззрѣніе Лаврова, такъ какъ позже пойдетъ дѣло лишь о выработкѣ имъ даже не второстепенныхъ, а третьестепенныхъ пунктовъ своихъ общихъ взглядовъ. Мы видѣли, что уже въ концѣ 50-хъ годовъ міросозерцаніе Лаврова было сильно пропитано элементами радикальной и социалистической свободной мысли, представляя собою оригинальную и,—что бы ни говорили строгіе критики,—цѣльную комбинацію-переплавку нѣмецкаго идеализма, нѣмецкаго же антропологизма (фейербахіанства) и французскаго социализма. Логическая, но довольно быстрая эволюція Лаврова влѣво въ началѣ 60-хъ годовъ сказала въ томъ, что въ области политической экономіи онъ сталъ на точку зрѣнія Чернышевскаго, полагая, что въ этой области, не мудрствуя лукаво, онъ можетъ считать себя ученикомъ «великаго русскаго ученаго и критика» (какъ Марксъ десять лѣтъ спустя назвалъ славнаго русскаго социалиста, заживо погребеннаго въ то время царскимъ произволомъ въ тундрахъ далекой Сибири.) У Лаврова была, дѣйствительно, характерная черта, говорившая о теоретической добросовѣстности и отсутствіи мелочнаго самолюбія: несмотря на то, что онъ зналъ цѣну себѣ и чувствовалъ силу своей абстрагирующей мысли, онъ никогда не считалъ себя одинаково компетентнымъ во всѣхъ вопросахъ и любилъ опираться въ той или иной сравнительно мало изученной имъ области на выводы, сдѣланные въ ней наиболѣе

серьезными умами. У него была даже на этот счет своя теория: он считал обязательным для каждого образованного и развитого человека знать общия положения главнейших наук, но при великом разнообразии и сложности современного знания признавал невозможность с успехом производить самостоятельны изыскания в разных, далеко отстоящих одна от другой сферах человеческого мышления. Для них он горячо советовал выбирать себя, — хотя выбирать строго-критически, — руководителей и учителей, которые, на почве современного разделения умственного труда, могут действительно пробивать новые пути и создавать оригинальны обобщения. Обладая одной из самых энциклопедических голов, какія только существовали в России (да пожалуй, и за границей), Лавров тем не менее никогда не выдавал себя за человека, могущаго трактовать с одинаковою компетентностью *de omnibus rebus et quibusdam aliis*. И даже для читающей публики он считал очень полезным, чтобы писатели, отнюдь не сводя себя целиком на степень узких специалистов, изучали однако основательно каждый лишь те предметы, какіе наиболее могли быть обработаны ими. Я, напр., как-то спросил его: «почему, Петр Лаврович, при вашем строгом математическом уме вас никогда не тянуло к политической экономии?» — А, видите ли, былъ отвѣтъ: я всегда ставилъ себя правиломъ писать не только по предметамъ, которые лично занимаютъ меня, но по которымъ можно принести и наибольшую пользу читателямъ. Я видѣлъ, что политическая экономія была въ хорошихъ рукахъ у Чернышевскаго; по исторіи же и философіи у насъ писалось и мало, и не такъ, какъ слѣдуетъ. Вотъ я и взялся за эти, находившіяся въ загонѣ, вещи».

Въ половинѣ 60-хъ годовъ Лавровъ познакомился съ позитивизмомъ. По странной ироніи судьбы и распространения идей, онъ впервые услышалъ объ Огюстѣ Контѣ въ 1864 г. изъ устъ покойнаго ботаника Бекетова. Но скоро онъ протудировалъ положительную философію съ свойственной ему обстоятельностью. Въ концѣ 60-хъ годовъ онъ не только

ассимилировалъ лучшіе элементы позитивизма, но сумѣлъ стать по отношенію къ нему на строго критическую почву. Онъ привѣтствовалъ рѣзкое отрицаніе всякой метафизики со стороны Конта, но обличалъ его стремленіе «заковать будущее исторіи въ неподвижны формы деспотической организациі», а учениковъ Конта бичевалъ за ихъ точку зрѣнія въ области социальныхъ наукъ, гдѣ позитивисты выказали себя такими реакціонерами (ср. статьи Лаврова: «Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе» въ «Современномъ обозрѣніи» за 1868 г. и «Соціологи позитивисты» въ «Знаніи» за 1872 г.).¹⁾ Какъ бы то ни было, изученіе позитивизма съ его замѣчательной попыткой (въ лицѣ самого Конта) охватить всё явленія жизни и мысли одной цѣльной системой ускорило по видимому уже зрѣвшее въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ головѣ Лаврова рѣшеніе заняться вплотную исторіей мысли, разсматриваемой подъ строго научнымъ и критическимъ угломъ зрѣнія: его «Нѣсколько мыслей объ исторіи мысли» были напечатаны (въ «Невскомъ Сборникѣ») еще въ 1867 г. И отнынѣ до самой своей смерти, въ различныхъ видахъ и подъ различными формулами, Лавровъ будетъ, какъ увидимъ, работать надъ эволюціей человеческого знания.

Это тяготѣніе къ разработкѣ элемента мысли вытекало отчасти изъ самой психологіи Петра Лавровича, выдающейся чертой котораго была именно интенсивность мышленія, а отчасти, можетъ быть, было внушено занятіями надъ позитивизмомъ, такъ какъ въ этой системѣ, несмотря на послѣдующія добавленія самого Конта (роль *чувства* альтруизма и т. п.), умственный, рационалистическій факторъ былъ положенъ во главу угла человеческой, и личной, и общественной эволюціи. Подчеркиваніе умственнаго элемента проходитъ и чрезъ всё «Историческія письма» Лаврова. Критическая мысль направляетъ тотъ процессъ борьбы доработавшагося до сознанія человека, въ

¹⁾ Въ первой изъ этихъ статей уже очень ясно сформулированы положенія и особенности «субъективнаго метода въ соціологіи», связаннаго главнымъ образомъ съ именами Лаврова и Михайловскаго.

результатъ котораго только и можетъ получиться, по мнѣнію автора, прогрессъ общежитія и осуществленіе въ жизни идеала справедливости. Но надо замѣтить, что эта роль «ума» пропагандируется нашимъ писателемъ съ такимъ жаромъ, съ такимъ энтузіазмомъ, а задачи, поставленныя «критическому мышленію» принимаютъ подъ перомъ Лаврова такой глубоко человѣческой, альтруистической характеръ, что въ концѣ концовъ умственный факторъ становится въ «Историческихъ письмахъ» вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственнымъ факторомъ. И цѣльная, а не только логически разсуждающая «личность», говоря одинаково и уму, и сердцу читателя, увлекаетъ его на борьбу, лишенія, самоё смерть за убѣжденія и за счастье людей-братьевъ. Это-то и привлекало всѣхъ насъ въ упомянутомъ произведеніи Лаврова.

Но зато «Историческія письма» грѣшили другимъ недостаткомъ, въ которомъ неоднократно признавался и самъ Петръ Лавровичъ и о которомъ онъ даже печатно заявилъ въ новомъ (заграничномъ) изданіи своей книжки. Когда Лавровъ писалъ ее, онъ былъ, по его собственному выраженію, «гармонистомъ». Онъ представлялъ себѣ общество такимъ организмомъ, который можетъ разрѣшить задачи совершеннѣйшаго общежитія подъ вліяніемъ единственно дружнаго стремленія составляющихъ его личностей къ развитію и воплощенію справедливости. Отъ него ускользала классовой, по самой сущности своей боевой характеръ всякаго историческаго общества: ни Прудонъ, ни Чернышевскій не подѣйствовали на Лаврова тѣми элементами своего міровоззрѣнія, которые именно подчеркивали этотъ характеръ социальной борьбы, раздирающей всякое общество на противоположные классы. На долю Маркса выпало внести начало классовой борьбы въ социологическое міровоззрѣніе Лаврова. Съ «Капиталомъ» Маркса и самимъ авторомъ Петръ Лавровичъ, какъ уже было упомянуто выше, познакомился въ началѣ 70-хъ годовъ, послѣ Коммуны. И, пораженный желѣзною логикою знаменитаго анализатора капиталистическаго общества, а вмѣстѣ глубиною историческихъ взглядовъ, развертывающихся во второй поло-

винѣ «Капитала», онъ взялъ его скромно и просто въ «учителя», благодаря раньше отмѣченной нами чертѣ его мышленія.

Но Лавровъ избралъ себѣ Маркса въ руководители не только по политической экономіи, какъ это было продѣлано массою русскихъ социалистовъ-«народниковъ», но и по социологии. А это въ то время было сравнительно рѣже и потому заслуживаетъ объясненія. Несомнѣнно, что о рабской подчиненности новому складу мысли, потому только, что онъ новый, здѣсь не могло быть и рѣчи: Лавровъ былъ слишкомъ сильнымъ и критическимъ мыслителемъ, чтобы подчиниться впечатлѣніямъ одной новизны. Чѣмъ же однако объяснить, что его рѣшительное и окончательное вступленіе въ великую международную семью социалистовъ-революціонеровъ (говорю въ широкомъ смыслѣ этого слова) состоялось,—какъ принято выражаться теперь,—«подъ знакомъ» Маркса? Я думаю, причину этого надо искать въ томъ, что Лаврова, до сихъ поръ исключительно кабинетнаго, хотя широко-прогрессивнаго и свободомыслящаго писателя, поразила въ ученіи Маркса его близкая связь съ наиболѣе тогда жизненнымъ рабочимъ теченіемъ. Ибо оно въ формѣ стараго Интернаціонала столь же держалось, въ лицѣ самыхъ крупныхъ своихъ представителей, за практическое руководство, исходящее отъ Маркса и его друзей въ Генеральномъ Совѣтѣ, сколько было проникнуто въ теоріи по крайней мѣрѣ главнѣйшими принципами марксовскаго социализма. А у Лаврова было всегда, несмотря на теоретическій складъ ума, величайшее уваженіе къ жизни, къ практикѣ, къ дѣятельности энергичныхъ личностей,—я бы сказалъ даже преклоненіе передъ активными работниками прогресса. За это порою его рѣзче всего упрекали критики, иронизируя надъ тѣмъ, что онъ черезчуръ легко пасуетъ и сдается на «категорическіе императивы» окружавшей его молодежи и вообще людей, если и далеко уступавшихъ ему силою мысли, такъ зато обнаруживавшихъ практическіе революціонные таланты въ организаціи, агитаціи и т. п.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Марксъ, душа и голова Генеральнаго

Совѣта, былъ и серьезнымъ ученымъ, притомъ ненавидѣвшимъ метафизику, которая уже давно жарко преслѣдовалась и самимъ Лавровымъ. Лаврову было, что называется, не стыдно взять въ руководители мыслителя, выдвигавшаго въ подтвержденіе своихъ теорій тотъ громадный научный аппаратъ, который поражаетъ всякаго непредубѣжденнаго читателя «Капитала».

Наконецъ, въ принятіи Лавровымъ не только экономическихъ, но и социологическихъ идей Маркса дѣйствовалъ, какъ мнѣ кажется, и великій психологическій законъ контрастовъ, который оказываетъ очень сильное вліяніе не только на среднихъ людей, но и на очень выдающихся мыслителей. Въ міровоззрѣніи автора «Личности» и «Историческихъ писемъ» игралъ до сихъ поръ исключительную роль умственный элементъ, элементъ «сознанія». Переживая идейный кризисъ въ смыслѣ обогащенія прежняго міросозерцанія теоретическими и практическими элементами западно-европейскаго социализма, Лавровъ невольно пошелъ въ сторону того круга мыслей, который былъ наиболѣе удаленъ отъ его обычныхъ воззрѣній. И философія «бытія», гипотеза, придающая громадное значеніе великимъ инстинктивнымъ потребностямъ и полуинстинктивнымъ чувствамъ людей явилась не противоположеніемъ, но «дополненіемъ»,—какъ неоднократно говорилъ самъ Лавровъ,—его прежнему чрезчуръ рационалистическому, чрезчуръ «умственному» объясненію человѣческой исторіи.

Другой вопросъ, насколько тѣсно и строго логически это «дополненіе» связывалось съ тѣмъ прежнимъ міровоззрѣніемъ, которое оно «дополняло». Разбирая этотъ вопросъ, я, несмотря на свое величайшее уваженіе и глубокую любовь къ Лаврову, или, лучше сказать, въ силу этого уваженія и этой любви,—принужденъ отвѣтить, что марксизмъ былъ сравнительно наименѣе переработанъ и внутренне ассимилированъ авторомъ «Историческихъ писемъ». Онъ, можетъ быть, представлялъ собою среди элементовъ, изъ которыхъ органически выросло міропониманіе Лаврова, единственное начало, про-

которое можно было сказать, что оно было, по крайней мѣрѣ временами, «постороннимъ тѣломъ». Было бы, разумѣется, дико утверждать, что для самого Лаврова, этого строго логическаго, столь критически изощреннаго ума, марксизмъ казался такимъ постороннимъ тѣломъ. Наоборотъ, Лавровъ всегда заявлялъ, что социологія Маркса является вполне органическимъ элементомъ его собственного міровоззрѣнія. И у него есть нѣсколько попытокъ, и сдѣланныхъ по своей инициативѣ, и по просьбѣ своихъ друзей почитателей, именно доказать, что марксизмъ и лавризмъ—едино суть. Но когда безпристрастно вдумываешься въ эти попытки, то приходится заключить, что онѣ лишь формальнымъ, или лишь пожалуй психологическимъ, т.-е. удовлетворяющимъ только самого автора образомъ, разрѣшаютъ трудную задачу примиренія.

Припоминая всѣ эти попытки, я, какъ мнѣ кажется, вѣрно передамъ взгляды Лаврова на этотъ щекотливый предметъ, если сведу ихъ къ двумъ типамъ. Типъ первый: роль «сознанія», роль «критически мыслящей личности» есть только субъективная, казовая сторона того же самаго историческаго явления, объективную сторону, подкладку котораго составляютъ фатальные процессы эволюціи, опредѣляемые въ человѣческомъ обществѣ «процессомъ производства». Въ этомъ отношеніи авторъ идетъ такъ далеко, что въ его заграничномъ «Опытѣ исторіи мысли нашего времени», гдѣ найдешь столько блестящихъ и глубоко прочувствованныхъ страницъ, посвященныхъ, если можно такъ выразиться, апофеозу сознательныхъ личностей, встрѣчаются также мѣста, трактующія о «сознаніи» почти въ духѣ юмовскаго «эпифеномена». Типъ второй: вся исторія человѣчества развертывается въ извѣстной послѣдовательности фазисовъ, которые отличаются разною дозировкою элементовъ «бытія» и элементовъ «сознанія», такъ что, напр., въ первобытномъ обществѣ царитъ почти исключительно «обычай» («культура»), въ современномъ главнымъ образомъ «интересъ» (царство «экономики» съ ея «борьбою классовъ»), и лишь въ грядущемъ, социалистиче-

ческомъ, будетъ господствовать жизнь по «убѣжденію» («сознаніе критически мыслящихъ личностей»). Въ этомъ смыслѣ самая послѣдняя попытка сдѣлана Лавровымъ въ сочиненіи «Задачи пониманія исторіи», вышедшемъ въ Россіи въ 1898 подъ псевдонимомъ Арнольди. Не имѣя претензіи въ настоящей статьѣ подробно разбирать поднятый вопросъ, могу лишь ограничиться немногими словами. Съ одной стороны несомнѣнно, что первый типъ попытокъ не удовлетворитъ самихъ учениковъ Лаврова, которые замѣтятъ, что чѣмъ бы ни было въ сущности «сознаніе», оно все же, согласно самому же Лаврову, неразложимо, несводимо на чисто объективные процессы, происходящіе въ мірѣ вещества, или «чего то, что движется». Съ другой стороны не менѣе несомнѣнно, что второй типъ попытокъ встрѣтитъ возраженіе со стороны марксистовъ, которые укажутъ, что «процессъ производства» былъ, есть и будетъ основнымъ процессомъ человѣческой жизни, обуславливающимъ формы «сознанія»; и что поэтому и царство «обычая» въ прошломъ, и царство «убѣжденія» въ будущемъ такъ же опредѣляется въ концѣ концовъ производственными формами, какъ и современное, столь знакомое намъ царство «интереса»...

Теперь, послѣ этого необходимаго отступленія мы снова можемъ перейти къ біографіи Лаврова.

VIII.

Послѣ нѣсколькихъ поѣздокъ въ разные города (Лондонъ, Парижъ и т. п.) Лавровъ въ 1873 г. поселился въ Цюрихѣ, а съ 1874 г. въ Лондонѣ, куда онъ прибылъ на этотъ разъ среди снѣга, 14-го марта, въ тотъ самый день, какъ въѣзжала въ столицу Англіи новобрачная герцогиня Эдинбургская. Въ 1877 г. онъ переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ и жилъ отнынѣ до самой своей смерти въ одномъ и томъ же домѣ (№ 328) по улицѣ Saint-Jacques.

«Впередъ», сначала выходившій въ формѣ неперіодическаго

сборника, а затѣмъ въ видѣ двухнедѣльной газеты и просуществовавшій, какъ извѣстно, съ 1873 по 1877 г., былъ первымъ литературно-политическимъ предпріятіемъ Петра Лавровича съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ въ ряды послѣдовательныхъ социалистовъ. Это изданіе было вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе «личнымъ» его органомъ, такъ какъ Лавровъ не только помѣстилъ въ немъ очень много статей, но былъ и единоличнымъ и полномочнымъ его редакторомъ, избраннымъ на этотъ отвѣтственный постъ довѣріемъ сгруппировавшихся вокругъ него друзей, учениковъ и членовъ такъ называемой «лавристской» партіи. «Впередъ» объявилъ себя органомъ «научнаго» и въ то же время «рабочаго» социализма, такъ какъ видѣлъ «двигателя» современной социальной борьбы «лишь въ рабочемъ классѣ». Но для Россіи онъ считалъ такимъ классомъ не «фабричный пролетаріатъ» (онъ, дѣйствительно, былъ очень слабъ въ то время), а «сельское населеніе», «народъ съ существующей въ немъ традиціей общинной и артельной солидарности», причемъ «интеллигентный классъ, въ лицѣ убѣжденныхъ социалистовъ» могъ «явиться лишь инициаторомъ» — а не создателемъ — великой «социальной революціи», которая Лавровымъ ставилась практическою цѣлью для «рабочаго класса». Надо ли напоминать далѣе читателямъ, что эта революція рисовалась руководителямъ «Впередъ» какъ одновременный политическій и экономическій переворотъ, который долженъ былъ разрушить настоящій эксплуататорскій строй и настоящее государство, замѣнивъ ихъ «федераціей трудящихся», свободно сгруппировавшихся въ «общины и артели»? «Впередъ» въ сущности развивалъ почти столь же мало «государственническіе» взгляды, какъ и бакунисты; такъ же, какъ они, онъ боролся принципиально противъ всякихъ сторонниковъ «политическихъ революцій», противъ всякихъ «конституціонныхъ партій», хотя въ первомъ же томѣ «Сборника» встрѣчается слѣдующая въ свое время прошедшая незамѣченной, но многозначительная фраза: «Мы лишь тогда признали бы зѣмскій соборъ правомѣрнымъ органомъ и дѣятелемъ русскаго общественнаго переворота, когда онъ со-

стоять бы въ большинствѣ изъ представителей крестьянства, сознательно выбранныхъ этимъ крестьянствомъ съ цѣлью произвести общественное преобразование, согласное съ потребностями крестьянства, преобразование одновременно экономическое и политическое, и въ которомъ экономическія задачи обусловливали бы политическія формы»¹⁾.

Во всякомъ случаѣ не здѣсь лежалъ корень разногласій между лавристами и бакунистами (набатчики не пользовались въ то время большой популярностью среди молодежи, хотя ихъ идеи, несомнѣнно, легли отчасти въ теорію и практику выступившей нѣсколько лѣтъ позже «Народной Воли»). Вражда пылала по вопросу о томъ, должно ли пока лишь «подготовлять» революцію путемъ пропаганды и агитаціи, какъ то проводилъ «Впередъ», или же непосредственно организовать революцію и толкать народъ на возстаніе, исходя изъ условий, благопріятныхъ для бунта въ той или другой

¹⁾ Для интересующихся этой довольно неожиданной для того времени мыслию о гипотетическомъ крестьянскомъ «земскомъ соборѣ» я продолжу эту цитату: «Въ русской конституціонной партіи по европейскому образцу мы видимъ вообще своихъ прямыхъ враговъ, съ которыми намъ придется бороться при первой возможности серьезнаго столкновения партій въ Россіи. Уже теперь мы будемъ постоянно противопоставлять ихъ программѣ на нашихъ страницахъ тѣ положенія, которыя мы считаемъ единственно рациональными для лучшей будущности русскаго народа и которыя концентрируются въ одной политической задачѣ: подчиненіе интересамъ крестьянства интересамъ всѣхъ прочихъ сословій; автономная *святская община* (курсивъ въ подлинникѣ. Н. Р.), какъ основной элементъ русскаго государственнаго и общественнаго строя. Мы ожидаемъ, чтобы русскіе конституціоналисты поставили эту задачу во главѣ своей политической программы.

«Если кто изъ нашихъ легалистовъ-реформаторовъ искрененъ, тотъ убѣдится, что у ихъ партіи нѣтъ будущаго; что, при первомъ серьезномъ столкновеніи съ императорствомъ, она должна разбиться, и никто рѣшительно ее не поддержитъ».

Въ этомъ мѣстѣ Лавровъ,—который былъ авторомъ цитируемой статьи,—какъ бы предвидитъ современныя обстоятельства и тактику нѣкоторыхъ партій нашего времени, предрекая имъ разгромъ за отсутствіе революціонности, равно какъ за нежеланье опираться на живыя народныя силы.

мѣстности, какъ то съ жаромъ защищали бунтари. Теперь, на разстояніи, эти споры кажутся въ значительной степени платоническими, ибо въ сущности дѣятельность обѣихъ тяжущихся партій сводилась на практикѣ почти исключительно къ идейной пропагандѣ. Но несомнѣнно, что взгляды «Впередъ» встрѣчали рѣзкое осужденіе среди большинства тогдашней молодежи, которая стремилась къ непосредственной инсurreкціонной дѣятельности. Разница двухъ точекъ зрѣнія ярко схвачена въ двухъ сохранившихся въ бумагахъ Петра Лавровича и до сихъ поръ ненапечатанныхъ письмахъ Сергѣя Кравчинскаго, которыя относятся именно къ этой эпохѣ.

Приведу лишь одно мѣсто изъ этой рѣзкой критики «Впередъ»:... «Вы совѣтуете идти въ народъ и пропагандировать, пропагандировать и пропагандировать до тѣхъ поръ, пока не будетъ спрoпагандирована такаа часть народа, которая въ состояніи дать сознаніе массѣ, въ состояніи повести за собою массу. И такъ пропаганда—вотъ что написано на вашемъ знамени и на всѣхъ страничкахъ вашего органа. Вся дѣятельность революціонера сводится на пропаганду (и, разумѣется, на побочныя и предварительныя для нея работы). Однимъ словомъ для васъ панацея всѣхъ бѣдъ словоговореніе. Ничего другого у васъ нѣтъ. Вы, разумѣется, скажете, что это вздоръ, что вы проповѣдуете свою «пропаганду» только какъ подготовительную степень, а что за ней послѣдуетъ «взрывъ», «революція и все такое. Но въ томъ то и бѣда, что мы этому не можемъ повѣрить. Никогда, во вѣки вѣковъ вашимъ послѣдователямъ не сдѣлать и перваго шага къ осуществленію своихъ конечныхъ цѣлей, потому что подготовка такой революціи, какой вы ждете, потребуетъ нѣсколько поколѣній... Мы не вѣримъ ни въ возможность, ни въ необходимость такой революціи, какой вы ждете. Никогда еще въ исторіи не бывало примѣра, чтобы революція начиналась ясно, сознательно, «научно», какъ вы ждете отъ самой великой и трудной изъ всѣхъ—революціи соціальной. И 89-й, и 48-й годъ, и Коммуна начались *безсознательно*. Только потомъ, въ самомъ развитіи своемъ эти революціи достигли сознательности.

Всякая революція начинается *бунто.мѣ*. Но достаточно, чтобъ въ немъ тлѣла хоть одна революціонная искра, чтобъ бунтъ перешелъ современемъ въ революцію... Всегда народныя возстанія начинались и у насъ, и у другихъ народовъ съ возстанія небольшой кучки небольшой области. Однимъ словомъ съ *бунта*, къ которому присоединялись съ большей или меньшей быстротой и окружающія области. То же будетъ и теперь. Если въ народѣ достаточно революціонныхъ элементовъ, то первый бунтъ разростется въ революцію. И заранее никто не можетъ сказать, есть ли эти элементы, или ихъ нѣтъ. Не идей не достаетъ народу. Всякій, кто много шатался по народу, скажетъ вамъ, что въ его головѣ совершенно зрѣлы основы «элементарнаго» (конечно, не научнаго) социализма. Все, чего недостаетъ народу, это *страсти*. Но и страсти вспыхиваютъ мгновенно и неожиданно. Если же въ народѣ революціонныхъ элементовъ мало, то бунтъ неминуемо будетъ подавленъ. Но тотъ примѣръ, который онъ дастъ, та программа, которую онъ поставитъ, то возбужденіе страстей, которое онъ вызоветъ, принесутъ больше пользы, чѣмъ цѣлыя десятилѣтія неутомимѣйшей и успѣшнѣйшей пропаганды. Бунтъ сразу взволнуетъ всю Россію. Онъ сразу заставитъ весь народъ задуматься надъ созданнымъ вопросомъ. Значитъ, онъ сразу покроетъ всю Россію сѣтью людей изъ народа, готовыхъ къ революціи, потому что для народа *подумать* о созданномъ вопросѣ и о способѣ его разрѣшенія, значитъ—сдѣлаться революціонеромъ. Ну а тогда успѣхъ революціи обезпеченъ. И такъ резюмирую: мы хотимъ дѣйствія болѣе рѣшительнаго, болѣе быстрого. Мы хотимъ непосредственнаго возстанія, *бунта*. Наша дѣятельность будетъ заключаться въ организации бунта. «Бунтъ»—вотъ слово, которое стояло на знаменахъ всѣхъ фракцій болѣе крайней партіи, о которыхъ я говорилъ. Разница была только въ словахъ»...

Но оставимъ въ сторонѣ эту отошедшую теперь въ область исторіи войну лавристовъ и бунтарей и перейдемъ къ самому Лаврову.

Независимо отъ общаго направленія журнала, Петру Лав-

ровичу принадлежить въ немъ цѣлый рядъ умныхъ и горячихъ статей о рабочемъ движеніи на Западѣ и порою замѣчательное изображеніе адскихъ условій жизни, которыя выпали на долю трудящихся въ Россіи. Кто читалъ въ то время, напр., его книгу о «Самарскомъ голодѣ» и не почувствовалъ себя охваченнымъ любовью къ народу и ненавистью къ русскому капитализму и петербургскому правительству, тотъ былъ не живой человѣкъ, тому пора было ложиться въ гробъ: его умственную апатію и нравственную трусость не въ состояніи было расшевелить никакое великое человѣческое бѣдствіе и никакой благородный протестъ противъ несправедливости. Мы, по крайней мѣрѣ, гимназисты, семинаристы и студенты центральной Россіи (я говорю о сравнительно узкой сферѣ своихъ личныхъ опытовъ), мы не могли безъ волненія читать это повѣствованіе о всероссійскомъ голодѣ, отрывки изъ котораго служили намъ хорошимъ орудіемъ агитаціи въ тѣхъ полукрестьянскихъ, полурабочихъ кружкахъ, что сейчасъ же послѣ разгрома нашихъ «старшихъ» въ лѣто 1874 г. мы старались организовать своими слабыми силами среди «трепачей» и пильщиковъ Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской губерній и на заводахъ Мальцева и Мельникова. Припоминается мнѣ, что уже въ ту пору, въ 1875—1876 гг., впервые стали раздаваться,—правда, на всевозможные мотивы, кромѣ настоящаго,—и звуки «рабочей марсельезы», которая была напечатана Лавровымъ безъ подписи въ «Впередѣ», и которая тридцать лѣтъ спустя должна была стать однимъ изъ популярнѣйшихъ гимновъ Россіи, вступившей въ полосу революціоннаго движенія.

Лавровъ былъ самъ настроенъ много крайнѣе своихъ учениковъ, особенно тѣхъ, которые группировались въ Россіи вокругъ умнаго, но отнюдь не революціоннаго Г., къ 1877 г. превратившаго окончательно лавристовъ въ партію культурниковъ съ легкой соціальной прожилкой. Когда «Впередъ» изъ двухнедѣльной газеты снова сталъ сборникомъ, Лавровъ отказался отъ редакторства (въ концѣ 1876 г.), такъ какъ встрѣтилъ рѣшительное сопротивленіе въ рядахъ своихъ сто-

ронниковъ придать органу болѣе «боевой» характеръ, необходимый въ виду того,—продолжалъ развивать на парижскомъ съѣздѣ «лавристовъ» свою точку зрѣнія старшій редакторъ,—что въ Россіи сама жизнь выдвигала все чаще и чаще «демонстраціи, вооруженныя сопротивленія революціонеровъ, казни шпионовъ и т. д.»

Короче сказать, Лавровъ рвалъ идейную и политическую связь съ направлениемъ, которому онъ же далъ имя, находя дѣятельность тогдашнихъ лавристовъ въ Россіи чрезчуръ педантичной и мирной и не желая авторитетомъ своего имени прикрывать тотъ процессъ внутренняго разложенія, который постигаетъ всякую партію, когда она перестаетъ развиваться и идти не на словахъ только, а и на дѣлѣ «впередъ!»

Между 1876 и 1882 г. наступилъ перерывъ въ прямой революціонной дѣятельности Лаврова. Онъ продолжалъ печатать, какъ то дѣлалъ и прежде, подъ различными псевдонимами статьи въ русскихъ легальныхъ журналахъ. Онъ безпрерывно читалъ для русскихъ въ Парижѣ лекціи по всевозможнымъ вопросамъ, особенно же социологическимъ и философскимъ. Онъ издалъ въ этотъ промежутокъ и нѣсколько революціонныхъ брошюръ и статей за границей, между прочимъ уже упомянутую книжку о Коммунѣ, примѣчанія къ русскому Шеффле и т. п. Онъ очень умѣло и энергично отстаивалъ Гартмана, арестованнаго въ Парижѣ, противъ притязаній русскаго правительства, которое требовало его выдачи, и успѣлъ, опираясь на вліятельнаго тогда вождя радикаловъ, прежняго боевого Клемансо, добиться отъ французскихъ правящихъ сферъ дозволенія для Гартмана выѣхать изъ предѣловъ третьей республики. Онъ принималъ дѣятельное участіе въ организации заграничнаго отдѣла общества «Краснаго Креста Народной Воли», за что и былъ высланъ изъ Франціи 13-го февраля 1882 г. Но лишь въ Лондонѣ, куда онъ выѣхалъ, начались его сношенія съ центральнымъ органомъ тогдашней революціонной партіи въ Россіи; я говорю объ Исполнительномъ Комитетѣ «Народной Воли». Здѣсь ему было предложено отъ упомянутаго комитета вступить вмѣстѣ съ

другимъ лицомъ (Степнякомъ-Кравчинскимъ) въ редакцію заграничнаго журнала партіи. Послѣдній, дѣйствительно, началъ выходить въ 1883 г., подъ заглавіемъ «Вѣстника Народной Воли» уже по возвращеніи Лаврова въ Парижъ (декретъ о высылкѣ его, однако, никогда не былъ формально отмѣненъ). Соредакторомъ Лаврова сталъ, впрочемъ, не Кравчинскій, а пріѣхавшій за границу Тихомировъ, пять лѣтъ спустя (въ 1888 г.) перешедшій въ лагерь катковцевъ.

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, которые предшествовали выходу въ свѣтъ «Вѣстника», предполагалось даже, что въ немъ будетъ не только сотрудничать, но и принимать редакціонное участіе Г. В. Плехановъ, шедшій въ то время отъ чернопредѣльчества по направленію къ «Народной Волѣ» и полагавшій, что наступила пора созданія въ Россіи «единой, великой и нераздѣльной социальнореволюціонной партіи» (фраза изъ письма ко мнѣ Плеханова съ припиской Тихомирова), какъ вскорѣ оказалось, на основѣ марксизма. Редакціонныя и общія идейныя несогласія не дали возможности осуществиться этой комбинаціи, и редакторами «Вѣстника» остались Лавровъ и Тихомировъ.

Здѣсь намъ опять придется остановиться и сказать нѣсколько словъ для выясненія значенія этого новаго и послѣдняго фазиса въ политической эволюціи Лаврова, который отнынѣ охарактеризовалъ самъ свое отношеніе къ «Народной Волѣ» словами: «я не народоволецъ, но я вѣрный союзникъ этой партіи». Эту фразу Петръ Лавровичъ любилъ повторять, и, дѣйствительно, онъ въ теченіе всего послѣдующаго времени, вплоть до самой смерти, не сходилъ съ такой точки зрѣнія. И въ первые полтора года дѣятельности «Народной Воли» Лавровъ отдавалъ должное энергіи и героизму членовъ этой партіи. Но онъ считалъ террористическую тактику ошибочной и даже боролся противъ нея на собраніяхъ русской колоніи въ 1880 г. Его, однако, заставило призадуматься, какъ и многихъ другихъ, ошеломившее его сначала 1-е марта. Необходимость рѣшительной борьбы съ самодержавіемъ, мѣшавшимъ политическому и социальному раскрѣпощенію Россіи,

ясно обрисовалась передъ его взоромъ. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ внутренней борьбы, которая, какъ и всегда, и на этотъ разъ носила у Лаврова характеръ логическаго «дополненія» къ основамъ его общаго міровоззрѣнія, онъ и умомъ, и чувствомъ перешелъ на сторону народовольцевъ: «низверженіе самодержавія самыми рѣшительными средствами, вплоть до печальной, но исторически, а потому и нравственно необходимой тактики террора» стало для Петра Лавровича однимъ изъ существенныхъ пунктовъ политической программы. Отсюда до сочувствія, до горячаго содѣйствія, до «вѣрнаго союза» съ «Народной Волей» былъ только шагъ. И старый защитникъ «строгой революціонной нравственности» написалъ, можетъ быть, однѣ изъ самыхъ удачныхъ и глубоко прочувствованныхъ страницъ въ «Вѣстникѣ Народной Воли» въ защиту террора. Такова, между прочимъ, его статья, озаглавленная, если не ошибаюсь «Соціальной революціей и задачами нравственности», гдѣ, словно могучій припѣвъ революціоннаго гимна, повторяется энергичная фраза: «но препятствіе должно быть разрушено», т.-е. абсолютизмъ долженъ быть во что бы то ни стало и какимъ бы то ни было способомъ разрушенъ, вплоть до употребленія грознаго орудія террористовъ.

И обсуждая съ новыми товарищами программу создававшегося органа, и редактируя поступавшія въ «Вѣстникъ» статьи, и самъ дѣятельно сотрудничая въ народовольческомъ журналѣ, Лавровъ старался главнымъ образомъ объ одномъ: это, чтобы политическія задачи борьбы съ абсолютизмомъ не отбѣсняли въ органѣ на задній планъ основныхъ вопросовъ международнаго социализма, но чтобы объ эти стороны революціоннаго дѣла были представлены въ «Вѣстникѣ» одинаково ярко, въ ихъ взаимной связи и зависимости. Можно развѣ замѣтить лишь то, что Петръ Лавровичъ, пожалуй, съ нѣсколько преувеличенной боязнью избѣгалъ критики марксизма, отождествляя его съ революціоннымъ социализмомъ *par excellence*. Но боязнь эта была понятна по закону реакціи, такъ какъ у него была еще свѣжа въ памяти одна изъ легальныхъ статей его соредактора, въ которой Марксъ назы-

вался «маніакомъ»,—правда, «геніальнымъ». И вотъ Лавровъ, полагая, что палка будетъ и безъ него гнуться въ сторону «политики», старался перегибать ее въ сторону «экономики». Такъ, на разстояніи чуть не четверти вѣка и совершенно объективно относясь къ дѣлу, я объясняю себѣ, между прочимъ, почему онъ рѣшительно забраковалъ продолженіе въ «Вѣстникѣ» моей статьи объ «Экономическомъ и политическомъ факторахъ», начало которой было помѣщено во 2-мъ № журнала. Мало того, что забраковалъ, но написалъ очень рѣзкое официальное письмо въ редакцію «Вѣстника», заявляя о своемъ твердомъ намѣреніи отказаться отъ редакторства, если моя статья будетъ помѣщена, даже съ какими бы то ни было примѣчаніями отъ руководителей органа. Я цитирую нѣсколько строкъ изъ этого письма: «Любезный Левъ Александровичъ (Тихомировъ. *Н. Р.*). Немедленно послѣ Вашего ухода я принялся читать статью г. Тарасова, и удивляюсь, какъ Вы могли подумать, что я могу пропустить ее. Дѣло идетъ вовсе не о какихъ-либо частностяхъ, и я не сдѣлалъ къ ней ни одного замѣчанія... Дѣло идетъ о всемъ духѣ статьи. Г. Тарасовъ объявляетъ войну единственнымъ серьезнымъ теоретикомъ социализма, слѣдовательно, пишетъ статью *вредную* для дѣла *социализма* (здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ подчеркнуто въ подлинникѣ. *Н. Р.*). Г. Тарасовъ объявляетъ войну Энгельсу и его сторонникамъ, слѣдовательно, ставитъ партію Народной Воли, органомъ которой объявилъ себя «Вѣстникъ», во *вражду со всей партіей социаль-демократовъ* (тутъ, конечно, имѣлись въ виду западно-европейскіе социаль-демократы. *Н. Р.*). Какъ редакторъ органа, я не могу взять на себя отвѣтственность за помѣщеніе подобной статьи. Но такъ какъ Вы, очевидно, не раздѣляете моихъ взглядовъ, то Вы можете взять на себя помѣстить ее съ примѣчаніемъ, которое посылаю, къ заголовку... Я во *всякомъ случаѣ* оставляю редакцію съ этимъ номеромъ».

Письмо это, конечно, было очень серьезнымъ шагомъ со стороны Петра Лавровича. Сгоряча руководители партіи думали даже о разрывѣ съ Лавровымъ, настаивали на помѣще-

нии моего продолжения, и остававшимся на моей стороне редактором было даже предложено мне замѣнить Лаврова въ «Вѣстникѣ». Но я, не колеблясь, отказался отъ такого предложения, взялъ статью назадъ, и «инцидентъ былъ поконченъ», выражаясь парламентарнымъ стилемъ: Петръ Лавровичъ остался редакторомъ «Вѣстника». Мне конечно, было въ первую минуту тяжело думать, что мысли, которыми я дорожилъ, не могли быть высказаны. Но, какъ ни былъ я молодъ и неискушенъ жизненнымъ опытомъ, я ясно сознавалъ, что предлагать Народной Воле себя въ замѣну такого серьезнаго пріобрѣтенія, какимъ былъ для партіи Лавровъ, значило бы обнаружить непростительное самомнѣіе и взять на свою совѣсть тяжелый грѣхъ передъ русскимъ революціоннымъ движеніемъ. И я не раскаиваюсь до сихъ поръ въ своемъ рѣшеніи...

Что касается до самой статьи, то мне жаль, что она, ходя по рукамъ моихъ идейныхъ товарищей, затерялась, и я не могу познакомить съ ней читателей. Я думаю, что Петръ Лавровичъ преувеличивалъ ея вредоносное вліяніе. Нѣкоторыя вещи, напр. о роли человѣческой психологіи въ процессѣ производства, говорились позже на каждомъ шагѣ самими марксистами, когда имъ пришлось отвѣчать на возраженія критиковъ. Но въ то же время я теперь вижу, что въ значительной степени Лавровъ былъ правъ въ рѣзкой оцѣнкѣ моей работы, и что пиши я ее теперь, многое изъ того, что въ ней было, не увидѣло бы свѣта. Дѣло въ томъ, что послѣ первыхъ трехъ-четырехъ лѣтъ моей литературной дѣятельности, когда я былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ, — въ то время крайне немногочисленныхъ, — марксистовъ въ Россіи, я пережилъ своего рода «ревизіонистскій» кризисъ, въ результатѣ котораго этому первоначальному «экономическому» тезису своей эволюціи я сталъ противопоставлять «политическій» анти-тезисъ. Мне представлялось, дѣйствительно, теперь, что революціонный социализмъ, — а я всегда оставался на этой точкѣ зрѣнія, — возможно было обосновать, лишь придавъ господствующее значеніе въ социологіи фактору «воли», «силы», «активности». Въ этотъ періодъ я и написалъ такъ рѣзко

забракованную Петромъ Лавровичемъ статью, въ которой больше, чѣмъ слѣдовало, было поставлено минусовъ тамъ, гдѣ раньше, въ эпоху моего «первобытнаго» марксизма, у меня стояло чересчуръ много плюсовъ. Теперь, съ годами и думами, принесшими мне если не окончательный «синтезъ» — кто можетъ быть увѣреннымъ, пока живъ, что его мысль окончательно установилась во всѣхъ деталяхъ (не говорю, конечно, о ренегатствѣ)? — то гипотезу, что ключъ общественной эволюціи надо искать въ человѣческой психологіи, но перерабатывающейся прежде всего и больше всего на основаніи «технологіи», — теперь, говорю, я лично почти благодаренъ Лаврову за вето, наложенное имъ на продуктъ бурления и кипѣнія моей «незрѣлой мысли». И мне нѣсколько обидно и досадно лишь за самого него, горячаго проповѣдника «критической мысли», что въ данномъ случаѣ и подъ горячую руку онъ какъ бы признавалъ марксизмъ не подлежащимъ и не могущимъ подлежать критикѣ, хотя бы и вполне социалистической...

Этотъ личный эпизодъ я, впрочемъ, ввожу лишь какъ иллюстрацію къ характеристикѣ той роли, которую Лавровъ игралъ въ «Вѣстникѣ». Онъ былъ въ немъ строгимъ и нелицеприятнымъ хранителемъ цѣльнаго социальна-революціоннаго міровоззрѣнія. И все, что казалось ему вреднымъ или для революціонной борьбы съ абсолютизмомъ, или для социалистической борьбы съ капитализмомъ, неуклонно устранялось имъ изъ органа Народной Воли, гдѣ онъ развивалъ наоборотъ всегда точку зрѣнія международнаго, боевого социализма. Наши отношенія съ нимъ, которыя какъ то не налаживались въ первые года моего пребыванія въ Парижѣ, какъ разъ вскорѣ послѣ «пассажа» съ моей забракованной статьей измѣнились къ лучшему, — главнымъ образомъ благодаря вмѣшательству одного близкаго и дорогаго мне челоѣка, котораго Лавровъ тоже очень любилъ. Всего нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ обостренія нашихъ несогласій, весной 1885 г., когда справлялось 25-лѣтіе литературной дѣятельности Лаврова (его друзья и почитатели придрались для этого къ году выхода въ свѣтъ его «Личности»), я, въ числѣ другихъ товарищей, обратился

къ нему со словами привѣтствія отъ имени всѣхъ тѣхъ, кого пробудили къ сознательной жизни «Историческія письма». И на другой же день Лавровъ благодарилъ меня за это «глубоко тронувшее его упоминаніе», прося вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрить, что онъ лично ничего противъ меня никогда не имѣлъ, но что если онъ иногда рѣзко («черезчуръ рѣзко»,—выразился онъ, намекая на свое письмо) относился ко мнѣ, то онъ дѣлалъ это въ силу сознанія долга, какъ социалистъ и какъ революціонеръ. А три года спустя, когда онъ написалъ свое поистинѣ замѣчательное и сдержанностью тона, и убѣдительностью, и внутреннимъ революціоннымъ пыломъ «Письмо товарищамъ въ Россіи по поводу брошюры Л. А. Тихомирова», онъ посылалъ мнѣ его изъ Парижа въ далекую Бретань, гдѣ я тогда находился, съ надписью: «Н. С. Р. отъ автора въ знакъ искренняго уваженія и дружеской привязанности. 26 сентября 1888 г.»

Измѣна Тихомирова, котораго всѣ мы любили глубокою идейною любовью,—на немъ лежалъ ореолъ славной памяти Исполнительнаго Комитета,—заставила, впрочемъ, всѣхъ насъ тѣснѣ сомкнуть ряды. Переходъ бывшаго товарища Александра Михайлова, Перовской, Желябова въ лагерь крайнихъ монархистовъ произвелъ совершенно иное дѣйствіе, чѣмъ то, на какое разсчитывало правительство, да, повидимому, и самъ самомнѣющій авторъ, гордо оповѣщавшій міру и городу, «Почему я пересталъ быть революціонеромъ». Всѣ мы ощущали потребность быть ближе другъ къ другу и создать на чужбинѣ, въ тяжелыхъ условіяхъ эмиграціи, атмосферу товарищескихъ, лучше сказать, братскихъ симпатій. Мы въ частности съ Лавровымъ,—и потому, что жили совсѣмъ недалеко одинъ отъ другого, и потому, что у насъ были нѣкоторые общіе идейные вкусы,—особенно часто видались. Я уже упоминалъ вскользь въ началѣ этой статьи, что не проходило почти дня, чтобы я, идя на «службу» (въ одной крупной издательской фирмѣ) или возвращаясь домой, не забѣгалъ на нѣсколько минутъ къ ставшему для меня безконечно дорогимъ Лаврову. Кромѣ того, каждую среду онъ приходилъ провести у меня нѣсколько часовъ вечеромъ, а каждое воскресенье, послѣ завтрака

я бывалъ у него. И такъ продолжалось до самой его смерти... Возвращусь, впрочемъ, къ его жизни, отданной имъ до послѣдняго вздоха на служеніе международному социализму и въ особенности русской революціи. Можно, дѣйствительно, сказать, что не происходило въ Россіи ни одного крупнаго общественнаго событія, чтобы Лавровъ не отзывался на него со всею силою своей мысли и глубиной социалистическаго убѣжденія: смерть Чернышевскаго, смерть Щедрина, страшный голодъ въ Россіи въ 1891—92 г. служили ему поводомъ для строго научныхъ и въ то же время горячихъ рѣчей, выходившихъ затѣмъ брошюрами, которыми онъ не переставалъ уяснять мысль и будить революціонное чувство среди своихъ слушателей. А съ 1892 г. Лавровъ принималъ ближайшее сотрудничество въ веденіи «Матеріаловъ для исторіи русскаго социально-революціоннаго движенія», издававшихся вплоть до осени 1896 г. «Группой старыхъ народовольцевъ», которая состояла, между прочимъ, изъ Г. О. Бохановской, М. Н. Полонской (Ошаниной), И. А. Рубановича, Э. Серебрякова, К. Тарасова и др. Въ этомъ-то изданіи онъ напечаталъ историческій очеркъ о «народникахъ-пропагандистахъ», въ томъ числѣ о сторонникахъ «Впередъ». И очеркъ этотъ высоко замѣчателенъ не только по глубокому пониманію эпохи, но и по тому удивительному безпристрастію, съ которымъ авторъ говоритъ о своей тогдашней дѣятельности. Такъ писать о себѣ, о своей роли въ прошломъ можетъ только человекъ, который высоко поднимается и силою своего ума, и благородствомъ своего сердца надъ уровнемъ среднихъ людей, не могущихъ въ личныхъ воспоминаніяхъ отрѣшиться отъ своихъ мелкихъ самолюбій и прикрашивающихъ заднимъ числомъ исторію, съ тѣмъ, чтобы раздуть свои подвиги или затушевать свои историческія ошибки...

Есть, наконецъ, одна сторона дѣятельности Лаврова, о которой я уже упоминалъ раньше и которая, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще недостаточно оцѣнена и будетъ понята во всемъ своемъ значеніи лишь позже, на извѣстномъ историческомъ отдаленіи: я говорю о его философской дѣятельности,

которая имѣетъ важность не только для развитія социализма, но и для прогресса человѣчества вообще. Начиная съ 1866-1867 г., когда Лавровъ впервые занялся вопросомъ объ исторіи человѣческой мысли, и вплоть до самой смерти онъ не переставалъ подвигать впередъ, въ той или другой формѣ, свой обширный трудъ, посвященный этому вопросу. Последнею работою его въ этой области было большое сочиненіе, вышедшее въ 1903 г. подъ псевдонимомъ Доленги и подъ заглавіемъ «Важнѣйшіе моменты исторіи мысли». Оно собственно было посмертнымъ трудомъ Лаврова, и окончательное подготовленіе его къ печати, равно какъ чтеніе корректуры, выпало на мою долю. Это сочиненіе осталось недоконченнымъ: смерть унесла славнаго русскаго мыслителя, когда онъ готовился въ послѣдней главѣ подвести окончательные итоги. Хотя у меня подъ рукой и былъ черновой набросокъ конспекта, составленнаго Лавровымъ для заключительныхъ страницъ, я не рѣшился закончить работу вмѣсто самого автора, а предпочелъ поставить точку тамъ, гдѣ обрывалась и рукопись. Остался также незаконченнымъ прерванный еще при жизни автора въ силу разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ замѣчательный трудъ, носившій заглавіе «Опытъ исторіи мысли новаго времени» и выходившій въ Женевѣ отдѣльными выпусками въ 1888—1894 г. Эта работа, которая можетъ считаться наиболѣе важной для пониманія міровоззрѣнія Лаврова, является сознательнымъ ограниченіемъ (новѣйшимъ періодомъ), но вмѣстѣ съ тѣмъ и углубленіемъ прежняго плана универсальной исторіи мысли, начало которой, состоявшее изъ ряда статей, печатавшихся въ «Знаніи», вышло въ 1875 г. отдѣльнымъ выпускомъ подъ заглавіемъ «Опытъ исторіи мысли». Никогда въ этихъ различныхъ грандіозно задуманныхъ попыткахъ прослѣдить эволюцію мысли въ человѣчествѣ Петру Лавровичу не удавалось, къ сожалѣнію, дойти до конца. Но и того, что имъ сдѣлано, совершенно достаточно въ глазахъ мыслящихъ читателей для признанія за Лавровымъ одного изъ первыхъ мѣстъ въ ряду умственныхъ работниковъ прогресса въ Россіи да и въ Западной Европѣ. Его міропониманіе, несмотря на разно-

образіе и сложность элементовъ, переработанныхъ этой энциклопедической головой, несмотря, можетъ быть, даже на нѣкоторую неспаянность одной-двухъ сторонъ его, является въ общемъ высоко индивидуальнымъ продуктомъ обширнаго и тонкаго ума, а также благороднаго характера. Этого послѣдняго фактора отнюдь не должно упускать изъ виду при оцѣнкѣ общаго значенія Лаврова: не даромъ онъ съ такой энергіей подчеркивалъ многократно и въ своихъ агитаціонныхъ статьяхъ и въ своихъ рѣчахъ обязательность для нравственно развитой личности связывать область мысли и область жизни, теоретическія убѣжденія и практическую дѣятельность, пропаганду словомъ и пропаганду дѣломъ и примѣромъ.

Его личная жизнь была образцомъ этого гармоническаго соединенія теоріи и практики. Онъ не принадлежалъ къ категоріи тѣхъ проповѣдниковъ, которые въ лучшемъ случаѣ могутъ обратиться къ своимъ ученикамъ и послѣдователямъ со словами: «дѣлайте такъ, какъ я говорю, а не такъ, какъ я самъ дѣлаю». У него дѣло не расходилось со словомъ. Такъ, напр., съ тѣхъ поръ, какъ онъ ступилъ на почву послѣдовательнаго социалистическаго міросозерцанія труда, онъ жилъ исключительно своимъ трудомъ, и жилъ, урѣзывая себя въ матеріальныхъ удобствахъ существованія до самаго строгаго минимума и позволяя себѣ лишь одну роскошь: книги. Да и то, повидимому, потому что смотрѣлъ на свои книги, какъ на своеобразную коллективную собственность. Всей русской колоніи лѣвобережнаго Парижа извѣстна комическая исторія изданій Тургенева, Толстого и т. п. писателей, изданій, которыя Лавровъ покупалъ, по крайней мѣрѣ, десять разъ за послѣднія двадцать лѣтъ и которыя снова и снова исчезали съ полокъ въ рукахъ ревностныхъ, но неаккуратныхъ по русской привычкѣ читателей. «Мои книги принадлежатъ тому, кто хочетъ въ данную минуту пользоваться ими», неоднократно говаривалъ онъ...

А его дружескіе и всегда внимательные, всегда исполненные благородства совѣты, которые онъ давалъ всякому, кто обращался къ нему? Ибо онъ былъ крайне деликатенъ и не на-

вязывался въ непрошенные совѣтчики. А его участіе, отзывчивость, его хлопоты,—порою за людей, которыхъ онъ зналъ очень мало? Нечего говорить уже о товарищахъ: иногда нельзя было не умиляться военной, но порою сшитой бѣлыми нитками хитрости Лаврова, имѣвшей цѣлью снабдить нуждавшагося деньгами, или достать ему работу, или найти ему какое-нибудь мѣсто, и продѣлать это все такъ, чтобы выведенному изъ затрудненія лицу казалось, будто оно этимъ обязывается прежде всего самого Лаврова. Можно ли, впрочемъ, ставить наряду съ этими матеріальными услугами громадныя нравственныя услуги, которыя Лавровъ оказывалъ товарищамъ и вообще знавшимъ его людямъ, заботливо оберегая ихъ отъ сомнительнаго шага, компромисса съ совѣстью, и своею жизнію подавая примѣръ свѣтлаго, какъ кристалль, и безупречнаго существованія? Иногда онъ замѣчалъ, что съ кѣмъ-нибудь изъ его близкихъ или «дальнихъ» творится что-то неладное. Надо было видѣть, съ какой делекатностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ настойчивостью онъ старался узнать отъ знакомыхъ, въ чемъ тутъ дѣло, а когда узнавалъ, съ какою ловкостью, удивительно въ этомъ высоко «непрактичномъ» человѣкѣ, онъ развязывалъ нѣкоторые жизненные гордіевы узлы, которые захлестывались вокругъ иного изъ товарищей мертвой петлей. И зачастую выведенный изъ тяжелой нравственной коллизіи даже и не подозрѣвалъ, кто здѣсь игралъ роль благотѣльнаго провидѣнія.

Лавровъ былъ не только на рѣдкость добрымъ, *сознательно* добрымъ человѣкомъ, ибо онъ считалъ нравственнымъ долгомъ развитой личности проявлять возможно большее чувство солидарности къ людямъ-братьямъ,—когда это только не шло въ разрѣзъ съ требованіями социалистическаго идеала, такъ какъ неразборчивой доброты, и къ друзьямъ и къ врагамъ, онъ не выносилъ. Лавровъ былъ, кромѣ того, замѣчательно мягкимъ и безукоризненно вѣжливымъ человѣкомъ. И многія недалекія или грубоватыя натуры полагали, что за этими манерами скрывался лишь холодный индифферентизмъ стараго артистократа и свѣтскаго господина. Эти близорукіе наблюдатели

Лаврова не замѣчали, что у его общей вѣжливости есть масса градацій; и что всѣ лица, съ которыми ему приходилось вести дѣло, размѣщались въ его симпатіяхъ, если можно такъ выразиться, концентрическими, все болѣе суживающимися и все болѣе близкими къ уму и сердцу Петра Лавровича кругами. Онъ былъ, повторяю, безукоризненно вѣжливъ со всѣми,—опять-таки, когда это не препятствовало интересамъ дѣла, ибо съ врагами, съ ренегатами онъ былъ поистинѣ страшенъ своею размѣренной, глубоко обдуманною холодною. Но онъ отнюдь не легко сходилъ съ людьми, а такъ называемое «амикошонство» претило ему до чрезвычайности. Для личной же дружбы нужно было много и долго жить съ Лавровымъ, пройти черезъ цѣлый искусь, въ результатъ котораго, и притомъ опираясь на идейныя симпатіи и общія задачи, вы могли постепенно переступить уже упомянутую систему концентрическихъ круговъ и стать лицомъ къ лицу съ богатой и сложной индивидуальностью Петра Лавровича. Но и въ такомъ случаѣ, будучи самымъ вѣрнымъ и до трогательности заботливымъ другомъ, онъ не любилъ пускаться что называется въ откровенности. «Есть область мелкихъ, чисто личныхъ вопросовъ, которые, право, даже у лучшихъ людей современнаго общества не представляютъ ничего замѣчательнаго: съ какой стати посвящать другихъ, даже самыхъ близкихъ своихъ, въ эти мало поучительныя вещи?»—часто говаривалъ онъ. И у насъ, напр., съ нимъ была постепенно установившаяся въ своихъ границахъ, правда, узкая сфера, которой мы не касались.

Но внѣ этой сферы какъ онъ былъ съ своими друзьями простъ, милъ, остроуменъ и необыкновенно интересенъ! Я, между прочимъ, нахожу, что въ частной бесѣдѣ съ близкими ему и симпатичными людьми онъ былъ еще поучительнѣе и занимательнѣе, чѣмъ въ роли писателя и политическаго дѣятеля,—привилегія очень немногихъ даже между крупными умами. Лавровъ, по-моему, выигрывалъ въ этихъ непринужденныхъ бесѣдахъ. О своихъ литературныхъ и ораторскихъ «выступленіяхъ» онъ любилъ говорить, хотя и зная себѣ цѣну, съ нѣкоторой добродушной ироніей: «я, видите-ли, принадлежу

немножко къ старой классической школѣ: я не рѣшаюсь ни съ читателями, ни съ аудиторіей на нѣкоторыя вольности мысли и выраженія, которыя лично мнѣ, пожалуй, и по душѣ, но могутъ не понравиться большой публикѣ именно во мнѣ». Неоднократно онъ, послѣ какого-нибудь глубокаго по мысли и забавнаго по формѣ «экскурса» въ исторію, социологію, изящную литературу, и т. п., замѣчалъ, смѣясь: «а чтобы вамъ поговорить объ этомъ въ печати?» или: «а попробуйте употребить это выраженіе: что скажутъ?» Порою я и «говорилъ» и «пробовалъ», но благодѣтельная цензура предусмотрительно вытравляла эти пробы. А то и мнѣ самому было совѣстно излагать подробно, какъ свои, чужія мысли, особенно въ ихъ непосредственной, высоко любопытной формѣ. И Петръ Лавровичъ добродушно посмѣивался въ бороду.

Лавровъ поражалъ меня, впрочемъ, въ этихъ непринужденныхъ бесѣдахъ больше всего способностью вскрыть философскій смыслъ какого-нибудь явленія, а затѣмъ поистинѣ изумительной, а главное точной эрудиціей. Видно было, что если Лавровъ много цитировалъ, то не для того, чтобы щегольнуть источниками, но чтобы подкрѣпить извѣстное положеніе хорошо знакомыми ему фактами жизни или мысли. Я до сихъ поръ съ изумленіемъ припоминаю, какъ онъ однажды по поводу разговора о Маркѣ Авреліи развернулъ мнѣ экспромптомъ такую точную, съ цифрами и годами, картину Римской Имперіи при Антонинахъ, что я словно присутствовалъ при чтеніи вслухъ серьезной исторической книги. И лишь непринужденность формы ослабляла эту иллюзію.

Это не мѣшало человѣку, вмѣщавшему въ своей головѣ энциклопедію современныхъ знаній, съ величайшею скромностью искать все новыхъ и новыхъ свѣдѣній и обращаться за совѣтами къ своимъ друзьямъ и знакомымъ въ областяхъ, которыя, по мнѣнію Петра Лавровича, были извѣстны имъ нѣкоторыми деталями лучше, чѣмъ ему. Онъ, напр., часто сожалѣлъ, что его первоначальное (военное) образованіе помѣшало ему знать древніе языки. И надо было видѣть, съ какою тщательностью онъ перечитывалъ со мною попадавшіяся ему

при работѣ греческія и латинскія цитаты, прося меня передать ему по возможности точно буквальный смыслъ ихъ. Помню также, что, считая меня освѣдомленнымъ въ области географіи (моя «хлѣбная», двадцать лѣтъ длившаяся во Франціи работа заставляла меня усердно слѣдить за географіей, статистикой и этнологіей), Петръ Лавровичъ въ теченіе не одной недѣли обсуждалъ со мною модный тому пятнадцать лѣтъ назадъ вопросъ о преувеличенномъ значеніи Гольфстрема, и успокоился не раньше, чѣмъ проштудировалъ всю добытую мною ему специальную «литературу предмета», какъ любятъ выражаться обстоятельные нѣмцы.

Личныя письма его къ друзьямъ тоже отличались большой непринужденностью и живостью формы: здѣсь онъ давалъ волю себѣ, снимая отчасти добровольно надѣтый на себя панцирь «классической школы». Но что говорить о формѣ, когда само содержаніе корреспонденціи будило всегда мысль полувсѣдлившаго, или же, въ случаѣ надобности, говорило его сердцу, утѣшая и одобряя указаніемъ на высшіе интересы? У меня въ числѣ десятка писемъ и записочекъ, набросанныхъ его столь знакомымъ, столь характернымъ (страшно неразборчивымъ) почеркомъ сохранились, между прочимъ, два письма, отправленныя имъ мнѣ въ Бретань, а моей семьѣ въ Россію, послѣ тяжелой личной потери, испытанной нами. Въ письмѣ ко мнѣ приведу слѣдующее мѣсто... «Увы, худшія предположенія Ваши оправдались. Что за нелѣпица, подумаешь, фатальные и бессмысленные процессы природы рядомъ съ впечатлительностью человѣка и съ его способностью гораздо больше страдать, чѣмъ наслаждаться! Я не пессимистъ, но совершенно понимаю, что, при малѣйшей склонности къ этому, можно сдѣлаться пессимистомъ. Изъ Вашего письма заключаю, что здоровье Ваше поправляется, и охота къ труду возвращается. Работайте—это вамъ скажутъ всѣ» и т. д. А въ Россію Лавровымъ писалось вотъ что:... «Васъ постигло горе, очень большое горе. Въ подобномъ случаѣ говорить и даже думать объ утѣшеніи—совершенно неумѣстно. Противъ бессмысленныхъ законовъ природы, уносящихъ самую дорогія намъ личности, нѣтъ

помощи въ утѣшеніяхъ. Можно лишь раздѣлять горе друзей, а не утѣшать ихъ въ потеряхъ. Лишь время, столь же бессмысленное, какъ удары судьбы, позволяетъ ранамъ жизни заживать мало-по-малу. Онѣ и заживаютъ, и заживутъ въ свое время, но ихъ приходится перестрадать. Отъ этого не избавятъ насъ никакіе друзья. Есть однако кое-что, помогающее заживать ранамъ жизни, это—*дѣло*. И предъ Вами есть подобное дѣло... Это все *дѣла*, и дѣла очень важныя и трудныя. Тутъ единственная возможность леченія жизненныхъ ранъ. Ни о какомъ иномъ утѣшеніи я даже и не позволилъ бы себѣ писать Вамъ. Крѣпко, крѣпко обнимаю Васъ и посылаю мои лучшія пожеланія всѣмъ Вашимъ»...

Всѣмъ ближнимъ и дальнимъ умѣлъ говорить Лавровъ, апеллируя всегда къ дѣлу, пропагандируя и словомъ, и примѣромъ жизнь достойную борцовъ за свободу, социализмъ и человѣчество. Величавый образъ этого изгнанника вдохновлялъ даже людей, отдѣленныхъ отъ него страшнымъ разстояніемъ, шлагбаумами всероссійскихъ границъ и снѣгами Сибири. Недаромъ въ день его 70-лѣтія поэтъ «поколѣнья, проклятаго богомъ», слалъ отъ лица товарищей по каторгѣ привѣтъ Лаврову:

Въ изгнаньи своемъ сиротѣющій геній,
Ты часто намъ снишься, учитель родной,
Въ тяжелые годы измѣнъ и сомнѣній
Одинъ не поникшій могучей душой...
Въ темницахъ отчизны, подъ солнцемъ чужбины,
Надъ Леной, подъ злымъ Акатуйскимъ ярмомъ,
Горятъ намъ твои дорогія сѣдины
Надежды и вѣры отраднымъ лучемъ!

И этого-то мыслителя, вдохновителя поколѣній, друга близкихъ и далекихъ Россія и международный социализмъ потеряли на самомъ рубежѣ новаго столѣтія: въ послѣднихъ числахъ января 1900 г. Лаврова не стало. Я позволю себѣ закончить этотъ этюдъ одной-двумя страницами, которыя были набросаны мною у изголовья умершаго и которыя я воспроизвожу здѣсь почти безъ измѣненія, такъ какъ онѣ вѣрно отра-

жали настроеніе людей, собравшихся въ то время вокругъ умолкшаго навсегда «родного учителя». «Смерть эта всѣхъ насъ поразила, какъ громомъ. Она не была внезапной: цѣлую недѣлю этотъ богатырскій организмъ, эта свѣтлая мысль боролась съ неумолимымъ врагомъ, который вѣрнѣе всѣхъ царскихъ преслѣдованій, казематовъ и жандармовъ закрылъ эти еще недавно столь краснорѣчивыя уста и сломалъ это могучее перо. Но всѣмъ намъ не хотѣлось думать, намъ не вѣрилось, чтобы слѣпой стихійный процессъ могъ взять такой обидный верхъ надъ этимъ героемъ жизни и сознательной мысли. Болѣзнь началась подъ вліяніемъ не сильной простуды, съ остраго приступа удушья, которое, казалось, скоро разсѣялось. Преклонный возрастъ Петра Лавровича,—въ будущемъ іюнѣ исполнилось бы ему 77 лѣтъ,—заставлялъ насъ опасаться отека въ легкихъ, предательски подстерегающаго пожилыхъ людей. Приняты были противъ этого надлежащія мѣры. Надежда ни на минуту не покидала насъ. И вдругъ на третьи сутки, вечеромъ, внезапный ударъ отнялъ сознание и парализовалъ лѣвую сторону у больного.

«Теперь-то началась рѣшительная борьба между жизнью и смертью. Было сдѣлано все, что лежало въ силахъ человѣческихъ. И несмотря на мученія четырехъ послѣднихъ дней, проведенныхъ всѣми нами словно въ кошмарѣ, невольная гордость за дорогого покойника наполняетъ мою душу, когда я вспоминаю, сколько безкорыстныхъ усилій, симпатій, любви, попеченій было истрачено у изголовья Лаврова, возлѣ котораго день и ночь встрѣчались и смѣнялись близкіе и далекіе, личные и общественные пріатели Лаврова, люди великіе и малые, ученые и неученые, знаменитости и простые смертные, революціонеры и легальные... Неумолимая болѣзнь продолжала свою разрушительную работу. Краткіе проблески сознания становились все рѣже и рѣже. Но, словно, чтобы наглядно выразилась вся умственная мощь умирающаго, судьба послала ему четверть часа полного сознанія, когда великій старикъ, собравъ всѣ силы своего необъятнаго, но уже побѣжденнаго мозга, громко, отчетливо и въ энергичной литературной формѣ произ-

несъ передъ нѣсколькими товарищами строго логичную, тутъ же записанную ими рѣчь. Онъ просилъ насъ жить дружно и хорошо и заранѣе ставилъ подъ защиту друзей свой трупъ и свои послѣднія велѣнія, требуя отъ насъ честнаго слова «противиться вторженію русскаго консула».

«Дѣло было ночью, за день до смерти. Послѣ этого усилія мысль вспыхивала лишь кратковременной молніей, прорѣзывая на мгновенье все болѣе и болѣе надвигавшуюся ночь сознанія. Поразительное и глубоко трогательное зрѣлище представляли постоянныя усилія умиравшаго возвращаться и въ бреду къ литературному труду, надъ которымъ Петръ Лавровичъ, по всей вѣроятности, и надорвалъ себя, работая цѣлые мѣсяцы за письменнымъ столомъ. Дѣйствительно, ему осталось дописать всего нѣсколько страницъ.

«Словно предчувствуя подстерегавшую его судьбу, онъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ передъ своей болѣзью: «нѣтъ, нѣтъ, надо во что бы то ни стало кончить трудъ; мнѣ нечего терять и одной минуты». Въ этомъ-то настроеніи застигъ его припадокъ. Первые два дня, когда его могучая голова постоянно работала, онъ силился читать газеты и приказывалъ товарищамъ придвинуть къ нему столъ съ письменными принадлежностями, а на ихъ отказъ возмущался и негодовалъ, выражая свое неудовольствіе суровыми словами и энергичными жестами. Но и когда ударъ поразилъ его, онъ продолжалъ коснѣющимъ языкомъ свои повелѣнія, и даже въ моментъ самаго жестокаго кризиса, все произносилъ слова, фразы и заглавія частей труда, а его рука лихорадочно писала въ воздухѣ воображаемая строки...

«Смерть пришла въ 11 ч. 50 м. утра, во вторникъ 6 февраля (25 января) 1900 г. Самая агонія была непродолжительна. Прерывистое, тяжелое дыханіе, которое шесть дней вылетало изъ груди больного, ослабѣло; свистящіе тоны исчезли; движенія непарализованныхъ руки и ноги замедлились. И вдругъ, словно вѣтеръ прошелъ по всему могучему тѣлу снизу доверху, и подъ дуновеніемъ его какое-то темное облако пронеслось въ томъ же направленіи по лицу, отъ бѣлоснѣжной

борода и усовъ, обрамлявшихъ губы, къ массивному носу, грандіозному прекрасному лбу безъ морщинъ, и упорхнуло въ серебряныя пряди разметанныхъ волосъ. Лавровъ глубоко-глубоко потянулъ въ себя воздухъ, словно обрадовавшись возможности вздохнуть полною грудью послѣ шести дней короткаго, лихорадочнаго дыханья, и такой же полной грудью выдохнулъ... Еще два еле замѣтныхъ вдоха. Больше грудь не поднялась. Мы засуетились: кинулись за кислородомъ, за эфиромъ... Напрасно: великій человѣкъ навсегда перешелъ въ исторію. Лицо приняло величавое, спокойное выраженіе словно послѣ наконецъ-то оконченнаго тяжелаго труда; оно, казалось, даже помолодѣло: такимъ я зналъ Лаврова лишь лѣтъ десять тому назадъ. Читатели позволяютъ мнѣ опустить здѣсь занавѣсъ надъ послѣдней сценой прощанія у изголовья нашего незабвеннаго друга и учителя»...

Похороны П. Л. Лаврова, состоявшіяся въ воскресенье 6-го февраля, были не банальной траурной церемоніей и даже не столько какимъ-либо трауромъ, сколько импозантной манифестаціей «людей будущаго», восьмидесятитысячная толпа которыхъ, заключавшая въ своихъ рядахъ представителей социалистовъ и рабочихъ всего міра, двигалась подъ звуки Интернаціонала. Рѣчи, произнесенныя на могилѣ неустаннаго борца, соотвѣтствовали характеру этого торжества,—мы можемъ употребить это слово, не скандализируя имъ строителей города грядущаго. Даже карьеристъ Вивьяни, уже тогда готовившійся въ министры, умилялся надъ величіемъ Лаврова, «передъ которымъ, молъ, раскрывалась торная дорога привилегированной жизни», но «который рѣшительно ступилъ на трудный и полный лишений путь борьбы за социалистическій идеалъ»...

Скромный памятникъ въ видѣ небольшой дикой скалы изъ гранита прикрываетъ на Монпарнасскомъ кладбищѣ прахъ человѣка, который утратилъ свое личное существованіе лишь для того, чтобы жить безсмертною жизнью героевъ мысли и убѣжденія.

Когда же наконецъ свободная и социалистическая Россія перенесетъ къ себѣ останки того, кто, принадлежа къ великой семьѣ международныхъ социалистовъ, прежде всего принадлежитъ все-таки своей родинѣ и своему народу, за который онъ училъ насъ жить и умирать, и который проснулся теперь и весь волнуется какъ гигантское море передъ окончательнымъ шкваломъ?



Н. Г. Чернышевскій и Россія 60-хъ годовъ ¹⁾.

I.

Меня всегда, приблизительно съ первой половины 70-хъ годовъ, крайне занимала личность Чернышевскаго. Не одни его взгляды, а именно вся его необыкновенно своеобразная фигура. Я уже не говорю о томъ любопытствѣ и той жадѣ запретнаго, которую развивало среди насъ, мальчиковъ-подростковъ, сидѣвшихъ на гимназическихъ и кадетскихъ скамьяхъ и семинарскихъ партахъ, благопечительное начальство, способное, бывало, раскассировать цѣлый классъ за найденный, неизвѣстно кому принадлежащій экземпляръ «Что дѣлать», составившійся изъ вырванныхъ страницъ «Современника». Но кромѣ этого почти инстинктивного любопытства, мою мысль тревожила задача понять духовную физіономію человѣка, котораго я всегда считалъ однимъ изъ оригинальнѣйшихъ русскихъ умовъ и однимъ изъ самыхъ энергичныхъ и послѣдовательныхъ политическихъ дѣятелей. Эти два свойства—самостоятельность мысли и постоянная энергія воли—принадлежать къ разряду тѣхъ достоинствъ, которыя рѣже всего характеризуютъ нашу талантливую и героическую «запоемъ», но въ общемъ черзчуръ рыхлую и подражательную

¹⁾ «Русское Богатство», 1905, № 3.

натуру славянина. Какъ же было не интересоваться личностью Чернышевскаго?

Къ этому присоединялись нѣкоторыя другія обстоятельства, заставлявшія съ удвоеннымъ вниманіемъ задумываться надъ характеромъ и судьбой человѣка, который игралъ въ свое время такую исключительную роль. Прежде всего, эта трагическая катастрофа въ его жизни, вырвавшая у поэта скорбное восклицаніе, какъ въ снѣгахъ Сибири

... заточень
Яркій свѣточъ науки опальной,—

катастрофа, которая являлась вмѣстѣ съ тѣмъ жесточайшею несправедливостью со стороны политическихъ враговъ Чернышевскаго. Ибо то, что теперь мало-по-малу начинаетъ выясняться для большой публики изъ печатающихся воспоминаній, мемуаровъ, замѣтокъ о 60-хъ годахъ, было извѣстно давнымъ давно людямъ, принадлежавшимъ къ тому теченію, которое продолжало при измѣнившихся условіяхъ и съ измѣненной программой дѣятельность людей «Современника». Послѣ смерти Чернышевскаго, дѣйствительно, начали выкапываться изъ-подъ спуда мнѣнія и отзывы людей той эпохи, и замѣтите, изъ лагеря противниковъ, о процессѣ и осужденіи Николая Гавриловича. И всѣ эти документы свидѣтельствовали,—какъ въ свое время сенаторъ Любошинскій признался въ томъ бывшему цензору Никитенку,—что «извѣстныхъ юридическихъ доказательствъ виновности не было», но что «моральное убѣжденіе сенаторовъ было прямо противъ Чернышевскаго»¹⁾. А въ концѣ 1904 г. въ одной изъ статей, вызванныхъ пятнадцатилѣтіемъ смерти Николая Гавриловича (я говорю о воспоминаніяхъ г. Захарьина-Якунина), мы могли прочитать, что таково же было мнѣніе многихъ тогдашнихъ литераторовъ. Примѣръ тому Алексѣй Толстой, который въ виду вопіющаго нарушенія права, допущеннаго при осужденіи Чернышевскаго, сталъ было говорить въ его пользу Александру II, но полу-

¹⁾ См. дневникъ Никитенка въ «Русской Старинѣ» 1891, № 5.

чилъ отъ императора рѣзкій приказъ никогда впредь не касаться этого предмета...

Кромѣ этой трагической судьбы Чернышевскаго, насъ интересовало и то, что исключительная сила ума столь рано погибшаго для русской мысли писателя была печатно признана въ началѣ 70-хъ годовъ такимъ желчнымъ и порою строгимъ до несправедливости, но вмѣстѣ компетентнымъ судьей, какимъ былъ Марксъ. Не говорилъ ли тотъ самый неумолимо рѣзкій авторъ, который бросалъ по адресу Герцена эпитеты «полурусскаго и вполне москвича», не говорилъ ли онъ въ предисловіи (январь, 1873 г.) ко второму изданію перваго тома «Капитала» о «банкротствѣ буржуазной экономіи, мастерски выясненномъ великимъ русскимъ ученымъ и критикомъ Н. Чернышевскимъ въ своемъ трудѣ «Очерки изъ политической экономіи по Миллю»? Значеніе загубленнаго судьбой русскаго экономиста признавалось такимъ образомъ не въ однихъ кругахъ нашей демократической молодежи, но и за границей, и при томъ громаднымъ авторитетомъ, который былъ крайне скупъ на подобные лестные отзывы.

Если не прямо трагическою, то скорбною дымкою были въ нашихъ глазахъ подернуты и послѣдніе годы Чернышевскаго, когда уже возвращенный въ Россію великій мыслитель доживалъ свою безжалостно изломанную жизнь въ двойномъ карантинѣ, устроенномъ властями и окружающими его людьми. Онъ нарочито былъ укрываемъ отъ взоровъ, не говорю снобовъ и Тряпичкиныхъ-очевидцевъ,—этой противной разновидности умственныхъ паразитовъ, кишащихъ возлѣ «знаменитостей»,—но искренно любившихъ и глубоко преданныхъ ему людей, выросшихъ на его сочиненіяхъ. Мы живо помнили его первый разговоръ въ Астрахани съ корреспондентомъ, если не ошибаюсь, изъ «Daily News», разговоръ или, вѣрнѣе, своеобразный діалогъ на бумагѣ, въ которомъ англичанинъ задавалъ ему письменно вопросы, а Чернышевскій письменно же отвѣчалъ на нихъ, такъ какъ зналъ языкъ Шекспира вполне хорошо, но совершенно по книжному, словно греческій и латинскій. Въ этомъ своеобразномъ діалогѣ-перепискѣ съ глазу на глазъ

Чернышевский охарактеризовал себя как «военно-плѣннаго изъ лагеря русской революціи». Онъ поставилъ на видъ англичанину, что ему не совсѣмъ удобно отвѣчать на нѣкоторые вопросы такъ прямо, какъ онъ хотѣлъ бы, а потому онъ лучше умолчить. Увы! это было первое и, почитай, послѣднее ясное выраженіе мыслей возвратившагося Чернышевскаго о нѣкоторыхъ сторонахъ современной жизни. Рѣдки были идейные гости, успѣвавшіе видѣться съ нимъ и бывшіе въ состояніи понять и передать его взгляды. И надо считать за счастье для большой публики, что В. Г. Короленко удалось познакомиться ее (въ «Русскомъ Богатствѣ») съ своими интересными «Воспоминаніями о Чернышевскомъ». Чего стоитъ, напр., одна оцѣнка Чернышевскимъ литературы автора «непротивленія злу», Льва Толстого, передъ которымъ кувиркаются и пищатъ въ умиленіи снобы всего міра, какія бы несообразности въ сферѣ теоретическихъ и глубоко жизненныхъ вопросовъ ни угодно было изрекать яснополянскому оракулу. Помните:

«...Чернышевскій вынулъ платокъ и высморкался.

— Что, хорошо? — спросилъ онъ къ великому нашему удивленію. — Хорошо я сморкаюсь? Такъ себѣ, не правда ли. Если бы у васъ кто спросилъ, хорошо ли Чернышевскій сморкается, вы бы отвѣтили: безъ всякихъ манеръ, да и гдѣ же какому-то бурсаку имѣть хорошія манеры. А что, если бы я вдругъ представилъ неопровержимыя доказательства, что я не бурсакъ, а герцогъ, и получилъ самое настоящее герцогское воспитаніе. Вотъ тогда бы вы тотчасъ же подумали: А-а, нѣтъ-съ, это онъ не плохо высморкался, — это и есть настоящая, самая рѣдкостная герцогская манера... Правда вѣдь? А?

— Пожалуй.

— Ну, вотъ то же и съ Толстымъ. Если бы другой написалъ сказку объ Иванѣ-дуракѣ, — ни въ одной редакціи, пожалуй, и не напечатали бы. А вотъ, подпишутъ графъ Толстой, — всѣ и ахаютъ. Ахъ, Толстой, великій романистъ! Не можетъ быть, чтобы была глупость. Это только необычно и гениально! По-графски сморкается» ¹⁾).

¹⁾ Русское Богатство, 1904, № 11, стр. 65—66.

Но возвратимся къ Чернышевскому 60-хъ годовъ. Меня не удовлетворяло знакомство съ сочиненіями «великаго русскаго ученаго и критика». Мнѣ хотѣлось составить о немъ понятіе, какъ о человѣкѣ. И я съ жадностью спрашивалъ о Чернышевскомъ людей, которые лично знали его. Уже во второй половинѣ 70-хъ годовъ нѣкоторыя интересныя стороны Чернышевскаго, какъ политическаго дѣятеля, выяснились для меня изъ разговоровъ съ П. Г. Зайчневскимъ (умеръ въ 1895 г.), который былъ однимъ изъ авторовъ «Молодой Россіи», сталкивался по поводу ея съ Николаемъ Гавриловичемъ, встрѣчался съ нимъ (если не ошибаюсь) и во время своей сибирской жизни. Много любопытнаго о Чернышевскомъ мнѣ пришлось узнать отъ семьи Шелгунова и въ особенности отъ самаго Николая Васильевича, съ которымъ я былъ близко знакомъ въ теченіе 1879—1882 г. и который необыкновенно тепло отзывался о славномъ авторѣ статей по общинному владѣнію и комментаторѣ Милля. За границей, въ началѣ 80-хъ годовъ, кое-что было рассказано мнѣ о Чернышевскомъ Н. В. Соколовымъ, составившимъ по «Les Réfractaires» Жюль Валлеса своихъ «Отщепенцевъ», но извѣстнымъ больше по своимъ комично свирѣпымъ статьямъ въ «Русскомъ Словѣ» противъ Милля. Эти статьи въ своемъ первоначальномъ видѣ были представлены Соколовымъ еще Чернышевскому, не были одобрены имъ, но послужили почвою для знакомства между полковникомъ генеральнаго штаба и руководителемъ «Современника».

Наконецъ, поставленный въ близкія отношенія къ П. Л. Лаврову, я не разъ наводилъ разговоръ на Чернышевскаго. Къ сожалѣнію, авторъ «Историческихъ писемъ» хорошо сошелся съ Николаемъ Гавриловичемъ лишь за нѣсколько мѣсяцевъ до ареста послѣдняго, когда покойный Энгельгардтъ ввелъ Лаврова въ начавшее организоваться общество (старой) «Земли и Воли». Нѣкоторыя типичныя особенности Чернышевскаго, впрочемъ, ярко выступали въ характеристикѣ Лаврова, который въ непринужденной интимной бесѣдѣ выражался очень живо и гораздо менѣе абстрактно, чѣмъ то позволяла бы думать его отвлеченная манера печатнаго изложенія.

Что касается до Чернышевского 80-х годов, уже возвращенного из Сибири, я хорошо запомнил длинный и интересный разговор, который имѣлъ съ нимъ въ 1888 г. по поводу тогдашняго положенія дѣлъ г. Б.,—типъ идейнаго и вдумчиваго собесѣдника.

Таковы тѣ элементы, которыми располагаю я для давно задуманной мною попытки охарактеризовать нѣкоторыя стороны личности Чернышевскаго, какъ дѣятеля, можетъ быть черезчуръ остававшіяся до сихъ поръ въ тѣни, и опредѣлить въ связи съ нимъ роль и судьбу этого необыкновенно крупнаго человѣка въ Россіи 60-хъ годовъ. Къ сожалѣнію, къ этимъ элементамъ, если можно такъ выразиться, устнаго преданія я могу присоединить лишь очень скудныя печатныя данныя. По тѣмъ или по другимъ причинамъ, за двумя-тремя исключеніями, и то небольшое, что писалось о Чернышевскомъ, исходило отъ людей, которые врядъ ли отдавали себѣ отчетъ въ истинномъ значеніи изображавшагося ими лица. Таковы, напри- мѣръ, воспоминанія нѣкоторыхъ товарищей Николая Гавриловича по семинаріи. Скудость устнаго и печатнаго матеріала, касающагося Чернышевскаго, какъ человѣка, послужить мнѣ извиненіемъ въ возможной неудачѣ предлагаемой читателю попытки. Я вынужденъ буду прибѣгать порою къ нѣкоторымъ гипотетическимъ соображеніямъ, стараясь объяснять недостающія черты индивидуальности Чернышевскаго изъ его сочиненій и изъ условій тогдашней общественной жизни. Могу лишь сказать читателю, что приступаю къ своему плану съ самымъ горячимъ и искреннимъ желаніемъ дать большой публикѣ хоть приблизительное понятіе о томъ, какова не только теоретическаго мыслителя, но и общественнаго дѣятеля она безвременно потеряла 40 лѣтъ тому назадъ въ лицѣ Чернышевскаго ¹⁾.

¹⁾ Съ тѣхъ поръ, какъ я писалъ этотъ этюдъ, литература о Чернышевскомъ увеличилась. Оставляя въ сторонѣ «Воспоминанія» Г. Алексѣя Тверитинова «объ объявленіи приговора Н. Г. Чернышевскому» и т. п. (Спб., 1906), а въ сущности о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ, можно указать на небольшую и малосодержательную книжку

II.

Хотите знать, какой лейтмотивъ долженъ, по моему мнѣнію, положить всякій писатель въ основаніе этюда о «Чернышевскомъ и Россіи 60-хъ годовъ»? Мрачныя и загадочныя слова одной изъ самыхъ сильныхъ исповѣдей Лермонтова «1831 года, іюня 11»:

Я предузналъ мой жребій, мой конецъ,
И грусти ранняя на мнѣ печать;
И какъ я мучусь, знаетъ лишь Творецъ.
Но равнодушный міръ не долженъ знать.
И не забыть умру я. Смерть моя
Ужасна будетъ; чуждые края
Ей удивятся, а въ родной странѣ
Всѣ проклянутъ и память обо мнѣ.

Изъ пѣсни, конечно, слова не выкинешь. Но если выбросить два-три слова изъ только-что приведенной строфы, она цѣликомъ можетъ быть отнесена къ судьбѣ Чернышевскаго. И онъ «предузналъ свой жребій, свой конецъ»: онъ чувствовалъ, мало того, онъ ясно сознавалъ, что такой человѣкъ.

г. К. М. Оедорова, «Н. Г. Чернышевскій» (Спб., 1905), на «Личныя воспоминанія о пребываніи Н. Г. Чернышевскаго въ каторгѣ» г. Николаева (Москва, 1906 г.),—брошюрку, въ которой интересный матеріалъ обработанъ, къ сожалѣнію, менѣе удачно, чѣмъ можно было бы ожидать отъ уважаемаго автора, а главное на обстоятельную работу г. Мих. Лемке, посвященную «Дѣлу Н. Г. Чернышевскаго» (Былое, 1896 г., №№ 3, 4 и 5) и вошедшую въ недавно появившуюся книгу того же автора, «Политическіе процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевскаго» (Спб., 1907). Этюдъ г. Лемке не только почти исчерпываетъ матеріалъ по процессу автора «Что дѣлать?», но содержитъ нѣсколько любопытныхъ неизданныхъ документовъ въ родѣ знаменитаго «Воззванія къ барскимъ крестьянамъ», въ составленіи котораго Чернышевскій и обвинялся правительствомъ. Г. Лемке показалъ полную *юридическую* несостоятельность обвиненій, предъявлявшихся Чернышевскому, но справедливо, по моему мнѣнію, указываетъ на вѣроятность этого авторства, равно какъ не менѣе справедливо отмѣчаетъ хотя и не доказанную юридически, но фактически крупную роль Николая Гавриловича въ революціонномъ движеніи.

какъ онъ, долженъ былъ фатально погибнуть въ такой странѣ, какою была Россія 60-хъ годовъ. И онъ могъ предвидѣть, что «смерть его ужасна будетъ». Любители точности могутъ, конечно, замѣтить, что Чернышевскій не погибъ въ буквальномъ смыслѣ «ужасною смертию». Но чтѣ какъ не мучительное медленное умираніе представляла для этого гиганта мысли его жизнь въ далекой Сибири, порою сводившаяся къ одиночному заключенію и всегда отрѣзавшая его отъ общенія съ интересами идеи и общественной дѣятельности? Правда, что не «всѣ проклинали память о немъ». Но какія безконечно печальныя оговорки приходится дѣлать и тутъ!

Чернышевскаго не проклиналъ, конечно, трудовой, въ тѣ время почти исключительно деревенскій, людъ, но не потому, что онъ зналъ героическую борьбу «Современника» за освобожденіе крестьянъ съ землей противъ «степныхъ медвѣдей» крѣпостничества, а потому, что онъ не имѣлъ равно никакого понятія о Чернышевскомъ и его дѣятельности. Помните статью Чернышевскаго, озаглавленную «Письма безъ адреса» — а на самомъ-то дѣлѣ по адресу императора Александра II? Народъ является подъ перомъ Чернышевскаго «судьей», которому, собственно, и слѣдовало бы разрѣшить тяжбу, чья дѣятельность для него полезнѣе, дѣятельность ли Чернышевскихъ, или дѣятельность правительства. Но, увы! судья-народъ, — говоритъ Чернышевскій, обращаясь къ высокому адресату, — «васъ знаетъ лишь по имени... а насъ не знаетъ даже и по имени». И продолжаетъ такъ: «Апатиченъ остается народъ; какой же результатъ могли бы произвести ваши заботы или наши хлопоты о его пользахъ, хотя бы вы, или мы, и остались на полѣ дѣйствія одни? Вы говорите народу: ты долженъ идти вотъ какъ; мы говоримъ ему: ты долженъ идти вотъ такъ. Но въ народѣ почти всѣ дремлютъ; а тѣ немногіе, которые проснулись, отвѣчаютъ: давно уже раздаются призывы къ народу, чтобы онъ жилъ такъ или иначе, и много разъ пробовалъ онъ слушать призывы, но пользы отъ нихъ не было».

Итакъ, со стороны тогдашняго народа не было проклятій,

но не было и благословенія, потому что у него не было никакого понятія о роли Чернышевскаго и товарищей. Ну, а большинство нашего такъ называемаго «общества»? О, здѣсь преобладающею нотою въ хорѣ оцѣнокъ и сужденій, встрѣтившихъ арестъ Чернышевскаго, было, несомнѣнно, проклетіе или, по крайней мѣрѣ, строгое порицаніе. Та реакціонная вакханалія, которая овладѣла Петербургомъ, а вскорѣ и всей Россіей послѣ майскихъ пожаровъ 1862 г., не дожидалась польскаго возстанія, чтобы обнаружить всю дряблость, трусость, а вмѣстѣ и свирѣпость нашихъ недавнихъ прогрессистовъ въ силу моды и либераловъ съ дозволенія начальства. Тѣ самые люди, въ родѣ Каткова, которые еще два-три года тому назадъ считали возможнымъ вести переговоры съ «краснымъ» Чернышевскимъ и вступать съ нимъ въ соглашеніе на почвѣ общихъ либеральныхъ требованій, теперь прямо доносили на «Современникъ», какъ на гнѣздо революціи. По ихъ глубокому «патріотическому» убѣжденію и Щукінъ рынокъ-то былъ подоженъ, — какъ это утверждали на слѣдующій же день послѣ пожара «Московскія Вѣдомости», — поляками и русскими революціонерами, находившимися подъ командой «коммуниста» Чернышевскаго. Даже люди, вдохновлявшіеся еще недавно статьями славнаго защитника русской общины въ его замѣчательной кампаніи, во имя освобожденія крестьянъ съ землей, демонстративно отрекались отъ него при первомъ крикѣ: распни его! Вотъ любопытное свидѣтельство мыслящаго современника этой эпохи изъ высшей аристократической среды:

«Нѣсколько дней спустя послѣ пожара я пошелъ въ воскресенье къ своему двоюродному брату, — флигель-адъютанту императора, — на квартирѣ котораго я часто слышалъ, какъ конногвардейскіе офицеры выражали сочувствіе Чернышевскому. Мой двоюродный братъ самъ до этого времени былъ ревностнымъ читателемъ «Современника», этого органа передовой партіи реформъ. Но теперь онъ принесъ нѣсколько книжекъ «Современника» и, положивъ ихъ на столъ, за которымъ я сидѣлъ, сказалъ мнѣ: «отнынѣ я не хочу больше держать у

себя этой поджигательной литературы, довольно!»—и эти слова выражали мнѣніе «всего Петербурга» ¹⁾).

Но то, скажете вы, были представители крайне высокихъ общественнымъ слоевъ, которые могли горѣть и пылать лишь соломеннымъ огнемъ энтузіазма къ реформамъ и лишь пока не выяснилось истинное значеніе преобразовательной горячки, охватившей было всю мало-мальски сознательную Россію. Такъ вотъ вамъ мнѣніе типичнаго человѣка тогдашней либеральной интеллигенціи, мнѣніе профессора, потерявшаго въ 1858 г. свое мѣсто придворнаго преподавателя права (цесаревичу Николаю) послѣ напечатанія въ «Современникѣ» записки о крѣпостномъ правѣ, автора горячаго протеста, помѣщеннаго въ «Колоколѣ» противъ Чичерина (который обвинялъ Герцена въ томъ, что онъ проповѣдуетъ, какъ средство для реформъ, «палку сверху и топоръ снизу», и т. д.). Словомъ, я разумѣю К. Д. Кавелина, отъ котораго, несмотря на сумбурность его либерализма (онъ проповѣдывалъ, какъ извѣстно, «замѣну византійско-татарско-французско-помѣщичьяго идеала русскаго царя идеаломъ народнымъ, славянскимъ, посредствомъ самой широкой административной реформы», а на конституцію смотрѣлъ съ презрѣніемъ, какъ на «европейскія фіоритуры»),—отъ котораго, говорю я, нельзя было, казалось бы, ожидать катковскаго объясненія петербургскихъ пожаровъ. Однако въ письмѣ къ Герцену (отъ 6-го августа 1862 г.) упомянутый славянствующій либераль не убоился и не постыдился бросить на бумагу слѣдующія строки, заставляющія не вѣрить глазамъ, когда ихъ читаешь:

«Извѣстія изъ Россіи, съ моей точки зрѣнія, не такъ плохи... Аресты меня не удивляютъ, и, признаюсь тебѣ, не кажутся возмутительными... Чернышевскаго я очень, очень люблю, но такого брульона, безтактнаго и самонадѣяннаго человѣка я никогда еще не видалъ. И было бы за что погибать! Что пожары въ связи съ прокламаціями—въ этомъ нѣтъ теперь ни малѣйшаго сомнѣнія».

¹⁾ P. Kropotkin, *Memoirs of a Revolutionist*; Лондонъ, 1899, т. I, стр. 193—194.

И такъ вотъ: всѣ эти прекраснодушные, всѣ эти чувствительные люди «очень, очень любятъ» послѣдовательныхъ и смѣлыхъ дѣятелей, пока ихъ присутствіе въ первыхъ рядахъ, подъ непосредственнымъ огнемъ непріятеля, надо для упомянутыхъ чувствительныхъ и прекраснодушныхъ господъ, какъ прикрытіе, какъ авангардъ болѣе многочисленной, но и куда какъ болѣе робкой арміи умѣренно либеральныхъ и умѣренно свободолюбивыхъ элементовъ. А прошли эти времена, — прошли потому ли, что могущественный врагъ былъ едва-едва выбитъ изъ первыхъ укрѣпленій, или потому, что умѣренные господа, трубившіе въ іерихонскія трубы, увидѣли, что этимъ «духовнымъ концертомъ» непріятеля не проберешь, а къ болѣе реальнымъ способамъ воздѣйствія прибѣгнуть не хотѣли и не могли по самому характеру своему, — и вотъ ваши союзники превращаются въ вашихъ враговъ и не усомнятся присоединиться къ хору вашихъ злѣйшихъ клеветниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, «пожары въ связи съ прокламаціями—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія!» И это говорилось прекраснодушными людьми въ то самое время, какъ ни вступившее на путь реакціи правительство, ни охранительная пресса не могли, несмотря на всѣ усилія, установить никакой связи между дѣятельностью передовой демократической партіи 60-хъ годовъ и пожарами. Прекраснодушные господа забывали, — и забывали наполовину умышленно, — что ужъ если кому были на руку пожары, такъ это реакціонной партіи, которая искала только случая придратъ къ чему-нибудь, чтобы «поставить точку къ реформамъ», выражаясь языкомъ формулы, пущенной нѣсколько лѣтъ спустя сіятельнымъ публицистомъ «Гражданина».

Рыцари на часъ изъ либеральнаго лагеря не хотѣли знать, что единственный разъ, когда нашелся въ высшихъ сферахъ человѣкъ, серьезно отнесшійся къ опредѣленію причинъ тогдашнихъ пожаровъ, въ его рукахъ оказались самыя тяжелыя улики именно противъ реакціонеровъ и крѣпостниковъ. Я говорю о сенаторѣ Ждановѣ, посланномъ для изслѣдованія на мѣстѣ обстоятельствъ пожарнаго повѣтрія, которое начало спустя нѣкоторое время свирѣпствовать по Волгѣ: въ Сара-

товѣ, Симбирскѣ и т. д. Смерть Жданова, загадочное исчезновение его чемодана, нежеланіе «сферъ» опубликовать результаты слѣдствія о пожарахъ, — все это ясно показывало, гдѣ надо было искать настоящихъ виновниковъ смуты. И тѣмъ не менѣе большинство тогдашняго лагеря прогрессистовъ стало на точкѣ зрѣнія Кавелина: Чернышевскій—«брульонъ», Чернышевскій—невѣроятно «самонадѣянный, безтактный человѣкъ». Отчего же такому человѣку не вмѣнить, по крайней мѣрѣ, моральной ответственности за краснаго пѣтуха, начавшаго, однако, ходить по Россіи какъ разъ тогда, когда временно было подавленные реформой 19-го февраля 1861 г. крѣпостные волки снова подняли свой жалобный и свирѣпый вмѣстѣ вой? Этимъ они надѣялись повліять въ достаточной степени на правительство, чтобы оно отложило на неопредѣленное время окончательное уничтоженіе рабства, приуроченное къ 19-му февраля 1863 г.

Стоить ли, впрочемъ, особенно удивляться, особенно негодовать на психологію умѣренно-либеральныхъ и неумѣренно-трусливыхъ господъ? Ахъ, эта психологія является почти національной особенностью нашихъ культурныхъ слоевъ, лишенныхъ традицій политической борьбы. Механизмъ этого процесса «два шага впередъ, а одинъ назадъ», порою и цѣлыхъ три назадъ, съ точностью почти социолога изображенъ Некрасовымъ. И, надѣюсь, читатель не посѣтуетъ на длину нижеслѣдующей цитаты изъ «Медвѣжьей охоты»: такъ сильны и правдивы эти стихи:

Пожалуйста, не говори
Про русское общественное мнѣнье!
Его нельзя не презирать
Сильнѣй невѣжества, распутства, тунеядства;
На немъ предательства печать
И непонятнаго злорадства!
У русскаго особый взглядъ,
Преданьямъ рабства страшно вѣрять:
Всегда побитый виноваты,
А битымъ—счетъ потерянь!
Какъ будто съ умысломъ силки
Мы разставляемъ мысли смѣлой;

Сперва—сторонниковъ полки,
Восторгъ почти Россіи цѣлой,
Потомъ—усталость; наконецъ,
Всѣ на-сторожѣ, всѣ въ тревогѣ,
И покидается боецъ
Почти одинъ на полдорогѣ...
Побѣда! мимо всѣхъ преградъ
Прошла и принялась идея:
Ура! кричимъ мы, не робѣя,
И тотъ, кто радъ, и кто не радъ...
Зато съ какимъ зловѣщимъ тактомъ
Мы неудачу сторожимъ!
Замѣтивъ облачко надъ фактомъ,
Какъ стусеваться мы спѣшимъ!
Какъ мы вертимъ хвостомъ лукаво,
Какъ мы уходимъ величаво
Въ скорлупку пошлости своей!
Какъ негодуемъ, какъ клеветимъ,
Какъ ретроgrадамъ рукоплещемъ,
Какъ выдаемъ своихъ друзей!
Какіе слышатся аккорды
Въ постыдной аріи тогда!
Какія выдвинутся морды
На первый планъ! Гроза, бѣда!
Облава—въ полномъ смыслѣ слова!..
Свалились въ кучу—и готово
Холопской дури торжество,
Мычанье, хрюканье, бляенье—
И жеребьяче гоготанье—
А-ту его! а-ту его!..

Вотъ вамъ полная и яркая картина исторіи 60-хъ годовъ, прилива и отлива общественного энтузіазма! Чернышевскій былъ именно тотъ боецъ, покинутый почти одинъ на полдорогѣ, о которомъ говоритъ поэтъ. И мы видѣли, что, дѣйствительно, его имя «проклиналось» теперь тѣми самыми людьми, которые тянулись, по крайней мѣрѣ въ теченіе 5 лѣтъ, приблизительно съ 1857 по 1861 г., за передовыми рядами демократической арміи, предводимой Чернышевскимъ. Память заживо похороненнаго дѣятеля самой плодотворной поры 60-хъ годовъ сохранялась съ чувствомъ глубочайшаго почтенія

лишь среди революционной части русской интеллигенции, к которой принадлежали и самъ Чернышевскій, и его идейные друзья. И лишь эта революционная интеллигенція до самаго послѣдняго времени, когда на сцену выступили, наконецъ трудящіяся массы, выносила одна на своихъ плечахъ мучительный историческій процессъ медленной эволюціи той Бѣлой Арапіи, той «барыни-сударыни, матушки Федорушки», что возбуждала сатирической гнѣвъ даже индифферентиста Алексѣя Толстого.

Въ какой степени Чернышевскій «предузналъ свой жребій, свой конецъ»,—какъ было сказано выше,—видно изъ очень вѣскихъ свидѣтельствъ, потому что они исходятъ отъ самого главы крайней демократической партіи тогдашней Россіи. Еще въ началѣ 50-хъ годовъ, до своей женитьбы, Чернышевскій писалъ въ своемъ дневникѣ (найденномъ впоследствии при арестѣ Николая Гавриловича 7-го іюля 1862 г.) слѣдующія строки, представляющія, повидимому, набросокъ одного изъ писемъ его къ дѣвушкѣ, ставшей впоследствии его женой:

«Меня каждый день могутъ взять,—какая тутъ будетъ моя роль? У меня ничего не найдутъ, но враги у меня сильные. Что могу я другое дѣлать? Сначала я буду молчать; наконецъ, когда ко мнѣ будутъ приставать долго—это мнѣ надоѣстъ, и я выскажу свое мнѣніе прямо и рѣзко, и тогда едва ли уже выйдемъ изъ крѣпости. Видите—я не могу жениться, не въ правѣ связать чьей бы то ни было судьбы съ моей».

Разумѣется, въ это личное и общественное *profession de foi* 24-лѣтняго Чернышевскаго (писано, повидимому, въ 1852—1853 г.) нечего еще вкладывать міровоззрѣніе зрѣлаго мыслителя и дѣятеля и приписывать ему какія-нибудь особенно рѣзкія и вполне опредѣленныя идеи. Но Чернышевскій зналъ николаевскую Россію и зналъ, какимъ преступленіемъ считалась въ ней простая независимость взглядовъ, особенно въ годы свирѣпой реакціи, вызванной событіями 1848 г. на Западѣ. Примѣръ Петрашевцевъ могъ ему показать, что въ эту пору за чтеніе Фурье людей приговаривали къ смерти и лишь у петли, лишь заставивъ преступнаго чтеца фаланстеріевъ пройти чрезъ всю гамму предсмертныхъ ощущеній, милостиво

замѣняли повѣшеніе безсрочной каторгой. Такимъ образомъ почти трагическія мысли Чернышевскаго въ дневникѣ свидѣлствуютъ лишь о томъ, что онъ уже юношей былъ человекомъ, стремившимся къ выработкѣ независимыхъ взглядовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ, эти мысли, раскрываютъ многозначительную черту индивидуальности Чернышевскаго, обыкновенно оставляемую въ тѣни даже его поклонниками: это—его способность жертвовать всѣмъ ради вѣрности идеямъ, которыя ему представляются истинными.

Дѣйствительно, до сихъ поръ Чернышевскаго чаще всего рисуютъ какъ чисто кабинетнаго мыслителя, какъ холоднаго діалектика, преобладающей стороной котораго является разсудокъ. Но при этомъ упускаютъ изъ виду элементъ характера, элементъ энергіи, который дѣлалъ для Чернышевскаго невозможнымъ отреченіе на практикѣ отъ того взгляда, къ которому онъ приходилъ въ теоріи,—хотя бы сначала и чисто логическимъ, не окрашеннымъ страстью путемъ. Какую бы, дѣйствительно, важную роль ни играли въ душевномъ мірѣ Чернышевскаго чисто логическіе процессы, но жизненная обязательность окончательныхъ выводовъ, получаемыхъ въ ихъ результатѣ, была для него своего рода «категорическимъ императивомъ». Объ этой чертѣ Николая Гавриловича мнѣ много пришлось слышать отъ Шелгунова, который, самъ будучи человекомъ сердца и убѣжденія, съ особымъ умиленіемъ говорилъ о рѣзкой, о непримиримой вѣрности Чернышевскаго своему міровоззрѣнію. И, посмотрите, развѣ недостаточно краснорѣчивы въ этомъ смыслѣ цитированныя выше строки юношескаго дневника: «сначала я буду молчать; наконецъ, когда ко мнѣ будутъ приставать долго—это мнѣ надоѣстъ, и я выскажу свое мнѣніе прямо и рѣзко, и тогда едва ли уже выйдемъ изъ крѣпости». И, наконецъ, заключеніе, непосредственно слѣдующее за этими строками: «я не могу жениться, не въ правѣ связать чьей бы то ни было судьбы съ моей». Замѣтите, это писалось тѣмъ самымъ Чернышевскимъ, который любилъ свою невѣсту, а впоследствии свою жену, такъ безконечно нѣжно и такъ высоко человѣчно, что я затрудняюсь найти въ исторіи

примѣръ другой личности, способной на такую одухотворенную и самоотверженную любовь. Каково же было этому человеку отказываться отъ величайшаго счастья, какое только ему представлялось въ жизни,—и отказываться сознательно, во имя лишь *возможной* перспективы столкновения между личнымъ интересомъ и вѣрностью убѣжденіямъ!.. Я нахожу подтвержденіе этой черты Чернышевскаго, этого служенія идеалу, и въ томъ особенно цѣнномъ для моей цѣли мѣстѣ воспоминаній В. Г. Короленко, гдѣ авторъ говоритъ «о сравненіи Чернышевскимъ самого себя съ кроткимъ по природѣ бараномъ, которому вздумалось кричать по козлиному», т.-е. будучи «теоретикомъ и мыслителемъ», «вообразить себя практическимъ дѣятелемъ». Но тутъ же замѣчаетъ:

«Правда, всѣ эти нападки на прошлое,—иногда высказываемыя въ очень рѣзкой формѣ самообличенія,—не отзывались ни унылымъ разочарованіемъ, ни слабодушнымъ поканіемъ въ прошлыхъ «грѣхахъ». Наоборотъ, послѣ такихъ выходокъ Чернышевскій встряхивалъ своими густыми волосами, глядѣлъ исподлобья улыбающимся взглядомъ и прибавлялъ:

— А вѣдь все-таки, сказать правду: не все же только худое было... Было кое-что и хорошее. Пожалуй, не мало было хорошаго, да, не мало.

«...Онъ не смѣялся надъ прошлымъ и остался въ основныхъ своихъ взглядахъ тѣмъ же революціонеромъ въ области мысли со всѣми прежними приѣмами умственной борьбы. Онъ смѣялся только надъ своими попытками практической дѣятельности...» (Р. Б., стр. 70—71, *passim*).

И это совершенно вѣрно: Чернышевскій могъ смѣяться надъ своими попытками практической дѣятельности (читатель увидитъ, впрочемъ, какія оговорки надо внести и сюда, по моему мнѣнію). Но онъ не могъ смѣяться надъ одной изъ основныхъ чертъ своей личности: сознаниемъ необходимости оставаться вѣрнымъ въ жизни выводамъ своей непреклонной мысли. Да и какъ, не будучи служителемъ убѣжденій, Чернышевскій могъ бы еще такъ рано, съ такою энергіей и жаромъ вступить хотя бы за Бѣлинскаго противъ нападеній Шевы-

рева, который преслѣдовалъ неистоваго Виссаріона какъ разъ за глубокую убѣжденность, проникавшую его статьи: «рыцарь безъ имени, на щитѣ котораго громадными кривыми буквами написано «убѣжденіе»?»

Но возвратимся къ вопросу, въ какой степени Чернышевскій, этотъ непреклонный борецъ за убѣжденія, былъ увѣренъ въ «своемъ жребіи, своемъ концѣ» сравнительно задолго до роковой развязки. Вотъ сцена изъ «Пролога пролога», неоконченнаго романа Чернышевскаго, въ которомъ Николай Гавриловичъ бросаетъ ретроспективный взглядъ на Россію 60-хъ годовъ и свою дѣятельность въ ней. Волгинъ (подъ такимъ псевдонимомъ Чернышевскій выводитъ самого себя въ романѣ) говоритъ своей женѣ:

«— Милая моя голубочка, ты сядь подлѣ меня и не огорчись тѣмъ, что я скажу. Ты знаешь, у меня характеръ мнительный, робкій. Потому, не придавай важности моимъ словамъ: ты знаешь, у насъ все тихо, и я думаю о будущемъ только потому, что я трусь. Воображаю то, чего, можетъ быть, и не будетъ. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не былъ трусь, то и нечего было бы мнѣ думать ни о тебѣ, ни о Володѣ... Одно можетъ повредить тебѣ съ Володею: перемѣна обстоятельствъ. Дѣла русскаго народа плохи. Будь что-нибудь теперь, намъ съ тобою еще ничего. Обо мнѣ еще никто не позаботился бы. Но моя репутація увеличивается. Два, три года—и будутъ считать меня человекомъ со влияніемъ. Пока все тихо, то ничего. Но, какъ я говорю, и сама ты знаешь, дѣла русскаго народа плохи. Передъ нашею свадьбою я говорилъ тебѣ и самъ думалъ, что говорю пустяки. Но чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ виднѣе, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятнаго тебѣ. Но не могу не видѣть, что черезъ нѣсколько времени...

— Такъ ты вотъ о чемъ!—Она поблѣднѣла:—Молчи, не смѣй говорить!—Она вскочила и зажала ему ротъ:—Не смѣй!.. Молчи! Я слышала разъ,—довольно. Не смѣй.—Она убѣжала.

«Натурально. Тогда она еще могла слушать, потому что

еще и не воображала, что будет такъ расположена къ нему. Натурально, теперь ей труднѣе слушать: прожили вмѣстѣ три года; и теперь она понимаетъ, что это можетъ случиться; а тогда не понимала. Конечно, теперь вовсе не слѣдовало говорить. Или слѣдовало?

«Онъ пошелъ за нею.

«Она прижимала сына къ груди и рыдала надъ нимъ: «Володя, мы съ тобою будемъ сиротами!»

Сцена эта относится, судя по нѣкоторымъ подробностямъ положенія (три года брачной жизни, недавнее знакомство съ Левицкимъ, т.-е. Добролюбовымъ, и т. п.) къ 1856 г. Но вотъ дѣйствіе развертывается. Мы въ разгарѣ общественнаго возбужденія, поднятаго крымскимъ разгромомъ. Прежде всего стоитъ на очереди крестьянскій вопросъ. И Чернышевскій является сразу такимъ авторитетомъ въ статьяхъ, посвященныхъ рѣшенію этой тогдашней великой, общенациональной задачи, что къ его голосу прислушивается не только вся мыслящая часть общества, но и само правительство. Вліяніе славнаго публициста возрастаетъ особенно послѣ его побѣдоноснаго спора съ Вернадскимъ объ общинѣ. И тѣ опасенія, которыя высказывались Чернышевскимъ объ угрожающей ему опасности въ тогдашней Россіи, начинаютъ уже принимать болѣе осязательную форму. Вотъ новая сцена,—разговоръ жены Чернышевскаго съ однимъ молодымъ человѣкомъ,—въ которой женщина, связавшая свою судьбу съ судьбой вождя демократической партіи, сама уже возвращается къ тревожившему ее вопросу. Я привожу эту сцену тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ, что въ ней Чернышевскій чуть ли не единственный разъ во всемъ «Прологѣ» оставляетъ ту характеристичную для насъ, великоруссовъ, черту ироніи по отношенію къ самому себѣ, которая заставляетъ «проницательныхъ читателей» считать Чернышевскаго на основаніи этого автобіографическаго романа вялымъ, скучнымъ и безхарактернымъ существомъ. Не пришлось ли мнѣ читать у одного обстоятельно-глупаго нѣмца (довольно-таки распространенная разновидность среди германскихъ буржуазныхъ гелертеровъ), что

если Herr Tschernyschewsky рисуется такою жалкою посредственностью въ автобіографіи, гдѣ авторъ имѣлъ, конечно, возможность основательно, по словамъ нѣмца, прикрасить себя, то насколько же жалче онъ долженъ былъ быть въ дѣйствительности?

Но оставимъ ученаго нѣмца при его обстоятельной глупости и возвратимся къ обѣщанной нами сценѣ изъ «Пролога». Вотъ въ какихъ словахъ говоритъ жена Чернышевскаго о немъ своему собесѣднику:

«—Вы не знаете, Нивельзинъ, какой это человѣкъ!—И никто еще не знаетъ! Только я одна знаю это. Я давно узнала это; хоть я и не ученая, и не видывала тогда ученыхъ людей. Я увидѣла это изъ первыхъ же нашихъ разговоровъ, хоть они были пустые, хоть, разумѣется, онъ не могъ говорить со мною ни о чемъ ученомъ... Но это было видно мнѣ. Я узнала, какой это человѣкъ; тогда всѣ думали, что онъ пролежитъ весь свой вѣкъ на диванѣ съ книгою въ рукахъ, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой характеръ!—потому что безъ его характера, даже и при его умѣ, ему нельзя было бы такъ понимать всѣ эти ученые вещи. Я, неученая, увидѣла это изъ первыхъ разговоровъ, пустыхъ, обо мнѣ, о пустякахъ, о моемъ счастьи,—я увидѣла, какая разница между нимъ и другими!—И ошиблась ли я?—Вы знаете, какъ теперь начинаютъ думать о немъ. Но его время еще не пришло, они еще не понимаютъ его мыслей;—придетъ его время, тогда заговорятъ о немъ!—И пусть будетъ съ нимъ и со мною, что будетъ! Я хочу, чтобъ о моемъ мужѣ говорили когда-нибудь, что онъ раньше всѣхъ понималъ, что нужно для пользы народа, и не жалѣлъ для пользы народа—не то, что себя—велика важность ему не жалѣть себя!—не жалѣлъ и меня!—и будутъ говорить это, я знаю!—и пусть мы съ Володею будемъ сиротами, если такъ нужно!»

«Прологъ пролога» обрывается, какъ извѣстно, на самомъ интересномъ мѣстѣ, на годахъ, непосредственно предшествующихъ опубликованію манифеста 19-го февраля. Мы знаемъ, что проведеніе реформы въ крайне урѣзанномъ противъ перво-

начального видѣ (послѣ замѣны умершаго Ростовцева крѣпостникомъ Панинымъ) вызвало первый очень рѣзкій расколъ между демократическимъ авангардомъ и разношерстной арміей «прогрессистовъ», хотя поводовъ къ столкновению между головой и хвостомъ партіи реформъ было и раньше не мало. Во всякомъ случаѣ отнынѣ Чернышевскій и его друзья становятся сугубо мишенью для обличеній не однихъ крѣпостниковъ, но и тѣхъ ни теплыхъ, ни холодныхъ сторонниковъ еле бредущаго «прогресса», которые возбуждали сатирическое негодование Добролюбова:

Прогрессъ стоюю благородной
Шель тихо торною тропой...

Въ этотъ моментъ Чернышевскій, по словамъ его пріятелей, уже начиналъ чувствовать близость надвигавшейся на него лично опасности. Но въ особенности отъ его проницательнаго ума не укрывалось фатальное крушеніе реформаціонныхъ надеждъ общества, если... если наиболѣе послѣдовательные и энергичные элементы не прибавятъ,—думалось ему,—нѣсколько лишнихъ шансовъ на побѣду активнымъ вмѣшательствомъ въ затягивавшійся ходъ развитія страны. Замѣтите «нѣсколько лишнихъ шансовъ на побѣду», но не самое побѣду. Шелгуновъ мнѣ прямо говорилъ, что онъ самъ и М. Л. Михайловъ гораздо болѣе вѣрили въ возможность благопріятнаго исхода событій для демократической партіи, чѣмъ Чернышевскій, хотя и безъ колебаній шедшій къ цѣли, разъ поставленной имъ послѣ самаго холоднаго и проницательнаго анализа современныхъ ему условий. И въ этомъ трагическое величіе фигуры Чернышевскаго, который, къ сожалѣнію, далъ намъ на послѣднихъ страницахъ «Пролога» лишь нѣсколько намековъ на эту душевную коллизію, превышающую своимъ значеніемъ столь многія и многія личныя коллизіи человѣка, изнемогающаго въ борьбѣ между долгомъ и страстью.

Если Герцена называли «Фаустомъ русскаго освободительнаго движенія», то Чернышевскаго я назвалъ бы, дѣйствительно, Прометеемъ его. Пусть только читатель отвлечется мыслью отъ титаническихъ внѣшнихъ проявленій той внутренней чело-

вѣческой мощи, которую Эсхиль влагалъ въ своего Прометея, и онъ не найдетъ въ моемъ сравненіи ничего утрированнаго. Дѣло именно не въ жестахъ, не въ фигурѣ, не въ громовомъ раскатѣ голоса, не въ эффектной яркости борьбы съ Зевесомъ. Дѣло въ психологія Титана, который знаетъ, какою властью располагаетъ богъ; знаетъ, что ему покорно повинуются его слуги, Сила (Κράτος) и Насиліе (Βία), приковывающіе Прометея «несокрушимыми узами стальныхъ оковъ» — ἀδαναντίων δεσμών ἐν ἀρρήκτοις πέδασι. И тѣмъ не менѣе идетъ на встрѣчу длинному ряду страданій, гордо принимая отвѣтственность за свое «преступленіе», за дарованіе людямъ того «огня» сознанія, который только и можетъ освѣщать, и согрѣвать, и безконечно совершенствовать человѣческую жизнь. Я прибавилъ бы даже еще одну общую черту. Прометей знаетъ, кромѣ того, что владычество старыхъ олимпійцевъ будетъ низвергнуто, знаетъ, какимъ образомъ произойдетъ этотъ переворотъ въ небѣ, но и цѣною немедленнаго освобожденія отнюдь не хочетъ продать Зевсу тайну ждущей его гибели, а вмѣстѣ своего собственнаго избавленія.

Знаетъ и Чернышевскій окончательное торжество того царства коллективнаго труда и коллективнаго наслажденія, которое онъ описалъ такими яркими красками въ четвертомъ снѣ Вѣры Павловны. Знаетъ, что если не лично онъ, то трудящееся человѣчество будетъ освобождено въ этомъ царствѣ отъ «стальныхъ оковъ» подневольной работы и жалкой нищеты. Но онъ знаетъ также, что лично передъ нимъ развертывается длинная перспектива той самой «безотрадной мглы изгнанья», среди которой и его другъ М. Л. Михайловъ общалъ «твердо свѣта ждаты». И онъ сознательно идетъ на встрѣчу этой перспективѣ. Въ частности для Чернышевскаго трагизмъ его судьбы неизмѣримо усиливается тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ не былъ романтикомъ революціи; и мало того, что онъ, какъ уже было сказано выше, далеко не былъ вполне увѣренъ въ ближайшемъ торжествѣ русской демократической партіи. На основаніи и намековъ, разсѣянныхъ въ его сочиненіяхъ, и слышанныхъ мною отъ друзей и знакомыхъ Черны-

шевскаго разсказовъ о послѣднихъ мѣсяцахъ его дѣятельности, отношеніе Николая Гавриловича къ сложившимся въ то время обстоятельствамъ можно характеризовать такъ. Онъ видѣлъ, что дѣло искреннихъ защитниковъ народа и самого народа было почти проиграно. Но онъ хотѣлъ, пока представлялась хоть слабая возможность побѣды, попробовать во что бы то ни стало отстоять интересы дорогой ему трудовой Россіи и вообще безпрепятственнаго развитіи великой страны. Каковы были въ самомъ дѣлѣ тогдашнія условія?

Прежде всего рѣшеніе крестьянскаго вопроса приняло въ 1860 г., т.-е., значить, какъ разъ наканунѣ освобожденія, плачевный видъ коверканья уже сдѣланнаго. Панинъ вмѣсто Ростовцева; Николай Милютинъ въ опалѣ, какъ «красный»; измѣненіе проекта освобожденія въ благопріятномъ для помещиковъ смыслѣ; усиленное давленіе цензуры на статьи по отмѣнѣ крѣпостного права, такъ что въ этотъ послѣдній, самый рѣшительный для реформы годъ ихъ появлялось очень мало,—все это могло внушать лишь самыя мрачныя мысли о будущемъ искреннимъ демократамъ. А съ 1861 г. рядомъ съ разочарованіемъ, постигшимъ передовую часть русскаго общества въ крестьянской реформѣ, идетъ разочарованіе этихъ элементовъ результатами дѣятельности въ другихъ сферахъ. Если крестьянскіе бунты, которые пророчились крѣпостниками для всей Россіи, носятъ лишь мѣстный характеръ, ограничиваясь Казанскою (Безднинское дѣло), Пензенскою, Калужскою, Воронежскою губерніями, то повсюду реакція успѣваетъ своими дѣйствіями возбудить массу кровавыхъ столкновеній и печальныхъ недоразумѣній между различными слоями населенія и элементами общества.

Патріотическія демонстраціи въ Польшѣ, начавшіяся съ половины 1860 г., въ февралѣ 1861 г.,—совсѣмъ за нѣсколько дней до обнародованія манифеста,—подавляются оружіемъ. И панихиды по убитымъ вызываютъ въ Петербургѣ новыя демонстраціи, ведущія къ студенческимъ исторіямъ. А въ сентябрѣ арестуются литераторы—Михайловъ, Обручевъ и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ, возбужденіе умовъ среди студенчества, раздраженнаго

«новыми правилами» и реакціонными мѣрами мая и іюля мѣсяцевъ, еще усиливается непропорціонально строгими репрессаліями. Въ результатѣ закрывается петербургскій университетъ, а въ московскомъ и казанскомъ много студентовъ исключается и подвергается избіенію полиціей (сентябрь—октябрь). Охранительная политика беретъ рѣшительный верхъ надъ политической реформой. Расколъ въ прогрессивномъ лагерѣ усиливается. Передовые элементы подвергаются со стороны умѣренныхъ упрекамъ въ нетерпѣннѣ и чуть не измѣнѣ отечеству.

Въ эти-то моменты передъ Чернышевскимъ и его единомышлениками демократическаго лагеря стала дилемма. Или уступить безъ борьбы поле битвы реакціи, слившись съ многочисленной арміей умѣренныхъ, которые порядочно теперь охладѣли къ реформамъ и не шли дальше почтительнаго ропота на черезчуръ рѣзкія проявленія охранительной политики. Или попробовать отстоять движеніе впередъ, группируясь на почвѣ прерванныхъ и исковерканныхъ правительствомъ реформистскихъ плановъ общества, смѣло доводя ихъ до конца, и прежде всего въ области крестьянскаго устройства.

Но какъ группироваться, на какіе элементы опираться? Чернышевскій въ общемъ очень скептически, какъ это мы увидимъ ниже, смотрѣлъ на современную ему Россію, которая поражала его отсутствіемъ убѣжденныхъ и смѣлыхъ людей, а главное, дѣтскою неразвитостью политическихъ партій, если только можно приложить такое громкое названіе къ нашимъ кoterіямъ и группамъ 60-хъ годовъ. Очень рѣзко,—опять-таки какъ мы увидимъ ниже,—онъ относился къ «прогрессистамъ», упрекая ихъ въ неимѣнны ясной и опредѣленной программы, особенно же въ способности довольствоваться фразами вмѣсто дѣлъ. Но не менѣе рѣзко онъ относился и къ лагерю крѣпостниковъ,—и даже не за то, что они преслѣдовали сословные интересы, діаметрально противоположные интересамъ громаднаго большинства народа русскаго, но за то, что даже и эти-то интересы они защищали неумѣло, по-рабски, происками въ бюрократическихъ сферахъ и прячась подъ защиту громадной административной махины, хотя и обнаружившей свою вну-

треннюю несостоятельность въ дни Севастополя. Какъ же смотрѣлъ Чернышевскій самъ на этотъ административный механизмъ? Онъ и въ немъ видѣлъ чудовищную несогласованность частей и отсутствіе настоящей центральной пружины, что выражалось безпрестаннымъ треніемъ отдѣльныхъ колесъ, пускавшихся въ ходъ личными интригами временщиковъ положенія и баловней судьбы. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ понималъ, что, несмотря на крайнюю архаичность и уродливость этой машины, она можетъ еще долго хлябать и вертѣть своими убійственными шестернями въ странѣ, гдѣ нѣтъ традицій политической борьбы и умѣлаго отстаиванія своихъ коллективныхъ интересовъ. За административнымъ механизмомъ было, по крайней мѣрѣ, то преимущество, что онъ, во-первыхъ, двигался въ силу пріобрѣтенной имъ въ теченіе вѣковъ исторической инерціи; во-вторыхъ, что онъ представлялъ собою хоть нѣчто организованное въ обществѣ, именнo и поражавшемъ скудостью организованныхъ формъ жизни и дѣятельности.

Такимъ образомъ поборникамъ интересовъ народа,—въ то время главнымъ образомъ крестьянства,—приходилось съ точки зрѣнія Чернышевскаго направить удары не только на классъ помѣщиковъ-крѣпостниковъ, но и на административный механизмъ, и даже прежде всего, и по преимуществу, на этотъ механизмъ. Ибо послѣдній, защищая себя изъ-за чувства самосохраненія, являлся вмѣстѣ съ тѣмъ защитникомъ и привилегированнаго сословія, располагавшаго даровымъ трудомъ крестьянъ. При этомъ, опять-таки въ представленіи Чернышевскаго, на лагерь «прогрессистовъ» была плохая надежда. Какіе же элементы могли въ такомъ случаѣ вести борьбу за народъ? Кто могъ быть выразителемъ интересовъ «простолудиновъ», какъ выражался нѣсколько старомодно самъ Чернышевскій? Конечно, прежде всего та часть образованнаго общества, которую Николай Гавриловичъ называлъ въ статьяхъ о «Борьбѣ партій во Франціи» «радикалами» и «демократами», въ противоположность жестоко бичуемымъ и высмѣиваемымъ имъ «либераламъ» и «прогрессистамъ». Она состояла, конечно, изъ наиболѣе смѣлой и убѣжденной доли дворянской интел-

лигенціи, той самой интеллигенціи, которая со второй половины царствованія Екатерины II вписала столько доблестныхъ именъ въ мартирологъ русской общественности. Но ея ряды, начиная съ конца 50-хъ годовъ, пополнялись все болѣе и болѣе разночинной интеллигенціей, къ которой принадлежалъ отчасти и самъ Чернышевскій (родившійся въ средѣ «духовной аристократіи»), а еще болѣе Добролюбовъ и столько бѣдныхъ поповичей, сыновьевъ приказныхъ, мѣщанъ и т. п. людей «новыхъ слоевъ», выдвинутыхъ дифференціаціей русскаго, начавшаго оттаивать послѣ николаевскихъ морозовъ общества.

Въ этой-то передовой, по существу своему революціонной интеллигенціи Чернышевскій и видѣлъ, какъ кажется, первоначальную точку опоры для рычага, которымъ можно было, по его мнѣнію, попробовать повернуть на настоящую дорогу Россію, пятившуюся назадъ подъ усиліями реакціонныхъ элементовъ въ администраціи и обществѣ. И, говоря такъ, я разумѣю не только взгляды Чернышевскаго, поскольку они могли, да и то косвенно, выражаться въ печати, напр., въ такихъ статьяхъ, какъ «Экономическая дѣятельность и законодательство», но и его болѣе интимныя, высказывавшіяся лишь въ кругу единомышленниковъ мнѣнія. Взглядъ на Петра Великаго, какъ на революціоннаго диктатора, который силою вышибъ Московскую Русь изъ коснѣнія, былъ, по словамъ Шелгунова, врѣзавшимся мнѣ въ память, общимъ взглядомъ ближайшихъ друзей Чернышевскаго и самого Николая Гавриловича. Отчасти изъ-за этого взгляда они расходились и съ Щаповымъ, идеализировавшимъ прогрессивныя стремленія народа въ «земствѣ» и «расколѣ». И если въ данномъ частномъ случаѣ можно предполагать, что Шелгуновъ, для котораго царь Петръ былъ, такъ сказать, любимымъ героемъ историческаго романа, преувеличивалъ близость возрѣній Чернышевскаго къ своимъ, то одно-то ужъ во всякомъ случаѣ несомнѣнно: социальнo-политическіе взгляды Чернышевскаго были окрашены тенденціями, которыя лучше всего можно было бы охарактеризовать словомъ «бланкизмъ». Всякій разъ, какъ ему приходилось класть на одну чашку вѣсовъ то, что онъ

называлъ «свободнымъ дѣйствіемъ индивидуальныхъ лицъ», а на другую то, чему онъ давалъ имя «силы распоряженій общественной власти», въ глазахъ его анализирующаго ума перетягивала вторая чашка. Онъ только не желалъ, чтобы такой взглядъ могъ вести къ серьезнымъ недоразумѣніямъ въ странѣ, подобной Россіи, гдѣ «сила распоряженій общественной власти» исключительно выражалась въ чудовищной опека архайческой администраціи. И онъ предлагалъ даже въ заключительныхъ главахъ своихъ «Примѣчаній» замѣнить какимъ-нибудь другимъ терминомъ слово «правительство», когда дѣло идетъ объ активномъ вмѣшательствѣ организованной социальныя силы въ ходъ коллективной жизни, т.-е. о «формахъ общественной дѣятельности, существенно различныхъ отъ правительственной формы»: «Какъ употребленіе слова «капиталъ»,—замѣчаетъ Чернышевскій,—сбиваетъ съ толку своимъ привычнымъ меркантильнымъ смысломъ, такъ слово «правительство» вводитъ въ заблужденіе своимъ привычнымъ административнымъ оттѣнкомъ, такъ что считаются многими за регламентаторовъ мыслители, идеямъ которыхъ ничто такъ не противно, какъ регламентація».

Въ частности Чернышевскому представлялось, что врядъ ли гдѣ-нибудь, кромѣ странъ, населенныхъ англо-саксонскою расой,—да и то еще вопросъ—врядъ ли современное общество перейдетъ къ новому и лучшему строю помимо вмѣшательства организованной общественной силы. Что же онъ долженъ былъ думать въ примѣненіи къ Россіи, гдѣ столько отживающихъ учреждений, словно гальванизированные, но уже разлагающіеся трупы, сжимали въ своихъ объятіяхъ живыя растущія силы и грозили заразить этимъ трупнымъ ядомъ всю великую страну? «Бланкизмъ» являлся въ глазахъ Чернышевскаго необходимымъ приѣмомъ борьбы съ отживающимъ дореформеннымъ міромъ и его чудовищной административной покрывкой, а интеллигенція—гражданская и военная (обратите вниманіе на число выдающихся офицеровъ, увлеченныхъ въ началѣ 60-хъ годовъ демократическимъ движеніемъ)—опорнымъ пунктомъ упомянутаго активнаго вмѣшательства въ ходъ событій.

Но вѣдь самый послѣдовательный бланкизмъ предполагаетъ для надлежащей игры этого механизма вмѣшательства существованіе не только точки опоры рычага, но наличность самого этого рычага или, лучше сказать, цѣлой системы рычаговъ, приводящихъ въ движеніе общественный организмъ. Солисты и актеры, для произведенія надлежащаго впечатлѣнія въ великой исторической драмѣ, нуждаются въ поддерживающемъ ихъ оркестрѣ и могучемъ хорѣ «народа». Какъ долженъ былъ смотрѣть Чернышевскій на роль народа, роль трудящихся массъ, въ имя которыхъ дѣйствовали демократы? Прежде всего этотъ народъ представлялся ему,—и не могъ по условіямъ времени представляться иначе,—въ видѣ крестьянства, того самаго крестьянства, реформа быта котораго была въ 60-ые годы центральнымъ пунктомъ всѣхъ реформъ. Что касается до оцѣнки народа Чернышевскимъ, то тутъ приходится брать среднее изъ его нѣсколько варьирующихъ въ этомъ отношеніи взглядовъ и, пожалуй, еще болѣе отклоняющихся одно отъ другого воспоминаній его друзей и знакомыхъ.

Полагаясь на болѣе уравновѣшенную оцѣнку Шелгунова, я склоняюсь къ тому взгляду, что Чернышевскій, начавъ строить программу активной дѣятельности въ виду «интересовъ» крестьянства, но не «мнѣній» его (какъ выражались позже въ 70-хъ годахъ), допустилъ потомъ въ нее, хотя лишь до нѣкоторой степени, и элементъ упомянутыхъ народныхъ мнѣній. Сопоставляя нѣкоторыя мѣста изъ сочиненій Чернышевскаго, писанныя въ промежуткѣ нѣсколькихъ лѣтъ, или же воспроизводящія различные эпизоды его дѣятельности (въ «Прологѣ»), приходимъ даже къ заключенію, что въ полтора послѣдніе года жизни Николая Гавриловича въ Петербургѣ его взглядъ на народъ, на крестьянство принимаетъ нѣсколько болѣе оптимистическій характеръ. И ниже я укажу читателю на кой-какія небезынтересныя въ этомъ отношеніи мысли, встрѣчающіяся подъ перомъ Чернышевскаго.

Во всякомъ случаѣ и въ эти послѣдніе мѣсяцы Николай Гавриловичъ далеко не рисовался людямъ, которые умѣли наблюдать, тѣмъ «самонадѣяннымъ», тѣмъ «безтактнымъ»

человѣкомъ, какого изображали намъ прекраснѣйшіе господа, въ родѣ Кавелина. Эта «самонадѣянность», эта «безтактность», смущавшая нашихъ «либераловъ», обнаруживалась лишь въ области безпощаднаго отрицанія Чернышевскимъ тѣхъ дѣйствительно курьезныхъ путей политической борьбы, по части которыхъ были такъ сильны философы и поэты «настоящаго времени, когда». Здѣсь, въ сферѣ того, что не надо было дѣлать, Чернышевскій, конечно, былъ вполне рѣзкимъ и опредѣленнымъ «брульономъ», который мѣшалъ чувствительнымъ душамъ удовлетворяться игрой въ умѣренно-либеральныя бирюльки и приходитъ въ умиленіе предъ величіемъ совершаемыхъ ими гражданскихъ подвиговъ. Въ сферѣ же положительной, въ сферѣ того, что должно было дѣлать, Чернышевскій и въ это послѣднее время отличается лишь мужественнымъ, героическимъ, хотя отнюдь не свободнымъ отъ скептицизма спокойствіемъ челоуѣка, исполняющаго свой долгъ, но не могущаго раздѣлять всѣ иллюзіи и надежды другихъ болѣе пылкихъ единомышленниковъ на скорую и окончательную побѣду.

Николай Гавриловичъ былъ слишкомъ проницательнымъ умомъ, чтобы не видѣть въ Россіи 60-хъ годовъ слабость и неподготовленность демократическихъ элементовъ для того рѣшительнаго столкновенія съ старымъ строемъ, въ результатъ котораго великая страна могла бы стать на путь могучаго социальнаго прогресса. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ настолько челоуѣкомъ идеи, что, перебравъ возможности такого столкновенія и признавъ, что другого исхода изъ исторической коллизіи не было, а нѣкоторые шансы на торжество существовали, онъ безповоротно остановилъ свой выборъ на активномъ вмѣшательствѣ въ ходъ событій. Это рѣшеніе было имъ принято—говорилъ, напр., мнѣ Шелгуновъ—не безъ долгаго колебанія, не безъ самаго тщательнаго взвѣшиванія аргументовъ *за* и *противъ*. Но разъ ставъ на эту точку зрѣнія, онъ уже не сходилъ съ нея. И та фраза, которою онъ охарактеризовалъ однажды свое отношеніе къ литературнымъ врагамъ: «я мертвъ для репутаціи, какую могу имѣть въ вашихъ гла-

захъ»,—эта фраза вполне можетъ характеризовать его отношеніе и къ врагамъ политическимъ. Удовлетворивъ своей теоретической добросовѣстности, удовлетворивъ потребности своего неумолимо анализирующаго ума и придя къ извѣстному рѣшенію, онъ становился мертвъ къ тому, что могли сказать или сдѣлать его жизненные противники. Отнынѣ разсудокъ уступалъ мѣсто энергіи воли и лишь сохранялъ за собою право ясно замѣчать тѣ препятствія, какія лежали на пути къ достиженію цѣли. И здѣсь величіе, здѣсь трагизмъ личности Чернышевскаго, который со второй половины 1861 г. не могъ не видѣть торжества крѣпчущей реакціи, равно какъ сильной вѣроятности пораженія демократической партіи и своей собственной гибели, но твердо шелъ въ разъ принятомъ направленіи. Отличаясь осторожностью, но лишь тамъ, гдѣ осторожность могла быть полезна дѣлу, не любя бравировать понапрасну опасностью, чуждаясь фанфаронства, уменьшающаго шансы на успѣхъ, онъ, наоборотъ, безъ колебаній дѣлалъ тѣ шаги, которые вынуждались самымъ ходомъ великаго историческаго столкновенія между старой и молодой Россіей¹⁾.

¹⁾ Эта трагическая сторона психологіи Чернышевскаго замѣчательно энергично высказана въ извѣстномъ стихотвореніи Некрасова «Пророкъ» (1874), которое цензуры ради было напечатано какъ переводъ изъ Барбье, а на самомъ дѣлѣ, какъ кстати вспоминаетъ приводящій его въ своей книгѣ (стр. 194) г. Лемке, было посвящено Николаю Гавриловичу:

Не говори: «Забылъ онъ осторожность.
«Онъ будетъ самъ судьбы своей виной»...
Не хуже насъ онъ видитъ невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любить, онъ возвышеннѣй и шире,
Въ его душѣ нѣтъ помысловъ мірскихъ,
Жить для себя возможно только въ мірѣ,
Но умереть возможно для другихъ.
Такъ мыслить онъ, и смерть ему любезна.
Не скажетъ онъ, что жизнь ему нужна,
Не скажетъ онъ, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

и т. д.

Отсюда страшная неприязнь къ Чернышевскому, котораго одни считают «брульономъ» (это прекраснотушные либералы). другіе—очень ловкимъ и тонкимъ злодѣемъ, подъ котораго и иглы не подточишь (это люди реакціи).

«Управляющій III отдѣленіемъ собственной его величества канцеляріи—читаемъ мы въ обвинительномъ актѣ по дѣлу Чернышевскаго,—получилъ безымянное письмо, въ коемъ предостерегаютъ правительство отъ Чернышевскаго, «этого коновода юношей, хитраго социалиста»; онъ самъ сказалъ, что его никогда не уличать: его называютъ вреднымъ агитаторомъ и просятъ спасти отъ такого вреднаго человѣка; всѣ бывшіе пріятели Чернышевскаго, видя, что его тенденціи проводятся уже не на словахъ, а въ дѣйствіяхъ, люди либеральные отдалились отъ него. «Если не удалите Чернышевскаго, пишетъ авторъ письма, будетъ бѣда, будетъ кровь; эти шайки бѣшеныхъ демагоговъ—отчаянныя головы, эта «молодая Россія» высказала въ своемъ проектѣ всѣ звѣрскія наклонности; можетъ быть, перебьютъ ихъ, но сколько невинной крови прольется за нихъ. Въ Воронежѣ, Саратовѣ, Тамбовѣ—вездѣ есть комитеты изъ подобныхъ социалистовъ, вездѣ они разжигаютъ молодежь. Чернышевскаго отправьте, куда хотите, но поскорѣе отнимите у него возможность дѣйствовать. Избавьте насъ отъ Чернышевскаго ради общаго спокойствія».

Мы знаемъ, что такія просьбы не остались безъ послѣдствій...

III.

Я теперь попробую на основаніи цитатъ изъ сочиненій Чернышевскаго подкрѣпить высказанный выше взглядъ на личность этого крупнѣйшаго человѣка 60-хъ годовъ. Ибо этотъ взглядъ можетъ показаться инымъ читателямъ черезчуръ гипотетическимъ, основаннымъ лишь на догадкахъ автора этой статьи и на разговорахъ его съ давно умершими по большей части лицами. Но если отъ читателя-друга можно ожидать довѣрія къ памяти и безпристрастію человѣка, передающаго

такіе разговоры, то въ такомъ довѣріи нерѣдко откажетъ читатель-врагъ.

Прежде всего любопытенъ взглядъ Чернышевскаго на философію исторіи, если можно такъ выразиться, всякихъ крупныхъ переворотовъ вообще. Анализирующій, проницательный умъ Николая Гавриловича, собственно говоря, скептически относился къ попыткамъ силою передвинуть впередъ стрѣлку историческихъ часовъ. Будь Чернышевскій исключительно головнымъ человѣкомъ, дай онъ волю исключительно своему разуму при оцѣнкѣ событій, онъ долженъ былъ бы осуждать всякое предпріятіе, которое не опиралось бы на импозантную организацію силъ. Вотъ какую импровизированную лекцію по исторіи читаетъ въ «Прологѣ» Волгинъ-Чернышевскій своей женѣ и еще одной знакомой по поводу упоминанія о возстаніи 12-го мая 1839 г. въ Парижѣ (инсуррекция секретнаго общества «Временъ года» подъ предводительствомъ Барбэса):

«—...Это не мелочь какая-нибудь; это было важное дѣло, великая ошибка, страшный урокъ,—и остался безполезнымъ, натурально.—Видишь, въ первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали нѣсколько возстаній; неудачно;—разсудили: «подождемъ, пока будетъ сила»; ну, и держались нѣсколько лѣтъ смирно; и набирали силы; но опять недостало разсудка и терпѣнія; подняли возстаніе;—ну, и заплатились такъ, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться?—если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою,—дошли бы и до власти, съ согласія самихъ противниковъ. Когда видятъ силу, то не будутъ вызывать на бой,—смирятся самымъ любезнымъ манеромъ. Охъ, нетерпѣніе!—Охъ, иллюзіи!—Охъ, экзальтація!—Волгинъ покачалъ головою»¹⁾.

Но качающій своей трезвой аналитической головою Волгинъ понимаетъ, что современное человѣчество не было бы современнымъ человѣчествомъ, если бы оно могло такъ спо-

¹⁾ «Прологъ», стр. 44—45 изданія М. Н. Чернышевскаго; Спб., 1906.

койно, размѣренно, хладнокровно осуществлять только вполнѣ осуществимыя задачи,—задачи, которыя, такъ сказать, столь назрѣли, что падаютъ сами собой съ древа общественной жизни, словно спѣлый плодъ. Волгинъ понимаетъ, что роковыя обстоятельства, не зависящія отъ воли того или другого человека, той или другой партіи, зачастую толкаютъ людей на путь, гдѣ имъ грозитъ не только личное крушеніе, но крушеніе дорогого, кровно близкаго дѣла, крушеніе политическихъ идеаловъ и, во всякомъ случаѣ, долгое замираніе ихъ. И онъ констатируетъ эту неизбѣжность. Но въ то же время его аналитическій умъ не въ такой степени исчерпываетъ его духовную натуру, чтобы въ немъ не говорилъ общественный аффектъ, не волновалось политическое чувство, которое заставляетъ его,—холоднаго и проникательнаго наблюдателя,—жестоко порицать фатальныя жертвы исторіи, почти негодовать на тѣхъ людей, которые въ силу положенія не могли однако не дѣлать того, что дѣлали. И почему негодовать? Потому что самъ Чернышевскій, какъ живой человекъ, а не только кабинетный мыслитель, чувствовалъ, что и онъ, дальше видящій и яснѣе понимающій, примкнулъ бы, однако, въ данный моментъ къ этимъ людямъ и долженъ былъ бы, оставаясь честнымъ и благороднымъ человекомъ, примкнуть къ нимъ. Его негодованіе, это—въ значительной степени негодованіе на себя за ту коллизію, которая возникаетъ въ его душѣ между голосомъ разсудка и властнымъ велѣніемъ общественнаго чувства. Современное положеніе Россіи, которое казалось ему смутнымъ и мало обѣщавшимъ въ смыслѣ рѣшительнаго прогресса, въ особенности должно было обострять въ немъ эту коллизію и вызывать ту подчасъ свирѣпую иронию, которая едва ли не болѣе всего обращалась у Чернышевскаго на него же самого.

Вотъ что говоритъ Волгинъ молодому человеку, съ которымъ разговаривала уже жена его:

«— ...Нельзя и спорить, прекрасное правило: дѣлай все во-время. Однимъ оно дурно: обстоятельства не ждутъ, чтобы намъ пришла пора дѣлать что-нибудь, заставляютъ приниматься за дѣло раньше времени. Оттого-то всегда у всѣхъ народовъ

и выходитъ чепуха. Возьмите вы нашъ вчерашній разговоръ о 1848 годѣ. Какъ я бранилъ французскихъ демократовъ за то, что они сочинили Февральскую революцію, когда общество еще не было подготовлено поддерживать ихъ идеи. Такъ то оно такъ; разумѣется, вышла мерзость. Но только не они сочинили Февральскую революцію: обстоятельства такъ шли, что заставили ихъ, волею-неволею, участвовать въ сочиненіи глупости...—Волгинъ задумался.—Такъ вотъ оно и у насъ. Толкуютъ: «освободить крестьянъ». Гдѣ силы на такое дѣло?—Еще нѣтъ силъ. Нелѣпо приниматься за дѣло, когда нѣтъ силъ на него. А видите, къ чему идетъ: станутъ освобождать. Что выйдетъ?—Самъ судите, что выходитъ, когда берешься за дѣло, котораго не сможешь сдѣлать. Натурально, что: испортишь дѣло, выйдетъ мерзость...—Волгинъ замолчалъ, нахмурилъ брови и сталъ качать головой.—Эхъ, наши господа эмансипаторы, всѣ эти ваши Рязанцевы съ компанією!—вотъ хвастуны-то; вотъ болтуны-то; вотъ дурачье-то!—Онъ опять замолталъ головой» ¹⁾.

Читателя, можетъ быть, нѣсколько удивитъ такой пессимистическій взглядъ на возможность надлежащаго осуществленія крестьянской реформы въ современной Чернышевскому Россіи. Но Николай Гавриловичъ, несомнѣнно, не питалъ тѣхъ радужныхъ надеждъ на окончательный результатъ отмены крѣпостного права, какія были въ модѣ среди прекраснодушныхъ людей умѣренно либеральнаго лагеря. И, въ сущности, спросите себя, положи руку на сердце: развѣ не правъ былъ Чернышевскій, когда теперь даже глаза нашей слѣпорожденной бюрократіи стали замѣчать, до какой степени разоренія дошло русское крестьянство послѣ болѣе, чѣмъ сорокалѣтняго пребыванія на «свободѣ» того типа, который только и могъ быть дарованъ мужикамъ по манифесту 19-го февраля 1861 г. Но объ этомъ послѣ.

Во всякомъ случаѣ бутада Чернышевскаго противъ «Рязанцевыхъ» (фигура профессора, очень напоминающая Кавелина)

¹⁾ Ibid., стр. 91.

была не случайнымъ выраженіемъ дурного настроенія духа. Разсматривая соотношеніе общественныхъ силъ въ Россіи 60-хъ годовъ, Чернышевскій видѣлъ насквозь несостоятельность тогдашняго такъ называемаго «общества» въ области рѣшенія крайне сложныхъ и крайне серьезныхъ вопросовъ, которые исторія неумолимо ставила передъ страшно отсталой страной. И особенное раздраженіе вызывали въ немъ тѣ умѣренно-либеральные элементы, которые принимали въ серьезъ свои половинчатые стремленія и восторгались многозначительностью своей исторической роли.

Возражая Нивельзину на замѣчаніе, что онъ, Волгинъ, золъ, пронизательный и послѣдовательный человѣкъ отвѣчаетъ, качая головою:

«— Я, золъ?—Я кажусь вамъ злымъ потому, что вы видите вокругъ себя все только невинныхъ младенцевъ; да и сами вы, извините, тоже невинный младенецъ. Умно то общество, въ которомъ я кажусь рѣзкимъ и ѣдкимъ! Я, ципленокъ,—золъ!—Хороши птицы, среди которыхъ ципленокъ—ястребъ! Невинные, невинные» ¹⁾.

Въ другомъ разговорѣ съ Нивельзинымъ и Соколовскимъ (Сѣраковскимъ) Волгинъ на восклицаніе Нивельзина «оба вы съ Соколовскимъ нѣсколько забавны» даетъ такую реплику:

«— Противъ этого я не спорю... Не спорю, мы съ Болеславомъ Ивановичемъ забавны; почему?—потому что оба ждемъ бури въ болотѣ; болото всегда спокойно; буря можетъ быть повсюду кругомъ, оно всегда спокойно» ²⁾.

«Прогрессисты», «либералы» выходятъ подъ перомъ автора «Пролога» удивительно жалкими и мелкими людьми. Онъ въ комичномъ видѣ изображаетъ Рязанцева, этого «главнаго мѣстнаго авторитета прогрессистовъ въ Петербургѣ», и самихъ этихъ прогрессистовъ, которыхъ «было тогда безчисленное множество». И «всѣ, кто только могъ, лѣзли къ Рязанцеву. По вторникамъ квартира Рязанцевыхъ была биткомъ набита

¹⁾ Ibid., стр. 112.

²⁾ Ibid., стр. 131.

прогрессистами. Переполнивши всѣ болѣе или менѣе открытыя для гостей комнаты, они вламывались даже въ дѣтскую». Когда дѣло освобожденія крестьянъ затормозилось—было вслѣдствіе внезапной «измѣны» графа Чаплина ¹⁾, настроеніе и

¹⁾ Подъ этимъ псевдонимомъ Чернышевскій изображаетъ тогдашняго (въ 1860 г.) министра государственныхъ имуществъ, М. Н. Муравьева, приобрѣтшаго такую извѣстность три года спустя въ Польшѣ подъ кличкою Муравьева-Вѣшателя. Кстати сказать, врядъ ли даже у нашихъ первоклассныхъ романистовъ найдется другой столь ярко очерченный, живущій столь поразительною художественною жизнію типъ, какъ эта фигура, поставленная Чернышевскимъ во весь ростъ передъ глазами читателя и производящая потрясающее впечатлѣніе. Я говорю о двухъ страницахъ, вылившись изъ-подъ пера Чернышевскаго, очевидно безъ всякаго усилія, въ пылу творческаго энтузіазма, этого *Facit indignatio versum Ювенала*:

«...Въ двери ввалила низенькая, еще вовсе не пожилая человѣкоподобная масса.

«Ввалила,—потому что она не шла, а валила, высоко подымая колѣна и откидывая ихъ въ бокъ, хлопотливо работая и руками, оттопырившимися далеко отъ корпуса, будто подъ мышками было положено по арбузу, ворочаясь всѣмъ корпусомъ съ выпятившимся животомъ, ворочаясь и головою съ отвислыми брылами до плечъ, съ полуоткрытымъ, слюнявымъ ртомъ, поочередно суживавшимся и расширявшимся при каждомъ взрывѣ сопъ и храпа, съ оловянными, заплывшими саломъ, крошечными глазками. Правда, такому тучному человѣку нельзя имѣть плавную, легкую походку; но другіе, изрѣдка встрѣчающіеся такіе же толстяки умѣютъ ходить, хоть и неуклюжимъ образомъ, все-таки по человѣчески, умѣютъ потому, что помнятъ о своемъ безобразіи, стараются, чтобы оно не производило слишкомъ отвратительнаго впечатлѣнія. Чаплинъ былъ совершенно безъ церемоній.—Видя его милыя движенія, слыша его храпъ и сопъ, можно было удивляться только тому, что на немъ военный сюртукъ, а не нанковый халатъ: какъ это нарядился военнымъ разжирѣвшій мясникъ?

«Безъ малѣйшаго сомнѣнія, это былъ переодѣтый мясникъ. По лицу нельзя было не угадать. Не то, чтобы оно имѣло выраженіе кровожадности или хоть жестокости; но оно не имѣло никакого человѣческаго выраженія,—ни даже идиотскаго, потому что и на лицѣ идіота есть какой-нибудь, хоть очень слабый и искаженный остатокъ человѣческаго смысла; а на этомъ лицѣ было полнѣйшее безсмысліе, коровье безсмысліе, нимало не жестокое—ничуть не злое, только совершенно безчувственное. Ни лавочникъ, ни трактирщикъ, ни разбогатѣвшій

характеръ либеральныхъ слоевъ внушаютъ автору «Пролога» не то жалость, не то презрѣніе:

«— Да, любопытная штука,—повторилъ Волгинъ, по своему обыкновенію помолчавши:—И если хотите, согласенъ, что въ ней нѣтъ ничего особенно хорошаго; можно даже сказать, что въ вашей новости есть одна черта очень мерзкая, или, если угодно, печальная: всѣ у Рязанцева повѣсили носы—вы говорите. То-то же и есть, видите, какой народъ эти ваши господа либералы: какъ щелкнули ихъ по носу, они и повѣсили его. Приятная компанія. Но опять, и то сказать: это было давно извѣстно—какой они народъ. Стало быть—нѣтъ ничего особеннаго. Я самъ говорилъ: одинъ Соколовскій какъ слѣдуетъ—человѣкъ; имѣетъ свои странности, можетъ ошибаться, но человѣкъ, а не чортъ знаетъ что» ¹⁾.

Но вотъ по волѣ російскаго Аллаха шансы на освобожденіе какъ будто поднялись, благодаря переменѣ вѣтра въ «высшихъ» слояхъ атмосферы, и «Прологъ» въ pendant къ либеральнымъ горестямъ рисуетъ намъ либеральныя радости:

«Дня три либеральные люди въ Петербургѣ ходили, повѣсивъ носы. На четвертый прочли въ газетахъ, что генералъ-адъютантъ графъ Чаплинъ увольняется въ отпускъ за границу. Не было даже прибавлено смягченія «по болѣзни» или «для поправленія здоровья». Опала была открытая, полная. Либеральные люди протирали глаза и перечитывали: такъ ли прочли.

мужикъ—превращающіеся иногда въ такихъ толстяковъ, не утрачиваютъ смысла до такой степени: они видятъ людей или природу, это поддерживаетъ слѣды смысла на ихъ лицѣ. Только мясникъ,—человѣкъ не смотрѣвшій ни на людей, ни на природу, смотрѣвшій все лишь на скотовъ и на скотовъ, могъ приобрести такое скотское выраженіе лица.

«И такой кровавой цвѣтъ лица! Мясникъ не кровопійца. Нѣтъ, онъ не пьетъ крови. Онъ только дышетъ запахомъ ея,—спокойно, беззлобно,—и съ пользою своему здоровью; дышать запахомъ крови, это очень здорово. Благодаря этому, какъ бы ни заплывъ жиромъ мясникъ, его лицо пышетъ цвѣтущей кровавою свѣжестью. У всякаго другого толстяка, такъ ожирѣвшаго, лицо имѣетъ сальный цвѣтъ, желтоватогусклый; у этого сало пропитано свѣжею кровью, которою надыхался онъ. Нѣтъ сомнѣнія, это мясникъ (стр. 145—146)».

¹⁾ Ibid., стр. 162.

Такъ. Они задрали носы и пошли по Петербургѣ побѣдителями, завоевателями» ¹⁾.

Замѣтите, этотъ взглядъ на «либераловъ» не былъ случайной бутадой автора «Пролога». Наоборотъ, онъ выражалъ собою типичное отношеніе къ умѣреннымъ элементамъ всего «Современника», душою котораго былъ Чернышевскій. На чемъ, какъ не на этомъ рѣзкомъ, беспощадномъ осужденіи политики прекраснодушныхъ господъ и держалась та «свистопляска», которая приводила въ негодованіе большинство тогдашнихъ «прогрессистовъ» и которая въ началѣ общественнаго возбужденія вызвала даже несправедливую оцѣнку со стороны Герцена, увлекавшагося всеобщимъ, какъ ему казалось тогда, національнымъ подъемомъ. Помните, что говорилъ авторъ статьи «Very dangerous», обращаясь къ людямъ «Современника» и «Свистка»:

«Не лучше ли во сто разъ, господа, вмѣсто освистываній неловкихъ опытовъ, вывести на торную дорогу—самимъ на дѣлѣ помочь и показать, какъ надо пользоваться гласностью? Мало ли на что вамъ есть точить желчь, отъ цензурной троицы до покровительства кабаковъ, отъ плантаторскихъ комитетовъ до полицейскихъ побоевъ. Истошая свой смѣхъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани) и до *Станислава* на шею!»

И, однако, въ основаніи свистопляски Чернышевскаго и его друзей лежало болѣе вѣрное, болѣе трезвое пониманіе окружавшей ихъ русской дѣйствительности, чѣмъ какое обнаружилъ въ этомъ смыслѣ чуткій, но черезчуръ идеализировавшій изъ прекраснаго далека Россію 60-хъ годовъ Герценъ... Рыцари свистопляски не такъ уже плохо понимали соотношеніе общественныхъ силъ въ тогдашней Россіи, когда зло смѣялись надъ побѣдными криками прогрессистовъ, провозглашавшими свое торжество, пока дѣло еще не дошло до

¹⁾ Ibid., стр. 165.

настоящей битвы, и скептически встрѣчали надежды умѣренныхъ либераловъ восклицаніемъ: «впредь утро похвалю, какъ вечеръ ужъ настанетъ». Это было то самое восклицаніе, которое Добролюбовъ взялъ пророческимъ эпиграфомъ къ пророческой же статьѣ «Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами». Ибо та точка зрѣнія, на которую становился «Современникъ» при обсужденіи дѣятельности Пирогова, могла быть примѣнена ко всѣмъ тогдашнимъ россійскимъ великимъ и малымъ дѣятелямъ либеральнаго лагеря, равно какъ ко всѣмъ ихъ крупнымъ и мелкимъ дѣяніямъ.

IV.

Но упоминаніе объ отношеніи Чернышевскаго и его друзей къ Пирогову побуждаетъ меня, въ силу ассоціаціи идей, выяснить еще одно недоразумѣніе, касающееся взгляда «Современника» на политическія свободныя формы. Говорятъ именно, что эти формы, усиленно пропагандировавшіяся либералами 60-хъ годовъ, презрительно отвергались Чернышевскимъ и его единомышленниками, какъ нѣчто несущественное и, мало того, какъ нѣчто отвлекающее энергію общества отъ коренныхъ вопросовъ соціального переустройства, единственно, молъ, важнаго для народа. Не было ли сдѣлано въ разговорѣ со мной еще въ 1882 г. какъ разъ это замѣчаніе покойнымъ профессоромъ Драгомановымъ, который видѣлъ въ руководителяхъ «Современника» исключительно близорукихъ отрицателей свободныхъ учреждений во имя утопическихъ идеаловъ будущаго? Кстати сказать, Драгомановъ былъ во время пироговской исторіи однимъ изъ благонамѣренныхъ студентовъ, ревностно поддерживавшихъ Пирогова противъ нападеній радикаловъ и получившихъ за то большой щелчокъ по носу отъ Добролюбова. Это могло отчасти объяснить тотъ зубъ, который Драгомановъ сохранилъ противъ Чернышевскаго и Добролюбова и который былъ сугубо отточенъ у него, когда украинофильствующій социалистъ «Гро-

мады» превратился въ редактора чисто либеральнаго «Вольнаго Слова».

Признаться, замѣчаніе Драгоманова застало меня врасплохъ, и я не могъ парировать его тогда ничѣмъ другимъ, какъ указаніемъ на историческія условія, которыя фатально создаютъ пробѣлы даже въ міровоззрѣніи самыхъ выдающихся людей эпохи. Защищать точку зрѣнія «Современника» я въ данный моментъ не могъ, потому что важность предварительныхъ политическихъ условій для рѣшенія великаго соціального вопроса была признана русской передовой мыслью по крайней мѣрѣ съ 1879 г., когда возникла Народная Воля. Но позже, обдумывая заинтересовавшее меня возраженіе Драгоманова и перечитывая въ этихъ цѣляхъ сочиненія Чернышевскаго и Добролюбова, я пришелъ къ заключенію, что каково бы ни было отрицательное отношеніе Николая Гавриловича и его друзей къ чисто политическимъ либераламъ, его взгляды на значеніе свободныхъ формъ для развитія общества не такъ простъ и прямолинейны, какъ то считалъ въ правѣ утверждать издатель «Вольнаго Слова».

Уже въ томъ самомъ этюдѣ о «Борьбѣ политическихъ партій во Франціи», на который порою ссылались у насъ, какъ на доказательство если не прямо враждебнаго, то равнодушнаго отношенія Чернышевскаго къ политическимъ свободамъ, можно найти очень многозначительныя соображенія. Они даютъ намъ право сдѣлать кой-какія существенныя поправки ко взглядамъ на Чернышевскаго, царящимъ въ либеральныхъ сферахъ. Вотъ эти соображенія:

«...Либералы почти всегда враждебны демократамъ и почти никогда не бываютъ радикалами. Они хотятъ политической свободы, но такъ какъ политическая свобода почти всегда страждетъ при сильныхъ переворотахъ въ гражданскомъ обществѣ, то и самую свободу, высшую цѣль всѣхъ своихъ стремленій, они желаютъ вводить постепенно, расширять понемногу, безъ всякихъ, по возможности, сотрясеній. Необходимымъ условіемъ политической свободы кажется имъ свобода печатнаго слова и существованіе парламентскаго правленія; но

такъ какъ свобода слова, при нынѣшнемъ состояніи западно-европейскихъ обществъ, становится обыкновенно средствомъ для демократической, страстной и радикальной пропаганды, то свободу слова они желаютъ держать въ довольно тѣсныхъ границахъ, чтобы она не обратилась противъ нихъ самихъ. Парламентскія пренія также должны принять повсюду радикально-демократическій характеръ, если парламентъ будетъ состоять изъ представителей націи, въ обширномъ смыслѣ слова; потому либералы принуждены такъ же ограничивать участіе въ парламентѣ тѣми классами народа, которымъ довольно хорошо, или даже очень хорошо, жить при нынѣшнемъ устройствѣ западно-европейскихъ обществъ».

Итакъ, какова же точка зрѣнія Чернышевскаго на политическія свободы въ только что цитированныхъ строкахъ? Является ли онъ близорукимъ отрицателемъ свободныхъ учреждений во имя утопическихъ идеаловъ грядущаго строя? Напротивъ, онъ видимо желаетъ возможно широкой политической свободы, возможно полной свободы печати, возможно искренняго народнаго представительства. И онъ критикуетъ какъ разъ точку зрѣнія «либераловъ», стремящихся урѣзать и политическую свободу вообще, и свободу печати въ частности, и представительство «націи въ обширномъ смыслѣ слова», ради интересовъ «тѣхъ классовъ народа, которымъ довольно хорошо, или даже очень хорошо жить». Правда, Чернышевскій скептически смотритъ на политическую зрѣлость трудящихся классовъ, замѣчая въ томъ же этюдѣ:

«Народъ невѣжественъ, и почти во всѣхъ странахъ большинство его безграмотно; не имѣвъ денегъ, чтобы получить образованіе, не имѣя денегъ, чтобы дать образованіе своимъ дѣтямъ, какимъ образомъ станетъ онъ дорожить правомъ свободной рѣчи? Нужда и невѣжество отнимаютъ у народа всякую возможность понимать государственныя дѣла и заниматься ими, — скажите, будетъ ли дорожить, можетъ ли онъ пользоваться правомъ парламентскихъ преній?»

Но развѣ въ то время, когда писалъ это Чернышевскій, такой скептицизмъ не могъ быть допустимъ не только по отно-

шенію къ Россіи, но и по отношенію къ «почти всѣмъ странамъ?» И развѣ не вѣрно слѣдующее за приведенной цитатой замѣчаніе Чернышевскаго: «либерализмъ повсюду обреченъ на безсиліе: какъ ни разсуждать, а сильны только тѣ стремленія, прочны только тѣ учрежденія, которыя поддерживаются массою народа?» Не отрицаніе свободныхъ политическихъ учреждений, но серьезное раздумье надъ тѣмъ, какъ заинтересовать народъ въ широкой политической свободѣ, — вотъ что составляетъ центръ тяжести мыслей Чернышевскаго относительно той перспективы, въ которой должны размѣщаться политическія и экономическія требованія «демократовъ» (синонимъ «соціалистовъ» у Чернышевскаго), желающихъ торжества трудового міровоззрѣнія. И если вы остановитесь въ одной изъ предыдущихъ цитатъ хотя бы на констатированіи Чернышевскимъ того факта, что «при нынѣшнемъ состояніи свобода слова становится средствомъ демократической страстной пропаганды», или того факта, что «парламентскія пренія также должны принять повсюду радикально-демократическій характеръ, если парламентъ будетъ состоять изъ представителей націи въ обширномъ смыслѣ слова», то вы поймете, что исходъ изъ современнаго положенія дѣлъ Чернышевскій видѣлъ все-таки въ возможномъ приобщеніи массъ къ политическимъ правамъ и въ борьбѣ за ихъ расширеніе.

Не та же ли, кстати сказать, мысль прорывается у другого «отрицателя политики», Добролюбова, который въ той самой статьѣ («По поводу одной очень обыкновенной исторіи»), что содержитъ, между прочимъ, и критику результатовъ *suffrage universel* во Франціи, замѣчаетъ: «мы убѣждены, что люди, полагающіе, будто такими вещами, какъ всеобщая подача голосовъ, можно играть и злоупотреблять безнаказанно, жестоко ошибаются?» Не является ли эта мысль ужъ очень значительнымъ приближеніемъ къ эффектно и энергически выраженной мысли Лассалля: «всеобщая подача голосовъ есть копье Ахилла, которое исцѣляетъ тѣ самыя раны, какія нанесло?»

Изъ предыдущаго не слѣдуетъ, конечно, заключать, что

Чернышевскій смотрѣлъ на вопросъ о свободныхъ политическихъ учрежденіяхъ точь въ точь, какъ смотрятъ на нихъ современные представители того направленія, которое Николай Гавриловичъ называлъ, по тогдашнимъ цензурнымъ условіямъ, «демократическимъ» и «радикальнымъ». Съ тѣхъ поръ утекло слишкомъ много воды и пролилось слишкомъ много крови и слезъ, чтобы социалисты нашихъ дней не внесли необходимыхъ поправокъ во взгляды на значеніе политическихъ учреждений для рѣшенія социальнаго вопроса. Оказалось, именно, что какъ нѣтъ особаго «царскаго пути для математики», такъ нѣтъ особаго пути и для нормальной общественной эволюціи. Внѣ участія самихъ трудящихся массъ въ разработкѣ города будущаго прочный социальный прогрессъ немислимъ. А въ силу современныхъ условій это участіе не можетъ выразиться иначе, какъ въ формѣ политической борьбы. Но это предполагаетъ существованіе возможно широкихъ демократическихъ учреждений, включая сюда и всеобщую подачу голосовъ, хотя бы на первыхъ порахъ послѣдняя и могла готовить непріятные сюрпризы для самихъ неопытныхъ пока массъ и ихъ представителей.

Позволительно во всякомъ случаѣ думать, что не чуждый бланкизма Чернышевскій придавалъ очень большое значеніе политическимъ свободамъ,—напр., свободѣ печати, слова и т. п. въ дѣлѣ скорѣйшаго пріобщенія «простолюдиновъ» къ сознательной социальной борьбѣ. Но собственно къ парламентаризму, даже и опирающемуся на право всеобщаго вотума, онъ могъ относиться какъ къ второстепенной подробности, а отнюдь не какъ къ могущественному орудію общественнаго прогресса...

Я позволю себѣ процитировать здѣсь мнѣніе самого Бланки по данному вопросу, чтобы читатель могъ видѣть, съ какой точки зрѣнія Чернышевскому возможно было не увлекаться парламентаризмомъ именно какъ бланкисту: «Преждевременное обращеніе ко всеобщей подачѣ голосовъ въ 1848 г. было обдуманной измѣной. Было извѣстно, что путемъ затыканія рта (bâillonnement) печати, начиная съ 18-го брюмера, про-

винція сдѣлалась добычею духовенства, чиновничества и аристократіи. Требовать голосованія отъ этого поработаннаго населенія значило давать голосъ его владыкамъ. Добросовѣстные республиканцы настаивали на томъ, чтобы отложить выборы вплоть до полнѣйшаго раскрыщенія сознанія народа при помощи вполне свободной полемики мнѣній. Отсюда великій страхъ въ лагерѣ реакціи, которая столь же была увѣрена въ своей непосредственной побѣдѣ, сколько въ своемъ пораженіи черезъ годъ. Временное правительство преднамѣренно выдало врагамъ республику, которую само оно выносило лишь съ гнѣвнымъ нетерпѣніемъ.

«Обращеніе къ голосованію на слѣдующій же день революціи могло преслѣдовать лишь двѣ одинаково преступныя цѣли: или завладѣть народнымъ вотомъ силою, или же возвратить монархію. Намъ скажутъ, что это—признаніе партіи, находящейся въ меньшинствѣ и желающей поэтому держаться тактики насилія. Нѣтъ! большинство, полученное благодаря терроризированію населенія и затыканію ему рта, представляетъ собою не большинство гражданъ, а стадо рабовъ. Это и есть какъ разъ тотъ слѣпой трибуналъ, который въ теченіе семидесяти лѣтъ выслушивалъ лишь одну тяжущуюся сторону. А теперь онъ долженъ въ теченіе новыхъ семидесяти лѣтъ слушать другую. Разъ обѣ онѣ не могли произносить рѣчи въ свою защиту одновременно, пускай одна говоритъ вслѣдъ за другой.

«Въ 1848 г. республиканцы, забывъ полвѣка преслѣдованій, дали полную свободу своимъ врагамъ. То былъ торжественный и рѣшительный часъ. Онъ не возвратится болѣе. Побѣдители, несмотря на продолжительныя и жестокия обиды, которыя они раньше выносили отъ своихъ враговъ, теперь брали инициативу и давали примѣръ свободы. А каковъ былъ отвѣтъ? Ихъ истребленіе. Теперь было ясно: въ тотъ самый день, какъ намордникъ будетъ снятъ съ устъ труда, мы надѣнемъ его на пасть капитала.

«Годъ диктатуры Парижа въ 1848 г. сберегъ бы для Франціи цѣлую четверть вѣка исторіи, лишь теперь прихо-

дающей къ концу. И если на сей разъ надо десять лѣтъ такой диктатуры, то пусть не колеблются» ¹⁾).

Такимъ образомъ, чего требуетъ Бланки? Немедленно—диктатуры революціонной власти, опирающейся на интересы и истинныя потребности народа и дающей народу полную свободу выраженія мнѣній и столкновенія идей съ цѣлью воспитать его въ духѣ истинно свободнаго общежитія, а затѣмъ, лишь затѣмъ, примѣненія вотума и вообще такъ называемыхъ учрежденій парламентаризма къ политикѣ находящейся въ состояніи революціоннаго кризиса страны. Чернышевскій, какъ бланкистъ, могъ какъ разъ занять эту политическую позицію въ примѣненіи къ Россіи и русскому народу, надъ которымъ тяготѣли сотни лѣтъ самаго ужаснаго гнета и невѣжества. При такихъ условіяхъ дѣло должно было бы идти прежде всего о революціонномъ воспитаніи народа путемъ диктатуры социалистовъ, обезпечивающихъ самый широкій обмѣнъ мнѣній и самую «свободную полемику» въ обществѣ и печати. Таковъ уголъ зрѣнія, подъ которымъ русскій бланкистъ 60-хъ годовъ могъ разсматривать тогдашнее положеніе вещей и отодвигать на второй планъ непосредственное введеніе парламентаризма, который при условіяхъ той эпохи былъ бы, кромѣ того, по всей вѣроятности лишь цензовымъ, ярко сословнымъ, обезпечивающимъ господство если не буржуа въ собственномъ смыслѣ этого слова, то въ лучшемъ случаѣ землевладѣльцамъ съ болѣе или менѣе либеральнымъ привкусомъ.

Ни въ какомъ случаѣ, однако, нельзя видѣть въ Чернышевскомъ человѣка, который бы не понималъ значенія политическихъ свободъ, дающихъ возможность широкаго общественнаго обсужденія и общественнаго же рѣшенія важныхъ вопросовъ. Надо читать его «Письма безъ адреса», чтобы видѣть, какой сокрушающей критикѣ онъ подвергъ бюрократи-

¹⁾ Изъ программы Бланки 1870 г., цитируемый Жаномъ Жорэсомъ въ его предисловіи къ парламентарнымъ рѣчамъ: Jean Jaurès, Discours parlementaires; Парижъ, 1904, стр. 52—53 (Introduction).

ческій способъ проведенія общественныхъ реформъ, и съ какой неумолимой логикой онъ вскрылъ причины фатальнаго краха наилучшихъ намѣреній при условіяхъ окружавшей дѣйствительности.

Напримѣръ:

«Вы можете видѣть изъ этого, м. г., что такое значить бюрократическій порядокъ. Старшій говоритъ: я полагаю, что надобно рѣшить дѣло вотъ такъ и вотъ такъ; согласны ли вы, господа? Я не навязываю вамъ своихъ мнѣній: возражайте противъ нихъ, если не согласны; можете совершенно отвергнуть ихъ, если они неправильны. На это всѣ младшіе сотоварищи единогласно отвѣчаютъ: ваши мнѣнія совершенно согласны съ нашимъ убѣжденіемъ, и мы вполне принимаемъ ихъ».

Или:

«Будемъ говорить серьезно. При бюрократическомъ порядкѣ совершенно бесполезны умъ, знаніе, опытность людей, которымъ поручено дѣло. Люди эти дѣйствуютъ, какъ машины, у которыхъ нѣтъ своего мнѣнія; они ведутъ дѣло по случайнымъ намекамъ и догадкамъ о томъ, какъ думаетъ про это дѣло то, или другое, или третье лицо, совершенно не занимающееся этимъ дѣломъ».

Слишкомъ былъ уменъ Чернышевскій, чтобъ отрицать преимущество общественнаго рѣшенія вопросовъ надъ канцелярскимъ. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что извѣстныя условія тогдашней эпохи не могли не возбуждать въ Николаѣ Гавриловичѣ ироническаго отношенія къ современному ему либерализму. На рубежѣ 50-хъ и 60-хъ годовъ даже Западъ, за рѣдкими исключеніями, не успѣлъ еще освободиться отъ реакціи, послѣдовавшей за взрывомъ 1848 г. Почти повсюду, кромѣ развѣ Англии, конституціонное правленіе было жалкой карриатурой на свободный режимъ. Въ Англии, дѣйствительно, если страна и управлялась представителями исключительно имущихъ классовъ, то, по крайней мѣрѣ, парламентскій режимъ отличался извѣстною искренностью въ томъ смыслѣ, что власть находилась на самомъ дѣлѣ въ рукахъ чле-

новъ палатъ. Кромѣ того, неприкосновенность личности и жилища, отвѣтственность чиновниковъ, широкая свобода печати и митинговъ, судъ присяжныхъ, защищающій гражданина отъ произвола администраціи,—все это позволяло образоваться могучимъ теченіямъ на «улицѣ», внѣ парламента. А въ результатъ этого голосъ широкихъ общественныхъ слоевъ и трудящихся массъ могъ достигать, въ случаѣ серьезной надобности, съ такой силой и авторитетомъ до ушей правящихъ классовъ, что они вынуждены бывали уступать этому напору общественного мнѣнія, хотя и не представленнаго официально въ парламентъ.

Но посмотрите, чтó дѣлалось на континентѣ. Французскій либерализмъ, обнаружившій столько свирѣпости въ соціальной борьбѣ 1848 г., былъ скомпрометтированъ до невозможности. Имперія декабрьской ночи, опираясь на ту пародію всеобщей подачи голосовъ, какую давалъ ей вымуштрованный начальствомъ народъ, составлявшій, если можно такъ выразиться, «плебисцитарное мясо»,—эта имперія раздавила почти всѣ пріобрѣтенія политической свободы, которыя Франція добывала цѣною крови въ теченіе столькихъ десятилѣтій. И не говоря уже о социалистахъ, послѣдовательные буржуазные республиканцы крайне мрачно смотрѣли на будущность впавшей въ оцѣпенѣніе націи.

Въ Германіи, послѣ неудачной траги-комедіи франкфуртскаго парламента, феодальная реакція справляла свои оргіи въ рамкахъ октроированныхъ конституцій. Нѣмецкій патріотъ-демократъ находился въ томъ плачевномъ положеніи, какое изображала насмѣшливая политическая пѣсня, обращенная по адресу одного изъ выдающихся членовъ крайней лѣвой въ упомянутомъ парламентѣ:

Er hängt an keinem Baume,
Er hängt an keinem Strick,
Er hängt nur an dem Traume
Der deutschen Republik!

т.-е. «виситъ онъ не на деревѣ, виситъ не на петлѣ, онъ повисъ на грезѣ о нѣмецкой республикѣ».

Бисмаркъ цинично и зло вышучивалъ либеральную буржуазію, которая усердно культивировала не страшную для прусскихъ юнкеровъ «оппозицію шлафрока и туфель» и думала сопротивляться безстыднымъ рейтерамъ планами отказа отъ уплаты налоговъ. А могучее рабочее движеніе еще въ то время не существовало.

Не лучше, если не хуже, чѣмъ въ Германіи, обстояли дѣла и въ Австріи, реакціонная политика которой была особенно ненавистна въ сферѣ внѣшней политики, гдѣ традиціи меттерниховской политики продолжали тяжелымъ гнетомъ давить на сѣверную Италію. А сама эта Италія, гдѣ либераламъ приходилось взирать съ вѣрою и надеждою на савойскую династію, гдѣ существовали такіа ужасающія своимъ деспотизмомъ политическія формы государственной власти, какъ папскій Римъ и неаполитанское королевство? Что, наконецъ, сказать, о тогдашней Испаніи, павшей до уровня неисторическихъ національностей?

Этой печальной картинѣ политическаго положенія Западной Европы соотвѣтствовала еще болѣе печальная картина Россіи. Въ сущности, дореформенный строй рушился здѣсь не только въ общественномъ и экономическомъ отношеніяхъ, но и въ государственномъ, и лишь политическая отсталость русскаго общества позволила затянуть на десятки лѣтъ процессъ крушенія отжившаго самодержавія. Увы! политическіе планы тогдашнихъ русскихъ либераловъ поражали въ громадномъ большинствѣ случаевъ своимъ доктринерствомъ, или же наивностью, а то и крѣпостнымъ привкусомъ. Катковъ проектировалъ англлизировать Россію, передавъ центральную власть классу просвѣщенной и богатой аристократіи, которой у насъ, именно какъ класса, не было и въ поминѣ. Съ другой стороны, люди въ родѣ Кавелина съ превеликой важностью противопоставляли «безплоднымъ мечтамъ о представительномъ правленіи» планы «административной децентрализаціи» (см. его записку «Дворянство и освобожденіе крестьянъ»), — во вкусѣ теперешняго «Новаго Времени». А когда наиболѣе просвѣщенная часть дворянства, какъ сословія, принялась за писаніе

конституционных адресовъ, то между этими политическими памятниками дворянского либерализма оказалось мало такихъ, которые отличались бы ясностью и сравнительною широтою адреса тверского дворянства (1-го февраля 1862 г.), говорившаго о необходимости дополнить реформу 19-го февраля общенароднымъ политическимъ преобразованиемъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«...Сановники... нынѣ находятъ необходимымъ сохраненіе дворянскихъ привилегій, тогда какъ мы сами, болѣе другихъ заинтересованные въ этомъ дѣлѣ, желаемъ ихъ отмѣнить. Этотъ общій разладъ служить лучшимъ доказательствомъ, что преобразования, требуемая нынѣ крайнею необходимостью, не могутъ быть совершены бюрократическимъ порядкомъ. Мы сами не беремся говорить за весь народъ, несмотря на то, что стоимъ къ нему ближе, и твердо увѣрены, что недостаточно одной благонамѣренности не только для удовлетворенія,—но даже и для указанія народныхъ потребностей: мы увѣрены, что преобразования остаются безуспѣшными потому, что предпринимаются безъ спроса и вѣдома народа. Собраніе выборныхъ всей земли русской представляетъ единственное средство къ удовлетворительному разрѣшенію вопросовъ, возбужденныхъ, но не разрѣшенныхъ положеніемъ 19-го февраля».

Повторяю, такихъ сравнительно демократическихъ адресовъ было мало; а очень значительная часть принадлежала къ той категоріи, которую тремя годами позже (въ 1865 г.), по поводу адреса петербургскаго дворянства, подписаннаго «либералами» въ родѣ графа Орлова-Давыдова, М. Безобразова и т. п., Герценъ охарактеризовалъ такъ:

«Лиха бѣда была отчалить. Какъ только правительство нанесло ударъ рабству, со дня на день можно было ждать рядъ конституционныхъ попытокъ. Въмѣсто Земскаго Собора, Земской Думы, потребовали Думу боярскую, явилась попытка жмудскихъ нормановъ и татарскихъ бароновъ, сто лѣтъ тому назадъ избавленныхъ Петромъ Федоровичемъ отъ тѣлесныхъ наказаній и выросшихъ теперь до требованій временъ кре-

стовыхъ походовъ,—ограничить бѣлой, дворянской костью царскій произволъ. Бѣды нѣтъ, успѣхъ невозможенъ, а за починъ имъ спасибо... Путь указанъ, слово произнесено, печать молчанія сломана—не въ главномъ заведеніи, въ которомъ все подпечатываютъ, а всенародно, въ дворянскомъ собраніи. Вотъ существенное, *субстанція*, какъ выражался въ Іеговъ почившій Спиноза, остальное «атрибуты, акциденціи». Ну и надобно признаться, что касается до этихъ акциденцій и атрибутовъ... это своего рода *sapere d'opera*... Тутъ комизмъ такъ перемѣшанъ съ отвратительнымъ, Офросимовъ съ Катковымъ, молодое желаніе свободы со старыми заступниками крѣпостного права, что человѣкъ равно чувствуетъ невозможность смѣха и плача, гуловаго осужденія и откровеннаго сочувствія».

Какъ же было Чернышевскому не относиться отрицательно къ большинству плановъ и *pia desideria* нашего доморошеннаго либерализма, не выходящаго изъ предѣловъ самыхъ блѣдныхъ или самыхъ устарѣлыхъ программъ переустройства и при томъ не умѣвшаго проявить достаточную зрѣлость и энергію для проведенія ихъ въ жизнь? Замѣтьте, говоря такъ, я не думаю утверждать, что Чернышевскій не понималъ, въ какой степени эти планы, несмотря на всѣ отрицательныя стороны ихъ формулировки, были выраженіемъ потребностей націи, пришедшей на извѣстную ступень развитія. Въ тѣхъ же «Письмахъ безъ адреса» Чернышевскій даже допускаетъ, что желаніе «общей реформы», высказываемое дворянствомъ, должно въ значительной мѣрѣ объясняться стремленіями, вытекающими не изъ крѣпостнической фронды, а изъ настроенія всѣхъ «другихъ сословій», «представителемъ» которыхъ «дворянство только является». Чернышевскій даже предполагаетъ, что такую роль представителя прочихъ общественныхъ сословій дворянство беретъ на себя не потому, что оно сильнѣе ихъ ощущало бы историческія потребности переустройства, но лишь потому, что у него была «организация, дающая возможность выражать желанія». И сейчасъ же вслѣдъ за этимъ у автора «Писемъ» идутъ слѣдующія любопытныя строки, мѣстами даже, повидимому, противорѣчащія его отрицатель-

ному взгляду на политическую подготовленность тогдашняго общества и всей націи:

«Если бы другія сословія имѣли законные органы для выраженія своихъ мыслей, они высказались бы по этимъ предметамъ въ томъ же самомъ смыслѣ, какъ и дворянство, только съ большею рѣшительностью, потому что всякое другое сословіе еще болѣе дворянства чувствуетъ обременительность тѣхъ общихъ недостатковъ нынѣшняго устройства, объ устраненіи которыхъ говоритъ дворянство. Если вы, м. г., спросите купечество или духовенство, мѣщанъ или крестьянъ, или даже массу чиновниковъ (за исключеніемъ немногихъ чиновниковъ, которымъ нынѣшній порядокъ выгоденъ), вы услышите отъ каждаго изъ этихъ сословій тѣ же самыя мысли о законодательствѣ, администраціи и судѣ. Если бы вы пожелали убѣдиться въ этомъ, вы отстранили бы отъ себя всякую возможность другого важнаго заблужденія. Вы совершенно освободились бы отъ мысли, что можно принимать какія-нибудь мѣры противъ общаго стремленія, начинающаго обнаруживаться. Его проявленія еще кажутся слабыми, но вѣдь это только потому, что они еще первыя. Присмотрѣвшись къ дѣлу, вы замѣтите, что сила ихъ очень быстро растетъ; очень жаль, что, при отдаленности вашей отъ маленькихъ людей, вы лишены удобства лично дѣлать эти наблюденія. А мы, наблюдающіе вблизи жизнь всѣхъ слоевъ общества, кромѣ вашего круга,—мы видимъ очень быстрое распространеніе мыслей, о которыхъ я имѣю честь бесѣдовать съ вами, и замѣчаемъ, что общество уже недалеко отъ рѣшительнаго или единодушнаго заявленія ихъ».

Я нарочно привелъ это довольно длинное мѣсто изъ Чернышевскаго, чтобы читатель могъ самъ принять участіе въ рѣшеніи вопроса, въ какой мѣрѣ Николай Гавриловичъ былъ огульнымъ отрицателемъ политическихъ стремленій во имя идеаловъ грядущаго строя. Въ только что приведенной цитатѣ Чернышевскій рисуется не только понимающимъ значеніе общенациональных пожеланій въ сферѣ «законодательства, администраціи и суда». Онъ здѣсь является даже склоннымъ допустить возможность «рѣшительнаго и единодушнаго заявле-

нія» обществомъ такихъ требованій, которыя, — насколько можно судить по нѣсколько общему и умышленно неясному характеру подцензурной статьи,—относятся къ «парламентскому правленію» и прочимъ лозунгамъ столько разъ бичевавшихся «Современникомъ» поборниковъ либерализма. Приходится даже какъ бы примирять высказанный здѣсь Чернышевскимъ взглядъ съ обычнымъ ходомъ его мыслей. Но это противорѣчіе устраняется, какъ мнѣ кажется, тѣмъ соображеніемъ, что въ тотъ критическій моментъ общественнаго движенія, какимъ являются 1861—1862 годы, никогда особенно не вѣрившій въ активную энергію рыцарей «настоящаго времени, когда» Чернышевскій начинаетъ считать полезнымъ именно въ интересахъ своего «бланкизма» всякую либеральную агитацію. Общественное возбужденіе, какъ бы ни были половинчаты въ глазахъ Чернышевскаго вызывавшія его либеральныя стремленія, могло, съ его точки зрѣнія, служить *au pis aller* благопріятной атмосферой, облегающей и питающей тѣ активные элементы, которые только и могли ставить и защищать программу народной и трудовой Россіи. Дѣло, видите ли, шло все о томъ же доставленіи имъ нѣсколькихъ лишнихъ шансовъ на побѣду, увѣренность въ которой далеко не являлась отличительной чертой Чернышевскаго въ ряду его близкихъ товарищей...

Какъ бы то ни было, если преобладающей нотой въ отношеніи Чернышевскаго къ умѣреннымъ либераламъ было презрѣніе, презрѣніе и жалость, то почти это же чувство, развѣ съ прибавленіемъ негодованія, онъ питалъ къ крѣпостникамъ. Описывая въ своемъ «Прологѣ» настроеніе, овладѣвшее имъ при видѣ нашихъ трусливыхъ, орудовавшихъ только интригами феодаловъ, онъ не можетъ подавить этого смѣшаннаго тяжелаго чувства. Видя ихъ жалкія фигуры на одномъ обѣдѣ, который либеральные сановники и либеральные приватные люди Петербурга дали степнымъ медвѣдямъ крѣпостничества, чтобы побѣдить послѣднія сопротивленія провинціальныхъ магнатовъ на предстоявшихъ губернскихъ собраніяхъ, Чернышевскій говорить о себѣ такъ:

«Онъ не былъ мастеръ наблюдать, и былъ близорукъ. Но развѣ слѣпой не видѣлъ бы, что такое на душѣ у этихъ людей; не за два десятка шаговъ—за полверсты можно было разгадать это, хотя и не разбирая ихъ лицъ, по самымъ фигурамъ ихъ.

«Безсмысліе, безсиліе, безпомощность.

«Такъ должны глядѣть, стоять, двигаться приговоренные къ смерти... Онъ расчувствовался. Расчувствовался невесело: хотѣ и не любилъ ни вообще дворянъ, ни магнатовъ въ частности.

«Жалкая нація, жалкая нація!—Нація рабовъ,—съ низу до верху, все сплошь рабы... думалъ онъ и хмурилъ брови.

«Онъ не любилъ дворянства. Но бывали минуты, когда онъ не имѣлъ вражды къ нему. Можно ли ненавидѣть жалкихъ рабовъ.

«...И теперь на него напало такое настроеніе. — Они не виноваты ни въ чемъ и ни чему не мѣшаютъ. Они ли могутъ мѣшать?—Они хотятъ только пить, мотать и бездѣльничать. Они ли виноваты?—Кому же не пріятно брать то, что ему даютъ?»...

Но какъ вѣрный исторіографъ, Чернышевскій описываетъ удивительный пассажъ, приключившійся въ концѣ обѣда. Тотъ самый либеральный сановникъ, который долженъ былъ дать понять степнымъ медвѣдямъ, заранѣе шедшимъ на закланіе, что правительство твердо рѣшило дать настоящую волю крестьянамъ, вдругъ заговорилъ о желаніи высшихъ сферъ передать по возможности самимъ дворянамъ выработку подробностей реформы. Онъ даже сталъ съ удовольствіемъ распространяться о томъ, что администрація приняла всяческія мѣры для подавленія мужицкихъ беспорядковъ, буде таковыя вспыхнутъ. И все больше и больше веселѣли лица слушавшихъ помѣщиковъ, и въ заключеніе рѣчи одинъ изъ самыхъ заядлыхъ и мрачно настроенныхъ крѣпостниковъ съ удовольствіемъ подѣлился своимъ впечатлѣніемъ съ Чернышевскимъ: «мы ошибались, милостивый государь, вы сами видите, передъ нами виляютъ хвостомъ. Насъ боятся, милостивый государь,—понимаете, насъ боятся».

Понятно, какъ необыкновенно умный и послѣдовательный человѣкъ, какимъ былъ Чернышевскій, могъ мало принимать въ серьезъ оппозиціонную энергію нашихъ умѣренно либеральныхъ элементовъ. И понятно, какимъ скептицизмомъ должно было быть проникнуто его отношеніе къ російскимъ добывателямъ политическихъ свободъ. Какъ бы ни могли порою мѣняться въ немъ подѣ влияніемъ событій оттѣнки его взглядовъ на значеніе либеральнаго лагеря, основной тонъ этихъ взглядовъ не мѣнялся: наши любители представительнаго правленія въ 60-хъ годахъ не умѣли энергично и толково добиваться того самого, что было *raison d'être* омъ ихъ существованія. Свистъ у Чернышевскаго могъ порою уступить мѣсто горькому раздумью надъ мягкотѣлостью тогдашнихъ партій, включая сюда и крѣпостническую. Но никогда не могъ Чернышевскій увлекаться той самоувѣренной и вмѣстѣ пусто-порожней хлопотней, которая сходила за дѣятельность у русскихъ «либераловъ» и русскихъ «прогрессистовъ», неспособныхъ осуществить программу самой умѣренной политической свободы.

V.

Мнѣ остается подкрѣпить нѣсколькими цитатами тотъ взглядъ Чернышевскаго на народъ, который я пытался сформулировать въ срединѣ этой статьи на основаніи воспоминаній о Николаѣ Гавриловичѣ лицѣ, знавшихъ его.

Я въ двухъ словахъ напому этотъ взглядъ: въ теченіе довольно долгаго времени Чернышевскій возлагалъ мало надеждъ на пониманіе народомъ своихъ интересовъ и на активность его въ дѣлѣ защиты ихъ. Затѣмъ, въ послѣднее время своей дѣятельности, онъ сталъ, повидимому, нѣсколько больше надѣяться на то, что по крайней мѣрѣ въ сферѣ экономической народъ проявитъ извѣстную инициативу, отстаивая выгодное для него рѣшеніе великаго вопроса о земельномъ устройствѣ. Скептицизмъ Николая Гавриловича во взглядахъ на русскій народъ, т.-е. фактически-то на крестьянство, былъ, впро-

чемъ, лишь частнымъ случаемъ и примѣненіемъ къ Россіи его общей точки зрѣнія, съ которой онъ смотрѣлъ на трудящіяся массы, не исключая и болѣе развитыхъ странъ Западной Европы, а въ нихъ не исключая и пролетаріата. «Простолюдинъ» бѣденъ, забитъ и невѣжественъ; онъ рвался порою улучшить свое положеніе въ современномъ обществѣ, но или бывалъ жестоко наказываемъ за то привилегированными классами, или самъ измѣнялъ своимъ настоящимъ друзьямъ ради хитрыхъ враговъ своихъ. Такъ смотрѣлъ Чернышевскій и на пролетарія Западной Европы. И если мы припомнимъ, что то было время реакціи послѣ движенія 1848 г., то мы не удивимся, что Чернышевскій пессимистически былъ настроенъ въ вопросѣ о степени сознательности и активности рабочаго класса повсюду. Не забудемъ, что эта же самая реакціонная эпоха заставила Герцена чуть не окончательно махнуть рукой на тогдашнюю Европу и идеализировать въ пику ей славянскій и въ частности русскій Востокъ. Помните его варіаціи на тему: «Два событія. Паденіе Европы передъ соціальнымъ вопросомъ. Соціальный вопросъ, поставленный Александромъ II, какъ призывъ къ жизни»...

Но возвратимся къ Чернышевскому и его взглядамъ на народъ. Смотря такъ, какъ мы видѣли только-что, на «простолюдина» вообще, онъ не иначе смотрѣлъ и на русскаго «простолюдина». Вотъ что онъ говоритъ отъ лица своего двойника—Волгина, продолжающаго размышлять все на томъ же политическомъ обѣдѣ, гдѣ либеральная Русь и Русь крѣпостническая вели одна противъ другой мины и контръ-мины за тарелкой стерляжьей ухи и бокаломъ шампанскаго:

«...Онъ не забывалъ, что исторія—борьба, что въ борьбѣ нѣжность неумѣстна. Правда, онъ не считалъ себя борцомъ за народъ: у русскаго народа не могло быть борцовъ, по мнѣнію Волгина, оттого, что русскій народъ не способенъ поддерживать вступающихъ за него; какому же человѣку въ здоровомъ смыслѣ бываетъ охота пропадать задаромъ? Такъ или нѣтъ, вообще, но о себѣ Волгинъ твердо зналъ, что не имѣетъ такого глупаго желанія и никакъ не могъ считать

себя защитникомъ народныхъ правъ. Но тѣмъ меньше и могъ онъ дѣлать уступки за народъ, тѣмъ меньше могъ—не выставлятъ правъ народа во всей ихъ полнотѣ, когда приходилось говорить о нихъ»...

Пессимизмъ по отношенію къ русскому народу въ дальнѣйшихъ размышленіяхъ Волгина принимаетъ такіе размѣры, что этотъ народъ получаетъ на свою долю почти такую же пропорцію свирѣпой ироніи, какую отпускаетъ и самому себѣ авторъ «Пролога». Если съ свойственнымъ ему добродушнымъ издѣвательствомъ анализирующаго ума надъ его же общественнымъ чувствомъ онъ и заявляетъ, что «онъ не считаетъ себя борцомъ за народъ», то тутъ же онъ прибавляетъ и по адресу народа: «у русскаго народа не могло быть борцовъ оттого, что русскій народъ не способенъ поддерживать вступающихъ за него». Или: «это должно быть рѣшено волею народа. Должно—и, разумѣется, не будетъ».

Послѣ манифеста 19-го февраля и послѣдовавшихъ за нимъ событій настроеніе Чернышевскаго въ данномъ вопросѣ нѣсколько мѣняется. Онъ не такъ безотрадно смотритъ на пониманіе народомъ своихъ интересовъ и на активность его въ защитѣ ихъ. Въ «Письмахъ безъ адреса» встрѣчаются слѣдующія строки:

«...При началѣ крѣпостного вопроса масса другихъ сословій, до которыхъ не касался онъ прямо, оставалась равнодушна къ нему. Но нельзя ей было сохранить равнодушіе, когда она увидѣла развязку, приготовленную бюрократическимъ рѣшеніемъ дѣла. Крѣпостные крестьяне не повѣрили, чтобы обѣщанная имъ воля была ограничена тѣми формальными перемѣнами, какими ограничило ее бюрократическое рѣшеніе. Изъ этого повсюду произошли столкновенія между крѣпостными крестьянами и властью, старавшеюся провести свое рѣшеніе. Произошли сцены, которыхъ нельзя было видѣть хладнокровно. Массою другихъ сословій овладѣло состраданіе къ крѣпостнымъ крестьянамъ. А между тѣмъ крѣпостные крестьяне, несмотря на всѣ внушенія и мѣры усмиренія, остались въ увѣренности, что надобно ждать имъ другой, настоящей воли. Отъ этого

ихъ расположенія должны будутъ произойти новыя столкновения, если надежда ихъ не исполнится. Такимъ образомъ страна подвергалась смутамъ и опасается новыхъ смутъ»...

Въ другомъ мѣстѣ той же самой статьи, сказавъ, что народъ, и апатиченъ», и «спитъ», Чернышевскій тѣмъ не менѣе (иронизируя по обычаю,—я намѣренъ, молъ, «измѣнить народу») такъ характеризуетъ настроеніе народа:

«Истина одинаково горька для васъ и для насъ. Народъ не думаетъ, чтобы изъ чьихъ-нибудь заботъ о немъ выходило что-нибудь дѣйствительно полезное для него. Мы всѣ, отдѣляющіе себя отъ народа какими-нибудь именами,—именемъ ли власти, именемъ ли того или другого привилегированнаго сословія,—мы всѣ, предполагающіе у себя какіе-нибудь особенные интересы, различные отъ предметовъ народнаго желанія,—интересы ли дипломатическаго и военнаго могущества, или интересы распоряженія внутренними дѣлами, или интересы личнаго нашего богатства, или интересы просвѣщенія,—мы всѣ смутно чувствуемъ, какая развязка вытекаетъ изъ этого расположенія народныхъ мыслей. Когда люди дойдутъ до мысли: «ни отъ кого другого не могу я ждать пользы для своихъ дѣлъ», они непременно и скоро сдѣлаютъ выводъ, что имъ самимъ надобно взяться за веденіе своихъ дѣлъ. Всѣ лица и общественные слои, отдѣльные отъ народа, трепещутъ этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избѣжать ее; вѣдь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы отъ нея, даже тотъ изъ нашихъ интересовъ, который мы любимъ выставять, какъ единственный предметъ нашихъ желаній, потому что онъ совершенно чистъ и безкорыстенъ,—интересъ просвѣщенія... Поэтому мы также противъ ожидаемой попытки народа сложить съ себя всякую опеку и самому приняться за устройство своихъ дѣлъ. Намъ такъ ослѣпляетъ страхъ за себя и за свои интересы, что мы не хотимъ даже разсуждать, какой ходъ событий былъ бы почетнѣе для самого народа, и мы готовы, для отвращенія ужасающей насъ развязки, забыть все—и нашу любовь къ свободѣ, и нашу любовь къ народу.

«Подъ вліяніемъ этого чувства обращаюсь къ вамъ, м. г., съ изложеніемъ моихъ мыслей о средствахъ, которыми можно отвратить развязку, одинаково опасную для васъ и для насъ.

«Дѣлая это, я понимаю, что дѣлаю.

«Я измѣняю народу.

«Измѣняю потому, что, руководясь личными опасеніями за вещь болѣе драгоцѣнную для меня, нежели для народа, за просвѣщеніе,—я уже не думаю о томъ, полезна ли для народа забота о разрѣшеніи запутанностей положенія русской націи вашими и нашими усиліями, а напротивъ, не выигралъ ли бы народъ чрезъ независимое отъ насъ занятіе національными дѣлами больше, чѣмъ отъ продолженія нашихъ хлопотъ о немъ. Въ этомъ случаѣ для своей выгоды я подавляю въ себѣ убѣжденіе, что ничьи постороннія заботы не приносятъ людямъ такой пользы, какъ самостоятельное дѣйствованіе по своимъ дѣламъ. Да, я измѣняю своему убѣжденію и своему народу».

Здѣсь то прямо, то косвенно, то ссылаюсь на «ожиданія» и «опасенія» просвѣщенныхъ слоевъ, то гипотетически представляя себѣ настроеніе массъ, Чернышевскій высказываетъ взгляды на народъ, которые нельзя назвать сплошь пессимистическими. Очевидно, въ это время Николая Гавриловича стала посѣщать все чаще и чаще надежда, что «простолудинъ», можетъ быть, и дѣйствительно захочетъ болѣе или менѣе активно заняться своими кровными дѣлами. Но какъ согласить такой взглядъ съ общимъ воззрѣніемъ Чернышевскаго на динамику общественнаго прогресса: народъ невѣжественъ, исполненъ предразсудковъ, не умѣетъ до сихъ поръ разобраться какъ слѣдуетъ въ своихъ интересахъ, не способенъ отличать своихъ искреннихъ друзей отъ своихъ злѣйшихъ враговъ. Для надлежащей активности народу слѣдовало бы пріобрѣсти прежде всего ясное пониманіе вещей, а для этого нужно просвѣщеніе, а для просвѣщенія досугъ, а для досуга то самое переустройство общества, которое, наоборотъ, предполагаетъ уже достаточно просвѣщеннаго и достаточно досужаго «простолудина».

Какъ же выйти изъ такого заколдованнаго круга, какъ

выйти изъ него въ особенности мыслителю типа Чернышевскаго, котораго принято у насъ считать и называть «раціоналистомъ», т.-е. человѣкомъ, полагающимъ, что надлежащая эволюція общественныхъ формъ зависитъ отъ убѣдительности доводовъ мыслящихъ людей, приглашающихъ членовъ даннаго обществa дѣйствовать разумно и цѣлесообразно? Я думаю, этотъ заколдованный кругъ размыкается тѣмъ соображеніемъ, что во взглядѣ на Чернышевскаго, какъ на раціоналиста, замѣчается,—какъ то часто бываетъ съ распространенными вообще взглядами,—извѣстное преувеличеніе. Чернышевскій не былъ сплошнымъ раціоналистомъ уже потому, что приписывалъ большое значеніе въ исторіи «обстоятельствамъ», которыя идутъ зачастую такъ, что опрокидываютъ расчеты и планы мыслящихъ людей и заставляютъ ихъ дѣйствовать какъ дѣйствуютъ и массы, т.-е. какъ придется и какъ только возможно. Вспомните разсужденія Волгина о томъ, что французскимъ демократамъ приходилось «участвовать въ сочиненіи глупости», именуемой Февральской революціей; и участвовать не потому, чтобы они хотѣли этого, но потому, что «обстоятельства заставили ихъ волею-неволею» совершать переворотъ, «когда общество еще не было подготовлено поддерживать ихъ идеи».

Но, перебьетъ меня читатель, дѣло здѣсь идетъ какъ разъ о констатированіи Чернышевскимъ нераціональнаго хода исторіи. И, значитъ, требованіе раціональнаго воздѣйствія на массы остается цѣликомъ, и снова заколдованный кругъ охватываетъ насъ своимъ желѣзнымъ кольцомъ. Однако это было бы такъ, если бы у Чернышевскаго не было еще иного существеннаго дополненія къ раціоналистическому пониманію исторіи. И это дополненіе есть его взглядъ на великое значеніе соціальнаго положенія, занимаемаго человѣкомъ, для болѣе или менѣе легкаго усвоенія надлежащихъ идей; взглядъ, съ которымъ въ тѣсной связи находится мысль, что великія общественныя реформы должны въ современномъ строѣ добываться не мудренѣмъ и черезчуръ глубокомысленнымъ изученіемъ вопроса, а возбужденіемъ общественныхъ же великихъ страстей.

Въ замѣчательно глубокихъ первыхъ страницахъ своего «Антропологическаго принципа въ философіи» Чернышевскій проводитъ очень любопытную параллель между Миллемъ и Прудономъ. Онъ желаетъ показать, какъ принадлежность перваго къ привилегированному сословію мѣшаетъ ему взглянуть надлежащимъ образомъ на будущее, грозящее современной буржуазной цивилизаціи; и какъ плебейское происхожденіе и крайне тяжелая трудовая жизнь второго, несмотря на вытекающія изъ нихъ препятствія для развитія, облегчаютъ, съ другой стороны, силу и проникаемость мысли человѣка, принадлежащаго къ великой арміи трудящихся.

«Во всемъ этомъ мы видимъ,—говоритъ Чернышевскій по поводу Прудона,—общія черты того умственнаго положенія, въ которомъ находится теперь западно-европейскій простолюдинъ. Благодаря своей здоровой натурѣ, своей суровой житейской опытности, западно-европейскій простолюдинъ, въ сущности, понимаетъ вещи несравненно лучше, вѣрнѣе и глубже, чѣмъ люди болѣе счастливыхъ классовъ. Но до него не дошли еще тѣ научныя понятія, которыя наиболѣе соотвѣтствуютъ его положенію, наклонностямъ, потребностямъ и сообразны съ нынѣшнимъ положеніемъ знаній».

Отсюда можно вывести заключеніе, въ какой степени «простолюдинъ», или, выражаясь собирательно, «народъ», способенъ, по мнѣнію Чернышевскаго, при извѣстныхъ условіяхъ сократить путь раціональнаго изученія глубоко его касающихся соціальныхъ задачъ; и какъ, стало быть, заколдованный кругъ: невѣжество—нищета—невѣжество разбивается при мало-мальски разумномъ воздѣйствіи на народъ. Съ другой стороны, народъ самою непочатостью своей натуры и своимъ тяжелымъ соціальнымъ положеніемъ особенно подготовленъ къ произведенію тѣхъ великихъ общественныхъ реформъ, воплощеніе которыхъ въ жизнь требуетъ энергіи, страсти, коллективнаго энтузіазма. Не говоритъ ли опять-таки въ томъ же «Антропологическомъ принципѣ» Чернышевскій:

«Гдѣ замѣшана страсть, тамъ обдуманность и хладнокровіе невозможны—это истина, извѣстная по прописямъ. Каждый

важный общественный вопрос возбуждает страсти, это дѣло также извѣстное. Если реформа касается только небольшой части общества или, затрогивая интересы всѣхъ, представляетъ для каждаго рискъ лишь незначительнаго убытка или выигрыша, словомъ сказать, если реформа не очень важна, она можетъ производиться хладнокровнымъ путемъ... Но такъ ли были отмѣнены хлѣбные законы, когда теряли привилегію люди сильные въ англійскомъ обществѣ? Читатель знаетъ, что людямъ, хотѣвшимъ этого полезнаго дѣла, только тогда удалось побороть могущественную оппозицію, когда разыгрались страсти въ большинствѣ общества, много выигрывавшаго отъ важной реформы; а когда общество взволновалось страстью, холодное веденіе дѣла невозможно. Развѣ у Роберта Пилля достало времени на многолѣтнія статистическія изысканія, когда подошла неизбежность перемѣны? Нѣтъ, какія свѣдѣнія были, тѣми и воспользовались, медлить было нельзя. А вѣдь это не совсѣмъ рационально: почему знать, если бы глубже вникнуть въ дѣло, быть можетъ, нѣкоторыя подробности закона обработались бы лучше?.. Конечно такъ, но очень важныя для общества дѣла никогда такъ не дѣлались. Посмотрите, какимъ путемъ уничтожился феодализмъ, или обращалась въ ничтожество инквизиція, или получались права среднимъ сословіемъ, вообще уничтожалось какое-нибудь важное зло или вводилось какое-нибудь важное благо».

Сопоставляя эти цитаты, мы можемъ понять, какимъ образомъ у Чернышевскаго скептицизмъ по отношенію къ народу могъ отступать при извѣстныхъ исключительныхъ, или казавшихся исключительными, обстоятельствахъ передъ надеждой на активную роль народа. Его способность «въ сущности понимать несравненно лучше, вѣрнѣе и глубже, чѣмъ люди болѣе счастливыхъ классовъ»; его непосредственность, такъ требующаяся для произведенія крупныхъ общественныхъ реформъ съ надлежащей «страстью»,—вотъ стороны народной психологіи, которыя могли внушать Чернышевскому въ 1861—1862 гг. мысль о возможности народной инициативы. И «раціонализмъ» Чернышевскаго могъ бы въ такомъ случаѣ подсказывать ему

лишь идею о внесеніи въ эту инициативу наибольшей сознательности со стороны мыслящихъ друзей народа, наилучшаго утилизованія революціонной энергіи народа. Приведу лишь слѣдующее мѣсто изъ «Воззванія къ барскимъ крестьянамъ», которое, какъ можно считать почти вполне достовѣрнымъ, если не цѣликомъ, то въ значительной степени вышло изъ-подъ пера Чернышевскаго:

«Такъ вотъ какое дѣло, надо мужикамъ всѣмъ промежь себя согласіе имѣть, чтобы за одно быть, когда пора будетъ. И покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно въ бѣду не вводить, значить, спокойствіе сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что одинъ въ полѣ не воинъ. Что толку, что ежели въ одномъ селѣ булгу поднять, когда въ другихъ селахъ готовности еще нѣтъ? Это значить только дѣло портишь да себя губить. А когда вездѣ готовы будутъ, значить, вездѣ поддержка подготовлена, ну, тогда дѣло начинай. А до той поры рукамъ воли не давай, смиренный видъ имѣй, а самъ промежь своимъ братомъ мужикомъ толкуй да подговаривай его, чтобы дѣло въ настоящемъ видѣ понималъ. А когда промежь васъ единодушіе будетъ, въ ту пору и назначеніе выйдетъ, что пора, дескать, всѣмъ дружно начинать. Мы ужъ увидимъ, когда пора будетъ, и объявленіе сдѣлаемъ. Вѣдь у насъ по всѣмъ мѣстамъ свои люди есть, отовсюду намъ вѣсти приходятъ, какъ народъ да что народъ. Вотъ мы и знаемъ, что покуда еще нѣтъ приготовленности. А когда приготовленность будетъ, намъ тоже видно будетъ. Ну, тогда и пришлемъ такое объявленіе, что пора, люди русскіе, доброе дѣло начинать, что во всѣхъ мѣстахъ въ одну пору начнется доброе дѣло, потому что вездѣ тогда народъ готовъ и единодушіе въ немъ есть и одно мѣсто отъ другого не отстанетъ. Тогда и легко будетъ волю добыть. А до той поры готовься къ дѣлу, а самъ виду не показывай, что къ дѣлу подготовленіе у тебя идетъ»⁴⁾.

Не забудемъ, что воззваніе предполагало также подгото-

⁴⁾ Лемке, стр. 345—346.

вление «добраго дѣла» въ войскахъ, между солдатами—«солдаты—вѣдь онъ изъ мужиковъ, тоже вашъ братъ. А на солдаты все держится, всѣ нонѣшніе порядки. А солдату какая прибыль за нонѣшніе порядки стоять?»—и между «офицерами добрыми, потому что есть и такіе офицеры, и не мало такихъ офицеровъ. Такъ чтобы солдаты такихъ офицеровъ высматривали, которые надежны, что за народъ стоять будутъ, и такихъ офицеровъ пусть солдаты слушаются, какъ волю добыть».

Мы имѣемъ передъ собой такимъ образомъ широкую схему объединенія всѣхъ революціонныхъ силъ въ народѣ, всенароднаго заговора, такъ что «бланкизмъ» Чернышевскаго въ данномъ случаѣ перерослъ рамки традиціонной бланкистской формулы революціоннаго переворота съ его ударомъ въ центръ и сравнительно незначительнымъ числомъ участниковъ и превращался въ обширный планъ всероссійскаго возстанія, опирающагося на трудящіяся массы, захватывающаго войско и лишь управляемаго сознательными революціонерами, рекомендующими народу извѣстный маккиавелизмъ: «а до поры смиренный видъ имѣй... Мы ужъ увидимъ, когда пора будетъ, и объявление сдѣлаемъ». Здѣсь мысль Чернышевскаго предвосхищала повидимому не только періодъ самоотверженнаго хожденія въ народъ, не только слѣдовавшій за нимъ «политическій» раг excellence періодъ Народной Воли, но и тотъ синтезъ двухъ направлений, надъ которымъ неутомимо работаетъ современная русская жизнь...

Кстати, до сихъ поръ у насъ не имѣется почти свѣдѣній о томъ, какъ Чернышевскій относился уже въ качествѣ «военнопленнаго изъ лагеря русской революціи» къ послѣдующимъ кампаніямъ великой социалистической арміи Россіи. Ни воспоминанія г. Николаева, обрывающіяся на 1872 г., ни воспоминанія г. Оедорова, бывшаго секретаремъ и переписчикомъ у возвращеннаго изъ Сибири Николая Гавриловича, не позволяютъ читателю опредѣленно рѣшать этотъ очень любопытный вопросъ. Пробывъ столько лѣтъ въ ссылкѣ, онъ теперь повидимому если и относился скептически къ быстротѣ революціо-

низирования Россіи, то отнюдь не терялъ вѣры въ историческую необходимость такого процесса и старался всматриваться съ этой точки зрѣнія въ современную дѣйствительность.

Мнѣ припоминается въ этомъ смыслѣ одно характерное мѣсто изъ разговора Чернышевскаго съ г. Б., о которомъ я упомянулъ въ началѣ статьи.

Рѣчь зашла именно о тогдашнемъ положеніи Россіи. А тогдашнее положеніе характеризовалось торжествомъ ненавистной реакціи, принявшей особенно тяжелыя формы во второй половинѣ 80-хъ годовъ. Замирали послѣднія волны славнаго народовольческаго движенія, потрясавшаго старую Россію на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ. А въ экономической жизни ярко обнаружилось предреченное Щедринымъ пришествіе «Чумазаго». Теперь этотъ Чумазый, за стѣной покровительственныхъ тарифовъ, жадно грызъ тѣло великаго народа и выражалъ устами разныхъ биржевыхъ комитетовъ благодарности Вышнеградскому за облегченіе возможности такого пира, равно какъ желаніе дальнѣйшихъ «воспособленій» по этой части.

Естественно, что мой знакомый полюбопытствовалъ узнать взглядъ Чернышевскаго на эпоху, про которую трижды воистину можно было сказать словами поэта:

Бывали хуже времена,
Но не было подлѣй!..

Николай Гавриловичъ добродушно-лукаво посмотрѣлъ на собесѣдника и сказалъ:

— Что-жъ, теперь время трезвое. Будемъ учиться и мы смотрѣть на дѣла глазами трезвыхъ людей. По ихнему, то и хорошо обществу, что имъ выгодно. Натурально. Будемъ же теперь глядѣть на купца. Когда купецъ не только тарифовъ, но и правъ потребуетъ, и не съ благодарностью за прошлое, а грозя будущимъ, тогда наступитъ конецъ старымъ порядкомъ... А пока будемъ учиться и смотрѣть.

Это мѣсто въ разговорѣ не было простой бутадой. Очевидно, сильный аналитическій умъ Чернышевскаго искалъ точки опоры для идеаловъ и среди тогдашнихъ казавшихся невыносимыми условій...

Я былъ бы не искрененъ передъ читателемъ, если бы не сказалъ, что для меня самого нѣкоторыя стороны личности и даже теоретическихъ взглядовъ Чернышевскаго кажутся не совсѣмъ ясными, да порою и не вполне согласованными между собою (особенно, если сопоставлять мнѣнія о Николаѣ Гавриловичѣ его знакомыхъ). Но это и быть иначе не можетъ при той таинственности, которой окружалась у насъ личность Чернышевскаго, одно имя котораго повергало въ какой-то мистическій трепетъ официальную Россію. Я сдѣлалъ, что было въ силахъ, за неимѣніемъ лучшихъ документовъ, и сочту себя вполне удовлетвореннымъ, если успѣлъ этой статьей пробудить новый интересъ въ читателяхъ къ одному изъ самыхъ крупныхъ и оригинальныхъ умовъ Россіи XIX-го вѣка.

Н. К. Михайловскій, какъ публицистъ-гражданинъ¹⁾.

I.

Прошелъ уже годъ, какъ смерть сломала перо одного изъ величайшихъ сыновъ пореформенной Россіи. Теперь мы отошли на достаточное разстояніе отъ свѣжей могилы Михайловскаго, чтобы оцѣнить надлежащимъ образомъ значеніе покойнаго и, стало быть, тяжесть потери, понесенной русскою литературою и русскою общественною жизнью. Какъ чувствуется отсутствіе этого удивительно сильнаго писателя, чувствуется особенно теперь, когда нашей печати стало возможнымъ хоть отъ времени до времени издавать, не скажу вполне, но, по крайней мѣрѣ, полу-членораздѣльные звуки. Михайловскому было бы что сказать, а русской публикѣ было бы что послушать. Мысленно представляешь себѣ, какія сверкающія энергіей ума и чувства статьи вылились бы изъ-подъ пера

¹⁾ Этотъ этюдъ, написанный для сборника «На славномъ посту», изданнаго друзьями и почитателями Н. К. Михайловскаго въ честь 40-лѣтней дѣятельности философа-публициста, былъ вырѣзанъ оттуда цензурой и могъ появиться лишь въ январьской книжкѣ «Русскаго Богатства» за 1905 г., годъ спустя послѣ смерти Н. К. Михайловскаго. Я печатаю здѣсь статью въ этомъ послѣднемъ видѣ, т.-е. съ нѣкоторымъ измѣненіемъ въ началѣ, а особенно въ концѣ по сравненію съ первоначальной ея редакціей.

Михайловскаго въ настоящій моментъ, когда Россія переживаетъ безпримѣрные по историческому значенію дни, напоминающіе крымскую войну и Севастополь, когда «молчаніе твари на всѣхъ языкахъ» становится невозможнымъ даже въ нашей жалкой подневольной прессѣ...

Чѣмъ больше я вдумываюсь въ личность такъ не ко времени исчезнушаго писателя, тѣмъ сильнѣе она поражаетъ меня своею многосторонностью и вмѣстѣ единствомъ, дѣлающимъ изъ нея великолѣпный образчикъ человѣка въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ понималъ его хотя бы великій Шекспиръ:

His life was gentle; and the elements
So mix'd in him, that Nature might stand up,
And say to all the world—This was a man!

Да, «прекрасна была жизнь» Михайловскаго въ его вѣрномъ и неустанномъ служеніи идеѣ! И «въ немъ элементы были такъ гармонично смѣшаны», что «природа», создавшая эту разностороннюю и въ то же время цѣльную личность, «могла бы» съ гордостью «подняться и сказать всему свѣту: то былъ человѣкъ!» Этотъ писатель наложилъ яркую печать своей индивидуальности на всѣ сферы своей литературной дѣятельности: философскую, научную, критическую, публицистическую. И всѣ эти области были у него связаны одною идеею: культомъ человѣческой личности, всесторонне развивающейся внутри солидарнаго общества. Однако, само разнообразіе писательской дѣятельности покойнаго заставляетъ меня въ этой статьѣ остановиться лишь на одной изъ такихъ сферъ. Я рассматриваю здѣсь Михайловскаго исключительно какъ «публициста-гражданина», т.-е. оцѣниваю его значеніе для общественно-политической жизни страны.

Два соображенія побудили меня взяться за тему статьи. Во-первыхъ, самая важная вещь для общества людей это жить, т.-е. вырабатывать возможно совершенныя формы коллективнаго союза между членами, а затѣмъ уже философствовать, заниматься наукой, предаваться эстетическому творчеству,—словомъ, *primum vivere, deinde philosophari*. Во-вторыхъ, на

общественно-политической сторонѣ литературной дѣятельности Н. К. Михайловскаго останавливались, какъ мнѣ кажется, очень мало; а между тѣмъ часто ли встрѣчаются писатели, которыхъ бы болѣе проникало горячее трепетаніе жизни даже въ самыхъ отвлеченныхъ и философскихъ вопросахъ?

Задача моя будетъ выполнена, если читатель, кончивъ эту статью, раздѣлитъ мое чувство идейнаго энтузіазма къ человеку, который, не выходя изъ предѣловъ литературы, сумѣлъ всю свою жизнь служить высшимъ цѣлямъ своей родной страны и всего человѣчества.

Лично я обязанъ очень многимъ Н. К. Михайловскому: на его сочиненіяхъ я пробуждался къ сознательной жизни; и онъ былъ, на ряду съ Чернышевскимъ, Лавровымъ, Лассалемъ, Марксомъ, однимъ изъ немногихъ «добрыхъ учителей», которые оставили наиболѣе прочный слѣдъ на моемъ міровоззрѣніи въ періодъ его выработки. Немудрено, что и позже, когда подробности этого міровоззрѣнія выяснялись путемъ болѣе обширнаго чтенія и прямого наблюденія надъ жизнью, я много разъ возвращался мыслію къ человеку, бывшему однимъ изъ моихъ духовныхъ отцовъ. Въ особенности часто меня занималъ при этомъ вопросъ: что было бы съ Михайловскимъ и чѣмъ былъ бы онъ, если бы родился и дѣйствовалъ не въ Россіи, а въ Западной Европѣ? Всегда, конечно, есть много гипотетическаго въ варіаціяхъ не тему:

Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Афинахъ Периклесь!...

Но одно можно предположить съ значительною вѣроятностью: въ противоположность поговоркѣ о безрыбѣ и безлюдѣ, настоящій свой ростъ и освѣщеніе фигура Михайловскаго получила бы лишь при болѣе развитыхъ условіяхъ общественности, лишь тамъ, гдѣ пульсъ коллективной жизни бьется скорѣе и полнѣе, гдѣ больше личностей участвуютъ въ сознательномъ процессѣ социальнаго творчества. Человѣкъ, въ которомъ такъ тѣсно и оригинально сплелись интересы отвлеченной мысли и интересы непосредственной жизни, произвелъ бы неизмѣримо большее дѣйствіе на общечеловѣчскій

прогрессъ, живи онъ среди такой дѣйствительности, которая позволила бы ему вполне удовлетворять двумъ основнымъ потребностямъ своей натуры. Помните энергичныя и благородныя слова литературной исповѣди, къ которой Михайловскій былъ вынужденъ прибѣгнуть въ отвѣтъ на нападенія одного сердитаго, но слабосильнаго критика:

«Разно меня называютъ, но меня самого никогда не интересовало, къ какому я вѣдомству причисленъ. Тѣ небольшія достоинства, которыя признаетъ за мной критикъ, конечно, позволили бы мнѣ... успокоиться на области теоретической мысли. Къ этому, признаться, и тянуло меня часто; потребность теоретическаго творчества требовала себѣ удовлетворенія, и въ результатѣ являлось философское обобщеніе или социологическая теорема. Но тутъ же, иногда среди самаго процесса этой теоретической работы, привлекала меня къ себѣ своею яркою и шумною пестротой, всею своею плотью и кровью житейская практика сегоднешняго дня, и я бросалъ высоты теоріи, чтобы черезъ нѣсколько времени опять къ нимъ вернуться и опять бросить. Но все это росло изъ одного и того же корня, все это связалось такъ жизненно-тѣсно въ одно, можетъ быть, странное и неуклюжее цѣлое, что вотъ я не могу исполнить желаніе критика: «распредѣлить матеріалъ по предметамъ и исключить все лишнее»... Отсюда же и вся моя неумѣренность и неаккуратность»...¹⁾.

Я думаю, трудно срисовать съ самого себя болѣе вѣрный психологическій портретъ. Дѣйствительно, что оскорбляетъ, возмущаетъ, сбиваетъ съ толку умѣренныхъ и аккуратныхъ критиковъ Н. К. Михайловскаго, это сильный, какъ стихія, но и какъ стихія же непокорный потокъ мысли, въ которомъ борются, временно соединяются и снова вступаютъ въ борьбу за преобладаніе два одинаково могучія теченія: ясный океанъ теоретической мысли, заключающій въ своей безбрежной поверхности отраженіе всѣхъ явленій жизни и идеи,

¹⁾ См. стр. VI предисловія къ первому тому «Сочиненій» (изд. «Русскаго Богатства»).

и бурливо вливающаяся въ него исполинская рѣка дѣйствительности, которая прорѣзываетъ въ своемъ бѣгѣ все разнообразіе, всю толщу житейскихъ вопросовъ, задачъ и коллизій и катитъ свои волны, замутненныя кровью, грязью, слезами, потомъ живыхъ людей, но и скрашенныя цѣлыми островами, цѣлыми оазисами цвѣтовъ поэзіи и идеала. И вотъ, только что усядется на бумажномъ корабликѣ умѣренное и аккуратное существо и вооружится различными инструментами для опредѣленія цвѣта воды, глубины, содержанія соли въ океанѣ—вдругъ трахъ!—своевольный потокъ дѣйствительности ворвался, шумя, сверкая и гнѣвно пѣнясь, въ еще столь недавно спокойное море. И—смотришь—къ чорту корабликъ, ко дну инструменты, а самъ изслѣдователь барахтается въ волнахъ, проклиная ихъ капризный, неразмѣренный,—однимъ словомъ, «ненаучный» бѣгъ...

Впрочемъ, надо разсуждать по человѣчеству: если умѣренные и аккуратные критики грѣшатъ противъ основного требованія литературной оцѣнки, отказываясь прежде всего войти, проникнуть въ характеръ разбираемаго ума, то мы-то, наоборотъ, можемъ понять ихъ затрудненія и даже принять болѣе или менѣе близко къ сердцу ихъ горести, стараясь перенестись въ ихъ душу и понять ихъ психологію. Дѣйствительно, заключивъ себя въ рамки этого узкаго, но строго опредѣленнаго горизонта, мы можемъ признать, что литературная дѣятельность Михайловскаго носила бы болѣе законченный, болѣе стройный характеръ, если бы этотъ авторъ могъ отказаться отъ свойственной ему манеры обрабатывать одновременно, «впережку» и въ переплетъ, двѣ стороны «правды», правду-истину и правду-справедливость...¹⁾. Да, но

¹⁾ Я замѣтилъ какъ-то въ одномъ изъ писемъ къ Николаю Константиновичу, что близкое родство истины и справедливости схвачено уже въ античномъ мірѣ Присціаномъ, который прямо говоритъ, что римляне часто употребляютъ *justum* и *verum* одно вмѣсто другого, какъ греческіе аттики *δίκαιον* и *ἀληθές*. Въ отвѣтъ мнѣ Михайловскій обѣщалъ коснуться при случаѣ этого любопытнаго, по его мнѣнію, сближенія въ пріемахъ античнаго и русскаго мышленія. Но не привелъ въ исполненіе этого намѣренія.

какъ «мочь», когда по волѣ богини Необходимости Н. К. Михайловскому суждено было жить и дѣйствовать среди русскихъ общественныхъ условій, которыя фатально способствуютъ развитію у всякаго писателя-человѣка публицистической стороны и примѣшиванію ея къ самымъ, казалось бы, отвлеченнымъ вопросамъ мысли и требованіямъ эстетическаго творчества.

У Анатоля Леруа-Больё, рядомъ со многими поверхностными, плоско-либеральными и неумными замѣчаніями о Россіи, встрѣчаются, однако, вѣрныя мысли, подсказываемыя наблюдателю самымъ контрастомъ русской жизни и западно-европейской. Въ числѣ этихъ замѣчаній находится объясненіе публицистическаго, «политическаго» элемента, встрѣчаемаго столь часто въ русской беллетристикѣ: по мнѣнію Леруа-Больё иначе и быть не можетъ при нашихъ условіяхъ дѣйствительности, мѣшающихъ писателю проводить свои идеалы непосредственно въ жизнь. Но желаніе видѣть свои стремленія осуществленными въ процессѣ общественнаго творчества есть одно изъ законнѣйшихъ желаній всякаго живого человѣка:

Гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно,

и русскій писатель, часто даже безсознательно,—не говоря уже о сознательномъ планѣ,—гораздо охотнѣе, чѣмъ западно-европеецъ, превращаетъ своихъ героевъ и героинь (или, если то мыслитель, свои общія идеи) въ носителей своихъ политическихъ идеаловъ.

Какъ же могло быть иначе съ Михайловскимъ, у котораго работа мысли направлена по преимуществу въ сторону общественно-философскихъ построений? Тутъ-то будетъ какъ нельзя болѣе кстати нарисовать гипотетическій образъ нашего автора, родившагося и дѣйствующаго среди западно-европейскихъ условій. Настоящая сознательная жизнь Н. К. Михайловскаго начинается, судя по его литературнымъ воспоминаніямъ, съ первой половины шестидесятыхъ годовъ, къ концу которыхъ онъ вырабатываетъ въ общихъ чертахъ все свое міровоззрѣніе, отличающееся уже въ этотъ моментъ такою опредѣленностью,

что дальнѣйшая умственная дѣятельность поидетъ лишь на выясненіе второстепенныхъ частныхъ. Но этотъ періодъ характеризуется въ экономической жизни западной Европы небывалымъ расцвѣтомъ капиталистическаго производства, лихорадочной спекуляціей господствующихъ классовъ, которая была прервана лишь на время хлопчатобумажнымъ кризисомъ; а въ политической и идейной,—послѣ реакціи начала 50-хъ годовъ,—отмѣчается выработкой мѣщанскаго міросозерцанія на основѣ успѣховъ естествознанія и перенесенія теоріи борьбы за существованіе изъ міра зоологіи въ міръ социологіи, равно какъ половинчатой борьбой противъ клерикализма и цезаризма со стороны третьяго сословія, которое боится слишкомъ далеко зайти въ этой либеральной кампаніи, безпокойно вглядываясь въ смѣлые аллюры слѣдующаго за нимъ сословія. Между тѣмъ этотъ послѣдній классъ вноситъ больше сознанія въ свое міровоззрѣніе, заполняя болѣе реальнымъ пониманіемъ экономическихъ и политическихъ условій развитія въ общемъ вѣрныя, но чрезчуръ абстрактныя формулы социализма 40-хъ годовъ; а въ практической жизни впервые создаетъ организацію всемірнаго труда, не обращающаго вниманія на цвѣтъ пограничныхъ столбовъ и языкъ людей...

Какую крупную роль могъ бы сыграть при этихъ условіяхъ молодой Михайловскій, направляя могучій потокъ своей мысли по двумъ сообщающимся, но различнымъ, каналамъ, т.-е. и работая на поприщѣ абстрактной науки, и цѣлесообразно тратя свой общественный пылъ, свой гражданскій энтузіазмъ на аренѣ политической борьбы! Въ самомъ дѣлѣ, возьмите сферу отвлеченной науки: въ то время, какъ буржуазная интеллигенція,—въ лицѣ г-жъ Ройе, Густавовъ Іегеровъ, Геккелей, Спенсеровъ,—то съ какимъ-то свирѣпымъ кокетствомъ исповѣдуетъ евангеліе зоологической грызни между людьми, то, сыто улыбаясь, развиваетъ теорію объективнаго прогресса на основаніи безконечной «эволюціи» и «перехода отъ простаго къ сложному», теоретическіе выразители четвертаго сословія разрабатываютъ почти исключительно экономическіе и социально-политическіе вопросы и за малыми исключеніями не-

охотно и лишь мимоходомъ ступаютъ на почву естественныхъ наукъ. Но именно здѣсь-то,—здѣсь, говорю я,—Михайловскій поднялъ бы брошенную буржуазіей перчатку мнимой научности и въ рядѣ строго научныхъ, цѣльныхъ, исполненныхъ фактами и оригинальными идеями трудовъ развилъ бы то, что лишь обозначено глубоко прорѣзанными, но прерывающимися контурами въ его этюдахъ «Что такое прогрессъ», «Теорія Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность» и т. д.,—этюдахъ, испещренныхъ всевозможными жизненными отступлениями, экскурсіями, зигзагами нетерпѣливой, столь же теоретизирующей, столько практически-воинствующей мысли. Такимъ образомъ, уже въ шестидесятихъ годахъ четвертое сословіе Европы знало бы, что именно строгое естествознаніе осуждаетъ всѣ эти «эволюціи» и «прогрессы», увѣковѣчивающіе современное раздѣленіе труда между индивидуумами и классами, низводящіе живого человѣка на степень простой, бессмысленной гайки въ сложной машинѣ общественного организма. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно знало бы, что выставленная его истолкователемъ объективная формула общественного прогресса—цѣлостность личности, орудующей всѣми своими органами, и солидарность общества, сводящаго до минимума за-костенѣлое раздѣленіе труда между своими членами—есть и субъективная истина даннаго періода, «господствующая идея» четвертаго сословія, являющагося центромъ и фокусомъ современной жизни. Безсовѣстнымъ дарвинятамъ и «спенсеровымъ дѣтямъ», кокетничающимъ звѣриной борьбой между людьми яко бы необходимой кристаллизаціей занятій въ обществѣ, былъ бы зажатъ ротъ соціальныхъ авгуровъ и выщипаны крылья лже-науки именно въ той области, которую они избрали ареной своихъ буржуазныхъ подвиговъ. И центромъ жизненной философіи явилась бы современная человѣческая «индивидуальность», борющаяся въ союзѣ съ подобными себѣ за идеалы справедливѣйшаго общежитія и знающая, что въ концѣ концовъ ея нормальныя личныя стремленія найдутъ удовлетвореніе на объективной основѣ развитія технологіи, которая именно и дастъ возможность осуществиться «про-

грессу», этому,—согласно формулѣ Михайловскаго,—«постепенному приближенію къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми». Я, конечно, отказываюсь продолжать въ деталяхъ это гипотетическое построеніе научной дѣятельности Михайловскаго въ Европѣ; не могу, однако, не указать, какимъ цѣннымъ вкладомъ въ общественную психологію была бы хотя теорія «героевъ и толпы», лишь одинъ обломокъ которой—«подражаніе»—доставилъ такую извѣстность Тарду, какъ соціологу...

Но выработка научныхъ теорій, критически связывающихъ естественныя и общественныя науки, заняла бы лишь одну часть жизни Михайловскаго. Другая—и, вѣроятно, не меньшая—доля его существованія прошла бы въ кипучей политической дѣятельности, среди разнообразныхъ комбинацій которой онъ могъ бы удовлетворить всевозможнымъ вѣлѣніямъ того демона или, если хотите, того генія общественности, что своимъ властнымъ голосомъ заставлялъ писавшаго въ Россіи Михайловскаго прерывать строго-научную статью или изукрашать ее причудливыми арабесками гнѣва, любви, проклятій, благословеній, трактуя съ тѣмъ же идейнымъ пафосомъ о малѣйшемъ жизненномъ фактѣ, какъ и о носящемся въ воображеніи мыслителя грандіозномъ научномъ обобщеніи.

Перомъ и словомъ Михайловскій служилъ бы доблестно и неустанно той политической партіи, которую бы онъ сознательно избралъ во имя своего теоретическаго міровоззрѣнія и общественныхъ идеаловъ и въ рядахъ которой онъ занималъ бы исключительное мѣсто. Дѣло шло бы о приложеніи къ практикѣ тѣхъ могучихъ теоретическихъ идей, которыя въ строго научной формѣ мыслитель развилъ бы въ своихъ многочисленныхъ трудахъ, ибо много—увы!—«ненаписанныхъ книгъ» было бы тогда написано. Дѣло шло бы о томъ, чтобы ежедневно, ежечасно откликаться на запросы дѣйствительности и активно вмѣшиваться въ ея ходъ, защищать друга, нападать на врага, проводить политическую партію цѣлою, невредимой и все усиливающеюся среди подводныхъ камней, враждебныхъ

течений, обманныхъ знаковъ пиратовъ. Тотъ неподражаемый талантъ полемиста, который испытали на своихъ доспѣхахъ, а то и просто бокахъ, безчисленные теоретическіе и жизненные противники Михайловскаго, получилъ бы надлежащее приложеніе и развернулся бы во всей полнотѣ на широкой аренѣ политической дѣятельности, которая только и позволяетъ большому кораблю большое плаваніе. А то извольте воевать съ гг. Бурениными, Марковыми и Аверкіевыми, и при этомъ воевать не въ открытомъ бою, а гдѣ-то въ закоулкѣ, въ глухую осеннюю ночь, когда власть имѣющій бдительный стражъ, вмѣсто внѣпартійнаго безпристрастія, самъ отъ времени до времени подаетъ своей алебардой знакъ къ нападенію на васъ же разныхъ «средиземныхъ эскадръ» и одомашненныхъ жучекъ съ ошейниками «хозяина» или добровольно свирѣпствующихъ псовъ.

И, однако, воздадимъ благодарность богинѣ Необходимости, заставившей Михайловскаго родиться, жить и дѣйствовать не въ западной Европѣ, а въ Россіи: тѣмъ хуже было для него, но тѣмъ лучше для насъ! Пусть тѣсно становилось этому крупному человѣку въ дѣтскихъ латахъ, которые подавали поводъ умѣреннымъ и аккуратнымъ критикамъ совѣтовать задышавшемуся порою борцу за правду обрубить все, что не вмѣщалось въ доспѣхахъ ребенка. Намъ долго еще будутъ нужны большіе люди, страдающіе за насъ и поучающіе насъ... Посмотримъ же, чему училъ насъ не гипотетическій западноевропейскій, а конкретный русскій Михайловскій въ теченіе чуть не сорока пяти лѣтъ, т.-е. трижды того великаго въ жизни человѣка промежутка времени—*grande mortalis aevi spatium*,—о которомъ говоритъ Тацитъ. Какова была роль Михайловскаго, какъ публициста-гражданина?

Для удобства изложенія я сейчасъ же отвѣчу на этотъ вопросъ, а затѣмъ лишь перейду къ подробностямъ. Н. К. Михайловскій являлся все время чуткимъ выразителемъ, философскимъ обоснователемъ общественныхъ стремленій наиболее передовой, скажемъ просто революціонной части русской интеллигенціи, активно вліяющей на ходъ прогресса. При этомъ

онъ смотрѣлъ настолько шире и дальше всей этой группы, взятой въ ея цѣломъ, что въ данный моментъ та или другая фракція ея—иногда меньшая, иногда большая—считала своимъ долгомъ быть несогласной съ Михайловскимъ, ополчалась, по недоразумѣнію, противъ мыслителя-публициста и той группы, которую онъ ближе выражалъ; а потомъ, послѣ нѣсколькихъ эпизодовъ этой братоубійственной «вражды-войны», оказывалась присоединившейся къ авангарду прогрессивной арміи, уже подвергающейся новымъ «разногласіямъ». Я говорю это не съ чужого голоса, а по собственному опыту и личнымъ воспоминаніямъ: и мнѣ казалось, что въ тѣ или другія времена Михайловскій не выражалъ вполне моихъ желаній и идеаловъ; это же, хотя приурочивая къ инымъ временамъ, скажутъ другіе русскіе люди, принимавшіе живое участіе въ общественной жизни.

Не надо только забывать, что, если мыслитель-публицистъ выражалъ и философски обосновывалъ стремленія людей прогресса, то первоначальный толчокъ къ этой руководительной дѣятельности онъ получалъ именно отъ общаго настроенія слѣдующаго за нимъ авангарда. Н. К. Михайловскій былъ человѣкомъ, какъ и всѣ мы, и какъ таковой не творилъ изъ ничего; но, словно увеличительное стекло, онъ концентрировалъ разсѣянные въ обществѣ лучи сознанія и, словно увеличительное же стекло, зажигалъ... Хотя литература являлась, по русскимъ политическимъ условіямъ, исключительною и любимую цѣлью существованія Михайловскаго, силу и идейный огонь энтузіазма этотъ писатель бралъ у всѣхъ насъ, у меня, у васъ, дорогой читатель и единомышленникъ, у всякаго, кто стремится сознательно участвовать въ исторической жизни страны, а не метаться изъ стороны въ сторону и не вертѣться, какъ флюгеръ, по волѣ капризныхъ вѣтровъ Сѣвера, навѣвающихъ оттепели за мятелями и мятели за оттепелями. Корни литературы Михайловскаго лежатъ въ «жизни», или, употребляя извѣстную формулу, его «сознаніе» вытекаетъ изъ нашего «бытія». Поэтому я попрошу читателя, когда я буду говорить о той или другой полосѣ литературной дѣятельности публи-

циста-гражданина, постоянно держать въ умѣ, передъ своими духовными очами, картину соотвѣтствующаго общественнаго движенія, и не только картину вообще, а и ея детали, въ которыя я, къ сожалѣнію, не могу входить здѣсь. Пусть читатель и для своего собственнаго поученія обращаетъ вниманіе на эпоху написанія той или другой статьи Михайловскаго и мысленно заглядываетъ при этомъ въ мартирологъ русской общественной жизни. Говорю «мартирологъ» потому, что чело-вѣческая исторія вообще есть до сихъ поръ повѣсть о страданіяхъ безсмертной Идеи общественной солидарности, ищущей все болѣе и болѣе подходящихъ формъ и носителей для своего окончательнаго выраженія и торжества. А мы, русскіе, не только не составляемъ исключенія изъ этого общаго правила, какъ бы ни лгали на этотъ счетъ наши націоналисты, самобытники и торгоши «потребителескимъ» дурманомъ, но истязаемъ Идею скорпіонами тамъ, гдѣ другіе истязали ее лишь бичами...

II.

Мы во второй половинѣ 60-хъ годовъ... Тяжелая пора! «Аннибалова клятва» освобожденія крестьянъ перестала служить объединяющимъ знаменемъ для лучшихъ русскихъ людей, которые всего нѣсколько времени тому назадъ забывали изъ-за этого великаго общаго дѣла разъединявшіе ихъ сѣрые, розовые, красные оттѣнки общественно-политическихъ идеаловъ. Рабство пало,—слишкомъ поздно, по мнѣнію однихъ, слишкомъ рано, по мнѣнію другихъ. Связь съ рухнувшимъ крѣпостничествомъ была порвана,—не достаточно рѣзко, по мнѣнію первыхъ, черезчуръ радикально, по мнѣнію вторыхъ. Народная жизнь была переставлена съ фундамента подневольнаго труда на фундаментъ труда свободнаго. Но увы! какъ сильно была сужена при этомъ экономическая поверхность этого фундамента: идеаль передовыхъ людей—«освобожденіе крестьянъ съ землей»—перешелъ въ дѣйствительность съ такими урѣзками и искаженіями, что сейчасъ же началась

борьба между правымъ и лѣвымъ крыльями освободительной арміи за наилучшее устройство жизни освобожденнаго народа. Вмѣстѣ съ тѣмъ знамена различныхъ фракцій развернулись и стали враждебно другъ противъ друга, а оттѣнки общаго міровоззрѣнія каждой фракціи приобрѣли болѣе яркій и опредѣленный колоритъ: сѣрые такъ посѣрѣли, что ихъ знамя трудно было отличить отъ грязнаго знамени мракобѣсцевъ и крѣпостниковъ; розовые или перешли въ сѣрые, или приблизились къ краснымъ; красные вызвали своимъ рѣзкимъ цвѣтомъ бѣшенство защитниковъ стараго строя, и изъ устъ тѣхъ борцовъ лѣваго крыла, что были послабѣе, вырывалось нѣчто чрезвычайно похожее на припѣвъ баллады Виктора Гюго:

Enfants, voici les boeufs qui passent,
Cachez vos rouges tabliers!..

И поколебалось передовое знамя, и было сломано лѣвое крыло... Какъ только еще столь недавно цѣльная оппозиція распалась на враждовавшія части, сторонники рухнушаго режима подняли голову. Изъ экономически-соціальной посылки раскрѣпощенія народа и превращенія всего населенія въ людей не были сдѣланы обще-политическіе выводы. На новомъ гражданскомъ фундаментѣ стѣны были выведены едва до половины, а отсутствіе крыши, этого «увѣнчанія зданія», дѣлало тѣмъ чувствительнѣе переходы отъ еле-еле пригрѣвающихъ лучей высокаго, далекаго—и, охъ! какого своевольнаго солнца сѣвера къ сѣвернымъ же свирѣпымъ бурямъ и ливнямъ. Къ тому же историческая Немезида снова бросила въ кровавый семейный споръ близкихъ родственниковъ, «кичливаго Ляха» и «вѣрнаго Росса», и дала поводъ общественной реакціи перейти отъ окраинъ къ центру. А вскорѣ пронесся и по всей Россіи мрачный шквалъ взаимнаго недовѣрія, подозрѣній, обвиненій, вызывая «невѣрные звуки» даже у пѣвца народныхъ страданій. То было время, когда передовая интеллигенція, лишенная «общенароднаго дѣла», шла въ розсыпь и въ разбросъ, уныло дотягивая оставшуюся ей отъ блестящаго періода дѣятельности Писарева пѣсню о «личномъ совершен-

ствованіи молодыхъ русскихъ людей обоего пола»¹⁾), между тѣмъ какъ самъ вождь «мыслящаго пролетаріата» и «трезвыхъ реалистовъ» уже переживалъ новый нравственный кризисъ и, какъ кажется, задумывался надъ бесплодностью проповѣди того, если можно такъ выразиться, буржуазно-индивидуалистическаго радикализма, не имѣющаго широкихъ соціальныхъ цѣлей, который характеризуетъ «писаревщину». Говоря такъ, я нисколько не скрываю отъ себя того обстоятельства, что между людьми, считавшими себя тогда вѣрными послѣдователями Писарева, были такія активныя и самоотверженныя личности, къ міровоззрѣнію которыхъ можно приложить довольно удачно бутаду Владиміра Соловьева, характеризовавшаго взгляды подобныхъ «писаревцевъ» словами: «человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, а потому положимъ душу за други своя». Но иное дѣло настроеніе нѣкоторыхъ учениковъ Писарева. И иное дѣло міросозерцаніе «мыслящаго реализма», какъ оно формулировалось молодымъ, пламеннымъ публицистомъ въ первую половину 60-хъ годовъ...

Какъ бы то ни было, активная часть интеллигенціи переживала въ то время тяжелые дни, стараясь выработать соотвѣтствующее общественнымъ задачамъ эпохи міропониманіе, которое бы соединяло въ одно цѣлое мысль и жизнь, требованія строгой науки и проснувшееся снова всесильное стремленіе жить и умереть за нравственно-соціальный идеалъ. Для выполненія этой задачи надо было связать тогдашнюю работу мысли съ лучшими традиціями «Современника», продолжать операцію возвращенія къ дѣятельности Чернышевскаго и Добролюбова, но на основаніи увеличившейся и расширившейся потребности къ фактическому знанію, особенно въ области естественныхъ наукъ, которыя были тогда въ такомъ почетѣ среди «мыслящихъ реалистовъ». Эту задачу блистательно разрѣшилъ Н. К. Михайловскій, явившись въ 1869 г. передъ читателями съ совершенно опредѣленной и оригинальной фізіономіей писателя, столь же знакомаго съ выводами

¹⁾ Я беру нѣкоторыя выраженія у Михайловскаго (т. I, стр. 817—818)

естествознанія, сколько и съ результатами современныхъ общественныхъ наукъ, столь же жадно стремившагося къ познанію истины, сколько и къ воплощенію справедливости,—словомъ, удачно сочетавшаго требованія развитія личности и служенія общественной солидарности.

Къ этому-то періоду и можно отнести возникновеніе своеобразной и очень замѣчательной «русской соціологической школы», школы субъективизма, которая начинаетъ возбуждать теперь интересъ и на Западѣ, и къ которой тяготеютъ—правда, на половину безсознательно—выдающіеся ученые въ родѣ (нынѣ покойнаго) юриста Іеринга и историка Майера. Михайловскій раздѣляетъ заслугу и честь быть творцомъ ея наравнѣ съ другимъ русскимъ мыслителемъ Лавровымъ, авторомъ «Теоріи личности», «Историческихъ писемъ» и «Опыта исторіи мысли». Такъ смотрѣлъ, по крайней мѣрѣ, и самъ этотъ мыслитель, съ которымъ судьба поставила меня въ близкія отношенія, продолжавшіяся болѣе пятнадцати лѣтъ до самой смерти Лаврова, и который неоднократно говорилъ мнѣ, что онъ считаетъ Н. К. Михайловскаго хотя и очень родственнымъ по міровоззрѣнію писателемъ, но формулировавшимъ основанія соціологическаго субъективизма съ другой стороны и совершенно независимо отъ него.

Какъ бы то ни было, міровоззрѣніе Михайловскаго не только разрѣшило въ теоретической области проклятую, мучительную антимонію, надъ которой и у насъ, и на Западѣ «бились въ слезахъ столько головъ», антимонію между категоріей необходимаго и категоріей нравственнаго, между естественнымъ ходомъ вещей и идеаломъ. Оно, какъ нельзя болѣе, соотвѣтствовало и удовлетворяло настроенію и жаждѣ дѣятельности двухъ группъ тогдашней интеллигенціи, составившихъ прогрессивную армію эпохи: «кающихся дворянъ» (великолѣпный терминъ, изобрѣтенный Н. К. Михайловскимъ), вскормленныхъ крѣпостными хлѣбами или остатками продавшихся выкупныхъ свидѣтельствъ; и «разночинцевъ», составлявшихъ переходъ отъ имущихъ,—если не правящихъ—сословію къ великой массѣ трудящихся. До какой степени

передовой отрядъ интеллигенціи переживалъ именно такое настроеніе, можно заключить изъ поразительнаго успѣха, который выпалъ приблизительно въ это же время на долю одного небольшого, но замѣчательнаго сочиненія, принадлежащаго перу уже упомянутаго нами родственнаго по духу съ Михайловскимъ автора, а именно—«Историческихъ писемъ», гдѣ говорилось о безконечной «цѣнѣ прогресса», стоившаго столько труда, слезъ и лишеній массамъ, которыя поддерживаютъ зданіе современной цивилизациі, и о неоплатномъ долгѣ «критически мыслящей личности» передъ этими массами, передъ народомъ, которому можно, хоть нѣсколько помочь, лишь перерабатывая въ его интересахъ данныя формы «культуры»...

Послѣ двухъ-трехъ лѣтъ броженія, тяжелаго нравственнаго кризиса и строжайшаго пересмотра своего умственнаго и нравственнаго багажа, активная часть интеллигенціи поняла свою историческую роль: къ началу 70-хъ годовъ относится возникновеніе того могучаго движенія, которое лишь во второй половинѣ этого десятилѣтія получить названіе «народничества»—названіе, увы! вскорѣ захватанное столькими нечистыми руками и сдѣлавшееся въ слѣдующемъ десятилѣтіи знаменемъ реакціонной демагогіи, а еще позже, въ устахъ «Неистовыхъ Орландовъ» нашего марксизма 90-хъ годовъ, общей презрительной кличкой для всѣхъ тѣхъ, кто не раздѣлялъ всѣхъ членовъ ихъ символа вѣры. Но начало 70-хъ годовъ было героическимъ періодомъ упомянутаго идейнаго теченія. И кто былъ самомалѣйшей частицей въ его молодыхъ, веселыхъ и брызжущихъ жизнью волнахъ, надъ которыми горѣла яркая радуга идеала, тотъ, навѣрное, скажетъ, что оно являлось наиболѣе реальнымъ и насущнымъ движеніемъ тогдашней русской дѣйствительности. Интересы народа и борьба во имя ихъ съ врагами трудящихся массъ стали общимъ лозунгомъ передовой интеллигенціи. Къ тому времени уже выяснилось, что экономическое положеніе освобожденнаго народа далеко не соотвѣтствуетъ оптимистической картинѣ, которую развертывали передъ своей аудиторіей борзописцы и говоруны умѣ-

ренно-либеральнаго лагеря. Надъ сѣрымъ мужицкимъ царствомъ, кромѣ тяготѣвшихъ наслѣдій прошлаго гнета, стали нависать силы новой крѣпи, новой экономической эксплуатаціи. То былъ медовый мѣсяцъ нашего капиталистическаго «первоначальнаго накопленія», устроенія нашей капиталистической храмины съ верховъ, со средствъ перемѣщенія и обмѣна скудно производимыхъ, а то и просто гипотетическихъ продуктовъ. Проводились желѣзныя дороги, по большей части не тамъ и не такъ, какъ слѣдуетъ, но къ вѣщей выгодѣ концессионеровъ. Устраивались банки и кредитныя общества, и ходко циркулировали дутыя бумаги разныхъ учреждений, взывавшихъ къ правительству о воспособленіяхъ. Между старымъ и новымъ міромъ народной эксплуатаціи выростала, какъ посредствующее звено, цѣлая туча облѣпившихъ народъ кулаковъ и міроѣдовъ, роль которыхъ заключалась въ накопленіи, путемъ ростовщичества, первыхъ капиталовъ и подготовленіи ихъ къ будущему производству, а пока въ питаніи ими ажіотажа и спекуляціи. То было время, когда даже пресловутые сорокъ-сороковъ славянофильства явственно и оживленно выговаривали: жарь-грабь, жарь-грабь; когда тароватые ораторы воспѣвали на нескончаемыхъ обѣдахъ доблести Поляковыхъ и Губониныхъ; когда сіяніе «мѣднаго таза либерализма» (выраженіе Михайловскаго) лишь отражало сіяніе серебрянаго цѣлковика; когда негодующая муза Некрасова иронически взывала къ художнику:

Будешь въ славѣ равенъ Фидію,
Антокольскій! изваяй
«Гарантію» и «Субсидію»...

Передъ мыслящею частію русскаго общества возставалъ грозный вопросъ: должна ли Россія среди этого опьяненія буржуазнымъ либерализмомъ упустить единственный въ своемъ родѣ моментъ для того, чтобы рѣшительно сойти съ торнаго пути капиталистической эксплуатаціи, на которомъ она стояла уже одной ногой, и вступить на трудную, но все еще исторически возможную для нея дорогу народнаго производства? И, въ дополненіе къ этому «матеріальному» вопросу, возни-

калъ вопросъ «идеологическій»: какую цѣну въ этотъ моментъ для насъ могли имѣть требованія свободы и гражданственности, которыя столь часто повертывались на капиталистическомъ Западѣ противъ трудящагося большинства и на пользу привилегированныхъ классовъ?

Я не берусь здѣсь за разсмотрѣніе того, въ какой степени заднимъ числомъ и на разстояніи тридцати лѣтъ можно отыскать изъяны въ этихъ вопросахъ. Такъ во всякомъ случаѣ они формулировались въ сознаніи тогдашнихъ дѣятелей прогресса, дѣлая величайшую честь самостоятельности,—не употребляю опошленного слова «самобытности»,—ихъ мышленія и энергіи ихъ практической дѣятельности.

А теперь разверните статьи Михайловскаго, относящіяся къ началу 70-хъ годовъ, и вы увидите, что онъ являлся именно выразителемъ и обоснователемъ историческихъ идеаловъ тогдашней интеллигенціи; но опять таки съ нѣкоторыми поправками и ограниченіями, указывающими на то, что лично онъ смотрѣлъ шире и дальше, хотя, подъ давленіемъ общаго энтузіазма прогрессивнаго авангарда, и не считалъ удобнымъ, что называется, бить всегда по забралу своихъ же единомышленниковъ, уже завязавшихъ на всемъ фронтѣ борьбу во имя интересовъ народа.

Въ виду того, что изъ лагеря русскихъ марксистовъ раздавались нѣсколько лѣтъ тому назадъ упреки по адресу Михайловскаго, какъ фантазера-идеалиста, не понимающаго значенія матеріальныхъ потребностей, я начну съ слѣдующей цитаты, въ которой мыслитель-публицистъ не только борется противъ близорукихъ идеалистовъ, но даетъ одновременно, можно сказать, философію и поэзію матеріальныхъ потребностей, дѣлая ихъ отправнымъ пунктомъ для крупнаго общественнаго переустройства. Итакъ, слушайте, читатель (дѣло идетъ о Ренанѣ и его русскомъ сумбурномъ комментаторѣ, Н. Страховѣ):

«Ренанъ самъ не знаетъ, съ чѣмъ онъ борется. Въ числѣ атрибутовъ политическаго матеріализма онъ желаетъ видѣть стремленіе надѣлать всѣхъ и каждого матеріальнымъ благосо-

стояніемъ. Онъ полагаетъ, и г. Страховъ съ нимъ соглашается, что здѣсь играетъ главную роль *зависть*. Не говоря уже о томъ, что всѣ желающіе равномѣрнаго распредѣленія матеріальнаго благосостоянія желаютъ и равномѣрнаго распредѣленія духовныхъ благъ и наслажденій; не говоря о томъ, что странно называть завистью желаніе снабдить сосѣда тѣмъ, чего у него нѣтъ; не говоря обо всемъ этомъ,—развѣ желаніе надѣлать всѣхъ и каждого матеріальнымъ благосостояніемъ не способно составить идеаль, вызвать высокія чувства, великія мысли? Развѣ, наконецъ, мы не видимъ этого и въ дѣйствительности, хотя бы и въ слабомъ размѣрѣ?»¹⁾

Мало того, неоднократно Михайловскій развиваетъ и ту мысль, что извѣстная форма удовлетворенія матеріальныхъ потребностей, опредѣляющая общественное положеніе человѣка, его принадлежность къ той или другой социальной группѣ, классу, сословію, отражается на его воззрѣніяхъ, его умѣ, его характерѣ. А вѣдь это, согласитесь сами, та самая идея, которую—съ каррикатурными нерѣдко преувеличеніями—развиваютъ сторонники экономическаго матеріализма. Опять таки, послушайте:

«...Если для изслѣдователя есть хотя бы малѣйшая выгода въ существованіи того или другого факта, то приемы естествознанія (замѣтьте, читатель, даже естествознанія, а что ужъ говорить объ общественныхъ наукахъ! Н. Р.) всегда готовы къ его услугамъ. Нѣтъ даже надобности, чтобы выгода эта преслѣдовалась совершенно сознательно. Общественное положеніе человѣка всегда подсказываетъ ему рѣшеніе, выгодное если не прямо для него лично, то для той социальной группы, которой онъ состоитъ членомъ»²⁾.

Или еще вотъ:

«...Когда извѣстная доктрина, извѣстный строй мысли преломляются въ *общественной средѣ* извѣстнымъ образомъ, то

¹⁾ Соч., т. I, стр. 731—732 (статья напечатана въ сентябрѣ 1872 г.).

²⁾ Ibid., стр. 796 (изъ статьи, появившейся въ декабрѣ 1872 г.).

это фактъ соціологическій... Возьмемъ, напр., Геккеля или Спенсера. Это ученѣйшіе люди, вдобавокъ люди, которые въ частностяхъ не прочь щегольнуть демократизмомъ. Но они отстаиваютъ презрѣнную и при томъ ошибочную соціальную доктрину, и ученость ихъ въ этомъ направленіи служить только ко вреду общества. Почему они это дѣлаютъ? Потому, что ихъ положеніе въ обществѣ и ихъ обычныя занятія не даютъ имъ нужнаго въ такомъ дѣлѣ нравственнаго чутья. Чѣмъ ученѣе они, тѣмъ хуже, разъ остальные условія остаются нетронутыми¹⁾.

Совѣтую также читателю просмотрѣть поистинѣ замѣчательную и по мысли, и по разнообразію содержанія, и по формѣ статью Михайловскаго, появившуюся въ февралѣ 1874 г. и заключающую въ себѣ, между прочимъ, соціальное объясненіе типовъ людей сороковыхъ годовъ и пришедшаго затѣмъ въ литературу разночинца²⁾.

Вообще же можно сказать, что большинство текущихъ статей нашего публициста-гражданина въ этотъ періодъ посвящено самому жгучему вопросу тогдашней дѣйствительности, вопросу экономическому. Не разъ и не два, но постоянно, но придираясь къ каждому предлогу, но прибѣгая къ общественно-научной полемикѣ, къ беллетристической критикѣ, Михайловскій развиваетъ и положительно и отрицательно «идею труда». Вооруженный этимъ критеріемъ, онъ безстрашно обнажаетъ противорѣчивый характеръ цивилизаціи, неустанно указываетъ на противоположность «націи» и «народа», богатства первой

¹⁾ Ibid., стр. 805

²⁾ Т. II, особенно стр. 628—639. — Нѣсколько раньше, на стр. 617 авторъ говоритъ о коренной причинѣ перемѣны мнѣній людьми: «подобнаго коренного факта, коренной причины я всегда склоненъ искать въ социальныхъ отношеніяхъ». Я умышленно оставляю здѣсь въ сторонѣ научныя этюды Михайловскаго въ родѣ «Что такое прогрессъ», гдѣ настойчиво проводится мысль, что форма общественныхъ отношеній и, прежде всего, лежащая въ основѣ ихъ такая или иная форма коопераціи членовъ общества опредѣляютъ характеръ міровоззрѣнія данной эпохи. О Михайловскомъ, какъ о соціологѣ, должно говорить особо и вплотную.

и нищеты второго, пронзая острой иглой критики гордо надутые пустотой пузыри грошоваго либерализма и стяжательнаго славянофильства, пѣвшихъ гимны «національному пресуспѣянію отечества». Неоднократно же онъ ставитъ въ различныхъ—одна другой рельефнѣе, одна другой ярче—формахъ проклятый вопросъ о возможности для Россіи сознательно выбирать между двумя путями прогресса, капиталистическимъ и народнымъ. Помните, читатель, хотя бы объясненіе безсилія тогдашней либеральной печати изъ самаго характера ея идеаловъ:

«Колесо національнаго богатства только-что начинаетъ вертѣться въ Россіи и при томъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится въ рукахъ народа, т.-е. трудящихся классовъ. Значитъ, для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа. Въ третьихъ, отодраніе это должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отодранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе—вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при нынѣшнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія? И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума»¹⁾.

Но интересно, что, если не прямо, то косвенно, а порою и довольно опредѣленно, Н. К. Михайловскій вводилъ уже въ это время элементъ «политики» въ наше міровоззрѣніе, черезчуръ исключительно пропитанное вѣрой въ народную «эконо-

¹⁾ Т. I, стр. 837 (изъ статьи отъ января 1873 г.).

мику», естественная игра которой въ нѣдрахъ трудящихся массъ, благодаря—самое большее—уясняющему или подталкивающему процессу съ нашей стороны, должна была, по нашему мнѣнію, вывести Россію на путь заправскаго народнаго производства. Такъ въ одномъ мѣстѣ, рисуя двѣ перспективы историческихъ возможностей, раскрывавшихся въ то время передъ Россіей, авторъ говоритъ о «преніяхъ», о борьбѣ между «двумя діаметрально противоположными политическими программами» ¹⁾. Въ другомъ мѣстѣ онъ ставитъ передъ «публицистами», т.-е., въ сущности, вообще передъ людьми, желающими сознательно участвовать въ исторической жизни страны, требованіе цѣлесообразно организованной дѣятельности въ пользу народа, дѣятельности, которая не ограничивается одной вѣрой въ народную экономику, но пытается создать благоприятное послѣдней теченіе въ сферѣ государственной политики:

«...Представимъ себѣ, что публицисты наши завтра измѣнятъ свою точку зрѣнія и объявятъ себя служителями непосредственно народа, только народа. Представимъ себѣ, что они не только не провоцируютъ учрежденія акціонерныхъ компаній, развитія отечественной промышленности, кредита и пр., но постоянно обращаютъ вниманіе общества на оборотную сторону этихъ явленій. Представимъ себѣ далѣе, что публицисты вырабатываютъ широкую систему спеціально-народнаго кредита; что вмѣсто всевозможныхъ субсидій, гарантій и привилегій частнымъ предпринимателямъ и обществамъ они требуютъ государственной помощи для сохраненія въ народѣ имѣющихся уже у него орудій производства и приобрѣтенія новыхъ; что нормальнымъ сочетаніемъ экономическихъ силъ они признаютъ не акціонерныя компаніи, а производительныя артели; что успѣховъ земледѣлія они не отдѣляютъ отъ условій благоприятнаго положенія земледѣльца, свободы труда—отъ самостоятельности рабочаго и проч., и проч. Что будетъ, если всѣ эти домогательства публицистовъ осуществляются или приближаются къ осуществленію?» ²⁾.

¹⁾ Т. I, стр. 807 (декабрь 1872 г.).

²⁾ Ibid., стр. 834 (январь 1873 г.).

Авторъ отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что тогда, молъ, будутъ развиваться и производство, и потребленіе, но не въ ущербъ, а благодаря благосостоянію народа. И, однако, въ данномъ случаѣ интересенъ не самъ этотъ отвѣтъ, а тотъ фектъ, что публицистъ-гражданинъ видѣлъ въ «государственной помощи», въ организованной дѣятельности на пользу народа надлежащій путь для осуществленія народныхъ идеаловъ въ то время, какъ мы во имя этихъ идеаловъ были, если можно такъ выразиться, рѣшительными «аполитиками». Я не хочу, впрочемъ, перелицовывать Михайловскаго начала 70-хъ годовъ въ прямолинейнаго выразителя взглядовъ, къ которымъ лучшая часть русской интеллигенціи придетъ лишь въ самомъ концѣ десятилѣтія. Онъ былъ бы не человѣкомъ, а ангеломъ или звѣремъ,—простите подвернувшееся мнѣ подъ перо выраженіе Паскаля,—если бы не раздѣлялъ тогда хотя отчасти нашихъ молодыхъ народническихъ иллюзій. Наоборотъ, оцѣнивая съ точки зрѣнія «идеи труда» различныя драгоцѣнныя вещи въ родѣ науки, свободы, Михайловскій, подобно всѣмъ намъ, опасался, какъ бы достиженіе этихъ благъ цивилизаціи лишь привилегированными классами и даже пропитанной любовью къ народу интеллигенціей не усилило классоваго характера цивилизаціи, не увеличило разстоянія между нами и трудящимися массами, не легло лишнимъ гнетомъ на плечи мужика. Яркая фраза «пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же»,—фраза, которою въ началѣ 80-хъ годовъ Михайловскій характеризуетъ крайнее настроеніе интеллигенціи 70-хъ годовъ и надъ которой начнутъ точить зубы разные пошляки,—эта фраза въ той или иной формѣ являлась однимъ изъ опредѣляющихъ элементовъ нашей дѣятельности въ то, казалось бы, и недавнее, и далекое время. Но у самого истолкователя нашихъ думъ и стремленій колючесть этой фразы, жгучесть этого жертвеннаго настроенія завертывалась въ ограниченія, условія и смягченія, которыя рѣшительно дѣлають честь политическому чутью писавшаго. Я позволю себѣ процитировать одно изъ наиболѣе характерныхъ мѣстъ его полемики противъ Достоевскаго по поводу «Бѣсовъ» и «Дневника писателя»:

«...Мы поняли, что сознание общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря вѣковымъ страданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноваты яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ... Мы пришли къ мысли, что мы—должники народа. Можетъ быть, такого параграфа и нѣтъ въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣтъ, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности, хотъ, можетъ быть, не всегда сознательно. Мы можемъ спорить о размѣрахъ долга, о способахъ его погашенія, но долгъ лежитъ на нашей совѣсти, и мы его отдать желаемъ. Вы смѣтаетесь надъ нелѣпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности социальнихъ реформъ передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли, что она значитъ? Для «общечеловѣка», для *citoyen*'а, для человѣка, вкусившаго плодовъ общечеловѣческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнѣе свободы политической, свободы совѣсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей (политическихъ сходовъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если всѣ связанныя съ этою свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвѣтка,—мы не хотимъ этихъ правъ и этой свободы! Да будутъ они прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности расчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ! А, г. Достоевскій, вы сами *citoyen*, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало для нея самой и для себя самого. Вы, значитъ, знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе легкихъ шаговъ къ ней—есть нѣкоторый подвигъ искупительнаго страданія...» ¹⁾.

¹⁾ Т. I, стр. 868—869 (февраль 1873 г.).

Итакъ, наше презрѣніе къ общественной «политикѣ» во имя народной «экономики» смягчается у Н. К. Михайловскаго всякій разъ ограниченіемъ, выясненіемъ задачъ момента, вздохомъ искренняго сожалѣнія. Станетъ ли онъ опредѣлять условія, способствующія у насъ развитію стремленій къ рѣшенію «соціального вопроса», и въ числѣ ихъ онъ не забудетъ указать на то обстоятельство, что «широкая и заманчивая область собственно политическихъ, конституціонныхъ вопросовъ, поглощающая столько литературныхъ силъ въ Европѣ, для насъ заперта на замокъ, ключъ отъ котораго заброшенъ чуть не за тридевять земель, въ тридесатое царство» ¹⁾.

Придется ли ему констатировать, что «самая видная сторона нынѣшней общественной жизни есть несомнѣнно экономическая. Сюда устремлены всѣ помысленія и аппетиты. Поэтому отношеніе литературы къ экономическимъ вопросамъ уже опредѣляетъ до извѣстной степени общую фیزیономію литературы» ²⁾, онъ тутъ же отмѣчаетъ зависимость преобладающей «струны» въ литературѣ «отъ разныхъ обстоятельствъ, опредѣляемыхъ самой жизнью», и не исключаетъ изъ своего сужденія той гипотезы, что «такою струною въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ могутъ стать политическіе вопросы» ³⁾.

Противопоставить ли онъ, по поводу извѣстной иронической параллели Успенскаго (въ «Больной совѣсти») между западомъ и Россіей, наши «зародышевые», безсознательныя добродѣтели яркимъ общественнымъ проявленіямъ добра и зла въ Европѣ, нашу бюрократическую цензуру плутократической европейской, нашего солдата Кудиныча, который машинально перебилъ на своемъ вѣку много народу, лично очень ему симпатичнаго, версальскому судѣ, который сознательно пригибаетъ право, чтобы раздавить своего общественнаго врага, коммунара,—и это противопоставленіе нисколько не мѣшаетъ ясной логикѣ и общественному чутью публициста-гражданина

¹⁾ Ibid., стр. 53 (октябрь 1872 г.).

²⁾ Ibid., стр. 838 (январь 1873 г.).

³⁾ Ibid., нѣсколько выше.

вскрыть недоразумѣніе и предостеречь читателя противъ идеализаціи домашнихъ незлобивыхъ, но и невѣжественныхъ по-темокъ:

«Дѣло въ томъ, что и Прудонъ, и Вильмесанъ, и фигурирующие въ «Запискахъ» Успенскаго версальскій несправедливый судія и свирѣпый берлинскій побѣдитель,—всѣ эти люди живутъ по совѣсти и шибко живутъ: каково бы ни было дѣло, которому они отдались, но они ему отдались цѣликомъ, совѣстью не болѣютъ, ненавидятъ сильно и сильно любятъ, смѣло заявляютъ, чего они хотятъ, и дѣлаютъ только то, во что вѣрятъ, что хотятъ дѣлать. Въ Европѣ дѣйствуютъ и величіе и подлость, и скромность и наглость, и самоотверженіе и эгоизмъ, и продажность и неподкупность, но каждый шагъ тамъ во всякомъ случаѣ сознательнъ. А у насъ?.. Хорошо, конечно, что Кудинычъ добрый, и не хорошо, что версальскій несправедливый судья—злой. Но хорошо ли, что Кудинычъ перебилъ ни въ чемъ неповиннаго, съ его, Кудиныча, точки зрѣнія, черкеса? И такъ ли ужъ дурно то, что версальскій судія бьетъ коммунара, который есть въ его глазахъ дикій звѣрь и врагъ человѣческаго рода? Вообще, что лучше, или пожалуй, что хуже,—врага-ли человѣческаго рода бить, или чудеснѣйшаго человѣка, какого другого не сыщешь?»¹⁾

Вдумайтесь въ эти разсужденія, въ эту полушутливую, полутрагическую дилемму, и вы подивитесь той смѣлости, съ какою Михайловскій сводилъ на очную ставку западную классовую цивилизацію и нашу зародышевую, и чуть-чуть не отдавалъ преимущества первой, отдавалъ, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ опредѣленности и познанія добра и зла, въ то самое время, какъ большинство изъ насъ, въ пикъ буржуазности запада, черезчуръ подслащивало и подкрашивало социальную сторону народныхъ русскихъ инстинктовъ.

Но особенно въ срединѣ 70-хъ годовъ Н. К. Михайловскій сослужилъ замѣчательную службу общественному движенію, взявъ надлежащую среднюю ноту между двумя враждебными

теченіями, выработавшимися среди народничества. Собственно говоря, эти два теченія существовали и въ періодъ первоначальнаго молодого энтузіазма, направленнаго въ сторону народа; но на этомъ идейномъ пиру ихъ разница не особенно замѣчалась и по большей части могла объясняться различіемъ въ темпераментахъ. А когда за пиромъ наступило похмѣлье, пора подведенія итоговъ, подсчитыванія успѣховъ и неудачъ,—словомъ, критическій періодъ, слѣдующій, какъ полагается по штату, за органическимъ,—о, тогда большія или меньшія различія въ тактикѣ и самая психологія темпераментовъ вылились въ два особые міровоззрѣнія, объединенныя между собою лишь не изсякавшею струею любви къ народу. Одна часть активной интеллигенціи дѣйствовала во имя «интересовъ» народа, но къ значительной части его «мнѣній»¹⁾—можетъ быть, за исключеніемъ нѣкоторыхъ экономическихъ традицій, какъ-то общины, артели и т. п.—относилась отрицательно. Она старалась распространять свои, основанные на «знаніи», идеалы среди трудящихся массъ и постепенно замѣнить ими мнѣнія этой среды. Катясь по наклонной плоскости постепенскаго распространенія этихъ идеаловъ, она скоро изъ группы общественныхъ дѣятелей превратилась въ группу социальныхъ педагоговъ; перестала удовлетворять жаждѣ дѣятельности наиболѣе живыхъ сторонниковъ, оскудѣла, изсякла и выродилась въ неподвижное доктринерство, съ которымъ долженъ былъ, наконецъ, порвать какъ разъ одинъ изъ главнѣйшихъ инициаторовъ этого направленія.

Другая часть активной интеллигенціи ставила своей программой дѣятельность не только во имя «интересовъ», но и во имя «мнѣній» народа, беря и тѣ, и другія исходной точкой своего участія въ общественномъ прогрессѣ. Но такъ какъ значительная доля мнѣній, воззрѣній, стремленій народа порождала ее своею неосмысленностью, а порою чудовищностью, то эта горячая и нетерпѣливая интеллигенція принуждена была,

¹⁾ Терминологія эпохи, слѣдъ которой остался въ тогдашней печати, и которая встрѣчается и въ сочиненіяхъ Михайловскаго.

¹⁾ Т. I, стр. 895—897, passim (мартъ 1873 г.).

для поддержанія своего энтузіазма къ народу въ его цѣломъ, усиленно предаваться процессу идеализаціи народнаго міровоззрѣнія, стараясь, насколько возможно, приблизить его по содержанию и по цвѣту къ своимъ сознательнымъ идеаламъ. Неумышленно, конечно, производилась эта операція растягиванія, расширенія или, наоборотъ, обрубанія и вообще подкрашиванія. Но въ результатѣ пылкая интеллигенція добилась таки совпаденія—въ своей, разумѣется, горячей головѣ и нетерпѣливомъ сердцѣ—собственныхъ идеаловъ съ мнѣніями народа, и не только въ сферѣ экономической, но и въ сферахъ философской, общественной и т. п. И чего-чего только мы ни идеализировали въ то время: деревенскіе сходы, на которыхъ, молъ, нѣтъ ни подавляющаго большинства, ни подавляемаго меньшинства, а царитъ трогательное единодушіе, до котораго, какъ до звѣзды небесной, далеко всякимъ буржуазнымъ парламентаризмамъ; вольные казацкіе круги, которые въ нашемъ воображеніи охватывали истинно-демократическіе принципы прошедшаго, настоящаго и будущаго и затыкали за поясъ даже «анархію» Прудона; русскій расколъ, приверженцевъ котораго мы цѣликомъ перекрашивали въ нашихъ братьевъ по раціонализму и свободной критикѣ, насчитывая 13 милліоновъ—такъ и говорилось: три-на-дцать милліоновъ!—независимыхъ мыслителей; «трудовое начало», которое, молъ, проникаетъ всю психологію народа. Словомъ, всѣ явленія народной жизни были для насъ предметомъ упоительной фантазмагоріи, заволакивавшей своимъ радужнымъ туманомъ различія между нашими идеалами и народными идолами. Для насъ народъ былъ настоящимъ гениемъ по части соціального творчества; а извѣстно, что

Геній, не учась,

Ученъ, коль придетъ въ восхищенье!..

Не учить, значитъ, должны мы были народъ, а приводить его въ состояніе «восхищенія», за которымъ должно было естественно послѣдовать и дѣйствіе. И тутъ былъ единственный пунктъ, гдѣ грубая и жесткая дѣйствительность разрывала нашу золотую фантазмагорію и заставляла насъ дѣлать

уступки реальному міру. Народъ не приходилъ въ состояніе восхищенія: ему не доставало,—думали мы,—для этого именно лишь инициативы, «активности». Мы должны были, значитъ, развить въ немъ это чувство активности, помогая ему постоянно «упражняться» въ немъ, создавая предлоги для такого упражненія и вызывая въ немъ сознаніе постоянно растущей собственной силы. И мы торжественно ссылались на такую-то страницу сочиненій Спенсера, страницу, на которой находили слѣдующую не особенно мудреную мысль: «мускуль отъ упражненія дѣлается сильнѣе, и въ мышечномъ ощущеніи элементъ усталости играетъ все меньшую и меньшую роль», или что-то въ родѣ этого. Народъ, привыкшій упражнять свою психологію по Спенсеру, сдѣлается, наконецъ, активнымъ дѣятелемъ прогресса и разомъ, однимъ могучимъ напоромъ на несправедливый строй, осуществитъ то «обобществленіе труда», которое на западѣ будетъ вызвано лишь діалектическимъ процессомъ капитализма,—и опять цитата изъ заграничной книги, на сей разъ «Капитала» Маркса...

Пусть читатель не подумаетъ, что я умышленно занимаюсь каррикатурами на прошлое и предаюсь осмѣянію такъ называемыхъ «увлеченій молодости». Во-первыхъ, съ этимъ прошлымъ я связанъ кровными узами глубокой и непоколебимой вѣры въ торжество общечеловѣческой солидарности, и сомнѣнію для меня могутъ подлежать лишь приемы, лишь тактика дѣятельности, ведущей къ этому торжеству. Во-вторыхъ, не злорадный смѣхъ вызываютъ во мнѣ эти «увлеченія», а—немножко стыдно признаться—неудержимо набѣгающія слезы идейнаго энтузіазма, когда я вспоминаю, какое мужественное сердце билось въ юношеской, почти дѣтской груди моихъ сверстниковъ. Какъ бы то ни было, наши «ученія» цитаты въ спорахъ о программѣ были, можно сказать, единственною умственною роскошью, которую мы позволяли себѣ въ дѣятельности во имя «интересовъ» и «мнѣній» народа. Въ пикъ группъ, названной мною соціальными педагогами, мы очень недовѣрчиво относились къ «наукѣ» и главную роль въ общественномъ прогрессѣ приписывали не «уму», а «чувству» актив-

ности. Педантичное и безталанное эхо этого настроенія,—этой—какъ бы сказать?—соціологической вѣры читатель можетъ найти въ тогдашнихъ статьяхъ (въ «Недѣлѣ») Юзова-Каблица, который, благодаря своему преклонному—какъ казалось намъ тогда—возрасту (ему было на видъ въ то время лѣтъ около 35) и терпѣливому, чисто начетчицкому корпѣнію надъ русскими переводами Спенсера, Милля, Бэна, а также трудолюбивому выписыванію цитатъ изъ отечественныхъ сочиненій по расколу, народнымъ движеніямъ и т. п., игралъ среди насъ роль авторитетнаго старшаго брата, совѣтника, руководителя, а главное, печатнаго выразителя нашихъ воззрѣній.

И вотъ между этими-то двумя группами передовой интеллигенціи—сторонниками пропаганды знаній и развивателями чувства активности—и сталъ во второй половинѣ 70-хъ годовъ Михайловскій, сталъ, вооруженный настоящею «наукою» и въ то же время понимающій общественное значеніе «чувства», и попытался примирить односторонности обоихъ направленій, призывая обѣ группы къ болѣе трезвому истолкованію тогдашнихъ задачъ. Въ какой степени была важна эта полоса литературной дѣятельности Михайловскаго, видно изъ самой судьбы, постигшей не малую долю приверженцевъ того и другого прогрессивнаго міровоззрѣнія. Большинство руководителей первой группы—за исключеніемъ наиболѣе сильнаго теоретика ея—превратилось въ скоромъ времени въ самыхъ заурядныхъ небокопителей и въ погонѣ за общественнымъ положеніемъ и «жирными говьядами» побросали свой прежній умственный и нравственный багажъ. Да и въ средѣ сторонниковъ «активности» неудачи въ области упражненія чувства вызывали порою очень сильное разочарованіе, особенно у слабыхъ душой. Я помню, какъ послѣ одной такой очень ужъ наглядной и обидной неудачи одинъ изъ наиболѣе пылкихъ партизановъ «чувства»—изящная, артистическая, но кисельная натура—изобразилъ свое настроеніе въ красивомъ, но крайне уныломъ и по существу фальшивомъ стихотвореніи:

Были дни у насъ шумные, бурные,
Звуки чудные всюду неслись,—

Колыхаясь, знамена мишурная
Надъ ребячьей толпою взвились...
И иного не слышалось голоса,
И другихъ не кричалось словъ:
«Въ Днѣпръ Перуна, Стрибога и Волоса,
Въ воду старыхъ отжившихъ боговъ!»..

Но на мѣсто разбитаго идола
Не пришелъ воскрешающій Богъ...

Съ другой стороны, я попрошу читателя припомнить, что тотъ самый Юзовъ-Каблицъ, который во второй половинѣ 70-хъ годовъ вырабатывалъ свое мозаичное, но очень бунтарское соціологическое міровоззрѣніе, скоро передвинулся съ своей идеализаціей народа такъ далеко вправо, что въ 80-хъ годахъ, самъ того не замѣчая, очутился среди народнической демагогии. Вотъ какіе подводные камни лежали, и не особенно глубоко, въ руслѣ того теченія, которое сливало въ одно «интересы» и «мнѣнія» народа, и во имя якобы безошибочнаго соціальнаго инстинкта, во имя «упражненія чувства», пренебрегало «умомъ» и «критическою мыслію».

Въ русской печати едва-ли не первымъ явственнымъ выраженіемъ идеализаціи народа,—выраженіемъ, которое было бы несправедливо смѣшивать съ простымъ славянофильствомъ,—явилась въ то время «Недѣля» и именно въ статьяхъ П. Ч. во второй половинѣ 1875 г. Самъ П. Ч.—тогда, если не ошибаюсь, очень почтенный земецъ изъ молодыхъ,—былъ чуждъ воинственныхъ элементовъ міровоззрѣнія той интеллигенціи, которая шла въ сторону упражненія чувства и уже стала вырабатывать въ эту пору соответствующую доктрину. Но съ П. Ч. упомянутую интеллигенцію сближали принятіе къ свѣдѣнію и исполненію не только интересовъ, но и мнѣній народа и рѣшительное предпочтеніе деревни городу. И, однако, именно противъ этой огульной идеализаціи, горѣвшей яркимъ пламенемъ въ душѣ наиболѣе передовой интеллигенціи того времени, не побоялся возстать Михайловскій, обращаясь черезъ голову П. Ч. къ молодой, энергичной и страстной, но увлеченной на скользкій путь аудиторіи. Вспомните горячія

строки, съ которыми къ намъ обращался публицистъ-гражданинъ и которая въ извѣстной части авангарда движенія вызывали временно не только разочарованіе въ любимомъ писателѣ, но прямой гнѣвъ, чуть не идейную ненависть къ предостерегавшему:

«Можетъ быть, г. П. Ч., основательно изучивъ «русскую жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями», убѣдился, что она не выражаетъ ничего иного, какъ принципъ солидарности и нравственной связи? Въ такомъ случаѣ ему жить просто, и я ему глубоко завидую, какъ вообще ученымъ людямъ. Я—профанъ и тутъ. У меня на столѣ стоитъ бюстъ Бѣлинскаго, который мнѣ очень дорогъ, вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провелъ много ночей. Если въ мою комнату вломится русская жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями и разобьетъ бюстъ Бѣлинскаго и сожжетъ мои книги, я не покорюсь и людямъ деревни; я буду драться, если у меня, разумеется, не будутъ связаны руки. И если бы даже меня осѣнили духъ величайшей кротости и самоотверженія, я все-таки сказалъ бы, по малой мѣрѣ: прости имъ Боже истины и справедливости, они не знаютъ, что творятъ! Я все-таки, значить, протестовалъ бы. Я и самъ сумѣю разбить бюстъ Бѣлинскаго и сжечь книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь, но, пока они мнѣ дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорогое, вопреки, если случится, ихъ бытовымъ особенностямъ¹⁾).

Припомните также ту многозначительную программу, которую Михайловскій противопоставлялъ нашему крайнему народничеству:

«Безспорно, что у мужика есть чему поучиться, но есть и намъ что ему передать. И только изъ взаимодѣйствія его и нашего можетъ возникнуть вождельный новый періодъ русской исторіи. Голосъ деревни слишкомъ часто противорѣчитъ

ея собственнымъ интересамъ, и задача состоитъ въ томъ, чтобы искренно и честно, признавъ интересы народа своею цѣлью, сохранить въ деревнѣ, какъ она есть, только то, что дѣйствительно этимъ интересамъ соотвѣтствуетъ. Дѣло идетъ объ обмѣнѣ между нами и народомъ, обмѣнѣ честномъ, безъ шулерства и заднихъ мыслей, въ результатѣ котораго получается равенство обмѣненныхъ цѣнностей. О, если бы я могъ утонуть, расплыться въ этой сѣрой, грубой массѣ народа, утонуть безповоротно, но сохранивъ тотъ свѣточъ истины и идеала, какой мнѣ удалось добыть насчетъ того же народа! О, если бы и вы всѣ, читатели, пришли къ такому же рѣшенію, особенно у кого свѣточъ горитъ ярче моего и вообще свѣтло и безъ копоти... Какая бы это вышла иллюминація и какой великій историческій праздникъ она отмѣтила бы собою! Нѣтъ равнаго ему въ исторіи...»¹⁾).

Минуя рядъ статей, въ которыхъ въ теченіе цѣлаго 1876 г. Михайловскій боролся съ идеализаціей деревни и «провинцій», нравственного элемента и соціальнаго «чувства», доставшагося яко бы на долю чуть не одного только мужика, я перехожу къ той группѣ статей 1877—1878 г., которая была направлена противъ односторонности міровоззрѣнія, основаннаго исключительно на упражненіи активности и которая возбудила опять таки рѣзкое неудовольствіе, какъ среди крайнихъ выразителей этого теченія, такъ и среди умиравшей уже фракціи соціальныхъ педагоговъ,—тамъ и здѣсь по совершенно противоположнымъ, конечно, причинамъ. Скромное и слегка маниловствующее «чувство» П. Ч. превратилось въ бунтарское «чувство» Юзова и противопоставило себя «уму» не только какъ тактическій пріемъ, но и какъ исключительный источникъ общественнаго міровоззрѣнія. И вотъ, когда Михайловскій рѣшилъ поднять противъ этой односторонности знамя цѣльнаго двуединого человѣка, вооруженнаго нравственнымъ стремленіемъ къ добру, но и критической оцѣнкой этого добра, съ крайнихъ крыльевъ передовой интеллигенціи на него

¹⁾ Т. III, стр. 692 («Записки профана», декабрь, 1875 г.).

¹⁾ Т. III, стр. 707.

посыпались упреки противоположного характера: сторонники активности негодовали за то, что онъ недостаточно сокрушилъ «умъ» во славу «чувства»; социальные педагоги укоряли, наоборотъ, мыслителя за то, что онъ призналъ правомѣрность чувства на ряду съ умомъ.

Я разумѣю, во-первыхъ, его страстно читавшіяся «Письма о правдѣ и неправдѣ», гдѣ онъ призывалъ насъ къ одновременному служенію правдѣ-истинѣ и правдѣ-справедливости, и гдѣ онъ выставилъ верховнымъ критеріемъ идейной жизни и дѣятельности очень важный для того исторического момента принципъ «личности». Помните его очень смѣлая по тому времени строки, въ которыхъ онъ, вмѣсто того, чтобы строить себѣ народническаго идола изъ общины,—а вѣдь его въ 90-хъ годахъ упрекали въ этомъ марксисты, вылупившіеся изъ запаматовавшихъ народниковъ,—вмѣсто того, говорю я, чтобы растекаться вмѣстѣ съ нами въ безусловномъ умиленіи передъ общиной, онъ развивалъ слѣдующую мысль:

«Сторонники общины, по крайней мѣрѣ благоразумные, не дѣлали себѣ, однако, изъ нея фетиша, передъ которымъ надо лбы разбивать. Они не говорили, что община дорога, потому что она—община. Они видѣли въ ней лишь надежное убѣжище для крестьянской личности отъ грядущихъ бѣдъ капиталистическаго порядка. Правда была на ихъ сторонѣ, потому что съ распушеніемъ общины, если не явится какой нибудь противовѣсъ со стороны, у насъ долженъ повториться процессъ европейскаго экономическаго развитія»¹⁾.

Но въ особенности я обращаю вниманіе читателя на полемику Н. К. Михайловскаго противъ уже упомянутыхъ крайностей направленія сторонниковъ активности и въ частности противъ статей Юзова «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса» и т. п. Теперь весь этотъ споръ можетъ показаться академическимъ. Но тогда Юзовъ выговаривалъ суконнымъ языкомъ лишь то, что кипѣло и бурлило въ нашемъ молодомъ сердцѣ, во имя чего мы хотѣли жить и ради чего го-

¹⁾ Т. IV, стр. 452 (январь 1878 г.).

товы были сложить голову. Какое намъ дѣло было до того, что нашъ адвокатъ не блисталъ талантомъ и завертывалъ въ безконечныя, до комичности точныя цитаты наше міровоззрѣніе, разъ онъ провозглашалъ главный членъ нашего тогдашняго символа вѣры, неизмѣримое преимущество «дѣла» и «примѣра» надъ «словами» и «книжкой»! «Не распространѣніе идей о независимости, а только поступки, внушаемые чувствомъ независимости, развиваютъ и усиливаютъ это чувство» — выговаривалъ суконный языкъ Юзова. И мы готовы были прижать къ сердцу нашего истолкователя, который проводить въ печати наше практическое міровоззрѣніе. Можете себѣ представить, какимъ негодованіемъ пылали наши сердца на любимого—да, все-таки на любимого писателя (о, тайна юношескаго энтузіазма, сотканнаго изъ противорѣчій!), на писателя, говорю я, который обливалъ насъ ушатомъ холодной воды и обидно-презрительно отзывался объ упражненіяхъ Юзова, стараясь въ то же время присоединить къ нашимъ парусамъ «чувства» и необходимый грузъ «ума»:

«Читатель можетъ сказать, что статья «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса» совсѣмъ не требовала столь длиннаго объ ней разговора. Это отчасти—правда, но только отчасти. Не въ самой статьѣ тутъ дѣло, а въ читателяхъ, въ тѣхъ особенностяхъ нашего темперамента, о которыхъ рѣчь шла выше. Если авторъ перегибаетъ лукъ въ извѣстную сторону, то читатели, при извѣстныхъ условіяхъ, перегибаютъ его еще сильнѣе. Хорошій поступокъ прекрасенъ и желателенъ, хорошее чувство тоже прекрасно и желательно, но предавать изъ-за этого всеожженію мысль, знаніе, логику, «голову», «книжку»—отнюдь не приходится. Это совсѣмъ не такіе предметы, которые не могутъ ужиться рядомъ. Тяжба между умомъ и чувствомъ безобразна и не имѣетъ рѣшительно никакого *raison d'être*»¹⁾.

Я лишь мимоходомъ упомяну, что конецъ этой статьи былъ посвященъ защитѣ Иванова (Успенскаго), который усмо-

¹⁾ Т. IV, стр. 545—546 (апрѣль 1878 г.).

трѣлъ изъяны въ нашемъ идолѣ-мужикѣ, при чемъ Н. К. Михайловскій доказывалъ, что тутъ дѣло не въ самомъ «мужикѣ», а въ «пагубныхъ условіяхъ»... Это я къ слову и въ назиданіе читателямъ, которые нѣсколько лѣтъ тому назадъ могли присутствовать при перелицовываніи нашего автора противниками въ типичнаго якобы народника.

И снова, скрипя и лязгая, развертывается желѣзная цѣпь исторической необходимости. И новыя звенья ея проходятъ передъ глазами, приковывая вниманіе и сердце участниковъ въ русскомъ прогрессѣ. На рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ, въ это и трагически-печальное, и хорошее время, все общество какъ будто просыпается, и было отчего: герцеговинское возстаніе, а затѣмъ освободительная война, стоившая столькихъ жертвъ, приведенная къ болѣе или менѣе благополучному концу лишь цѣною очень значительныхъ усилій и оставившая по себѣ глубокое недовольство въ обществѣ; безстыдная эпопея хищенія, продѣланная нашими рыцарями первоначальнаго накопленія и тепличнаго производства, такъ сказать, въ самомъ пылу борьбы, по пятамъ, а то и внутри арміи, служившей экспериментомъ для грандіозныхъ продѣлокъ подрядчиковъ, поставщиковъ, интендантовъ, желѣзнодорожниковъ; явные признаки истощенія платежныхъ силъ народа, въ особенности въ связи съ введеніемъ новыхъ, вызванныхъ войною налоговъ; рядъ политическихъ процессовъ,—все это создавало нервную, насыщенную электричествомъ атмосферу, въ которой барометръ общественной жизни, отражая вліяніе надвигавшихся и удалявшихся грозъ, неистово прыгалъ, то внизъ, то вверхъ, и разные авгуры въ бюрократіи, обществѣ и печати старались тщетно предугадать завтрашнюю погоду...

Всѣхъ чутье отражала на себѣ, по обыкновенію, задачи современности передовая революціонная интеллигенція, которая принуждена была подъ давленіемъ обстоятельствъ значительно видоизмѣнить и расширить свое міровоззрѣніе. Ея идеализація народа сильно поколебалась. Присматриваясь къ деревенской дѣйствительности, она увидѣла, что усердно насаждавшійся послѣ крестьянской реформы капитализмъ уже

дѣлалъ свое дѣло. Перелистывая наивныя и горячія статьи этой эпохи, читатель встрѣтитъ въ иныхъ изъ нихъ довольно интересную амальгаму народничества и марксизма,—констатированіе разложенія общины и одновременное приглашеніе бороться «противъ капитализма» во имя интересовъ народа, опираясь отчасти и на зарождающагося пролетарія. Такова одна изъ моихъ статей, въ которой я полемизировалъ «противъ экономическаго оптимизма» г. В. В. и обронилъ фразу насчетъ того, что все же намъ не полагалось бы, не слѣдовало бы «пойти на выучку къ капитализму»,—фразу, которая 15 лѣтъ спустя была подхвачена «учениками» и выставлена уже чуть не какъ положительный лозунгъ партійной дѣятельности.

Съ другой стороны, наиболѣе активная часть революціонной интеллигенціи, сознательно обрекавшая себя въ теченіе 70-хъ годовъ на жертву народной «экономики», не могла, наконецъ, не убѣдиться, что даже во имя экономики она должна была внести въ свою программу и одновременное преслѣдованіе задачъ «политики», какъ общественныхъ условій или какъ общей арены, въ широкихъ барьерахъ которой могли бы заявлять о своей правомѣрности не только земельные идеалы народа, но и всяческія проявленія народной души, энергіи, чувства, «народной воли»... Въ самомъ дѣлѣ, мы всѣ готовы были и въ эту пору раствориться въ народѣ съ «свѣточемъ истины и идеала» въ рукахъ. Но что было дѣлать, когда бури и ливни гасили этотъ свѣточъ? Поневолѣ вопросъ становился не только народнымъ, а и общественнымъ, можно сказать, общечеловѣческимъ вопросомъ русскихъ людей. Центръ тяжести переносился изъ деревни въ городъ; а авангарду интеллигенціи приходилось брать на себя не только роль искренняго защитника народа, но и ускорителя, упреждителя естественнаго развитія русской цивилизаціи. Снова, со времени отмѣны крѣпостного права, передъ всѣми хорошими русскими людьми ставился общенародный великій вопросъ, на почвѣ котораго могли въ данный моментъ сойтись люди различныхъ направленій, за исключеніемъ, конечно, прямыхъ на-

слѣдниковъ крѣпостническаго міровоззрѣнія. И въ первыхъ рядахъ новой освободительной арміи естественно должна была очутиться та, революціонная, часть интеллигенціи, которая всегда отличалась способностью приносить историческія жертвы и которая цѣлое десятилѣтіе подавляла свои естественныя стремленія къ широкой гражданственности во имя сѣраго, трудомъ и лишеніями жившаго, но кровно дорогого ей народа... Какимъ блестящимъ выраженіемъ и объясненіемъ перелома въ нашемъ міровоззрѣніи были огнемъ писанныя въ то время статьи Н. К. Михайловскаго! Онѣ передаютъ и обосновываютъ новую историческую программу, выводя ее изъ недостатковъ прошлой:

«Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя... «Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же»—вотъ какъ, примѣрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственного перехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію буржуазнаго государства. Мы вѣрили, что Россія можетъ проложить себѣ новый историческій путь... Предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается въ нашихъ глазахъ и до сихъ поръ. Но она убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика урѣзываетъ ее безпощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цѣли, но вырабатывая новыя средства... Та теоретическая возможность, въ которую мы всю душу свою клали, только на этихъ элементахъ... и могла быть построена... Но если между этими элементами протискивается всемогущій братскій союзъ мѣстнаго кулака съ мѣстнымъ администраторомъ, то наша теоретическая возможность обращается въ простую иллюзію, а вмѣстѣ съ тѣмъ отреченіе отъ элементарныхъ параграфовъ естествен-

наго права теряетъ всякій смыслъ. Очевидно, никому отъ этого отреченія ни тепло, ни холодно, кромѣ отрекающихся, которымъ холодно, и всемогущаго братскаго союза, которому тепло. Да, ему тепло, и въ этомъ корень вещей. Оказывается, что если европейскія учрежденія не гарантируютъ народу его куска хлѣба, и есть тамъ «милліоны голодныхъ ртовъ отверженныхъ пролетаріевъ» (выраженіе Достоевскаго, съ которымъ здѣсь, между прочимъ, полемизируетъ Михайловскій, *Н. Р.*), рядомъ съ тысячами жирныхъ буржуа, то наши наличные порядки фактически тоже ничего не гарантируютъ, кромѣ акриды и дикаго меду для желающихъ и не желающихъ ими питаться. Грубѣе, разумѣется, у насъ все это выходитъ, наглѣе, безформеннѣе, но, спрашивается, какого добраго почина не задавить всемогущій братскій союзъ, пока мы только себя въ себѣ искать будемъ? Пусть-ка г. Достоевскій попробуетъ, ну, хоть въ сельскіе учителя поступить, да тамъ поговорить, напр., о томъ, что, дескать, «не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ человѣчествомъ, какъ рабомъ». Пусть попробуетъ въ этомъ направленіи поработать на родной нивѣ, а мы посмотримъ, въ какомъ видѣ онъ оттуда выскочитъ. Вотъ о себѣ, въ себѣ, надъ собой, это точно что вездѣ и всегда можно, на виду у всякаго союза, потому что это союзу на руку... Въ отношеніи аппетита, наглости и фактическаго могущества нашъ союзъ никакимъ европейскимъ буржуа не уступитъ. И какъ же, значить, запоздалъ г. Достоевскій и комп. съ своимъ хихиканьемъ надъ западомъ! Вотъ, если бы онъ протестовалъ тогда, когда нашъ союзъ только еще слагался—то другое дѣло, а онъ хладнокровно присутствовалъ при снятіи головы и теперь плачетъ по волосамъ... Ахъ, господи, дѣло, въ сущности, очень просто. Если мы въ самомъ дѣлѣ находимся наканунѣ новой эры, то нуженъ прежде всего свѣтъ, а свѣтъ есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна безъ личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требуетъ гарантій. Какія это будутъ гарантіи—европейскія, африканскія, «что Литва, что Русь ли»—не все ли равно, лишь бы

онѣ были гарантіями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшаетъ, если народу отъ нея не будетъ ни тепло, ни холодно» ¹⁾).

Такъ само историческое развитіе Россіи сближало разорванные половины одного великаго цѣлаго, «экономіку» и «политику», соединявшіяся въ живое и могучее тѣло общественнаго прогресса... И въ печати роль главнаго объединителя родственниковъ, но враждовавшихъ стремленій принадлежала Н. К. Михайловскому...

III.

Событіе 1-го марта 1881 г. легло трагическою гранью между начавшимся было здоровымъ общерусскимъ движеніемъ и рефлексивными, чаще всего попятными, а въ лучшемъ случаѣ односторонними попытками двухъ послѣдующихъ десятилѣтій. Прежде всего надъ страной разразился ураганъ общественной реакціи: общество и печать, потерявъ въ моментъ бури и компасъ, и грузъ общерусскаго дѣла, и чувство самообладанія, побросавъ въ одинъ мѣшокъ и больныя, и здоровыя головы, самообвиняли, самозаушали, самоуничижали себя, приготавливая для самихъ же себя власяницу и неудобноносимыя вериги. Въ ночи, наступившей за потерей яснаго сознанія въ обществѣ, царили безраздѣльно фантазмагоріи, ходили призраки болѣзненнаго воображенія и чудовищныя созданія страха и ненависти. А скоро, на почвѣ, подготовленной галлюцинаціями, появились и настоящіе выходцы съ того свѣта. Тѣ самые злые колдуны и вампиры, которыхъ само общество всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ похоронило, казалось, безвозвратно, выходили изъ своихъ гробовъ, съ необсохшей еще исторической кровью на губахъ и требовали свѣжей горячей крови и новыхъ жизней. Проснулись въ развалинахъ дореформенныхъ

¹⁾ Т. IV, стр. 952, 957—958, passim («Литературныя замѣтки» отъ сентября 1880 г.).

храминъ сычи и нетопыри, тяжело ширяя крыльями. Пришелъ и пресловутый страшный «Вій» изъ «Московскихъ Вѣдомостей» (этимъ выраженіемъ Михайловскій заклеилъ Каткова), пришелъ и показалъ своимъ желѣзнымъ пальцемъ на всю Россію. И произошло то, что читаешь съ замирающимъ сердцемъ у Гоголя. Мы такъ и не дождались освободительнаго пѣнія пѣтуха...

Въ эту-то тяжелую ночь Н. К. Михайловскій стоялъ, какъ отважный левъ, на «славномъ посту» цивилизаціи, защищая грудью общество и нашу печать противъ шакаловъ, псовъ и ядовитыхъ змѣй,—стоялъ, презирая и волчи пасти, и обезьяньи гримасы, и ослиныя копыта. Нельзя читать безъ волненія эти то негодующія, то саркастическія, то исполненныя глубокой печали статьи, въ которыхъ свѣтлая мысль и гражданское мужество философа-публициста боролись противъ хаотическаго смѣшенія понятій и возмутительнѣйшей исторической подтасовки продѣлываемой общественными шулерами на спинѣ народа, но яко бы во имя интересовъ его. То была, дѣйствительно, пора расцвѣта народнической демагогіи, которая, каррикатурно исказивъ наслѣдіе 70-хъ годовъ, «высаживала днище» у цивилизаціи во имя будто бы истинныхъ идеаловъ мужика. Я напому лишь ожесточенную полемику, завязавшуюся въ литературѣ по поводу опредѣленія слова «интеллигенція» и имѣвшую, вопреки своему на первый взглядъ схоластическому характеру, глубоко жизненный, историческій и, если хотите, трагическій смыслъ. Шулерамъ-демагогамъ надо было, дѣйствительно, во что бы то ни стало, выдать передовую часть интеллигенціи за злѣйшаго врага русскаго народа и, раздавивъ ее во имя этого народа, расправиться затѣмъ съ послѣднимъ уже по — своему, не смущаясь отнынѣ предостереженіями и негодующими криками революціоннаго авангарда прогрессивной арміи.

Споръ о значеніи слова «интеллигенція» былъ, такимъ образомъ, въ сущности, отраженіемъ въ литературѣ жизненной борьбы между истинными друзьями народа и рядившимися въ маску народолюбія господами его и эксплуататорами. Слѣш-

комъ извѣстны перипетіи этой полемики и слишкомъ памятна роль въ ней Михайловскаго, чтобы мнѣ надо было подробно останавливаться на этомъ эпизодѣ литературной дѣятельности нашего автора. Я напому лишь кой-какія мысли одной изъ самыхъ многозначительныхъ статей его:

«...Мы можемъ съ чистою совѣстью сказать: мы—интеллигенція, потому что мы многое знаемъ, обо многомъ размышляли, по профессіи занимаемся наукой, искусствомъ, публицистикой: слѣпымъ историческимъ процессомъ мы оторваны отъ народа, мы—чужіе ему, какъ и всѣ такъ называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разумъ нашъ съ нимъ... Русской интеллигенціи стыдно и должно быть стыдно идти нога въ ногу съ буржуазіей, потому что ей, этой интеллигенціи, извѣстно то, что не было въ свое время извѣстно европейской... Мы не можемъ призвать къ себѣ буржуазію не то что съ энтузіазмомъ, а даже просто безъ угрызений совѣсти, ибо знаемъ, что торжество ея равносильно отобранію у народа его хозяйственной самостоятельности... Въ противность той дружбѣ интересовъ, какая существовала одно время въ Европѣ между интеллигенціей и буржуазіей, наша интеллигенція съ буржуазіей дружить не можетъ. Но можетъ ли въ свою очередь *наша* буржуазія дружить съ интеллигенціей? Тоже нѣтъ. Интеллигенціи, по самой ея сущности, нужна свобода мысли и слова... А между тѣмъ буржуазіи нашей совершенно не нужны ни эти прекрасныя вещи, ни сопредѣльныя съ ними... Нашъ капитализмъ въ настоящую минуту нуждается не въ свободѣ, а напротивъ, въ привилегіи, покровительствѣ, регламентаціи, правительственныхъ гарантіяхъ, субсидіяхъ. А, не нуждаясь въ свободѣ вообще, онъ всего менѣе нуждается въ свободѣ мысли и слова ¹⁾).

Возвращаясь еще разъ къ жгучему вопросу тогдашней дѣйствительности, Н. К. Михайловскій ставитъ такъ дилемму внутренней «политики»:

¹⁾ Т. V, стр. 538—544, *passim* («Записки современника» отъ декабря 1881 г.).

«Русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и то же и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу слова и мысли—и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія—и народъ будетъ навѣрное съѣденъ» ¹⁾...

Читатель схватитъ сейчасъ же центръ аргументаціи этихъ по необходимости отрывочныхъ мыслей, заключенныхъ въ отрывочныхъ цитатахъ, если не упуститъ изъ вниманія, что, въ сущности, подъ интеллигенціей здѣсь разумѣется не группа ученыхъ мандариновъ, измѣряющихъ свою умственность количествомъ полученныхъ дипломовъ, и даже не просто такъ называемые культурные люди, могущіе членораздѣльно выражать аппетиты различныхъ привилегированныхъ классовъ, но то, все растущее по мѣрѣ прогресса, ядро служителей убѣжденія, значеніе котораго постоянно увеличивается среди современнаго общества. Въ тотъ моментъ, когда Михайловскій писалъ упомянутыя строки, этимъ ядромъ являлся революціонный авангардъ русской прогрессивной арміи, прочно объединившій въ своемъ міровоззрѣніи народную «экономіку» и общерусскую «политику»...

IV.

И потянулись надъ русскимъ обществомъ сѣрые, нескончаемые дни прозябанія, дни

Безъ божества, безъ вдохновенія,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...

Приходилось вооружиться героизмомъ терпѣнія и, когда болотные огоньки мнимо-народной политики завели пятившуюся назадъ страну въ трясины возобновлявшагося крѣпостничества, вести скучную, но необходимую борьбу за каждый маленькій клочекъ оставшейся еще подъ ногами твердой почвы,

¹⁾ Ibid., стр. 566 (январь 1882 г.).

отстаивать по самомалѣйшему поводу интересы мысли и развитія, снова и снова возвращаться къ запаматованнымъ рѣшеніямъ общественныхъ задачъ, снова и снова повторять «забытыя слова». Такова была въ 80-хъ годахъ роль Н. К. Михайловскаго, которому пришлось переимѣнить тяжелую палицу на простую азбучную указку и повторять зады короткопалатнымъ ученикамъ. Послѣ одной изъ попытокъ практическаго напominанія «забытыхъ словъ»—на этотъ разъ «совѣсти» и «чести»,—публицистъ-гражданинъ превращается въ «Посторонняго», письма котораго свидѣлствуютъ, несмотря на забавно контрастирующій съ ними характеръ литературнаго псевдонима, о живѣйшемъ, о кровномъ интересѣ писавшаго ко всѣмъ задачамъ тогдашней современности.

Обычная чуткость и обычная дальновидность Михайловскаго ставятъ порою и на этотъ разъ его взгляды не то что въ прямое противорѣчіе, а въ самостоятельную позицію по отношенію къ господствующимъ воззрѣніямъ передовой интеллигенціи. Я разумѣю хотя бы очень интересную оцѣнку Михайловскимъ выводовъ, заключенныхъ въ извѣстной книгѣ г. В. В. Большаго изъ насъ слишкомъ безусловно принимало всѣ заключенія этого умнаго, но односторонняго писателя. Дѣйствительно, автору «Судебъ капитализма въ Россіи» принадлежитъ честь чуть ли не наиболѣе самостоятельной попытки рѣшить вопросъ объ экономической будущности Россіи, исходя изъ анализа экономическихъ же условій ея. Но ироніи исторіи было угодно, чтобы въ тотъ самый моментъ, когда его взгляды пользовались среди насъ наибольшею популярностью, факты и цифры, заключенные въ его книгѣ и послѣдующихъ статьяхъ и по необходимости передававшіе положеніе вещей, бывшее нѣсколько лѣтъ назадъ, стали отставать отъ дѣйствительности, которая именно въ эту пору начала обнаруживать, наконецъ, могущественное вліяніе «политики» на «экономику». Субсидіи и гарантіи произвели, наконецъ, свое дѣйствіе; и тепличное растеніе капитализма, поливаемое въ оградѣ покровительственныхъ тарифовъ золотымъ дождемъ всяческихъ воспомощеній, отнынѣ могло быть пересажено на болѣе или

менѣе вольный воздухъ, подъ болѣе или менѣе открытое небо и здѣсь расцвѣсти и войти въ силу, хотя бы лишь въ извѣстныхъ отрасляхъ промышленности.

Какъ бы то ни было, забывая именно тѣсное взаимодействіе между политикой и экономикой и могущественное вліяніе первой на вторую въ эту эпоху, мы черезчуръ вѣрили въ невозможность развитія русскаго капитализма. Но посмотрите, какія ограниченія уже въ первой половинѣ 80-хъ годовъ вносили Михайловскій въ эту абсолютную теорію и съ какимъ мастерствомъ онъ изъ самихъ выводовъ г. В. В. извлекалъ дополняющія ихъ возраженія. Я не могу, къ сожалѣнію, входить въ подробности и отсылаю читателя къ самой статьѣ Михайловскаго, изъ которой я позволю себѣ сдѣлать лишь слѣдующія, по необходимости отрывочныя выдержки:

«...Вотъ, значитъ, въ чемъ дѣло. У насъ, значитъ, возможно въ обширныхъ размѣрахъ и уже практикуется: во-первыхъ, отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства, каковое отлученіе есть неизбѣжный спутникъ и даже фундаментъ капиталистическаго строя; возможно то, что сейчасъ казалось невозможнымъ—законченныя формы капитализма; только онѣ безсильны охватить все производство страны. Этого онѣ не могутъ. Ну, а въ Европѣ могутъ? До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, тоже не могли... Для истиннаго пониманіе его (г. В. В.) оригинальнаго тезиса о невозможности у насъ капиталистическаго строя, въ противоположность Европѣ, гдѣ онъ имѣетъ свой *raison d'être*; для правильнаго пониманія этого тезиса надо имѣть съ виду, что капиталистическій строй въ Европѣ не такъ ужъ господствуетъ, а у насъ не такъ ужъ отсутствуетъ, чтобы даже для отдаленнаго будущаго можно было противопоставлять наши экономическіе порядки европейскимъ. Безъ сомнѣнія, нашъ капитализмъ находится еще въ зачаточномъ состояніи, и въ данный историческій моментъ мы можемъ съ сравнительно большимъ удобствомъ выбирать характеры своей экономической политики. Но положеніе о невозможности, химеричности нашего капитализма надо понимать съ тѣми ограниченіями, которыя я

сейчасъ заимствовалъ у самого г. В. В.: эта невозможность далеко не абсолютная, и, можетъ быть, даже не совсѣмъ правильно называть ее невозможностью» ¹⁾).

Послѣдующіе годы показали проницательность и дальновидность этихъ дополняющихъ и ограничивающихъ возражений: именно въ то самое время, какъ шулера народничествующей демагогіи старались отводить глаза публики криками и изліяніями нѣжныхъ чувствъ къ народу, къ нему, доброму, вѣрному, любимому и въ свою очередь «любящему», на подобіе карасей, быть подаваемымъ на столъ господамъ подъ соусомъ изъ сметаны,—именно въ это самое время практиковалась система самага послѣдовательнаго водворенія капитализма. Интересы фабрикантовъ и заводчиковъ становились центромъ національнаго производства. Все выше и выше поднимались стѣны охранительныхъ, «раціональныхъ»—о, иронія названія!—тарифовъ. Изъ «зачаточнаго состоянія» капиталъ быстро переходилъ въ состояніе жизнеспособнаго, жаднаго, прожорливаго чудовища, которое и здѣсь, и тамъ впустило свои цѣпкіе присоски въ тѣло труда и принялось его «организовать» по-своему, вознаграждая интенсивностью выкачиванія прибавочной стоимости спорадичность этого процесса.

Но эти годы «здравой, бодрой и истинно-русской «политики... капиталистовъ были вмѣстѣ съ тѣмъ—и отчасти по тому самому—годами отсутствія всякой настоящей политики, если разумѣть подъ этимъ словомъ то, что разумѣлъ подъ нимъ старикъ Аристотель, а именно общеніе людей, имѣющее цѣлью удовлетвореніе коллективной потребности «жить и хорошо жить» (τὸ ζῆν καὶ τὸ εὖ ζῆν). Общественная реакція, обнаруживая поразительную слабость положительной мысли, занималась жалкимъ подогрѣваніемъ остатковъ и отбросовъ крѣпостнической кухни. Съ количественнымъ, а главное качественнымъ ослабленіемъ передовой интеллигенции, мѣсто здоровыхъ соціальныхъ стремленій заняли болѣзненные личные идеалы не связанныхъ ничѣмъ между собою людей, уныло или

¹⁾ Т. V, стр. 781—782 (іюль 1883 г.).

комично-самобувѣренно бредшихъ куда попало. Ренегаты, измѣнившіе своему прошлому ради пироговъ, спокойной жизни и дѣтишекъ, нуждавшихся въ молочишкѣ, не ограничивались ролью Ивановъ, не помнящихъ родства, но еще требовали себѣ почета, уваженія и прочихъ «вещественныхъ знаковъ невещественныхъ отношеній», требовали какъ разъ за это самое запамятованіе и за каждый плевокъ въ своихъ бывшихъ, живыхъ и мертвыхъ товарищей. Порядочные слабые люди и просто непорядочная шушера занялись различными операціями «надъ собой, о себѣ, въ себѣ», какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ Михайловскій охарактеризовалъ дѣятельность Достоевскаго. Г. Минскій хоронилъ «при свѣтѣ совѣсти» свой недавно еще свѣжій, гуманный и симпатичный талантъ и, въ потугахъ полуторавершкового титанизма, гримасничалъ и мѣнилъ Богъ знаетъ что. Г. Волынский, стоя передъ зеркаломъ своего самомнѣнія, усердно трепанировалъ собственную голову и безъ всякой жалости—къ читателямъ—«обнажалъ» тамъ «новыя мозговья линіи» и «новыя душевныя складки». Гг. Дистерло и Единицы—мели Емеля, твоя «Недѣля»—взяли на себя подрядъ поставлять «новыя слова». Добросовѣстные, но измельчавшіе, выродившіеся «народники» 80-хъ годовъ приставали къ Михайловскому съ микроскопическими недоумѣніями и вопросиками, какъ же наконецъ, имъ быть «съ интересами» и «мнѣніями» народа. Гг. Ясинскіе, не довольствуясь своими беллетристическими лаврами, въ значительной мѣрѣ подтибранными у французскихъ натуралистовъ, закладывали основаніе той претенціозной эстетической галиматѣй, которая должна была расцвѣсти и принести свой плодъ въ 90-хъ годахъ...

И соловей
Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей,—

ну, соловей, не соловей, а цѣлый хоръ поэтиковъ и виршеплетовъ, пѣвшихъ, впрочемъ, хуже не только Щербины, но и обыкновеннаго соловья...

И на всю эту пустопорожнюю, самоувѣренную, лишенную

настоящихъ идей и просто здраваго смысла дребедень долженъ былъ критически откликаться Н. К. Михайловскій, пытаясь сохранить душу живу у своихъ читателей и довести ихъ людьми среди тяжелаго путешествія сквозь бурю и мракъ реакціонной ночи въ направленіи къ солнцу общечеловѣческаго идеала. И если невольная гордость охватываетъ душу единомышленниковъ Михайловскаго, когда они оглядываются на героическую кампанію, веденную имъ противъ могущественныхъ и безстыдныхъ враговъ съ конца 60-хъ и до половины 80-хъ годовъ, то горячая идейная любовь къ публицисту-гражданину загорается въ сердцѣ этихъ людей, когда они ясно отдають себѣ отчетъ, какую бездну терпѣнія и самоотверженной преданности правдѣ обнаружилъ Михайловскій во второй, трижды ненавистой половинѣ 80-хъ годовъ, когда крупная идейная борьба должна была по необходимости размѣняться на рядъ безконечныхъ мелкихъ стычекъ, съ безчисленными мелкими, зачастую даже не вѣдающими что творять противниками.

Вотъ, ужъ можно сказать, было время, когда другой, даже менѣе крупный, но болѣе эгоистичный, чѣмъ Михайловскій, писатель ушелъ бы въ область чисто теоретическаго мышленія и внѣшней чисто литературной обработки своего міровоззрѣнія. Заманчива была эта задача и легокъ былъ этотъ трудъ: роль мыслителя ограничивалась лишь чисто формальнымъ сведеніемъ воедино его столь цѣльнаго и такъ давно выработаннаго въ общихъ чертахъ міросозерцанія. Въ эту никчемную пору Н. К. Михайловскій могъ бы, несомнѣнно, «заново написать книгу», о которой онъ говоритъ въ уже цитированномъ мною отвѣтѣ сердитому, но слабосильному критику; и лично его научная репутація ужасно выиграла бы. Говорю это, обращая вниманіе читателей на то обстоятельство, что очень многіе изъ насъ до сихъ поръ чрезчуръ увлекаются внѣшнимъ, порою лишь голо формальнымъ и педантическимъ разпределеніемъ элементовъ данной системы по томамъ, книгамъ, главамъ, параграфамъ, подпараграфамъ и прочимъ разсыпавшимся въ пыль микроскопическимъ рубрикамъ. Однако, и на

этотъ разъ, Михайловскій устоялъ передъ эгоистическимъ искушеніемъ составить себѣ репутацію записнаго ученаго у многочисленныхъ, если не читателей, то писателей объемистыхъ и симметрично расчлененныхъ трудовъ. Дѣло въ томъ, что въ это время дѣйствительность подтверждала все болѣе и болѣе опасеніе, выраженное Михайловскимъ еще въ самомъ началѣ общественной реакціи: «вша заѣстъ» русскую жизнь. Вотъ противъ этой-то «вши», этихъ-то «безконечно-малыхъ», но опасныхъ своею многочисленностью враговъ общественнаго организма и направилъ свою уничтожающую и оздоровляющую дѣятельность Михайловскій. И эту печально-героическую, но необходимую роль надо не упускать ни на мигъ изъ вниманія, когда подводишь итоги этой полосѣ жизни писателя.

Лишь одинъ разъ за это время судьба ставитъ публициста-гражданина лицомъ къ лицу съ достойнымъ его противникомъ: я разумѣю блистательную атаку Михайловскаго противъ Л. Н. Толстого, который, благодаря самой силѣ, искренности и энергіи своей выходящей изъ ряду личности, явился выразителемъ, а въ значительной мѣрѣ и созидателемъ одной изъ опаснѣйшихъ формъ общественной реакціи. Смѣлость отрицательной критики Толстого, его оригинальный «аполитизмъ», который заставляетъ иныхъ непроницательныхъ анархистовъ на Западѣ считать его своимъ, его могучее стремленіе связать въ одно цѣлое сферу своей мысли и сферу своей личной жизни, слово и дѣло, ученіе и примѣръ,—все это мѣшало усталой, разочарованной, обезсиленной русской интеллигенціи понять противообщественный характеръ проповѣди новаго апостола. Въ сущности, еще разъ дѣло общерусскаго и, если хотите, въ извѣстномъ смыслѣ общечеловѣческаго прогресса тормазилось перенесеніемъ центра тяжести съ соціальной почвы преобразования условій на узко-индивидуальную почву личнаго усовершенствованія. Личность снова стала занимать непомѣрно большое мѣсто въ міровоззрѣніи интеллигенціи,—не та живая, активная, глубоко общественная личность, о которой говорилъ намъ Н. К. Михайловскій въ концѣ 70-хъ годовъ и которая потому только и «разсѣивала вокругъ

себя лучи Правды» ¹⁾, что предварительно концентрировала въ себѣ лучшія стремленіе всего общества; но та пассивная, созерцательная, копающаяся въ себѣ, разсматривающая въ микроскопъ свои грѣхи и грѣшки личность, которая, словно паукъ, тянула изъ себя нескончаемую моральную нить-канитель и думала на этой тонкой-претонкой нити вытащить погрязшій въ сквернѣ міръ...

Снова операція «надъ собой, въ себѣ, о себѣ» замѣняла воздѣйствіе на внѣшнюю среду. Возрождалась новая писаревщина съ узко-личными задачами индивидуума и ближайшихъ единомышленниковъ-сектантовъ, и писаревщина съ тѣмъ усугубленіемъ, что мѣсто черезчуръ наивнаго восхищенія «наукою» заняло еще болѣе наивное отрицаніе науки, а «борьба противъ авторитетовъ» смѣнилась «непротивленіемъ злу». Ахъ, это непротивленіе! Какою горькою ироніею надъ русскою жизнью была проповѣдь его, когда и безъ того тогдашняя интеллигенція не могла даже отвѣчать простыми рефлексами на дальнѣйшіе удары судьбы! Какой манной небесной и лѣкарствомъ противъ внутренняго стыда была толстовщина для тѣхъ людей, у которыхъ «совѣсть» такъ же не знала, куда дѣлась ея сестра-«честь», какъ Каинъ игнорировалъ судьбу брата Авеля! А вѣдь это были еще лучшіе люди! Что же сказать о большинствѣ другихъ?...

Въ это то тяжелое время философія и поэзія борьбы нашли яркое выраженіе въ пламенныхъ статьяхъ Михайловскаго противъ Толстого. Никому, какъ выражался самъ публицистъ-гражданинъ, никому онъ не уступалъ въ уваженіи къ талантамъ, къ геніальности Толстого. Онъ давно изучалъ эту могучую индивидуальность и внимательно слѣдилъ за различными переливами ея. Онъ защищалъ, между прочимъ, автора оригинальныхъ статей о народной педагогикѣ еще въ срединѣ 70-хъ годовъ противъ воинственнаго грома и блеска «мѣднаго таза либерализма». Онъ цѣнилъ въ немъ перваго, «великаго художника земли русской» (выраженіе Тургенева). Но уже

тогда онъ ясно видѣлъ и отмѣтилъ одновременное существованіе у Толстого «десницы» и «шуйцы», смѣлаго, безстрашнаго полета мысли, глядящей орлинымъ окомъ прямо на солнце Правды, и вдругъ наступающаго затѣмъ робкаго переминыя на мѣстѣ, чуть не ползанья передъ обычными формами культуры, и т. п. А когда эта «шуйца» указала русскому обществу на фальшивый путь безплоднаго морализованія и стала заводить интеллигенцію все дальше и дальше въ пески и болота, Михайловскій всталъ во весь ростъ на защиту лучшихъ идеаловъ и здоровыхъ традицій, и изъ-подъ пера его вылились, какъ лава, горячія строки. Помните эту глубоко правдивую и вмѣстѣ негодующую оцѣнку психологіи Толстого:

«Онъ такъ занятъ происходящимъ въ немъ самомъ душевнымъ процессомъ, такъ прислушивается къ шуму въ своихъ собственныхъ ушахъ, что внѣшніе предметы теряютъ для него свое самостоятельное, живое значеніе... Завидна участь гр. Толстого. Завидны это спокойствіе сердца, приставашаго къ странѣ, гдѣ рѣки въ кисельныхъ берегахъ молокомъ текутъ; эта чистота совѣсти передъ любовной и радостной дѣятельностью; эта ясность разума, который говоритъ: я все понялъ! Да, это завидно. Но мы, мятущіеся, мы, ищущіе, мы, не сумѣвшіе выскочить изъ водоворота жизни ни на кисельный берегъ молочной рѣки, ни на облака, вѣнчающія вершины Олимпа, мы не вѣримъ гр. Толстому! Онъ, конечно, говоритъ правду: онъ спокоенъ, счастливъ, онъ достигъ того душевнаго состоянія, которое даже не всѣмъ угодникамъ усваиваютъ житія святыхъ. Но это только потому, что графъ прислушивается къ шуму въ собственныхъ ушахъ. Отверзи онъ ихъ на минуту для воспріятія живыхъ внѣшнихъ впечатлѣній, и онъ долженъ ужаснуться того страннаго, противорѣчиваго положенія, въ которомъ онъ находится» ¹⁾.

Или хотя бы эта великолѣпная отвѣдь, брошенная въ лицо теоріи «непротивленія злу»:

¹⁾ Т. IV, стр. 460 (январь 1878 г.).

¹⁾ Т. VI, стр. 369 (изъ «Дневника читателя», май 1886 г.).

«...Какая, однако, все это удивительная путаница! Какое возмутительное презрѣніе къ жизни, къ самымъ элементарнымъ и неизбѣжнымъ движеніямъ человѣческой души! Какое холодное, резонерское отношеніе къ людскимъ чувствамъ и поступкамъ! И этому съ сочувствіемъ внимають, говорятъ, молодые люди, у которыхъ естественно «кровь кипитъ» и «силъ избытокъ»... Я не понимаю этого. Это какое-то колоссальное недоразумѣніе, возможное только въ такія мрачныя, тускляя времена, какія переживаемъ мы. Пусть ломаются къ вамъ въ домъ, пусть бьютъ отцовъ и дѣтей вашихъ,—такъ надо, убійцы спасаютъ вашихъ близкихъ и кровныхъ отъ вѣщихъ грѣховъ; но горе вамъ, если вы сами пальцемъ коснетесь убійцы! Увы, гр. Толстой является въ этомъ случаѣ даже не учителемъ, онъ съ улицы поднялъ свое поученіе, ибо вся улица поступаетъ именно такъ, какъ желательно гр. Толстому. Но зачѣмъ же онъ иронизируетъ надъ «философіей духа», «по которой выходило, что все, что существуетъ, то разумно, что нѣтъ ни зла, ни добра и что бороться со зломъ человѣку не нужно». Зачѣмъ издѣвается онъ надъ Спенсеромъ, который, въ другихъ только терминахъ, тоже требуетъ невмѣшательства и непротивленія злу и въ «Соціальной статикѣ» рекомендуетъ отнюдь не критиковать божій міръ «съ точки зрѣнія своего кусочка мозга», ибо, дескать, вы думаете поправить зло, а выходитъ еще хуже»¹⁾.

И, можно сказать, Михайловскій ни на минуту не перестаетъ слѣдить за литературно-общественной дѣятельностью Толстого, зорко вглядываясь въ малѣйшія перипетіи ея, съ радостью останавливаясь на здоровыхъ проявленіяхъ художественнаго творчества этого гениальнаго писателя, со скорбью констатируя противо-общественные подвиги его «шуйцы», предостерегая читателей не увлекаться силою и переливами этой обаятельной, но порою, увы! столь опасной для слабыхъ людей личности. Въ отрешеніи русскаго общества отъ наркотическаго дѣйствія толстовщины одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ

¹⁾ Ibid., стр. 393 (іюнь 1886 г.).

принадлежить Михайловскому, который и въ 90-ые годы переноситъ свою пронизательную и нелицепріятную критику Толстого, прибѣгая къ собственнымъ «литературнымъ воспоминаніямъ», объясняющимъ нѣкоторыя стороны толстовскаго міровоззрѣнія, или же стараясь внести свѣтъ мысли и сознанія въ «современную смуту». Я отсылаю читателя къ статьямъ появившимся, въ числѣ прочихъ, въ двухъ томахъ «Литературныхъ воспоминаній и современной смуты».

Придвигаясь къ изображенію литературной дѣятельности Михайловскаго за послѣднее десятилѣтіе, я испытываю немалое затрудненіе: мы всѣ еще стоимъ въ потокѣ движущейся, дѣлающейся исторіи; у насъ нѣтъ еще окончательно пройденнаго твердаго пункта, стоя на которомъ, мы могли бы съ достаточнымъ для общаго взгляда удаленіемъ окинуть историческую перспективу послѣднихъ лѣтъ. Какъ же оцѣнить руководящую дѣятельность человѣка, который плылъ вмѣстѣ съ нами въ общемъ историческомъ потокѣ и старался пока лишь ориентировать наше движеніе въ наиболѣе благопріятномъ для прогресса направленіи? Заднимъ числомъ оглядываясь уже на пройденный, отмѣченный неизгладимыми вѣхами путь, мы могли съ достаточной точностью опредѣлить, взвѣсить общественныя заслуги Михайловскаго въ концѣ 60-хъ годовъ, въ 70-хъ, на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ, въ теченіе 80-хъ, въ первой половинѣ 90-хъ. Но что касается дальнѣйшаго времени, то можно ли съ такою же опредѣленностью установить роль публициста-гражданина за послѣднее десятилѣтіе исторической жизни, когда мы лишь наканунѣ подведенія крупнѣйшихъ общественно-политическихъ итоговъ ея?

Я попытаюсь, однако, указать на двѣ-три черты въ литературной дѣятельности Михайловскаго за этотъ періодъ времени,—черты, которыя свидѣтельствуютъ, что и тогда, какъ раньше, общественная роль этого писателя состоитъ въ обоснованіи и выясненіи стремленій лучшей части интеллигенции. Такъ, рядомъ съ борьбою противъ толстовщины, противъ нанесеннаго изъ Западной Европы пустопорожняго декадентства и ничшеанства, противъ російскаго не то изувѣрства, не то

религіознаго паясничества гг. Розановыхъ и комп., противъ узкаго народничества г. В. В. и Юзова (совсѣмъ присмирѣвавшего въ послѣдніе годы своей жизни), Михайловскій велъ борьбу противъ односторонностей русскаго марксизма. И по всѣмъ этимъ пунктамъ, насколько настоящее позволяетъ судить о будущемъ, публицистъ-гражданинъ съ честью и успѣхомъ отстоялъ интересы нормальнаго общественнаго развитія.

Толстовщина отмираетъ, если не совсѣмъ умерла, и наиболѣе энергичные ученики Толстого самою логикою дѣйствительности толкаются съ пути непротивленія злу на путь противленія. Кому не извѣстны громкіе примѣры этого душевнаго превращенія именно въ самые послѣдніе годы? Ребяческая золотуха декадентства, обезобразившая одно время своею сыпью часть молодежи и перезрѣлыхъ юношей лѣтъ этакъ сорока пяти съ хвостикомъ, шелушится и исчезаетъ: гг. декадентовъ и ничшеанцевъ, по собственному ихъ признанію, теперь человѣкъ семь въ pendant къ семи мудрецамъ Греціи; и что бы они тамъ ни бальмонствовали, этого достаточно для образованія общества взаимнаго обожанія, но безъчуждъ мало для общественно-литературнаго теченія. Религіозное паясничество школы г. Розанова, хотя и выражаетъ претензію держаться на неистребимомъ будто бы порывѣ духа купаться въ глубокомъ океанѣ замоскворѣцкой лампадки, на самомъ-то дѣлѣ держится на регламентахъ управы благочинія и исчезнетъ безповоротно, какъ только скромная «вѣтка Палестины» перестанетъ играть передъ «символомъ святымъ» обидную для самихъ искренно вѣрующихъ роль властной лозы. Кстати сказать, самъ основатель школы, нѣкогда «отказавшійся отъ наслѣдства 70-хъ годовъ», теперь отказался въ значительной степени и отъ наслѣдства катковцевъ, возбуждая даже въ нихъ обычную страсть къ доносу—на сей разъ на новаго «еретика». Такъ что розановщина или умираетъ и окончательно умереть, или превратится въ нѣчто, совсѣмъ непохожее на взгляды г. Розанова первой половины 90-хъ годовъ. Преувеличенія узкаго народничества тоже, кажется, на-

всегда отходить въ область исторіи; и вдунуть духъ жизни и активности въ эту полинялую и выдохшуюся формулу неспособенъ, несмотря на свой оригинальный умъ, и самъ г. В. В., единственно крупный человѣкъ этого направленія, при томъ, повидимому, начинающій уходить все дальше отъ злополучныхъ идей «Нашихъ направленій».

Что касается до марксизма, то онъ заслуживаетъ, чтобы на немъ остановиться нѣсколько дольше, и заслуживаетъ именно потому, что, несмотря на свои преувеличенія, явился единственнымъ здоровымъ общественнымъ теченіемъ среди перечисленныхъ нами выше элементовъ «современной смуты».

V.

Приступая къ изображенію роли Михайловскаго въ борьбѣ съ тѣмъ направленіемъ, которое рѣзко прокинулось на русскую почву въ срединѣ 90-хъ годовъ подъ общимъ наименованіемъ «марксизма», я долженъ сдѣлать надъ собою нѣкоторое усиліе, чтобы отнестись къ этой задачѣ, если не съ невозможнымъ для живого человѣка безпристрастіемъ, то, по крайней мѣрѣ, съ достаточной объективностью. Въ борьбѣ съ «русскими учениками» Михайловскому принадлежало одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ. Но въ ней, этой борьбѣ, участвовали люди гораздо меньшаго значенія, зачастую простые рядовые той арміи, духовнымъ вождемъ которой былъ Михайловскій. Самъ пишущій эти строки счелъ нужнымъ, въ предѣлахъ своихъ силъ и пониманія, представить нѣсколько критическихъ замѣчаній на произведшую въ самой срединѣ 90-хъ годовъ большую сенсацію книгу г. Бельтова (см. мой этюдъ «На высотахъ объективной истины», въ майской книжкѣ «Русскаго Богатства» за 1895 г.). А двумя годами позже, въ самомъ концѣ 1897 г., авторъ же настоящей статьи повторилъ критическую попытку коснуться марксизма вообще, придравшись къ нѣкоторымъ литературнымъ явленіямъ французскаго марксизма. Эта моя статья предназначалась также для «Русскаго

Богатства». И такъ какъ къ тому времени «Новое Слово» было закрыто, то Михайловскій направилъ мое письмо изъ Франціи «О марксизмѣ вообще по поводу французскаго марксизма въ частности» въ корректуру г-ну Струве съ предложениемъ отвѣтить на него на столбцахъ же «Русскаго Богатства».

Не могу ясно представить себѣ, по какимъ мотивамъ г. Струве,—какъ мнѣ писалъ о томъ Михайловскій,—отказался отъ этого предложенія, дававшего ему возможность противопоставить моему тезису свой антитезисъ въ органѣ честнаго идейнаго противника, который для этого спеціального вопроса открывалъ ему двери своего дома, въ то время, какъ капризный Аллахъ разрушалъ до основанія идейный очагъ г. Струве и его единомышленниковъ...

Я упомянулъ объ этомъ эпизодѣ изъ исторіи нашей идейной борьбы, во-первыхъ, потому, что онъ рисуется намъ Михайловскаго послѣдовательнымъ защитникомъ свободы печати, который не на словахъ только, а на дѣлѣ вѣрить въ великое значеніе откровенной борьбы мнѣній и, несмотря на цѣльность своего міровоззрѣнія, соглашается въ извѣстныхъ случаяхъ сдѣлать изъ своего органа свободную трибуну, лишь бы не была удушена грубой силой мысль противника. Во-вторыхъ, я счелъ нужнымъ совершить это небольшое отступленіе въ сферу личныхъ воспоминаній вовсе не затѣмъ, чтобы занимать своей персоной публику, когда дѣло идетъ о такомъ перво-классномъ писателѣ, какимъ былъ Михайловскій, но съ цѣлью напомнить читателю, что оговорки, которыя мнѣ придется сдѣлать сейчасъ по поводу полемики Михайловскаго противъ русскихъ марксистовъ, цѣликомъ касаются и всѣхъ насъ, его учениковъ или его идейныхъ товарищей. Пищушіи эти строки, напимѣрь, желая указать на нѣкоторые пробѣлы или даже, пожалуй, на нѣкоторыя чисто тактическія ошибки, допущенныя Михайловскимъ въ его борьбѣ съ отечественнымъ марксизмомъ, не только не думаютъ выгораживать себя самого отъ критики, основанной на такихъ соображеніяхъ, но готовы признать себя сугубо виноватымъ въ этой ошибочной тактикѣ

по отношенію къ противникамъ. Только откровеннымъ признаніемъ нѣкоторыхъ тактическихъ заблужденій въ прошломъ,—читатель сейчасъ увидитъ, какихъ—авторъ предлагаемаго этюда можетъ найти въ себѣ достаточно свободы мысли, чтобы оцѣнить ту сторону литературной дѣятельности знаменитаго писателя-публициста, о которой теперь пойдетъ рѣчь и большая часть которой выражается въ статьяхъ, перепечатанныхъ, вмѣстѣ съ другими этюдами 1895—1898 г., въ двухъ томахъ «Откликовъ».

Общая ошибка Михайловскаго и его идейныхъ друзей и учениковъ заключалась, по моему личному глубокому убѣжденію, въ томъ, что наше направленіе недостаточно серьезно отнеслось къ марксизму, какъ къ новой соціологической гипотезѣ; и, раздраженное доходящими до странностей преувеличеніями «русскихъ учениковъ», вступило въ борьбу почти исключительно съ этими странностями, ведшими въ общественно-политическомъ отношеніи, дѣйствительно, къ заключеніямъ, отъ которыхъ должны были рано или поздно отшатнуться наиболѣе здоровые элементы марксизма. Этотъ процессъ очищенія марксистскаго міровоззрѣнія отъ шлаковъ и изгари, внесенныхъ въ него большинствомъ совершенно несамостоятельныхъ учениковъ, еще далеко не кончился. Но онъ уже во второй половинѣ 90-хъ годовъ произвелъ ту разслойку струй внутри этого идейнаго теченія, которая превратила лагерь марксистовъ въ раздраемый несогласіями лагерь короля Аграманта. И какую искреннюю жалость приходится испытывать заднимъ числомъ, что неподражаемый философъ-публицистъ, который въ лицѣ Михайловскаго господствовалъ въ русской литературѣ не одинъ десятокъ лѣтъ, не пожелалъ сыграть въ разрѣшеніи этого идейнаго кризиса всей приличествующей ему роли! О марксизмѣ и противъ марксизма этотъ умнѣйшій человѣкъ пореформенной Россіи писалъ или слишкомъ много, или слишкомъ мало. Слишкомъ много, если вспомнить тѣ полемическія статьи, въ которыхъ онъ безжалостно высмѣивалъ явныя несообразности и преувеличенія «русскихъ учениковъ», ибо однѣ странности идейнаго увлеченія взаимно

покрывались и нейтрализовались другими странностями, выходящими из того же лагеря, и драгоценный полемический талант тратился нерядко по мелочамъ. Слишкомъ мало, если сообразить, что Михайловскій ни разу не пожелалъ вплотную приложить свою редкую силу критическаго анализа къ здоровому ядру марксовскаго ученія, ибо тогда оказалось бы, что суть этой доктрины не такъ далека, какъ то могло представляться въ пылу полемики, отъ центральнаго пункта социологическаго міросозерцанія автора «Что такое прогрессъ» и «Борьба за индивидуальность».

Въ самомъ дѣлѣ, если въ чемъ нужно искать основнаго ядра ученія Маркса, такъ это въ преобладающемъ значеніи развитія производительныхъ силъ общества, т.-е. социальной технологіи, для психической эволюціи людей, т.-е. ихъ коллективной психологіи, на которую опираются или, лучше сказать, частными выраженіями которой являются социально-экономическія, правовыя, политическія, религіозныя, философскія, эстетическія представленія членовъ даннаго обществѣ. Но спрашивается, такъ ли далеко отъ этого основнаго пункта марксизма отстоятъ существенныя идеи того мыслителя, который,—какъ въ порывѣ временной справедливости признавали иногда сами «русскіе ученики»,—объясняетъ характеръ міровоззрѣнія даннаго общества характеромъ господствующей въ немъ формы «коопераціи»; который центральнымъ элементомъ человѣческой личности считаетъ «трудъ» и который, въ частности, устанавливаетъ зависимость между субъективными взглядами извѣстнаго человѣка и его «принадлежностью къ социальной группѣ»?

Кстати сказать, этотъ вопросъ такъ сильно тревожилъ меня, что совсѣмъ незадолго до смерти Михайловскаго я обратился къ нему за разъясненіемъ, не считаетъ ли онъ возможнымъ установить свою столь всѣмъ извѣстную, но вызвавшую столько недоразумѣній и неумныхъ возраженій «формулу прогресса» на основѣ ученія о значеніи постоянно развивающейся человѣческой технологіи. Ибо, продолжалъ я, лишь высоко развитый машинный способъ производства переложитъ бремя

раздѣленія труда съ человѣка на искусственные органы его, «проектирующіеся во внѣшнемъ мірѣ», т.-е. на орудія и инструменты труда, и дастъ возможность человѣку синтетически работать, переходя при помощи усовершенствованныхъ машинъ ко всевозможнымъ занятіямъ и оставаясь цѣльнымъ существомъ, упражняющимъ наибольшее число своихъ физическихъ и умственныхъ способностей. Тогда какъ общество, взятое въ его цѣломъ, будетъ наиболѣе однородно, такъ какъ будетъ слагаться изъ индивидуумовъ, отличающихся общимъ гармоничнымъ развитіемъ мускульной и нервно-мозговой системы. Въ отвѣтъ я получилъ письмо отъ Михайловскаго,—увы! послѣднее, которое было мнѣ написано имъ,—и въ немъ заключались, между прочимъ, слѣдующія многозначительныя строки: «вполнѣ согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ. Обѣими руками подписываюсь подъ вашимъ истолкованіемъ». Это письмо показывало, что, примись Михайловскій за обстоятельную критику ученія Маркса, отвлекись онъ отъ полемики съ «русскими учениками», или удѣли онъ ей въ вопросѣ лишь совершенно подчиненное значеніе, и сама мощь его ума была бы порукой, что онъ окажетъ существенную помощь нашей интеллигенціи въ выработкѣ міровоззрѣнія, выщелушивъ здоровое зерно изъ хаотической оболочки русскаго марксизма и устранивъ тѣмъ самымъ возможность возникновенія тѣхъ странностей, которыя пропагандировались адептами доктрины на русской почвѣ въ пору наибольшаго увлеченія ею...

Сдѣлавъ эту оговорку, касающуюся Михайловскаго скорѣе, какъ философа и социолога, я перехожу къ его гражданско-публицистической дѣятельности въ эпоху не-критическаго господства марксизма въ Россіи. Разъ мы допустили, что въ силу тѣхъ или иныхъ условій момента, напр., излишняго догматизма и запальчивой односторонности «учениковъ», Михайловскій уклонился отъ оцѣнки по существу самой доктрины и вступилъ въ борьбу съ ея русскими проповѣдниками и комментаторами, то придется признать, что эту задачу онъ выполнилъ со своею обычною силою и успѣшностью. Перечитайте, дѣйствительно, статьи Михайловскаго, направленные противъ

нашего марксизма, и вы убедитесь, что въ нихъ отмѣчены тѣ самыя больныя мѣста этого направленія, отъ которыхъ оно все болѣе и болѣе отдѣляется,—но далеко еще не окончательно отдѣлалось,—путемъ разслойки, внутренняго броженія, а нѣкоторые говорятъ, прямого «разложенія». «Разложение марксизма»—таково, дѣйствительно, было названіе одной изъ статей «Новаго пути», когда онъ сталъ выходить подъ новой редакціей, въ которой играли выдающуюся роль такіе ех-эпигоны марксизма, какъ гг. Булгаковъ, Бердяевъ и К^о...

Такъ Михайловскій полемизировалъ противъ ненаучнаго объясненія всѣхъ жизненныхъ явленій «экономическихъ факторовъ», въ особенности если разумѣть подъ послѣднимъ такъ называемый вопросъ желудка. И уже тогда же изъ среды русскихъ учениковъ раздались рѣзкій обличенія этой теоріи «факторовъ», и была сдѣлана попытка разсматривать общественный организмъ, какъ цѣлое, но, къ сожалѣнію, попытка на словахъ. Ибо возстававшіе противъ выдѣленія «факторовъ», послѣ нѣсколькихъ словесныхъ кунштштюковъ, успокаивались все на той же экономикѣ, только растворяя всѣ общественныя явленія въ ея «діалектическомъ» потокѣ. А нынѣ не только русскіе, но и заграничные марксисты различными оговорками, допущеніями и истолкованіями такъ распространили первоначальный смыслъ ученія, что эта доктрина поистинѣ превратилась въ теорію «всего во всемъ».

Эти столкновенія между «экономическимъ матеріализмомъ» и «діалектическимъ матеріализмомъ» вызываютъ въ памяти другую антимарксистскую кампанію Михайловскаго, а именно по поводу развитія всѣхъ явленій жизни и мысли гегельянскимъ методомъ противорѣчій.

Михайловскій съ блистательнымъ остроуміемъ показалъ, что пресловутое діалектическое развитіе есть лишь пустая формула, *façon de parler*, приемъ изложенія; и что оно, какъ объективный законъ дѣйствительности, не существуетъ, а какъ чисто логическій способъ мышленія вовсе не связано необходимо съ теоріей Маркса. Современное состояніе марксизма показываетъ, въ какой степени это было вѣрно. И, не говоря

уже о нашихъ прямыхъ нео-метафизикахъ, вылупившихся изъ русскаго марксизма, даже «правовѣрные» ученики прицѣпливаются нынѣ ко всевозможнымъ философскимъ системамъ, и въ частности «эмпирио-критицизмъ» Авенариуса начинаетъ, по видимому брать рѣшительный перевѣсъ надъ гегельянскою діалектикой, хотя и «переставленной съ ногъ на голову».

Но насъ ждутъ такіе вопросы, гдѣ общее міровоззрѣніе тѣсно связывается съ жгучими злобами дня, и гдѣ Михайловскій своей полемикой противъ странностей русскаго марксизма сыгралъ въ высокой степени оздоровляющую роль. Вы помните, съ какой помпой марксисты 90-хъ годовъ провозглашали незыблемость положенія «политика слѣдуетъ за экономикой», «намъ всего важнѣе объективное, фатальное, стихійное развитіе массъ»; съ какой рѣзкостью они возставали противъ значенія «личности» и организаціи личностей; какъ высокомѣрно они третировали «сознаніе», третировали «интеллигенцію», заколачивая ее, словно тяжко преступнаго каторжника, въ кандалы язвительныхъ кавычекъ. По всѣмъ этимъ вопросамъ Михайловскій велъ беспощадную полемику противъ «русскихъ учениковъ». И онъ могъ еще при жизни наблюдать, съ какой энергіей наиболѣе активныя марксисты стали отказываться отъ прежнихъ странностей, въ особенности, когда они увидѣли воочию, къ чему ведутъ на практикѣ эти мнимыя «новыя слова», и когда передъ ними сталъ дѣйствительно грозный вопросъ «что дѣлать?»

«Экономизмъ» въ связи съ постепеновскою «теоріей стадій» подверглись жесточайшему нападенію активныхъ марксистовъ, которые объявились теперь ревностными политиками. Въ «приниженіи инициативы и энергіи сознательныхъ дѣятелей» было усмотрѣно не практическое заключеніе изъ прежней претенціозной фразы «въ социологіи личность ничто», но—«клевета на марксизмъ», злостная карриатура, сочиненная на марксистовъ «народниками». Организациія личностей, и не просто организація, а «могучая, концентрирующая въ своихъ рукахъ всѣ нити дѣятельности» организація ставилась нынѣ основной жизненной задачей активныхъ личностей.

Реабилитирована была и закованная дотолѣ въ кандалы кавычекъ интеллигенція, которая была не только освобождена отъ такого *duri carceris*, не только освобождена отъ суда и слѣдствія, но и признана невинною во взводившихся на нее «субъективныхъ» преступленійхъ, мало того, возстановлена въ своихъ прежнихъ правахъ и даже удостоилась настоящаго триумфа. Ибо, при пособіи кстати вспомнутыхъ разсужденій Каутскаго насчетъ того, что «соціалистическое сознаніе есть нѣчто извнѣ внесенное въ классовую борьбу пролетаріата, а не нѣчто первоначально изъ нея выросшее»; и что это нѣчто есть результатъ «науки», которая «возникла въ головахъ отдѣльныхъ членовъ буржуазной интеллигенціи», а только затѣмъ уже могла быть «сообщена выдающимся по умственному развитію пролетаріямъ»,—при пособіи, говорю, такихъ «ортодоксальныхъ» мыслей Каутскаго, на русскую интеллигенцію была возложена миссія совлечь трудящіяся массы съ пути стихійной экономической борьбы на путь сознательной политической дѣятельности. Правда, противъ этихъ ортодоксальныхъ марксистовъ выступили еще болѣе ортодоксальные марксисты; и въ результатъ борьбы этихъ друго-вражескихъ элементовъ, носившихъ еще недавно названія «твердыхъ» и «мягкихъ», обнаружилась снова нѣкоторая реакція противъ «организациі» въ пользу «стихійности» и противъ «интеллигенціи» въ пользу «массъ».

Но можно надѣяться, что односторонности и преувеличенія русскаго марксизма 90-хъ годовъ, противъ которыхъ была направлена полемика Михайловскаго, въ общемъ перешли въ область исторіи, и что здоровая общественная дѣятельность произведетъ тотъ необходимый синтезъ активныхъ фракцій великой соціалистической партіи Россіи, который составлялъ идеаль великаго публициста-гражданина во все время его литературной дѣятельности. Надъ свѣжей могилой Михайловскаго раздалось уже годъ тому назадъ изъ рядовъ марксистовъ нѣсколько искреннихъ оцѣнокъ крупнѣйшаго писателя. И партійная страсть уже все меньше и меньше рѣшается отрицать общественную роль славнаго борца за идею...

Въ одинъ изъ наиболѣе тяжелыхъ моментовъ реакціи, накануне общеннаго пробужденія на рубежѣ XX-го столѣтія, у Михайловскаго вырвалось въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ горькое восклицаніе: старое старится, молодое не растетъ! Съ тѣхъ поръ дѣло пошло иначе. И, доживи великій русскій чловѣкъ до нашего времени, онъ увидѣлъ бы, какъ гніетъ и рушится все старое, и какъ молодая жизнь бьетъ повсюду неудержимымъ ключемъ. Михайловскій, какъ Моисей, умеръ у порога обѣтованной земли. Вдохновленные благороднымъ образомъ нашего вождя, мы вступаемъ въ нее, не боясь предстоящихъ битвъ съ филистимлянами и твердо вѣруя, что побѣда наша... Слава же тому, кто сорокъ лѣтъ велъ русскую общественность по пустынь и не зналъ ни колебаній, ни отступленій отъ свѣтившаго ему идеала. Слава—и вѣчная память въ сердцахъ всѣхъ истинно свободныхъ людей!..



133496



Оглавление.

	СТРАН.
Великій утопистъ (Опытъ біографіи Фурье)	1—33
Марксъ, Энгельсъ, Лассаль (Къ біографіи и развитію ученія основателей научнаго социализма)	34—92
Жюль Валлэсъ (Литературно-біографическій очеркъ)	93—137
Красота на служеніи человѣчеству (Жизнь и сочиненія Вил- ліама Морриса)	138—199
П. Л. Лавровъ (Очеркъ его жизни и дѣятельности)	200—266
Н. Г. Чернышевскій и Россія 60-хъ годовъ	267—340
Н. К. Михайловскій, какъ публицистъ-гражданинъ	331—393



Вслѣдствіе ошибки при версткѣ этудь о Чернышевскомъ помѣщенъ послѣ статьи
о Лавровѣ. На самомъ дѣлѣ порядокъ долженъ быть обратный.

Замѣченная ошибка.

На стр. 280—281 въ мимоходомъ брошенной фразѣ говорится о петрашевцахъ, какъ о людяхъ, приговоренныхъ къ смертной казни чрезъ повѣшеніе. Извѣстно, что тѣ изъ нихъ, которые были осуждены на смертную казнь, были приговорены къ разстрѣлянію.
